ISSN 0130 – 6545

11. 1987

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

И. Димов «Посещение музея» (Болгария).

На 1-й и 4-й страницах обложки

Мнн Му «Ребёнок и голубь» (Вьетнам).

Л. Веларде «Читающий рабочий» (Перу).

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

11 ноябрь 1987

Содержание

ЙОЗЕФ РЫБАК — Стихи *(Перевод с чешского Станислава Куняева. Предисловие С. Шерлаимовой)* 4

ГУСТАВО ЭГУРЕН — Возвращение *(Роман. Перевод с испанского Инны Тыняновой)* 9

ТОМАС МАКГРАТ —...кроме последнего *(Роман. Перевод с английского Г. Злобина)* 65

ЖАН-ПОЛЬ САРТР — Стена *(Рассказ. Перевод с французского Л. Григорьяна. Послесловие Вик. Ерофеева)* 148

Публицистика

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — Англичане и Советский Союз *(Перевод с английского В. Воронина)* 163

АНДРАШ МЕЗЕИ — Расставаясь со стереотипами *(Перевод с венгерского В. Середы)* 167

КЛАУС МЕНЕРТ — О русских сегодня. Что они читают, каковы они *(Фрагменты книги. Предисловие и перевод с немецкого Алексея Григорьева)* 170

Россия победоносная. Беседа с Исааком Макбрайдом *(Публикация и вступление кандидата исторических наук И. М. Краснова. Перевод с английского З. Рахлиной)* 187

А. СТАРЦЕВ — О Джоне Риде *(Несколько новых страниц. К 100-летию со дня рождения)* 195

Критика

Слово, язык, общение

Писатели мира отвечают на анкету. Патрик Дэвис Смит. Юлиан Кавалец. Мирча Динеску. Кэндзабуро Оэ. Уинстон Оррильо. Рубен Мелик. *(Продолжение)* 201

Писатели Запада о советской прозе

Роберт Музиль. Анна Зегерс. Алехо Карпентьер. Томас Манн. Джон Бойнтон Пристли. Альбер Камю. Луи Арагон. Чарльз Перси Сноу. Памела Хэнсфорд Джонсон. Генрих Бёлль *(Вступление и составление М. Ландора)* 205

Писатель и время

Из бесед в редакции

ВЛАДИМИР МИНАЧ: «То, что происходит сейчас в Советском Союзе,— это революция в революции...» *(Ю. Богданов)* 216

Возвращаясь к напечатанному

Грэм Грин в редакции журнала и новый взгляд на «Силу и славу» *(Запись бесед и комментарий Т. Ланиной)* 220

Е. КНИПОВИЧ — Честно, горько, человечно... *(О романе Д. Веллерсхофа «Победителю достанется все»)* 226

Наши гости

Бенгт Берг и Карин Лаут. Швеция *(Ирина Новицкая)* 229

Демирташ Джейхун. Турция *(Радий Фиш)* 231

Робер Андре. Франция *(И. Истратова)* 233

Среди книг

Издано в СССР

В. Микушевич — Мудрость конкретного *(В краю белых лилий. Древнетамильская поэзия)* ✦ Алла Николаевская — Сатурналии Энгуса Уилсона *(Энгус Уилсон. Рассказы)* ✦ Е. Злобина — Старые фотографии *(Сюзанна Пру. Воскресные визиты)* 234

Издано за рубежом

Е. Умнякова — На пути к вершине *(Геза Молнар. Странная жизнь доктора Клауса. Растраченное королевство)* ✦ Т. Мотылева — О становлении советской литературы *(Жан Перюс. Эстетика и политика. Ральф Шрёдер. Роман души, роман истории)* ✦ Л. Харлап — Через месяц после войны *(Эрвин Штриттматтер. Зеленый июнь)* 238

Из месяца в месяц

246

© «Иностранная литература», 1987

1917–1987

ЙОЗЕФ РЫБАК

Перевод с чешского СТАНИСЛАВА КУНЯЕВА

Йозеф Рыбак принадлежит к поколению И. Волькера и Ю. Фучика, к тому поколению, которое вступало в литературу под воздействием идей Великой Октябрьской социалистической революции. Родился он в многодетной пролетарской семье, его отец погиб на первой мировой войне. В 20—30-е годы Рыбак работал в коммунистической печати Братиславы и Праги, во время оккупации участвовал в антифашистском Сопротивлении, а после освобождения страны много сделал для утверждения социалистического пути новой чешской литературы.

Рыбак известен как публицист, литературный критик, редактор журналов, автор романов, рассказов, мемуарных книг; он отличный рисовальщик и карикатурист. И все же прежде всего это поэт, хотя его первый стихотворный сборник «Солнцу и тучам» (1958) вышел в свет, когда ему было уже пятьдесят четыре года. За ним последовало еще несколько поэтических книг, из которых наибольший успех выпал на долю сборника «Иду на красный свет» (1975).

В чешскую поэзию Рыбак пришел поздно, но он занял в ней прочное место, обогатив ее выстраданной темой, благородной сдержанностью тона, мудрой простотой, которая принесла ему широкое признание критики и соратников по поэтическому цеху.

В стихотворении «Выписка из метрики» Рыбак говорит, что его истинный «час рожденья» (так, кстати, назывался сборник Волькера 1922 года — лучшее произведение чешской пролетарской поэзии двадцатых годов) наступил вместе с включением в революционную борьбу: «Это был мой час рожденья мое седьмое ноября». Стихам Рыбака присуща современная образность и интонация, но о чем бы он ни писал, всегда чувствуется, что он родом — из революционных двадцатых.

С. ШЕРЛАИМОВА

© Josef Rybák, 1985

ЙОЗЕФ РЫБАК — JOSEF RYBÁK (род. в 1904 г.)

Чешский поэт, прозаик критик, публицист, народный художник ЧССР. Его перу принадлежат романы «Столетие начинается» («Začíná století», 1932), «Крыши над головой» («Střechy nad hlavou», 1945), сборник рассказов «Время босых ног» («Hodiny pro bosé nohy», 1973), сборники стихов «Солнцу и тучам» («Do slunce a do mraků», 1958), «Картины» («Vyjevy», 1966) и др., книга воспоминаний «Волшебный прутик» («Kouzelný proutek», 1968; рус. пер. М., 1978). В русском переводе вышла также книга стихов «Иду на красный свет» (М., 1986); стихи, рассказы, статьи печатались в периодике, в том числе в «ИЛ». Книга «Стихи», из которой взяты публикуемые стихотворения, вышла в Праге в 1985 году («Básně». Praha, Československý spisovatel).

Выписка из метрики

Я родился под знаком Быка
уносившего нашу Европу
в океан революций и войн

Мусульманские праздники кончились
эскапады Д'Аннунцио кончились
не стреляли лишь пробки из-под выпитого вина

И я сбрасывал с окон австрийских орлов
и голодными глазами
глядел на луну

Это был мой час рожденья
мое седьмое ноября
когда рушились троны словно деревья

Метаморфозы

В те годы
когда я был молод наивен красив
и нравился девушкам
что мимо меня проходили
пугливые как антилопы
с губами цветущими
словно бугенвиллея
в те годы
моя любознательность
с каждым часом росла
а вселенная разноголосо
шумела у ног

Я был полон отваги
не ведал
разочарований и страха

Вот сердце мечтателя и бродяги —
глядите

В нем столько фантазий и планов
в нем зов океанов
ревущих под Южным Крестом
В нем грезы о жизни в Париже
на бульварах Рембо и Бодлера,
в городе Аполлинера...

В Париже поэты словами пьяны как абсентом
в Париже художники не верят ни в бога ни в черта
а только в святого Пикассо
да в краски свои
да в пустые полотна

Но те времена постепенно и бесповоротно
ушли

Я очнулся
нет Эльдорадо
нет Золотых Заливов
где под пальмами зной и прохлада
обвевают роскошных женщин
загорающих на побережье

И фантомы Парижа все реже
заходили ко мне но все чаще
смрадный запах сточных каналов
скотомогильников
нищих кварталов
и ям выгребных ароматы

Я узнал
что не только замки
красуются на Луаре
и на Полях Елисейских огней гирлянды
Есть у мира лики но есть изнанки
есть господские нечистоты
Половиною мира владеют банкноты
сильных мира сего

И юности моей не стало
Как прошлогодний снег она пропала
И кавалькада быстроногих лет
весь мир что полон радостей и бед —
все унеслось со мной в грядущих дней пучину

Так превратился юноша в мужчину

Романтика

Между пятнадцатью и семнадцатью годами
дети неожиданно превращаются в подростков
в замшевых жилетах
и обтрепанных джинсах
Длинноволосые юнцы и девушки
смолят сигареты
как опытные лесорубы

Безыскусная юность
скверно болтающая по-английски
(говорят как написано)
уезжает в конце недели
на Слапы в Мокропсы в Сенограбы
в Зламану Льготу и к Сметипраху
а мечтатели едут дальше
в Клондайк и к Великим Озерам

Юность вопрошающая о жизни
и не слышащая ответа —
хочет слышать лишь о своих успехах
хочет слушать только свою гитару
хочет слушать лишь свое сердце
доверчивая и неверящая

гордая неприкаянностью
и романтикой бродяжничества...

— Романтика — это Коммуна! —
слышу голос кровожадного Тьера
Но: — Романтика — это Будда! —
шепчут юные псевдоромантики
накурившиеся марихуаны

А романтики
воплощают в хлеб и вино
для миллионов
голубые мечты
всех расстрелянных
в дни Коммуны
у стены Пер-Лашез

Как создать стихотворенье или космический корабль

Когда-то иные поэты
мои современники
клеили бумажного змея
Змей при благоприятном ветре
взлетал
но потом падал наземь

Я сочинял лишь тогда
когда мое сердце саднило
как будто меня Сирано
задел на дуэли

Зато я статей написал бессчетно
Напротив меня за столом
на Кралевской улице [1]
работал Йозеф Гора [2]...
Мы писали о книгах
кое в чем я разбирался не хуже его
но если шла речь о стихах
Гора понимал много лучше меня
как надо писать
А давний мой друг Фамира [3]
вот он умел все
Лишь в то время когда
он в Национальном театре не танцевал
и пьес не писал
и в тюрьме не сидел
за то что кричал
Да здравствует Советский Союз!
(за что давали три месяца сразу)
он честно ножи продавал
и бритвы точил
в Либеньской лавчонке [4]

---

[1] Здесь находилась редакция газеты «Руде право», где сотрудничал Йозеф Рыбак.
[2] Йозеф Гора (1891—1945) — чешский поэт, журналист, народный художник ЧССР.
[3] Фамира Эмануэль (1900—1970) — художник, танцовщик, скульптор.
[4] Либень — рабочий район в Праге.

Однажды в гостях у него
я палец порезал
и брызнула кровь
Мой друг улыбнулся
— Вот так же она
из стихотворенья струиться должна

Система кровообращения одна и та же
у корабля и у стихотворения

Живи он сейчас
он сумел бы сказать
как стихотворенье создать

Откуда их взять
катушки магниты слова
чтоб выдержали
и космический холод
и солнечный жар
и сердца нормальную температуру

А вдруг не взлетит?
Но что же поможет ему?

Ужели всего лишь девичья ладонь
что нежно коснется безжизненных слов
и сразу же чуткая кровь
в стихе встрепенется

Не так ли ракета
включает ступени свои
и в небо взмывает.

Строфы

Я сегодня как в прошлом дышу
горьким порохом нашей планеты
Я в себе ярость века ношу
я участник большой эстафеты

Олимпийский огонь у меня
не гасили любые удары
Воскрешая из камня коня
я развеивал злобные чары

Помню Пушкина вещий завет
о душе о прекрасных порывах
Душ людских нарастающий свет
мне милей света звезд горделивых

КУНЯЕВ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ (род. в 1932 г.)

Советский поэт. начал печататься в 1957 г. Автор сборников стихов «Звено» (1962), «Ночное пространство» (1970), «Вечная спутница» (1973). «Солнечные ночи» (1980) и др., а также двух книг критических и публицистических статей. Переводил Ласло Новомесского. Ивана Скалу, Андрея Плавку и других чешских и словацких поэтов.

ГУСТАВО ЭГУРЕН

Возвращение

РОМАН

Перевод с испанского ИННЫ ТЫНЯНОВОЙ

Они начали снижаться еще раньше; теперь они летели в тучевом небе, и лишь по временам просматривалась там, внизу, густая синева моря, пересеченная узкими белыми трещинами. Долго пересекал их «ИЛ-62» сплошную полосу плотных серых туч. И вдруг тучи рассеялись. Пассажиры бросились к иллюминаторам. Под ними расстилалось море, густо-синее, все в зелено-желтых отсветах. Они летели теперь над выступающим из волн островком, и где-то вдалеке возвышалась крепкая буровато-зеленая полоса берега.

Алехандро так и прилип к стеклу. Все вокруг словно обезумели и, забыв обо всем на свете, принялись что-то кричать, перебивая друг друга. Рядом с ним рыдала женщина, крепко обняв дочь, а может, внучку. По проходу между сиденьями приближался с непроницаемым видом какой-то человек. Лицо у него было словно из камня, и он даже не подошел взглянуть на кусочек моря, приведший всех в такое возбуждение; да и самого возбуждения он будто не замечал. Тут-то и послышался голос стюардессы, объявивший, что через несколько минут самолет приземлится в международном аэропорту имени Хосе Марти. А металлический голос радио приказал поднять спинки сидений, застегнуть ремни безопасности и перестать курить; потом огласил краткую метеорологическую сводку, передал приветствия командира и экипажа самолета и пожелал всем пассажирам счастливого пребывания в городе Гаване.

Алехандро снова приник к стеклу. Это море он видел недавно на экране в одной из нью-йоркских видеотек, где показывали фильм «The Old Man and the Sea»— «Старик и море». Но там оно было не такое; там оно было вздыбленное, ярко-синее, в гигантских волнах. То, что раскинулось сейчас перед его глазами, казалось ему словно нарочно созданным для туристов, не для людей морских профессий: какое-то искусственное, словно кто-то хотел изобразить райский пейзаж и перестарался. Это— море для людей, всецело им принадлежащее. То, другое, холодное, слишком пронзительно-синее,— оно для рыб, огромных и прожорливых. Там человек — нечто чужеродное и может надеяться в конечном счете лишь на победу призрачную, похожую на реальность лишь внешне и оборачивающуюся глубоким поражением, как та, какой добился Старик в романе Хемингуэя. Победа, состоящая лишь в споре с судьбой.

© Gustavo Eguren, 1987

ГУСТАВО ЭГУРЕН — GUSTAVO EGUREN (род. в 1925 г.)

Кубинский писатель, доктор права, дипломат. Автор романов «Робла» («La Robla», 1967), «Приключения Гаспара Переса из Муэла-Кьета» («Aventuras de Gaspar Pérez de Muela Quietá», 1982), сборников рассказов «Нечто для бледности и окно в возвращение» («Algo para la palidez y una ventana sobre el regreso» 1969) «Ящерицы сыра не едят» («Los lagartos no comen queso», 1975), «Пингрины» («Los pinguinos», 1979), историко-литературной монографии «Преданнейшая Гавана» («La fidelisima Habana», 1986). В «Иностранной литературе» напечатана повесть Густаво Эгурена «Тени на белой стене» (1974, № 1), а также рассказы в книге «Окно на лужайку» (Библиотека «ИЛ», 1984). Роман «Возвращение» (название в оригинале «Меч и стена» — «La espada y la pared»). получен редакцией от автора в рукописи. Публикуется в журнальном варианте.

Он чуть не произнес вслух этой последней мысли. А в его-то случае речь идет о такой победе? И возможна ли для него другая? Он закрыл глаза и провел рукой по лицу. Этот вопрос стучал в его мозгу молотом: возможна ли для него другая победа?

Он обернулся, почувствовав, как женщина, сидевшая рядом, легонько тронула его за плечо, словно прося внимания: стюардесса напоминала, что необходимо закрепить ремни безопасности.

— До посадки осталось всего несколько минут,— сказала она с профессиональной улыбкой.

Теперь они пролетали над сушей.

Самолет летел уже так низко, что ясно можно было различить отдельные подробности пейзажа: пятна вспаханных полей насыщенно-красного цвета — как на полотнах Гогена, густую зелень плантаций сахарного тростника, блеск водоемов, дороги с движущимися по ним крохотными авто и среди пальмовых рощ и разбросанных там и сям одиноких холмов несколько зданий — фабрики или школы? — окруженных деревьями и деревьями.

Самолет как будто набрал высоту, потом сделал крутой поворот и начал быстро снижаться. Послышался пронзительный свист... и вскоре они уже ощутили резкий толчок от соприкосновения с землей.

Он почувствовал себя так, словно его самого ударили чем-то. Все как-то сжалось у него внутри. Он улыбнулся: «Веду себя как ребенок. Можно подумать, что это мой первый перелет». Сколько раз ему приходилось летать? Раз пять, десять? А то и двадцать? И тем не менее, когда он взглянул на часы, рука у него почему-то дрожала. «Затекла, наверное. Все время опирался на эту руку».

Едва ступив на трап, он почувствовал, как горячий воздух ударил ему в лицо. Он зажмурился. Свет был слепящий. Он приложил руку к глазам и тогда только разглядел невдалеке здание аэропорта и людей, толпящихся на галерее, которая тянулась вдоль всего верхнего этажа. Толпа была пестрая, многоцветная, размахивающая руками и машущая платочками. Быть может, и кричащая, только отсюда не было слышно. Через несколько минут подъехал аэропортовский автобус и повез их к помещению, где проводится паспортный контроль и таможенный досмотр. Его попутчики уже разглядели в толпе, собравшейся на галерее, своих родственников и знакомых, и это увеличивало их нетерпение. Им казалось, что и досмотр, и разгрузка багажа — все слишком долго. Некоторые прощались, приветствуя и обнимая друг друга, некоторые пытались рассмотреть что-то сквозь стеклянную стену, отделявшую их от общего зала. Несколько парней пели кубинский национальный гимн, сначала робко, потом все страстней и живее. Старая женщина, та, что сидела рядом с ним в самолете и так плакала, теперь энергично руководила разгрузкой багажа и указывала внучке, как надо заполнять таможенные документы. У обеих груди были как коровье вымя...

Взгляд Алехандро скользнул по всему помещению и остановился на человеке, на которого он обратил внимание еще в самолете: тот казался теперь угрюмее, чем раньше, и не отрывал глаз от кожаной шторки, которая приподымалась время от времени, чтоб пропустить чемоданы на движущуюся ленту транспортера. Парни продолжали петь гимн, другие им подтягивали. Алехандро вслушивался в эти взволнованные голоса и вглядывался в эти взволнованные лица; внезапно он поймал себя на том, что и сам тихонько повторяет слова гимна. В ту же минуту он заметил, как его чемодан проскользнул мимо и удаляется через входную дверцу. Но тут он услыхал, как девушка крикнула неистово: «Да здравствует свободная Куба!»— и обернулся. Девушка обнимала какого-то юношу. Оба плакали.

Мрачный пассажир походя толкнул его, когда резко стаскивал свой чемодан с транспортера. И при этом даже глазом не моргнул и не сделал никакой попытки извиниться. Тут Алехандро увидел свой чемодан и забыл о мрачном пассажире.

Через несколько минут он уже занял свое место в автобусе для туристов.

— Проезд до отеля «Насиональ» займет минут двадцать пять,— объявил водитель.

К счастью, автобус был обеспечен хорошими кондиционерами. А то ведь и нескольких шагов, что он прошел под палящим солнцем полдня, оказалось достаточно, чтоб у человека все тело облилось потом. Он провел платком по лбу и вздохнул.

Юноша, сидящий рядом, произнес с удивлением:

— Жарче, чем на пляже Дейтон-Бич, а?

Алехандро отозвался полуулыбкой и легким кивком. Юноша был очень возбуж-

ден и собирался, кажется, изливать свои чувства. Он беспокойно ерзал на месте и высказывался по любому мелкому поводу. Порой вдруг начинал смеяться неизвестно чему и обращался то к одному, то к другому из туристов с какими-то нелепыми вопросами, потом, не ожидая ответа и словно даже им не интересуясь, оборачивался совсем в другую сторону.

— Мне нравится эта жара и это солнце. Нелепо было терять все это, правда? Я всегда думал, что это была ошибка, самая непростительная ошибка,— разъяснял он сбивчиво неизвестно кому.

Потом он вытащил фотоаппарат и принялся снимать пассажиров автобуса и толпу возле аэровокзала.

— А то потом все перезабудешь,— объяснил он.— Сейчас как будто ясно; а вот пройдет немного времени, и в голове все перемешается. Я на обороте снимков помечаю место, дату и свои беглые впечатления. А иначе все — напрасная трата времени.

Алехандро снова ему улыбнулся, но сейчас его больше всего занимало то, что видел он за окном автобуса. Они проезжали через улицы, по которым люди двигались медленно, подолгу останавливаясь под солнцем, словно бы и не замечая его беспощадных лучей. Над оградой одного из ближайших домов вырисовывались купола королевских пальм, мерно махая своими огромными блестящими листьями; а над черепичной крышей густолистая крона какого-то дерева будто пылала, сплошь усыпанная красными цветами.

«Он прав, этот юнец,— подумал Алехандро,— потом все впечатления смешаются в памяти. Останутся только самые сильные, да и те не ясные. И не главные. А что вообще главное? Как тут определишь меру? Так что метод этого юнца, пожалуй, не так уж плох. Для туристов, во всяком случае...»

А юнец в это время обращался к нему, прося поменяться местами, чтоб сделать несколько снимков через окно; и, не дожидаясь разрешения, полез прямо на него, задев его локтем по лицу, пробормотал невнятное «извините» и принялся без устали щелкать аппаратом. Алехандро уперся головой в мягкую спинку сиденья и не протестовал.

— Здание, которое вы видите слева,— это психиатрическая больница...— автобус несколько замедлил ход,— желающие могут ее посетить, она включена в нашу программу. Я лично очень бы советовал. Есть на что посмотреть. В народе прозвали этот дом мельницей, где перемалывают психов.

То был голос гида.

Юнец тут же сделал парочку снимков. За железной оградой тянулся огромный сад, в глубине которого возвышались корпуса больницы.

— В этом году,— продолжал гид,— бейсбольная команда психиатрической заняла первое место на соревнованиях между провинциями.

Знакомый нам фотоаппарат снова пришел в движение, запечатлев группу больных, размечтавшихся на солнышке, рассевшись по скамейкам парка. Алехандро записал пару слов о больнице в свой блокнот.

— Если хотите, я вам сделаю копии,— сказал юнец, нежно похлопав по корпусу свой аппарат.— Вообще-то я фотограф-любитель. Но у меня есть специальное помещение. Я б мог их вам потом выслать...

— Буду вам очень обязан.

Парень порылся в бумажнике и протянул ему визитную карточку. Он был из штата Пенсильвания и имел там какое-то свое дело. Алехандро пожал ему руку.

— Я люблю заводить друзей,— сказал парень.— Когда путешествуешь, это получается лучше всего. Можно жить с человеком в одном квартале, чуть ли не каждый день встречаться, и дальше кивков не зайти. Но когда ты в другой стране, то особенно чувствуешь, как необходимы друзья. Потому-то я так люблю путешествовать.

Он помолчал и задумался на минуту.

— Конечно, наше путешествие не совсем обычное. Вы это знаете не хуже меня. В такое путешествие я мог бы отправиться без аппарата и не вступая ни с кем в разговор. Самое оригинальное из всех путешествий, какое только можно предпринять. Вы не находите?

Алехандро рассеянно кивнул в знак согласия, но ничего не ответил. Ему почему-то было неприятно это рассуждение его нового знакомого.

— Вы не замечаете? — вдруг сказал тот неожиданно резко.— Нет ни одной рекламы кока-колы! Вот чудеса!

Тем не менее за окном плыли большие щиты, сплошь покрытые плакатами. На них были слова и изображения. Все вместе они составляли лозунг: «Как на Плайя-Хирон — усильем одним — в бою производственном — мы победим». На первом щите с первыми словами виднелась фотография Фиделя, спрыгивающего на ходу с танка в дни боев на Плайя-Хирон; на втором было изображено множество поднятых рук, сжимающих винтовки; на следующем шла длинная вереница наемников в маскировочной форме под конвоем бойцов народной милиции; последние два щита были увешаны плакатами, прославляющими труд на полях и фабриках.

Парень несколько раз щелкнул своим «кодаком» и произнес досадливо:

— Здешние кубинцы просто с ума посходили. Производство, производство... Производству необходима организация и передовая техника. Главное — торговля. Когда в объявлении сказано: «продается...»— это я понимаю. Производить стоит только для торговли. Прав мой отец, не будет у них никакого прогресса. Отец говорит...

Автобус быстро ехал по широкому шоссе, идущему от Ранчо-Бойерос. Иногда гид объяснял что-нибудь. Парень продолжал фотографировать и одновременно излагал идеи своего отца. Наконец они въехали в пределы города. Алехандро подумал, что город чище, чем ему говорили.

Они проехали километров двадцать по просторной улице. Ни одной выбоины. На перекрестке раскинулся газон с цветущими кустами. Правда, на каждой остановке собиралась целая толпа, готовая взять приступом любое средство передвижения, и машины, скользящие по улицам, были устаревших марок, в Соединенных Штатах такие только в музее и увидишь. А вообще-то город как город, такой же, что и другие, которые ему приходилось видеть... Он искоса взглянул на своего молодого знакомого. «Такой же, как другие; несмотря на отсутствие реклам кока-колы, «Филипп Моррис», «Крайслер», «Дженерал электрик»...

Через несколько минут автобус проехал мимо широкого портала и обогнул сквер, где росли олеандры и королевские пальмы.

— Here we are! [1] — воскликнул гид по-английски и пошел распорядиться, чтоб всех быстрее разместили.

— Так это и есть знаменитый отель «Насиональ»?!

Они вышли и подождали несколько минут в вестибюле... Алехандро достался номер со стороны моря. Окно выходило в сад, тянущийся до крутого обрыва над набережной, которая так и называется «Малекон» [2]. Из-за двух рядов пушек, поставленных там неведомо когда, открывался широкий вид на бухту. Два торговых греческих судна стояли на якоре, совсем близко от берега, ожидая своей очереди войти в порт.

Он бросил чемодан на маленький столик, снял пиджак и растянулся на постели. Закурил.

— Вот ты уже в Гаване...— сказал он сам себе тихонько.

Он закрыл глаза, и ему почудилось, что он снова слышит слова Пола: «Ты должен поехать на Кубу! Только там ты найдешь ответ!»

— Видишь, Пол, я уже в Гаване.

Телефон звонил настойчиво. Он вытянул руку и поднял трубку. Повинуясь привычке, ответил по-английски.

Веселый голос прозвенел по ту сторону провода:

— А по-испански вы говорите?

— Простите, кого вам нужно?

— Вас!

— А кто говорит?

— Ана...

...И внезапно этот голос отбросил его далеко в прошлое. Словно разом рухнул его карточный домик, построенный с таким тщанием. Да, все вдруг сломалось, и неистовый поток воспоминаний унес обломки. Где и когда началась эта катастрофа? В каком глухом уголке времени и памяти? Там ли, где отцовский меч одним ударом раз-

---

[1] Вот мы и прибыли *(англ.)*.

[2] Малекон (буквально — набережная) — одна из главнейших магистралей Гаваны. *(Здесь и далее прим. перев.)*

рубил гордиев узел их жизней? Или то был дамоклов меч, повисший над его головой, заставив его окунуться в чуждый ему мир? И как и когда кончится весь этот кошмар?

Но вот гордиев узел, кажется, разрублен. И не огненным мечом Александра Македонского, а крылом самолета, приземлившегося в Гаване. И теперь уже нетрудно ответить на вопрос, какой он недавно задал себе: сколько раз ему приходилось летать? Десять? Или, может, двадцать? Да нет же, только один, тот, первый, который он никогда не забудет... Тогда его окружала орущая, жестикулирующая толпа, в гуще которой он качался, как марионетка. Но сквозь нее вела его твердая рука отца; а он смотрел в лицо матери, не переставшей прижимать его, плача, к своей груди.

Но почему эта рука, проведшая его сквозь весь этот шум твердо, хоть и с дрожью от страха, что в последний момент все сорвется и чей-то голос объявит, что путешествие отменяется и все это лишь зловещая шутка, придуманная, чтоб потрепать нервы классовым врагам, как, по мнению отца, называют теперь всех достойных людей,— вдруг словно отпустила его? И почему внезапно, посреди всей этой неразберихи, он, парализованный ужасом, понял своим детским умом, что это путешествие — совсем особое, что твердость отца — наигранная, что все они — жертвы какого-то жестокого обмана, и нечто неведомое и беспощадное вцепилось в них, чтоб больше уже никогда не выпустить?! Почему вдруг, не дав дослушать слова стольких прощаний, его толкнули за стеклянную дверь, безнадежно замкнувшуюся за ним, отрезав его от всей прежней жизни?!

Это не Аквариум в гаванском Мирамаре [1] и не Seaquarium [2] в Майами на Бискейн-Кей. Но почему же здесь те же рыбьи глаза, выпуклые и неподвижные, та же холодная молчащая стихия? Ибо шум, что только что был так оглушителен, внезапно смолк, словно его ножом срезали, едва пришлось переступить порог этой двери, и от всей толкучки остался только неясный, глухой гул, словно море билось о скалу где-то далёко, далёко. Глаза, покрасневшие, распухшие, полные слез, рты, нервно подергивающиеся, движенья, развинченные, нелепые,— все вдруг погрузилось в какой-то нереальный мир, оставшийся за гранью толстых стекол, к которым прижимались лица, о которые ударялись неслышные больше голоса и все, что продолжало жить, призывать все, что было до этой минуты убежищем, защитой, ласковым прикосновеньем родных рук...

Он вдруг почувствовал, что и сам погружается в тишину. Где начиналась она, тогдашняя эта тишина? И кто был в действительности внутри и кто вне этой роковой западни, этого огромного аквариума, которого только что не существовало и который судьба вдруг извлекла из какого-то темного своего тайника, чтоб разрезать надвое наши жизни каким-то колдовским маневром, заставляющим вспомнить страшные сказки о ведьмах и привидениях?.. Он был слишком мал тогда, чтоб задавать себе подобные вопросы, но ответа он не знал и сейчас...

Те, что оставались снаружи, продолжали бесполезно открывать и закрывать рты, пытаясь сообщить еще что-то, что уже невозможно было понять. Тех, что были внутри, охватило какое-то забытье. Он помнил, что в этот момент ему страшно захотелось... он очень испугался... Взглянул вокруг себя, но увидел только лица, скорбные или непонятно улыбчивые. У кого спросить где?.. У кого вообще можно что-нибудь спросить в этом странном мире, в этом мире людей, замкнувшихся в себе, перепуганных, впавших в какое-то непонятное безумие? Он сжал ноги, чтоб не обмочиться. И тут увидел искаженное, мертвенно-бледное лицо отца, прижавшееся к стеклу; но это был уже не его отец, это была какая-то маска, словно посмертная и одновременно гримасничающая. А он только думал о том, как бы не обмочиться, и все словно рвалось у него внутри. Но отец — внезапно такой беспомощный, далекий — не знал уже ни об этом, ни о чем другом. А бедная мама все только утирала слезы, в то время как он уже скрещивал ноги и так сжимал их, что кости трещали. Наконец не выдержал и принялся плакать. И не из-за отца, который жестами еще пытался договорить что-то из немоты, не из-за мамы, которая так была расстроена. А потому, что по ногам его уже спускалась теплота и вокруг туфель образовалась лужа пены. Он не перестал плакать и после того, как рука девушки в милицейской форме коснулась его волос и он услышал ее тихий голос — не слова, наверняка утешающие, а только голос,— ни после того, как эта рука привела его туда, где постирают и высушат его брючки неизвестно откуда взявшимся утюгом. Он немного пришел в себя только го-

---

[1] Район Гаваны.

[2] Название океанского аквариума *(англ.)*.

раздо позже, когда услыхал (с непонятным ужасом!) ласковые слова, какими обменивались женщины, окружавшие его: «бедняжечка...», «и куда его отсылают?..», «сердце надрывается, как посмотришь...».

Потом, уже снова в общем салоне, он стыдился поднять глаза. Сидел как к месту пригвожденный, словно его по голове ударили. Но все продолжал плакать, хотя брючки на нем были сухие, хотя лужу давно вытерли, хотя все кругом уже забыли, что с ним приключилось, а иные, может, и не заметили. Но худенькое его тело все сотрясалось от рыданий — скрытых рыданий, что было хуже всего. Теперь он и сам не смог бы сказать, отчего плачет.

Только в последнюю минуту он вспомнил об отце. И когда поднял, наконец, глаза, то увидел все то же искаженное лицо, бескровные губы, нос, прижатый к толстому стеклу, и два кулака, стучащие в это стекло, чтоб привлечь его внимание. Это и был последний, самый скорбный образ, оставшийся в его памяти... Он видел и то, как отец оживился, улыбнулся, стал махать ему, словно чтоб подбодрить... Но он видел только тот образ... и ему вдруг стало остро жаль самого себя и захотелось, чтоб человек там, за стеклом, был вовсе не отец, а кто-то чужой. Чтоб больше его уже не видеть, такого непохожего... И к счастью, в это мгновенье слезы полились из его глаз так обильно, что скрыли от него человека за стеклом.

Но в этот же момент рука девушки из народной милиции снова сжала его плечо и повела его к выходу. Куба уже начинала оставаться позади. Она удалялась под шум двигателей, унося и суматоху прощанья, и крики, и, в возмущенном воздухе, порхание белых платочков. Она удалялась, предлагая вместо себя начало пути в неведомое... К какому-то «потом»...

«Потом»? А что означало для него «раньше»?

«Раньше» означало месяцы, дни, минуты, оставшиеся позади. Хотя, наверно, уже в то время, как почти вслепую пробирался к самолету, он чувствовал, что «раньше» означало также и вечность. Огромный роскошный дом — теперь навеки утонувший в прошлом,— окруженный пышным садом с железной загородью, представлялся ему настоящим раем. Для него детство могло быть только таким — непрерывным воплощением мгновенных желаний. Так всегда и было. Его мир был прочен, как это жилище с толстыми стенами и надежными полами из мрамора; как эта изгородь из острых стрел, теряющихся в густой листве, словно ими из невидимого лука выстрелили в самое небо; как все, что видел он в этом доме: материнская ласка, отцовская улыбка или неустанная, безмерная забота целого полчища слуг. Рай, одним словом.

В его случае изгнание из рая обошлось без вмешательства бога. Это был итог целого ряда каких-то таинственных явлений! Вначале это были только лица — посерьезневшие, озабоченные; неожиданно прорезавшие лоб отца морщины, хмурое выражение, вытеснившее его, казалось, негасимую улыбку. Потом побежали по дому какие-то шепотки. Что-то сообщалось по секрету, что-то недоговаривалось, удавалось уловить лишь обрывки фраз, в каких намекалось на важные перемены. Вначале это относилось лишь к родителям, потом перешло и на слуг.

— Ничего хорошего ждать не приходится,— услышал он однажды утром, как говорил Деметрио, самый давнишний слуга в доме, которому безропотно подчинялись прочие слуги.— Хозяин сильно озабочен. И что только с нами со всеми будет?!

— Люди уезжают.

Эти слова принадлежали уже Беатрис, в ведении которой были стенные шкафы и буфеты.

— Возможно, хозяин тоже собирается. Может, возьмет, как ты думаешь?

Старый Деметрио покачал головой, скорее с сомнением, чем с грустью:

— Куда? Не думаю, что сеньор доктор сможет вести такую же жизнь где-нибудь в другом месте. Во всяком случае, я лично никуда не поеду. Слишком стар.

Еще через несколько дней состоялся первый разговор за ужином. Вначале все было как всегда. Однако перед тем как встать из-за стола, отец отодвинул чашку с недопитым кофе, положил руку ему на плечо и сказал:

— Мне надо поговорить с тобой, Алехандро. Пройдем ко мне в кабинет.

От этих слов у него сердце упало: но он несколько успокоился, увидев улыбку на лице отца и понимающий взгляд, каким ответила на эту улыбку мама.

Не снимая руки с его плеча, отец вошел вместе с ним в свой рабочий кабинет; пододвинул к стене одно из огромных кресел, обитых черной кожей, чтоб сесть ря-

дом с сыном. Однако было очевидно, что что-то изменилось: ведь это в первый раз он не назвал его детским именем Алехандрито...

— Сын,— сказал он, еще стоя,— буду говорить с тобой как мужчина с мужчиной. Удивляешься? Иди сюда, сядь рядом со мной. Вот так.— Он положил руку на колено сына.— Видишь ли, нам придется расстаться на время.— Он посмотрел прямо в глаза сыну.— Ты уедешь в страну гораздо лучше этой. Дом твой будет не таким большим, и слуг у тебя не будет, но это не так уж важно. Ты будешь жить у дяди Энрике и тети Хулиты. Помнишь их?

Да, помнит. Он наклонил голову в знак того, что да, помнит, не в состоянии сказать что-нибудь, мучимый чувством, в котором странно смешивались любопытство, радость и страх.

— Ты временно побудешь у них. Потом приедем мы, и все у нас пойдет как прежде. Ты смотри на это так, словно посреди учебного года у тебя вдруг каникулы. Как думаешь? Такой случай бывает раз в жизни, и надо им воспользоваться.

И вдруг под пристальным взглядом сына улыбка сошла с его лица. И когда он заговорил вновь, в голосе его уже не слышалось прежнего простодушия:

— Слушай, сын, ты должен быть мужественным и вести себя как взрослый. Поверь, другого выхода нет. Сейчас важно одно — чтоб ты немедленно покинул страну. Потом мы снова будем вместе.

Сын хотел было возразить что-то... Но отец раскинул руки с выражением такого бессилия...

— Ну что я могу сделать? Я много дал бы, чтоб не разлучаться. Но невозможно. Нам с твоей матерью надо уладить здесь еще тысячу дел. Кроме того, мы взрослые, и одни мы так или иначе сумеем выехать. С детьми все сложнее, понимаешь? Сейчас выезд свободный, но вдруг эти люди изменят свое решение?

Отец крепко прижал его к груди, и он почувствовал дрожь, охватившую это плотное, массивное тело. Потом услыхал глубокий вздох. Но голос отца звучал хоть и прерывчато, но твердо, даже властно.

— Верь мне. Мы скоро снова будем вместе. Всей семьей. Но слушай меня внимательно: о нашем разговоре никому ни слова. У нас в стране произошли очень большие изменения. Здесь все теперь по-другому. Теперь и у стен есть уши... Ты понимаешь меня?

Он молча кивнул: понимает.

Но что, собственно, надлежало ему понимать? Почему вдруг все стало так таинственно? Зачем нужно это внезапное путешествие, о котором отец сказал, что это каникулы посреди учебного года,— это отец-то, всегда так следивший, чтоб он ни одного урока не пропустил, всегда находивший время проверить его тетрадки и даже нанявший ему репетитора?

— Договорились? — спросил отец.

— Да, папа.

Вот так и начались эти тайные приготовления. Вот так и случилось, что образ мира, мало-помалу складывавшийся в детском сознании, стал круто меняться. Потому что все вокруг как-то смешалось. Семейная тайна, которую все так старательно оберегали, воздвигла стену между ним и окружающим миром.

Неожиданно и неизвестно почему он стал глядеть с недоверием на всех слуг, включая старика Деметрио; неожиданно и неизвестно почему стали ему слышаться в их голосах жестокие нотки; внезапно надвинулось на него одиночество, замкнув круг молчания и неясных опасений. И по вечерам он смотрел со страхом на дверь своей спальни, запертую тяжелым засовом...

Но не только мир его семьи переменился. Что-то случилось и вне этого мира. Но что? Какой нужный винтик переменил место в сложном механизме жизни, чтоб так изменилось все вокруг?

Деда уже не было рядом с ним. Вот кто уж сумел бы разобраться во всех этих запутанных вещах. Дед был плотный, коренастый и добрый. Он все понимал и все знал. К тому же у него было необыкновенное умение делать ярким самое обыденное. Дед ненавидел всякие тайны и всякие запреты. Он считал, что жить надо открыто и говорить громко. Они с дедом проводили много времени вместе. Гуляли в самых неожиданных местах и возвращались в самое неожиданное время, с головы до ног промокшие или покрытые красной дорожной пылью. Мама встречала их оторопелым взглядом, но ничего не говорила. Дед хотел, чтоб каждый новый день был непохож на

предшествующий. «Дни — что люди,— говаривал он, бывало,— хоть люди и не догадываются об этом. И у дней тоже есть имена. К примеру, человека зовут Хуан, а день зовется «дождливый»; или человека зовут Антонио, а день зовется «солнечный». Так что надо проживать каждый день отдельно, к каждому подход найти. Как у людей: всякий свой секрет имеет, и всякому хочется с другом поделиться. Так что помни: не потеряй ни одного дня, возьми от него все, что он может дать тебе. В этом и заключается счастье!»

А разве не был необычным тот день, когда дед — умерший вскоре после того от разрыва сердца — радостно повлек его за собой на улицу (несмотря на протесты мамы), чтоб насладиться вместе бурной радостью победы, чтоб запомнить эту радость навсегда?! «Не задерживай, дочка, не задерживай, пусть своими глазами увидит приход людей, сбросивших власть зверей. Разве не способствовали мы, кто как может, этой победе? Разве она принадлежит не всем нам, кубинцам? Да, Алехандрито, ты должен знать: твой отец — тоже часть этого триумфа. В его клинике вылечили многих раненых, спасли жизнь многим бойцам...» И дед долго еще говорил в том же духе, в этот день и во все последующие дни и недели, пока его старое сердце не разорвалось. Но в то памятное утро он вышел из дому, неся на плечах внука, и, завидев броневик, крикнул:

«Смотри, смотри, вон тот великан с бородой и есть наш спаситель! Запомни его навсегда!»

И он запомнил: к добру ли, нет ли, но он запомнил навсегда и это лицо, выражавшее радость победы, и это имя. Он не забыл. Он не забудет никогда... Но со смертью деда он словно переступил какой-то порог — все для него переменилось. В особенности после разговора с отцом. Все как-то смешалось, превратилось во что-то, что он обязан был почему-то возненавидеть, несмотря на то, что лицо, выражавшее радость победы, всегда стояло у него перед глазами, несмотря на слова деда, в которые верил всей силой детской души. Потому что теперь эхо других слов звучало у него в мозгу — слов, повторяемых ежедневно и ежечасно: «Все в стране переменилось. Того, что было прежде, уже не будет...» Что происходит, милый дедушка, почему они говорят, что все разваливается, что я должен учиться ненавидеть, почему от их слов во мне нарождается какое-то презрение к тому, что ты учил меня любить и сам любил так горячо, что было частью твоей жизни и частью жизни моего отца, тоже сумевшего внести свою скромную лепту во что-то прекрасное... Такое прекрасное, как тот день, когда я впервые увидел широкий мир, сидя у тебя на плече, и когда ты сказал мне слова, что остались у меня в памяти? Я и сейчас словно слышу твой громоподобный бас, наказывавший мне запомнить на всю жизнь то, что вижу, ибо такое можно увидеть лишь раз в жизни!..

А дальше были только молчание и одиночество. Иногда он ловил какое-нибудь вещее слово, сказанное кем-то из слуг. В тот раз это был Деметрио, шептавшийся с другими в кухне; они говорили полунамеками, доверительно, словно заранее условившись, что сказанное умрет за этой дверью: «На Север, его на Север отсылают...» Но теперь уже в доме, сдается, никто никому не верил, ибо, как только он вошел, все сделали вид, что заняты, и все руки пришли в движенье, а все рты закрылись как на замок. Остались только косые взгляды, сочувственные вздохи, плохо скрытое недовольство.

А потом настал последний день — беспорядочный, душераздирающий. В этот день стало ясно, что с самого начала все всё знали. Едва он вошел утром в столовую, едва Деметрио приблизился чтоб подать ему завтрак — рука старого слуги дрожала в первый раз за долгие годы,— он увидел, что у всех слуг глаза заплаканные. Несмотря на наставления отца, ни на миг не прерываемые, невозможно было удержать в покое всех этих мужчин и женщин, которые окружали своего любимца, буквально осаждая своими ласками, целовали ему лицо и руки, а потом убегали, накинув на голову передник, чтоб скрыть слезы.

— Мы не можем терять больше ни минуты,— прервал, в конце концов, отец всю эту печальную суетню.

И вот они уже на пути к аэропорту. В это утро солнце сияло так ярко... Алехандро, проходя мимо, бросил взгляд на дом Марии Эухении. Двери были еще закрыты. «Слишком рано... Наверняка спит»,— сказал он себе.

И тут услышал голос отца:

— Твое первое путешествие на самолете! Вот так-то, а? — и отец доверительно обнял его за плечи...

— Ана, вы говорите? Вы не ошиблись номером?

— Не ошиблась. Ана, сестра Эухении.

Последовала короткая пауза.

— Марии Эухении?

Он надел пиджак и вышел. Выйдя из лифта, обвел взглядом вестибюль и прошел несколько шагов вперед. Вестибюль был огромный, с высоким узорчатым потолком, большими окнами и широкими дверями, с мозаичным полом какого-то особого, красноватого оттенка. Сейчас здесь столпилось множество постояльцев, люди входили, выходили, приветствовали друг друга, обнимались. «Зря я не спросил, как она одета»,— подумал он. Возле двери, выходящей в сад, он заметил толстую женщину, дружески махавшую кому-то. Сам не зная почему, он почувствовал себя так, словно его ограбили.

— Вы Алехандро?

Голос раздался у него за спиной. Обернувшись, он увидел юное лицо и протянутую ему руку.

— Пойдемте в бар, хорошо?

— Вообще-то я не пью; тем более в это время.

Они пошли рядом.

— Тогда мороженое?

— Я посижу с вами в баре.

Они пересекли вестибюль и спустились по мраморным ступенькам, выложенным по краям севильской мозаикой.

— Я пригласил вас в бар, потому что там можно спокойно поговорить. Я не хочу, чтоб вы приняли меня за типичного американца.

— Очень надеюсь, что не приму.

— Я тоже надеюсь.

Ана задержалась на мгновенье у стеклянной двери, которую он перед нею открыл. Официант отвел их за маленький столик в стороне и принял заказ. Бар был погружен в полутьму, в этот час посетителей было мало.

— Мы удачно выбрали, куда пойти. Вы бы что заказали?

— Напиток «Кубинский танец». Это что-то вроде кока-колы. Вы должны попробовать, туристы всегда пробуют что-нибудь типичное.

— Надеюсь, что я — турист не совсем типичный. Предпочитаю «ром-коллинз». Как поживает Мария Эухения?

Ана в немногих словах описала жизнь сестры: замужем за горным инженером, мать двоих детей, выучилась на биолога... Четыре последних года живет в одной из восточных провинций.

— Коротко: счастлива и накопила несколько лишних фунтов веса.

В эту минуту подошел официант, и разговор прервался. Пока подавали, Алехандро внимательно рассматривал лицо Аны, ее тонкий рот, зубы, не совсем ровные, волосы, падавшие ей на лоб, когда она наклоняла голову. Он отметил про себя легкий взмах руки, каким она все время откидывала их назад, и твердый голос, каким произносила каждое слово.

— Эухения получила ваше письмо,— сказала она, вдруг посерьезнев.— И переслала его мне, очень прося помочь вам. Она живет на другом конце Острова, я уж вам говорила.

Алехандро как-то неопределенно покачал головой.

— Эухения была моим единственным другом детства. Вам, верно, это покажется смешным, но я в своих планах возлагал на нее большие надежды... Хотя, если подумать, мы теперь два чужих человека.— Он вдруг засмеялся.— По ту сторону Флоридского пролива время замерзло в моей памяти. Я не могу представить себе Марию Эухению толстой.

Ана улыбнулась.

— А какой же вы ее представляете? С косичками? Потом, я ведь не сказала, что она толстая. Прошло двадцать лет, и много воды утекло. И есть много нового. Я, например. Когда все происходило, меня еще на свете не было. А теперь у нее самой

две девочки, и они уже в школу ходят...— она снова стала серьезной.— Чем я могу быть вам полезна?

Алехандро поднял руку, как бы для тоста, и пристально посмотрел на нее. Что скрывалось за твердым взглядом этих глаз? Непреклонность нрава или глубокое недоверие, которое она пыталась спрятать за шутливой легкостью беседы? Он отставил стакан и стал водить пальцем по влажному кружку, оставшемуся на скатерти. Не подымая глаз, сказал:

— Если не ошибаюсь, когда святому Августину задавали вопрос, он отвечал: «Если ты не спрашиваешь, я знаю, если спрашиваешь — не знаю».

Ана откинулась на спинку стула, как будто со вздохом:

— Вы мне все-таки не ответили.

Алехандро стало как-то не по себе. Им овладело какое-то внезапное раздражение, он и сам не знал почему. Это лицо с правильными чертами — даже красивое,— этот пристальный взгляд, устремленный на него, вдруг вызвали в нем какое-то беспокойство, если не смущение. Он ясно понял теперь, что взгляд этот означал недоверие, а не твердость характера — недоверие к нему, к его жизненным планам, к его мечтам, которые он так долго лелеял.

В первый раз ему ясно представилось то, что до сих пор возникало в мыслях лишь отвлеченно и отрывочно. И из этой ясности остро возник вопрос: «каким я кажусь этой девушке? И сможет ли она победить в себе презрение к тем, кто когда-то покинул эту страну? Не спрашивает ли она себя: что ищет он теперь на родине? И зачем приехал сюда, если выбрал себе для родины другую страну, к тому же враждебную нам? И какое право имеет он искать своей судьбы здесь, после стольких лет отсутствия?»

Он провел рукой по столу, стирая вычерченные им водяные узоры.

— Вы уже помогли мне,— сказал он.— Я приехал лишь час назад, и у меня уже есть кто-то, с кем я могу говорить...

— И однако же, вы чем-то недовольны. Или огорчены, не знаю. Лицо у вас стало такое серьезное...

Алехандро почувствовал в ее голосе какое-то смущенье. Он протянул ей сигареты. Она взяла одну, постучала кончиком по столу и поднесла ко рту. Он скрипнул зажигалкой. Глаза у Аны блестели; они были черные, и в них было беспокойство. Алехандро медленно курил. У него в мозгу вертелся один вопрос, который он не решался задать. Попытался было пару раз, да так и смолчал. Наконец, глубоко затянувшись, он решился:

— Если я вас спрошу одну вещь, вы мне правду ответите? — И не останавливаясь, продолжал: — Что вы думаете обо мне?

Ана тоже затянулась и сказала, неожиданно нахмурясь:

— Это какие сигареты?

— «Мальборо»...

— Мягкие...

— И больше вы мне не скажете ничего?

Она погасила сигарету и пожала плечами:

— Что я могу вам сказать? Я только что с вами познакомилась, вы угостили меня хорошей сигаретой и спрашиваете, какого я о вас мнения. Вот нас официант обслуживает. Что вы о нем думаете? Хороший ли он семьянин или нет?

— Вы не хотите меня понять.

— Я понимаю вас. Я тоже задам вам вопрос: что вы сами о себе думаете?

Лицо ее было спокойно. Алехандро молчал. Губы его как-то сами собой сложились в горькую складку.

— Простите меня,— сказала Ана.— Я не хотела быть резкой... Я не должна была...

— Нет, Ана, как раз должны были. Я вам задал глупый вопрос и к тому же просил ответить откровенно. Вот вы и ответили. Все правильно.

— Я обещала Эухении вам помочь и шла сюда с таким намерением,— с заминкой отозвалась она.— Я, кажется, неважно его выполняю. Но не осложняйте мне задачи.

— Я очень благодарен Марии Эухении, но мне не хотелось бы причинять вам беспокойство.

— Дело не в беспокойстве...

— Я, понимаете ли, сложный.

Ана поднесла к губам бокал прохладительного. Затем, оглянувшись вокруг, сказала как-то растерянно:

— Вы там, наверно, не привыкли к спорам.

— Спорим, как все.

— Тогда почему вы обижены?

— Я не обижен.

— Знаете, как тут у нас говорят: указание. Но когда я вам указываю на что-то, вы сердитесь. Так нельзя...

Алехандро посмотрел на нее удивленно:

— Указание?

— Да, и на указания никто не сердится. Они не для того, чтоб обидеть, а для того, чтоб человек сосредоточился и подумал. Надо исходить из того, что всякий человек может чему-либо научиться и что от всякого человека можно чему-либо научиться.

— Указание...— повторил про себя Алехандро и не мог удержаться от улыбки. Он махнул официанту, чтоб принес два бокала «ром-коллинза».— Значит, если ты делаешь мне указание, то у тебя можно чему-то научиться. Так?..

Ана укоризненно покачала головой.

— Какой вы странный! То вдруг сердитесь, то смеетесь и называете меня на ты...

В эту минуту официант убрал бокалы и пепельницу и поставил перед ними два «ром-коллинза». Она посмотрела с удивлением.

— Это лимонад такой, с капелькой рома. Я хочу, чтоб ты выпила за мое здоровье. Пью за то, чтоб ты мне и дальше помогала так, как помогла сегодня. Основное в том, что каждый человек может помочь другому, так я понял? — он поднял бокал и отпил большой глоток.— Я все больше убеждаюсь в том, что Пол был прав.

— Пол? А кто это Пол?

Алехандро посмотрел на нее так, словно не понял вопроса. Потом поставил бокал на стол и произнес едва слышно:

— Пол!..

«Когда я в тот раз вернулся домой,— так он мне рассказывал,— у меня в голове уже созрел твердый план: собрать вещи и уехать отсюда. Начать новую жизнь подальше от них всех, включая мистера Коллинза с его постоянно подавленным видом, Платона с его Диалогами, книги по математике и это жилье — обитель мышей и тараканов. Я пошел в ванную и сунул руку в карман вельветового халата, висящего за дверью. Насчитал сто сорок долларов. Половину взял. Немного, если учесть, что это в последний раз. Мама полагала, что в ванную воры не заглянут. Чтоб быть точным — в подражание мистеру Коллинзу,— следует добавить: воры, не относящиеся к так называемому «лону семьи». Я рассчитал, что с этими деньгами доберусь как-нибудь до Нью-Йорка и просуществую с неделю, пока не сориентируюсь. Там у меня должны быть знакомые. Мало, правда. Надо не забыть записную книжку. Когда я опустил руку в карман — проверить, положил ли ее,— мои пальцы наткнулись на смятую, наполовину высыпавшуюся сигарету. Меня вдруг словно током ударило. Я ее разгладил, осторожно, с нежностью. Нервы у меня были взвинчены. Я все старался выбросить из головы образ мистера Коллинза и то, как мой кулак угодил прямо в его угрюмое, высокомерное лицо. Я хотел изгладить из своей памяти воспоминание о колледже и всей этой банде людей жирных, холодных, самовлюбленных, считающих себя выше других из-за того лишь, что у них светлые глаза и волосы, тяжелые челюсти и длинные ноги, и металлический голос, отдававшийся в моих ушах как щелчки счетных машин. Я хотел сбросить с себя все это. Поэтому я дрожащими пальцами собрал в кармане все, что высыпалось, и осторожно засунул в расправленную сигарету. Забыл, где оставил зажигалку. Может, в других джинсах, на дне рюкзака. Я пошел в кухню за спичками.

Сигарета была не из лучших. С тех пор как Сируэлито сбежал из колледжа, в них стали подмешивать что-то. А может, просто другая. Мексиканские можно распознать не только по запаху, но и на ощупь. Я сложил ладони домиком возле рта, чтоб не упустить ни одной струйки дыма. И затянулся два-три раза, глубоко, зажмурив глаза. Я тогда вспомнил стихи, которые ты так часто повторял и которые почему-то приходили мне на память всякий раз, как я зажигал такую сигарету: «стих падает в души людей, как роса на поля». Стихи хорошие, но проклятая трава, которую я курил,— нет. Любая пища для бедных — второсортная, даже эта! Однако вскоре я по-

чувствовал, как дым проник в мое тело и что я словно плыву куда-то, будто в невесомости. Но вместо того чтоб удаляться от меня, гладко выбритое лицо мистера Коллинза все приближалось и приближалось, и я все явственнеи слышал его голос, повторявший слова, с которыми он ежедневно ко мне обращался: «Я попробую говорить с вами как лицо незаинтересованное, мистер Рамирес, может быть, так мы лучше поймем друг друга. Это страна больших возможностей, но это не приют для неудачников. Наша нация имеет прочный фундамент, все здесь создавалось усилиями миллионов людей многих поколений. Иммигранты тоже участвовали в ее становлении. Наша великая страна всегда протягивала руку помощи тем, кто бежал от политической или религиозной нетерпимости. Но надо быть на высоте в любых обстоятельствах. Это, к сожалению, часто забывается. Мы были терпеливы с вами, мистер Рамирес. Но всему есть предел. Эта страна, с е н ь о р Рамирес,— он презрительно улыбался.— Is that the right pronunciation? Я правильно произношу?.. Не может быть пристанищем ублюдков... Это не именно к вам относится...» Но меня не эти его «незаинтересованные» слова так поразили. Я даже не уверен, слышал ли их. Я смотрел на него не отрываясь. В особенности на его нос, сросшийся с верхней губой. Я видел, что, когда эта губа двигалась, кончик носа двигался вместе с нею, словно соглашаясь, как слуга с хозяином. И так было всегда, когда мистер Коллинз обращался ко мне со своими язвительными проповедями, которые я так ни разу и не понял до конца, потому что здешний язык был и остался для меня какой-то тарабарщиной, особенно если на нем говорил мистер Коллинз, и нос его опускался и поднимался, пока уважаемый профессор изрекал свои едкие парадоксы и уничтожающие сентенции, которые создали ему такую популярность среди учеников и которым всегда яростно аплодировала вся аудитория. Но, оказывается, мистер Коллинз на сей раз вовсе не затрагивал своей любимой темы об ублюдках, а спрашивал по курсу. Я вдруг услыхал его голос,— он звучал в каком-то бешеном ритме, во всяком случае для моего нетренированного уха,— произнесший под конец медленно, издевательски растягивая звук «о» в слове «сеньор», чем вызвал бурный хохот учеников: «Будете ли вы любезны отвечать, сень-о-ор Рамирес? It is so? Am I wrong?[1] Впрочем, не трудитесь. Ограничьтесь тем, чтоб выучиться читать по слогам свое имя и фамилию, чтоб мы все могли насладиться звуками гармонического языка вашей родины». И, повернувшись к классу, он легко постучал линейкой по столу, чтоб привлечь внимание, и сказал, дергая своим носом: «Сеньоры, отнеситесь повнимательнее к мистеру Рамиресу; постарайтесь получить от него столько же знаний, сколько он получает от нас...»

Я снова затянулся своей сигаретой. Низшнй сорт! Не годится даже, чтоб отогнать образы, которые хочется забыть... И тут, сквозь дым или сквозь туман, внезапно надвинувшийся из порта через открытое окно, я увидел отца, который тащил за собою мать, словно тюк какой-то... Я не расслышал, что он кричал, да это было и неважно. Он швырнул ее на пол, к моим ногам, поручая ее дальнейшую судьбу мне... Бедная мама не плакала и не пыталась защищаться. Она только приподнялась немного и принялась извлекать медиые монетки из своего старого кошелька и складывать столбиками. Удар тяжелого сапога разрушил эти столбики, но мама не смутилась, достала еще кучку монеток и сложила около меня... Это были маленькие сентаво, и они сразу же таяли в воздухе... Но я не глядел на нее. Я зажигал одну сигарету за другой двадцатидолларовыми билетами... Мне доставляло несказанное удовольствие смотреть, как образ мистера Коллинза исчезает в пламени... Теперь его сменил Томас Джефферсон, он тоже отчитывал меня за что-то, но я, во главе соседских мальчишек, издевался над его нелепым пудреным париком и туфлями с блестящей пряжкой, которые вдруг сменились высокими сапогами, тогда как сам он оказался в полицейской форме... и смешнее всего было то, что вместо президентского жезла он сжимал в руках свиток пергамента, содержащий декларацию американской свободы...

Но тут внезапно кто-то — не Томас Джефферсон — цепко ухватил меня за плечо... И я увидел, что мистер Коллинз уже не улыбается своей иронической улыбкой, а лежит на полу, в окружении учеников, преподавателей и педелей, с удивлением смотрящих, как он сжимает пальцами свой знаменитый нос, из которого ручьями течет кровь. А я словно зажат в тиски множеством рук, крепко держащих меня за плечи, за руки, за шею. Я словно в плену у всех них, но никогда еще я не чувствовал себя таким свободным и таким сильным, никогда еще не стоял так высоко в собственных глазах, как в эту минуту, когда смотрел на лежащего мистера Коллинза, взгляд

[1] Так? Я не ошибся? *(англ.)*.

которого растерянно переходил с моего лица на собственные руки, выпачканные кровью, стекавшей ему в рот, заставлявшей почувствовать свой сладковато-соленый вкус, что одинаков и у профессора литературы из американского колледжа, и у любой свиньи из тех отборных, которых пищевая промышленность Чикаго ежедневно перерабатывает в консервы, или из наших, диких, поджарых и со вздыбленной щетиной, какие кормятся желудями и каких отец обычно сам закалывал для рождественского ужина, там, дома...

Там, дома... Там все было по-другому. Отец сам закалывал к рождеству кабана, привезенного с гор Сьерра-де-лос-Органос; и с этого момента до конца года, когда подавалась на стол фаршированная индейка,— все было одной сплошной радостью, и люди пили пиво и вино, и мне тоже наливали целый стакан пива вечером двадцать четвертого, и все так весело подшучивали надо мной, уверяя, что не потерпят пьяных у нас в доме. А после торжественного прохода царей-волхвов, осыпавших детей целым дождем игрушек, я возвращался в школу; и хотя это возвращение и было, после всей веселой суматохи, немножко грустным, школа там была другая, вовсе не похожая на здешние. Если какая-нибудь учительница обидит, папа сразу шел поговорить с нею или с директором, и все возвращалось на свои места. И никто не смеялся над моим родным языком, ибо он был общий для всех. Самое большое, это что учительница на уроке поправит разок-другой во время чтения вслух, а если опять ошибешься, то шутливо пожурит, всегда по-доброму, и даже приятно было, что ребята смеются. Я и сам с ними смеялся, и от этого урок становился менее скучным, а потом ребята меня окружали, чтоб поддразнить, и так я на несколько минут становился главным из всего класса. И хотя девочек я немножко сторонился — всегда такие дисциплинированные, обо всем-то у них свое суждение,— но и они смеялись с нами вместе, потому что все мы были равны между собой. И все вели себя одинаково: внимательно слушали, что рассказывает учительница. И она никого не унижала, ни над кем не издевалась, не старалась, чтоб кто-то чувствовал себя чужим среди других, отличным от других, не преследовала кого-то за его простонародное имя, словно это грех какой.

Но весь этот мир канул в прошлое. Навсегда. А потом в мою жизнь вошло это слово, уничтожившее все, что было в ней хорошего. Слово, которое я ненавижу всей душой, потому что с ним сразу все переменилось местами: там, где был покой, воцарилась дрожь, где была радость, воцарилось горе. Страх... Страх поселился в моем доме... Страх перед полицией, перед людьми из комитета, перед соседями и просто прохожими. И дом мой, объятый страхом, пришел в полный упадок, превратился в какую-то грязную нору, где поселился хаос. И управляли хаосом три хозяина: недоверье, подозренье, опасенье... Ах, да, мистер Коллинз... Речь мистера Коллинза отличалась суперскоростью, так что не было ни малейшей возможности хоть что-нибудь разобрать... Зато директор колледжа мистер Дэвис произносил слова настолько четко, что, слушая его, я впервые, кажется, за время пребывания в этой школе понял все так ясно, словно со мной говорили на моем родном языке. Так ясно, что и сейчас помню каждое слово: «Вы — позор нашей школы. Применение силы несовместимо с правилами культуры. Вы должны признать, что мы сделали все возможное, чтобы помочь вам. Сотни тысяч наших американцев, законных сыновей народа, не пользуются теми привилегиями, какие были предоставлены вам. Я вынужден поставить вас в известность, сеньор Рамирес, что вы более не принадлежите к корпорации учеников нашего колледжа, и мне остается только выразить сожаление о том, что вы так мало оценили возможность к ней принадлежать...»

...Внезапно я чувствую руку отца, трясущего меня за плечо. Но матери нет с ним... Она появится позднее, волоча ноги, словно они у нее налиты свинцом... Сколько же времени прошло, боже правый?.. Отец трясет меня за плечо и говорит что-то, но слова его толпятся в моем мозгу без порядка и смысла. Я еще не перешагнул границу между виденьем и реальностью... Может быть, отец, хлопающий меня по щекам, чтоб привести в чувство,— все еще виденье? Такое же, как лицо мистера Коллинза на зеленом поле двадцатидолларовых билетов, горящих в моих пальцах? Или как мощная рука Джефферсона, та самая, начертавшая хартию независимости и протянувшаяся ко мне через века, чтоб так вот грясти за плечо, словно это именно я обзывал его какими-то дурными словами...

Я с трудом опускаюсь на постель. Ужасно кружится голова. Но я уже слышу слова отца: «Как? Ты осмеливаешься заниматься такими пакостями в моем доме... в твоем доме?!» Я собираюсь с силами и отвечаю что-то. Кажется, членораздельно...

Мне, то есть, кажется... Не знаю, как отцу... Но язык, хоть и деревянный, уже повинуется мне. И это даже странно, потому что во рту у меня пересохло, словно там сгорело что-то. Но я обязан ответить. И притом именно так... И я отвечаю, сквозь туман и дурноту, заливающие все мое нутро:

— Это больше не мой дом! Он остается тебе!

Теперь отец заметил рюкзак, брошенный в углу. И, не отрывая от него глаз, стал дико кричать:

— Убирайся! Убирайся, чтоб мы никогда тебя больше не видели! Как можно дальше!

— Это как раз то, чего я хочу: уехать далеко-далеко.

— Хоть в пекло! Чтоб я тебя больше не видел! Никогда! Чтоб и духу твоего здесь не было!

И снова — про сигарету... Словно недостаточно сказанного... Я ведь ухожу!.. Так нет же, он принимается метаться по комнате, размахивать руками, рвать на себе волосы, вздымать руки к небу и призывать смерть. Голос у него срывается от ярости, жилы на лбу вздулись так, что вот-вот лопнут. И все твердит одно и то же, словно это бесконечное повторение придает ему новые силы. Он кричит мне про то, как он жертвовал собой, про долгие дни на фабрике — factory! Factory! — про мою несчастную мать, над которой так издеваются в ателье готового платья эти поганые жиды, жулики эти, свиньи эти!.. И вновь и вновь возвращается к своей любимой теме — восхвалению самого себя, и, сев на своего конька, уже не может остановиться. И я снова, в который раз, слышу, какой мой отец благородный, какой труженик, как жертвует всем для семьи, каких усилий ему стоило сколотить сумму, нужную для оплаты моих занятий. И я снова, в который раз, слышу, сквозь заливающий меня туман, что все жертвы приносились для меня, для меня одного. «Из-за тебя покинул я свою родину, чтоб ты не попал в руки коммунистов, чтоб ты смог получить образование, чтоб ты стал настоящим человеком, чтоб у тебя было обеспеченное будущее. Из-за тебя порвал я со своей семьей, из-за тебя твоя мать — как не хотелось ей, бедняжке, покидать свой дом! — целые дни проводит, склонившись над швейной машинкой, удерживаясь от позывов, какие у нее бывают от мочегонного, но вынужденная его принимать, чтоб снизить давление — результат такой работы. Ты не знаешь, что это такое! Ты не знаешь, как тяжело выносить этого вонючего хозяина, который распоряжается даже действием твоих почек! И все во имя чего? Чтоб сын-выродок травил себя марихуаной в то время, когда родители думают, что он в колледже...»

Все... Отец замолк... Задохнулся, как рыба, вытащенная из воды. По-моему, он сейчас упадет без чувств. Плохо с сердцем, видимо. Но нет. Кажется, он приходит в себя, хоть глаза у него и готовы выскочить из орбит. Сжимает живот обеими руками, словно от боли. И снова раздается в моих ушах этот поток слов, произносимых глухим, хриплым, каким-то сдавленным голосом: «Я ни к чему такому не привык. Ты ведь знаешь, что ни у кого из нас таких дурных привычек не было. Там, дома, мы жили естественно, как цветы, и тебя к такой жизни приучили. Я работал много, потому что знал, что мне никто не поможет. Ни на грош. С двенадцати лет я был самостоятельным и выходил на сражение с жизнью один на один. Пока не настал коммунизм, я давал тебе все, что мог. Сам знаешь. Как знаешь и то, что ты мне за это потом сердце вынул...— Тысяча чертей, кончит ли он когда-нибудь?! Оставит ли меня когда-нибудь в покое?! Нет, не оставляет.— Но для тебя все это ничего не значит! Пусть нас здесь эксплуатируют как хотят, пусть пользуются тем, что мы их язык плохо знаем, что законы их нам неизвестны — ведь в этой дерьмовой стране тебе на каждом шагу какой-нибудь закон в нос суют, и все эти законы противоречат один другому, и все тебя в дерьмо втаптывают!.. Когда я бежал от коммунизма, я не думал, что попадусь в грязную ловушку. Но я терплю. А ты? Ты, наша единственная надежда, ты, который на их языке изъясняешься, ты, кто мог бы человеком стать и нас с матерью из этого болота вытащить, пока мы в нем не захлебнулись, ты — разрази тебя гром! — вдруг превращаешься в наркомана!., На отца с матерью тебе, оказывается, наплевать с высокого этажа! Ты хуже, чем все коммунисты и все эти сукины дети, вместе взятые!..»

Я кусал себе губы и вонзал ногти в ладони, чтоб не проронить ни словечка в ответ; но вдруг во мне словно прорвалась плотина какая-то и слова вырвались бурным потоком, захлестнувшим все вокруг,— слова, каких я никогда не решался произнести,

какие я из чувства собственного достоинства хранил в самых темных закоулках своей души:

— Я уже не ученик колледжа! Меня выгнали! Ты слышишь? Выгнали! За то, что я набил морду одному преподавателю. За то, что я осмелился на поступок, на какой ты никогда бы не осмелился по отношению к твоим хозяевам, как бы они с тобой ни обращались! А теперь я сам изгоняю себя из этого дома, чтоб уйти от твоих милостей и добрых пожеланий! Но так просто я не уйду! Тебе придется меня выслушать! Напоследок! Все твое самопожертвование ты можешь завернуть в тряпочку и бросить в море. Я устал слушать, что это из-за меня мы приехали в эту страну. А кто тебе, собственно, сказал, что я собирался сюда ехать? Это было твое решение, тебе за него и отвечать. Со мной ты не советовался и не спрашивал, чего я хочу и чего не хочу. А теперь ты знаешь, во что мы превратились, папа: в жалких нищих! Да еще мучающихся бессильной злобой на весь мир! Но не я в этом виноват, слышишь?! Не я! Мне наплевать на все твои идеи, на твои упреки, на то, что ты обо мне думаешь! Занимайся своими делами, для меня ты уже сделал достаточно. Даже слишком много! Ничего этого мне не нужно! Ничего вообще мне не нужно больше: ни отца, ни матери, ни родины! Теперь ты слушай меня внимательно: для меня Куба — это блюдо фасоли с рисом; а *Штаты* эти самые — куча мерзавцев, которые обращаются со мной как со своим рабом; а мои отец с матерью — бедняги, которые никогда не знали, во что они завтра носом угодят — и вот угодили! Это вы погубили всю нашу жизнь! Слышишь? Вы! Удивляешься? Так вот, я хотел уйти с миром и не высказывать тебе всего этого. Но ты вывел меня из равновесия! Теперь ты знаешь, что я о вас думаю. Но я не таю на вас обиды. Пусть каждый несет свой груз сам. Я хочу жить своей жизнью. Чтоб ошибки были — мои ошибки, а не чужие. Я хочу жить м о е й жизнью, хорошей или дурной, но моей. А не той, которую для меня выбрали. Моей, если даже кончу в помойной яме. И если так случится, и ты узнаешь об этом, считай, что у меня была легкая смерть, потому что я сам эту яму выбрал и никто мне ее не навязывал. С этой минуты я начну делать что хочу. Постараюсь быть самим собой, хоть толком не знаю, какой я есть. Ты понял меня?

Я видел, как он опустил голову, уничтоженный. Но я не почувствовал жалости. Когда стоишь на перепутье, надо выбирать, а не плакать.

Потом я позвонил тебе. Мне негде было переночевать, да и одному невмоготу было. Ни о чем не хотел говорить, но мне нужно было чье-то присутствие. На следующее утро я собирался сесть в автобус, отходящий в Нью-Йорк.

Я услышал в трубке твой голос, Алехандро, сонный и, кажется, недовольный:

— Что с тобой, Пол? Какого черта ты будишь людей по ночам?

И только сейчас, когда услышал твой голос, мне вдруг захотелось плакать...»

В то утро мы завтракали вместе. Пол почти все время молчал и сидел с опущенной головой. Поэтому он не заметил настороженности моих родителей. Возможно, если б и не был так рассеян, он тоже не почувствовал бы ее, потому что они — люди слишком хорошо воспитанные, чтобы выражать свои чувства явно. Но я-то сразу оценил обстановку. И понял, что их ничто так не устраивает, как скрытность Пола и его молчанье. Но и так они были недовольны, за версту видно. В особенности отец. Это не значит, что мама одобряла поведение моего друга; но у нее была какая-то природная склонность к состраданию.

Для Пола тот факт, что мой отец отодвинул от себя тарелку с тостами, явился простой случайностью (если вообще был им замечен). Я же понял все по-иному. Это означало, что отец хочет поскорей отделаться от неприятного ему присутствия моего друга, который, кстати, не заметил, какой взгляд бросила на мужа мама, словно умоляя его проявить немножко снисхождения к вторженцу и в особенности немножко терпения ко мне.

Я же нарочно ограничился за этим завтраком одним кофе, пусть поймут, что я за ними наблюдаю, что ни один их жест, ни один взгляд от меня не ускользают.

Но Пол был слишком подавлен, бедный, чтоб обратить на что-либо внимание. Вдруг он встал и, пытаясь улыбнуться, поблагодарил моих родителей за угощенье. Отец ответил вежливой фразой, выражавшей нечто противоположное его истинным чувствам. Мама опустила голову. Наверно, почувствовала себя неловко от этой подчеркнутой любезности отца. Или жалела моего друга. А может, и меня вместе с ним.

Тут я бросил салфетку на стул и, не глядя на родителей, сказал:

— Пошли, Пол!

Схватил его рюкзак и вышел ловить такси, не дав ему даже времени попрощаться.

Посадив его на автобус, идущий в Нью-Йорк, я почувствовал себя бесконечно одиноким. Я только теперь понял, что значил для меня Пол все это время. Накануне вечером, когда он отвернулся, я сунул ему в рюкзак все деньги, какие у меня были. Теперь, когда шофер положил его багаж на полку, я сказал ему об этом:

— Я тебе туда засунул кое-что...— и показал глазами наверх.

Пол закачал головой, словно не хотел брать. Потом сник как-то безвольно...

— Ты мне напишешь?

Вместо ответа он крепко обнял меня.

— Знаешь что, Але? Оказывается, совсем нелегко жить своей жизнью...

После этого мы смолкли до той самой минуты, как послышалось ворчанье мотора. Тут он ткнул меня ласково в бок и медленно направился к автобусу.

Проводив глазами автобус, увозящий моего друга, я остался стоять, не зная как убить время. Потом побрел по улицам и под конец опустился на скамью в каком-то сквере. Я чувствовал, что моя жалость к Полу переходит в жгучую обиду на родителей; и хотя мне не хотелось ни о чем вспоминать, сейчас каждая мелочь, как нарочно, приходила мне на память и я словно нарочно терзал себя всеми этими воспоминаниями, такими болезненными и такими бесполезными. Это было словно какое-то искупление на христианский манер. Словно я был ответствен за все обиняки, высказанные отцом за завтраком, за его несправедливость, за его надменную холодность, которая могла окончиться трагически и для нашей семьи. Ибо что было бы, если б я тогда бросил ему в лицо вопрос, который созревал в глубине моей души сейчас? В какую растерянность, в какой хаос чувств и мыслей мог ввергнуть всех этот вопрос, который так легко задать и на который так трудно ответить! Что бы произошло, если б вместо того, чтоб швырнуть салфетку — поступок, несовместимый с прививаемыми мне с детства правилами поведения, всегда строго мною соблюдаемыми,— я вдруг спросил: где же тот рай, который вы мне обещали?

Не было рая.

Правда, дядя Энрике и тетя Хулита встретили меня в тот день в аэропорту, как было условлено. Правда, что несколько дней кряду они возили меня на своей машине, чтоб показать город. Правда и то, что они водили меня по разным интересным местам, потому что чувство собственного достоинства не позволяло им поступить со мной, как большинство эмигрантов поступало с вновь приехавшими: тыкать пальцем в витрины шикарных магазинов, заваленных товарами, ослеплять чужим богатством, тупо хвастаться миром, который давал им лишь одно право — на это тупое хвастовство.

— У нас тут есть прекрасные музеи,— разъяснял дядя,— но исторических мест тут нет. Почти нет. Это сравнительно новый город. Но в конце этой или будущей недели мы отправимся с тобой взглянуть на Айбор-сити. Там еще жива память о Марти. Это великая страна, Алехандрито. Ты впоследствии сам убедишься, мальчик...

И тетя рассказала, как хорошо сохранилась «Айбор сигар фэктори»— сигарная фабрика, с лестницы которой произнес Марти свою знаменитую речь, и что у подножья этой лестницы вот уже несколько лет, как высится на пьедестале его бюст и стоит памятная стела.

— Здесь умеют заботиться об исторических местах, даже если они связаны с историей другого народа. То, что я тебе рассказала,— яркий пример уважения к этой истории. Это вот и есть культура и демократия! Какие прекрасные слова!

Тетя прочистила горло, кашлянув в кулачок.

— Марти здесь был принят дружески. Вот как ты теперь. Кубинцы всегда пользовались дружеской поддержкой со стороны этой великой демократии. В колониальные ли времена или в когтях коммунизма. Здесь даже есть проспект, наименованный в честь Кубинской республики. Знаменательно, правда?

Ее слова меня воодушевляли, но и смущали одновременно. В них было столько пафоса, они так торжественно звучали. В них было что-то новое, необычайное, как и само мое прибытие в эту землю обетованную. Я словно заглянул в будущее, провидя близость больших событий и перемен. Меня очень взволновали тогда тетины слова.

— Как, вы сказали, называется это место? Айбор-сити?

Дядя Энрике кивнул головой и по-доброму улыбнулся.

— А этот город далеко от нашего?

Дядя громко расхохотался.

— Ну вот, Алехандрито, ты и попал в западню! Впрочем, все в нее поначалу попадают. Хоть это место и называется «сити», что означает «город», оно — вовсе не город, а только район, где живут латиноамериканцы... В городе Тампа...[1]

Я тоже засмеялся; но мое веселье поубавилось бы, верно, если б я мог понять тогда, что попал в худшую западню, глубокую и страшную, о которой дядя Энрике не обмолвился ни единым словечком; в дьявольскую западню, слишком хитроумно замаскированную, чтоб ее мог заметить новоприбывший, тем более в моем тогдашнем возрасте. В конце-то концов я ее разглядел, но это случилось много позднее... Машина, в которой разъезжаешь по улицам,— не самое удачное место для открытий. Вот когда начинаешь посещать школу, ездить в автобусе, ходить на работу, когда погружаешься с головой в повседневную жизнь, всплывая на поверхность лишь на краткие мгновенья, в кино там сходишь или разопьешь с другом баночку пива,— чтоб затем вновь погрузиться, думая каждый раз, что навсегда... Вот когда попытаешься привыкнуть ко всем здешним порядкам, когда с таким трудом оттолкнешь, наконец, от себя все, что было прежде дорого, и думаешь, что теперь уж достиг заветной черты,— тогда-то и начинаются открытия... И начинаются они с холодной воды, какою тебя вдруг окатывает от чьей-то презрительной улыбки или чьих-то жестоких слов, бьющих тебя по лицу... так узнаешь ты, что все вокруг сильнее тебя. Так узнаешь ты, что именно означает здесь «быть латиноамериканцем».

Эту тяжелую школу прошел я рука об руку с Полом. Вместе мы усвоили, что на нас смотрят как на какие-то странные существа, достойные лишь презрения. И хуже всего то, что мы не сумели бы определить почему. Чувство было такое, будто считают, что внешность у нас — неподобающая, язык наш — неупотребительный, манеры, независимо от полученного в родном доме воспитанья,— шокирующие, вкусы — испорченные... Что разговариваем мы, размахивая руками, как дикари, и выпуская десять слов вместо одного... Что едим такую пищу, какою здесь и свиней не кормят; что слишком экспрессивны, не умеем скрывать своих чувств... Что мы в конечном счете представители народа отсталого, слишком цепляющегося за свои традиции, за уклад семьи, где все друг от друга зависимы и привыкли друг перед другом изливаться, забывая стыд и достоинство. Так что зло, по всей очевидности, таится в нас самих — в том, что мы такие, как мы есть... Другой причины для всеобщего недоброжелательства мы поначалу не могли найти.

Ее вдруг нашел Пол. В этом случае, как и почти всегда, он был моим наставником. Мы были с ним одних лет, но он знал жизнь лучше меня. Я прочел в его беспокойном взгляде, что он — на грани пропасти. И как-то во время каникул он сказал, нервно потирая руки:

— Они с нами обращаются, как с неграми, Але... как здесь обращаются с неграми...

Я стал возражать... Как так? Мы, конечно, не такие краснорожие, как они здесь, но мы и не негры. Мой друг ошибается, верно... Но он настаивал. И в доказательство рассказал мне об одном разговоре между своими родителями, который случайно услышал. Тогда утром его разбудил голос отца, выкрикивающий: «Какое право он имеет так говорить, эта сволочь?!» Потом послышался голос матери, успокаивавший, напоминавший отцу, что у него больное сердце... И снова голос отца, глухой, полный бессильной злобы: «Так что для этого негодяя негры и латиноамериканцы — одно и то же?! Как жалко, что я не могу ему морду набить! До чего ж низко я пал, господи!» Тут голос отца оборвался, а голос матери перешел в тихий шепот.

— Так-то вот...— настаивал Пол,— для них мы все — все равно что негры...

Могло ли быть большее унижение для такого человека, как я — с нежно-розовой кожей, унаследованной от предка-испанца с примесью французской крови (хоть на этот счет имелись и другие мнения, которые к случаю не относятся), для человека из семьи, так чванящейся своей чистокровностью,— чем мысль о том, что не только он, но и все его генеалогическое дерево относится к какой-то «низшей расе»! Что его приравняли к неграм! Подумать только, к неграм!.. Однако я впервые получил хороший урок. И выучил его хорошо... Лучше, чем английский. Английский... Язык Шекс-

[1] В Тампу (штат Флорида, США) Хосе Марти приезжал несколько раз в девяностых годах прошлого века, организуя кубинскую эмиграцию на борьбу против испанского господства на Кубе.

пира, Лонгфелло, Уолта Уитмена... Отец так хотел, чтобы я его выучил... В каждом письме настаивал, чтоб я писал ему на своем новом языке; и когда я как-то, желая доставить ему удовольствие, с огромным трудом и спотыкаясь на каждом слове исполнил эту просьбу и сообщил ему между прочим, что подружился с мальчиком по имени Пол, он был очень доволен и сразу ответил, что это очень хорошо, что у меня есть друг-американец, потому что так мне легче будет выучить язык и привыкнуть к тамошнему образу жизни; и с тех пор в каждом письме приписывал: «привет нашему общему другу Полу». И я так никогда и не решился открыть ему, что настоящее имя Пола было Пабло и что его отец работал на здешней factory.

Вообще я о многом умалчивал в своих письмах к отцу. Он был так уверен в своей правоте в отношении меня... Тогда как мне, в моем одиночестве, с каждым днем становилось труднее защищаться от всего, что меня окружало, выдерживать, не срываясь, явную враждебность моих школьных товарищей, которых оскорбляло одно лишь мое присутствие... И потом: как напишешь всю правду человеку, настолько верящему в себя, в наше общее будущее, как мой отец? Я так и не решился написать ему, что во всем завишу от Пола, которому все время приходится меня защищать, что он мне — как старший брат, какого у меня никогда не было, что он, как крепкая стена, принимает на себя все удары, что мстит за мои обиды, как за свои. Не рассказал я отцу и об одном знаменательном случае... Было это на большой перемене; я стоял, как всегда, у стены, как вдруг один мальчишка, рыжий и веснушчатый, подошел ко мне с вызывающим видом, подбоченившись и криво улыбаясь; выкрикнул что-то, чего я не понял, группе дружков, следовавших за ним, и, прежде чем я успел поднять руку для защиты, вытащил изо рта ком жевательной резинки и с силой влепил мне в волосы:

— Поглядите-ка, ребята, где эта свинья свой «чикле» прячет!

Все вокруг засмеялись. Все, кроме Пола. Он яростно бросился на мальчишку, и, сцепившись, они покатились по земле. И так катались, пока не пришел очередной учитель и не разнял их... Я не рассказал отцу этой истории. Да и что бы я выиграл, рассказав ее человеку, который так далеко, совсем не знает здешней обстановки, так твердо верит в счастливое будущее нашей семьи.

...Я с досадой швырнул сигарету подальше. Я уже не думал о своих родных. Я думал о Поле, о его помраченном лице, о его трагических прощальных словах. Я боялся, что он не будет писать, что он потерян для меня навсегда, что в моей памяти останется лишь печальное лицо, смутно мелькнувшее за стеклом, в которое бил солнечный луч, в то мгновенье, когда автобус уже отходил. Я ощущал в себе самом то бездонное одиночество, какое заполняло его, когда он удалялся в неведомое. Я взглянул на часы. Мне показалось, что я снова слышу слова моего отца, неторопливые, сказанные вскользь, как если б он за столом просил передать ему соль или хлеб:

— Мне стало известно, что твой друг курит марихуану. Это правда?

Вот так: ни словом больше, ни словом меньше. Я, в том же тоне, отозвался: «Да?» — и пожал плечами.

Отец изменился в лице: ему хотелось, чтоб я произнес какое-то суждение, возмутился, осудил... Он должен был быть уверен, что я осуждаю подобное — для собственного спокойствия, главной цели его жизни. Я был смущен: я чувствовал, что невольно сам приближаю развязку, какой хотел бы избежать. Поэтому я ограничился таким ответом: «Если кто-то курит марихуану, то ему, верно, плохо, не так ли? Я знаю нескольких, кто курит. Если мы с тобой будем их осуждать, положение не изменится. Не лучше ли спросить у них, что их к этому привело?..»

Но даже и этот ответ прозвучал для моего отца слишком резко и определенно. К счастью, мамы не было дома, точнее, отец как раз и воспользовался тем, что ее нет дома, считая, что подобная тема разговора, не совместимая с правилами хорошего тона,— не для ее ушей. Отец помолчал, сжав губы. Потом взглянул на меня так, словно он — сама статуя Свободы, взирающая с высоты на жалкий буксиришко, с трудом тащащий за собой огромную баржу.

— Значит, ты не собираешься бросать эту так называемую дружбу?

— Папа, пойми, она совсем не «так называемая»; она — самая настоящая, а настоящие друзья должны прощать друг другу даже слабости.

Но для отца важнее всего было соблюдение приличий. И я с грустью видел,

что наши с ним беседы становятся с каждым днем все менее откровенными; пропасть между нами все углублялась, и уже никакие слова не смогли бы заполнить ее.

Я снова, сквозь задумчивость, услыхал его голос, убеждающий, настаивающий. Он не считал себя ни победителем, ни побежденным — он просто не понимал. Я досадливо отмахнулся от его речей и сказал со вздохом:

— Ну ладно, папа, хватит... Давай переменим тему...

...Хоть у меня внутри словно что-то горело, я зажег еще одну сигарету... Дым так сладко разливался по телу... Я задумчиво смотрел на кончик сигареты — как бумага желтела, как вспыхивала, как сразу рассыпалась пеплом. Я сложил вытянутые ноги крест-накрест и закинул руки на спинку скамьи. Сквозь пышную листву деревьев я различил какой-то памятник. Сомнений быть не могло, я находился в сквере на Восьмой улице. Бродя наугад, я только сейчас определил место, куда зашел,— оно было отмечено особым знаком: памятником, воздвигнутым в честь событий на Плайя-Хирон.

Это навело мои мысли на Фрэнка. Я машинально взглянул на часы, но меня интересовало не так время, как расстояние. Я не мог сообразить, далеко ли до дома Фрэнка, где-то возле Флэгер-стрит. Я снова почувствовал горечь во рту и бросил сигарету на газон. «Выпью у Фрэнка чашечку кофе»,— решил я. Мне необходимо было быть с кем-то рядом. И я зашагал к 17-й авеню. Когда я нажал кнопку звонка, мною вдруг овладела уверенность, что Фрэнка нет дома; но засов, однако, щелкнул, и я увидел его в проеме двери.

— Ба! Ты откуда взялся?!

Я пожал плечами.

— Пришел, чтоб ты меня угостил чашечкой кофе. Идет?

Фрэнк положил руку мне на плечо и повел в комнату.

— Ты узнаешь Крист? — он кивнул на девушку, растянувшуюся на софе.

— Привет, Крист...— вымолвил я, немного смутившись.

— Оставь, пожалуйста, эту дурацкую кличку. Пусть он как хочет, а ты зови меня Кристина, чтоб все буквы на месте...

— Может, глоток вина? — прервал Фрэнк.

— Я б лучше кофе, если не трудно.

Крист медленно поднялась, словно ей стоило больших усилий покинуть софу.

— Я приготовлю,— сказала она.— Вы пока поговорите.

— Вот это значит умная женщина,— сказал Фрэнк.

— Да, умная, очень умная...— говорила Крист, толкая дверь в кухню,— по кубинским понятиям, да?

Поскольку она не стала ждать ответа, мы притворились, будто не расслышали.

— Где ты пропадал?

— Я сейчас проводил Пола. Он уехал в Нью-Йорк.

— А что он там делать будет?

Я пожал плечами.

— Его исключили из колледжа, и он рассорился со своей семьей. Совсем.

Фрэнк грустно покачал головой.

— Да, здесь трудно. Здесь надо держать ухо востро. Я б мог свести его кое с кем из моих тамошних друзей. С людьми, которым я доверяю.

Я наморщил лоб, стараясь понять.

— Вы еще не во всем разбираетесь,— сказал Фрэнк, явно раздосадованный.— А когда разберетесь, будет уже поздно. Вы ищете рай.

— Потерянный рай... как у Мильтона,— грустно улыбнулся я.

— Мильтона или Фиделя Кастро, но потерянный! Послушай, Алехандро, я тебе уже не раз говорил: здесь нельзя терять времени и нельзя вести огонь из одиночного окопа. Ты разве не видишь, в какой стране живешь? Сбросить Кастро — это патриотический долг? А если мы его не сбросим? Здесь ты в тридцать лет — уже старик. Так что мне осталось пять до старости, понятно? И не думай, что у тебя впереди масса времени, которое еще можно терять. Ну а если мы все-таки не скинем Кастро, то что с нами станет? Поэтому я тебе и говорю: есть два дела — общее и личное. Люди не так глупы, они каждую минуту думают о завтрашнем дне. Если у тебя нет за душой ни гроша, то хорош ты будешь, если что...

Он резко поднялся, подошел к буфету и вынул бутылку. Поднял к свету и вгляделся.

— Тут хватит, пока поспеет кофе.

Он снова сел на софу.

— Если б мы сейчас оказались в доме кого-нибудь из наших лидеров, там не отмеряли бы вино по каплям. Там бы ящики вина нашлись. Я вот что тебе скажу,— он хлопнул меня по колену,— я хочу стать не хуже их. И стану. И не пополню собою ряды этих идиотов, которые отправляются на Кубу с нелепыми разными миссиями. А знаешь почему? Потому что здесь дело дрянь. Здесь дело такое — выжить и хоть что-нибудь скопить, тем или иным путем.

Я поднес стакан к губам, но отпил всего глоток.

— А тебе не кажется, что это достаточно безнравственно?

Фрэнк с силой ударил себя по бедру:

— Опять потерянные раи! Да ты не соображаешь разве, что идеализм никуда не ведет?

Он залпом выпил вино и немного успокоился.

— Понимаешь,— сказал он,— здесь соединилось много разных вещей. Это война, а на войне всякий может погибнуть. Но не надо непременно искать смерти; напротив, надо избегать ее, насколько возможно. Почему? Да потому, что не все из нас, кто находится по эту сторону, думают одинаково. Здесь есть самые разные люди. И раз другие «действуют», ты не можешь сидеть сложа руки, понятно? Мораль — это одно, а война — совсем другое. Это не означает, что, когда придет время, мы не будем готовы умереть, чтоб видеть родину свободной; но только когда придет время... А если не придет? Скажи мне, что будем мы с тобой делать в этой стране в тридцать или тридцать пять лет, если Кастро не падет? Ты подумал об этом? А вот я подумал. Это гораздо хуже, чем погибнуть на войне. Я не хочу быть перемолотым на этих их factories. Я не затем приехал в эту страну, чтоб быть рабом. А здесь нас ждет именно это. Потому-то я и сказал тебе, что если б Пол повидался со мной раньше, чем уехать, я связал бы его с некоторыми людьми. У него есть качества, которые сейчас нужны. У тебя тоже есть. Ты головастый. Но только брось ты всякие свои морали и прочие глупости. Здесь можно быть каким угодно, только не наивным: один неверный шаг — и попадешь на factory.

Фрэнк смотрел на меня в упор, и я словно физически ощущал тяжесть его взгляда. Я облизал сухие губы, не зная, как начать. А он жадно ждал моих слов. В этот момент Крист толкнула дверь и вошла в комнату. Поставила на стол подносик и стала разливать кофе.

— Сколько ложечек, Алехандро?

— Я пью горький.

Фрэнк не ответил на ее вопрос, только махнул рукой, чтоб не клала сахар.

— Мужчины всегда пьют горький. Я не помешала?

— Нет, Крист, мы ни о чем особенном не говорили,— сказал Фрэнк.

— А-а...— протянула Крист разочарованно и, откинувшись на спинку кресла, взяла в руки чашечку и стала отпивать маленькими глотками.

— Ну скажи, скажи мне хоть что-нибудь...— настаивал Фрэнк.

— Что я могу тебе сказать? Я слушаю тебя и прихожу в полное отчаяние.

— Но я, по крайней мере, стою обеими ногами на земле, а не витаю в облаках, как ты, Алехандро. Очень легко критиковать искусство тореро, когда ты сам за барьером арены. А что еще делаешь ты, кроме того, что критикуешь?

— Я ищу свой путь, Фрэнк, и ты знаешь это! Ты знаешь, что я вижу все словно в тумане, а хотел бы видеть ясно! Что мне делать? Я готов жизнь отдать, чтоб снова увидеть Кубу; более того, мне необходимо вернуться туда, но не для того, чтоб вести прежнюю жизнь в прежнем нашем мире. Тот мир существует только в мозгу моих родителей; для меня все это миновало навсегда. В этом-то я себя не обманываю. Я хочу вернуться, я хочу уехать из этой страны. Для меня все здесь как огромные болота Эверглейдса [1]: мы все в них потонем. И основное не в том, попаду ли я на factory или получу какое-нибудь местечко в университете. Основное — сама эта страна, которая отталкивает меня и никогда не станет моею.

Фрэнк одним глотком допил кофе и отодвинул чашку.

— Снова все идеализируешь! Нельзя отрывать часть от целого; страна и factory — это одно и то же. И единственное средство защиты от них — иметь капиталец в банке. Теперь смекаешь, нет?

---

[1] Болотистая местность на юге штата Флорида (США).

Я поставил чашку на поднос.

— Но какой ценой?! — выкрикнул я, повернувшись к нему.

Плотно сжав челюсти, Фрэнк встретил мой взгляд.

— Любой ценой, Алехандро. Любой! Не понимаешь разве, что тут не до морали? Что тут о самой жизни речь идет? Кто станет спрашивать у Рокфеллера, как он нажил свои капиталы? Важно их иметь.

— Как в романе Хемингуэя: «иметь или не иметь»,— вмешалась Крист.

— Именно,— заключил Фрэнк.— Но чтоб иметь капиталы, надо... «иметь или не иметь»,— повторил он.

— Так ведь это путь насилия, Фрэнк.

— А ты хочешь быть цветочком в болоте Эверглейдса? Не получится.

— Фрэнк, ты принимал участие в экспедиции, которую настигли у Багамских островов. Это не противоречит твоим словам? — произнесла Крист со скучающим видом.

Фрэнк, не глядя на нее, как-то неопределенно махнул рукой.

— Ради бога! Это был просто красивый жест, чтоб верующие не утратили веру. Публицистический трюк.— Он вдруг пришел в возбуждение.— Я сейчас говорю вам правду, черт вас дери, единственную правду! Поверь, Алехандро, для некоторых людей важна не сама свобода, а возня вокруг нее. Это точно. Но кто знает, что будет потом? Да речь не только о них. Скажи мне, ты веришь, что те, кто здесь выгодно устроился, спустят на тормозах все свои дела, чтоб вернуться на Кубу? Нет, не станут они рисковать во второй раз. Там они все потеряли, здесь вновь как-то подняли голову — и здесь они и останутся. Теперь они, знаешь, в чем заинтересованы? Чтоб эмиграция не прекращалась. Каждый раз, когда на каком-нибудь суденышке сюда прибывает хоть один кубинец, они заполучают нового клиента, понятно? В определенных областях они уже потеснили американцев. Да их тут чуть ли и не больше, чем американцев. И как бы хорошо они раньше на Кубе ни жили, здесь они живут лучше. С деньгами здесь чистый рай. С деньгами, подчеркиваю! И эти самые деньги, Алехандро, надо уметь добывать любым путем...

Я закинул голову, потому что начал задыхаться. Фрэнк молча смотрел на меня. Потом сделал знак Крист, чтоб она пододвинула ему стакан, и, ласково похлопав меня по колену, протянул его мне:

— Выпей, тебе это полезно.

Я стал медленно тянуть вино; Фрэнк опрокинул свой стакан в один присест и вытер губы тыльной стороной руки:

— Я тоже не чувствую почвы под ногами, Алехандро. Так же, как ты. И как Крист...— и добавил глухо: — Но лить слезы не намерен. Здесь выживают сильные, а сильные всегда существовали за счет слабых. Это поле боя выбирал не я, и ничего изменнть я не могу. Я затем и говорю с тобой так прямо, чтоб ты тоже не пытался что-либо изменить...— Он помолчал.— Ты меня презираешь, правда ведь?

Я ответил не сразу. И когда заговорил, голос мой звучал приглушенно, словно это я самому себе говорю:

— Сейчас я не могу тебя понять, Фрэнк, нет, не могу. Я слишком одинок, слишком запутался. Твои слова отдают таким цинизмом... Но ты ошибаешься, я вовсе не презираю тебя. Напротив, я сегодня впервые убедился, что ты — выше меня, да, выше...— я постарался улыбнуться.— Удивляешься? Однако это так. Как бы ни был велик твой цинизм, у тебя есть если не выход, то, по крайней мере, цель, к которой ты стремишься.

Наступила тишина. Фрэнк машинальио поднес к губам пустой стакан.

— Что-то голодновато,— сказала Крист.— Может, я пойду приготовлю чего?

Я все сидел в задумчивости, но Фрэнк стал трясти меня за плечо:

— Ты не слышал, что сказала Крист? Она голодна. Когда женщину одолевает голод, она становится опасной для окружающих.

— Но я всегда голодна и абсолютно ни для кого не опасна,— сказала Крист.

Я улыбнулся, когда она легонько щелкнула меня по щеке.

— Не беспокойся,— сказала она,— с Полом ничего худого не случится.

— Почему, думаешь? — спросил Фрэнк.

— Я не глухая, слышала, что ты тут говорил...— она указала подбородком на створчатую дверь.

— Ладно, я вас приглашаю закусить в кафе «Под черепичной крышей». Согласны?

— Наконец я слышу разумные речи, Фрэнк,— сказала Крист.

— Решаешься, Алехандро? Я вмиг буду готов.— И он быстро вышел из комнаты.

Крист села возле меня и ласково запустила пальцы мне в волосы.

— Успокойся, вот увидишь, с Полом все уладится.

Я взял ее руку и поцеловал.

— Спасибо, Кристина. Ты добрая. Вы с ним давно вместе?

— Да нельзя даже сказать, чтоб мы были вместе... Он тоже добрый... в глубине души. Просто не хочет признаваться, что так же опустошен, как мы все. Потому-то я и говорю, что мы не вполне вместе. Я боюсь, что когда-нибудь, на каком-нибудь углу его найдут продырявленным пулями. Он пугает меня. Не создана я для такой жизни...— она горько улыбнулась,— да пожалуй, и ни для какой другой...

Послышался голос Фрэнка:

— Чего вы там шепчетесь?

— Он меня обольщает,— лениво крикнула ему Крист.

— Ах так?! Правильно делает...

— ...Он такой большой и добрый,— продолжала Крист.— Но я боюсь слишком к нему привязываться. С ним я чувствую себя в безопасности, но как подумаю, что в один прекрасный день его могут убить, мне становится страшно. И я, кажется, начинаю его ненавидеть.

— Он хорошо знает среду, в которой вращается.

— Не думай, что так уж хорошо. Это мир насилия и хищничества, как в фильмах про Чикаго...

Крист искоса взглянула на дверь в другую комнату, за которой в эту минуту послышались шаги Фрэнка, и смолкла.

— Довольно ухаживаний! — сказал он, став на пороге.— Пошли пробовать настоящую кубинскую кухню!

— Ну, так как поживает твой отец?

На добродушном лице играла приветливая улыбка.

— Хорошо, дядя Эдуардо, очень хорошо.

— На этой фотографии,— он подержал ее с минуту в пальцах и положил на стол,— он выглядит на двадцать лет моложе меня.

— Вы тоже хорошо сохранились, дядя.

— Где там сохранился! Ты думаешь, что, сидя на одном рисе с горохом, можно как-то сохраниться?

В это время вошла тетя Обдулия, неся на подносе кофе. Она сразу заулыбалась, как только вступила под арку, которая вела из комнат на галерею, защищенную от солнца декоративными пальмами в больших вазонах.

— Очень крепкий! Специально для тебя! — сказала она, подойдя.

— На всякий случай: знаешь, сколько стоит здесь глоток кофе? Так вот, три песо, не больше и не меньше. По одному песо за унцию. Такие вот дела.

Алехандро взял чашечку и положил себе сахару. Начал медленно помешивать, ожидая, пока они нальют себе.

— Ты без церемоний...— сказала тетя Обдулия.

— Изумительный кофе, тетя, спасибо.

— Но он здесь на вес золота, дружок. На вес золота! — вмешался дядя.

— Перестань, Эдди! Что подумает о нас Алехандро?!

— Раз он приехал на Кубу, то должен знать правду. Разве не так, Алехандрито? Видишь ли, мы как-то еще тянем, поскольку, благодаря бога, у нас осталось кое-что в банке и правительство нам выплачивает пока за нашу недвижимость — пару домиков. Ерунда, в общем! Но что поделаешь? По крайней мере не умираем с голоду. Я был не так дальновиден, как твой отец. Схватился, как с горы скатился.

— Твой дядя всегда был слишком доверчив... Друзья его предупреждали...

Дядя, казалось, не слышал слов жены.

— Вот чего я никак не пойму,— сказал он, обращаясь словно к самому себе,— никогда б я не подумал, что американцы оставят нас на милость коммунистов. Я знаю,

политика есть политика, но иногда мне кажется, что все это — какой-то кошмарный сон, от которого я внезапно проснусь.

— Будет тебе, Эдди, у тебя кофе остынет...— сказала тетя с мягким упреком.

— Да, сон не проходит...— Он отпил из чашки и вздохнул.— И правда, крепкий. А скажи-ка мне, Алехандро, как тебе взбрело в голову приехать сюда?

Он глядел прямо в глаза племяннику; пил маленькими глотками, причмокивая языком, но не отводил пристального взгляда, словно желая угадать что-то. Алехандро улыбнулся ему.

— Хотел взглянуть своими глазами. У меня ведь тоже есть здесь родня. Разве не так?

— Точно. И скоро остаточек твоей родни подойдет... Они в университете. Уже недолго до получения диплома. И сколько они с этим дипломом зарабатывать будут? Гроши! Иметь частную врачебную практику или собственную клинику, как была у твоего отца,— это теперь несбыточно, понимаешь?

— Образование никогда не повредит.

Дядя дернул головой, как лошадь в тугой уздечке.

— Да, да, культура. Для того и учатся. Чтоб не отстать от кухаркиных детей. Согласен.— Он снова выпил глоток.— Но ты не в курсе дела, милый. В этой стране хуже всего тем, кто работает. Я уж тебе говорил: по одному песо за банку сгущенного молока! Понимаешь? И здесь и там одно и то же: кто вертит выгодными делами, тот богат — как бы ни старались эти люди закрывать глаза на реальную действительность. Хоть бы у тебя три образования было! Чтоб иметь приличные брюки — не такие, как по талонам дают, а действительно приличные,— врач должен проработать две недели. Теперь смекаешь?

— Хуже всего эти девушки из федерации...— вмешалась тетя.— Нас, старших, они не трогают, но бедным девочкам от них ни минуты покоя. То собрания в Комитете [1], то труд на добровольных началах, всегда что-нибудь да придумают.

— Мы, ясно, не хотим отставать,— прервал дядя.— Девочки делают что могут, во всяком случае то, что необходимо, чтоб окончить курс без особых препятствий. И все время приходится брать справки от врача! У обеих астма, понимаешь? Я им даже респираторы достал, чтоб в портфеле носили. Какая уж тут работа в поле!

В этом месте дядиной речи тетя принялась безутешно качать головой.

— Вы там даже себе не представляете, как нам приходится туго. В письме ведь всего не расскажешь. Один неверный шаг — и начинаются осложнения. Эти люди на все способны. У нашей семьи одна политика: как-нибудь да просуществовать. Приспособляясь к окружающим условиям. Подобно хамелеону...— пояснила она свою мысль.

— Девочкам мы сказали ясно: ни во что не вмешивайтесь, со всем соглашайтесь, а там видно будет.

Алехандро смотрел на эти лица, ставшие такими вдруг сокрушенными, и не знал, что и думать. «Вот, значит, каков он, наш фамильный герой, в борьбе против «кастро-коммунизма»... — открыл он для себя.— Это и есть человек, который, по словам отца, рисковал своей жизнью из-за принципов, стоящих над материальным благополучием, над общими словами, ежедневно повторяемыми в газетах и речах,— так часто повторяемыми, по мнению отца, что постепенно теряют свой подлинный великий смысл? Это и есть тот фамильный вклад, какой люди нашего класса вносят в жизнь общества в критические моменты, когда весь окружающий мир колеблется, угрожая рухнуть, и необходимо подставить ему подпорки для блага всего человечества, во имя того, чтоб это беспечное и бездумное человечество могло и дальше предаваться мечтам?..» Он вглядывался в это постаревшее лицо и пытался представить себе, каким было оно лет пятнадцать назад... Пытался увидеть его еще молодым, решительным... Но воображение сопротивлялось подобной попытке... Этот человек с поредевшими волосами, в очках с толстой оправой, с этими его обширными познаниями в области цен на любую мелочь, был одним из руководителей — или, во всяком случае, активных участников — контрреволюционной борьбы, организации вооруженных групп в горах Эскамбрая, что было воспринято как героический подвиг теми, кто остался в тылу, когда прекратилось все это беспорядочное бегство. Алехандро пришлось сделать огромное усилие, чтоб представить себе этого человека — так погруженного в цены на черном рынке — во главе какого-нибудь министерства и принимающего решения, от которых зависит судьба миллионов людей. У него было

[1] Имеется в виду Комитет защиты революции.

такое чувство, будто он рассматривает бактерию под микроскопом. Какая-то горечь залила его. Он тупо смотрел в эти глаза навыкате под толстыми стеклами очков. Он уже давно перестал слушать этого человека. Он слышал только шелест слов, лишенных смысла. И вдруг испугался, что могут заметить его рассеянность. Чтоб как-то скрыть ее, а заодно и переменить тему, он вытащил из кармана сигареты.

— Вы курите, дядя?

— О! «Мальборо!»

— Хотите?

Дядя как-то церемонно протянул руку, взял сигарету, с наслаждением понюхал и продолжал смотреть на нее как на какой-то музейный экспонат.

— Прямо боюсь зажечь, дружок. Целых двадцать лет курил такое...— он бросил взгляд на жену и сдержался,— такую отраву, что не знаю, как уж мне эти покажутся.

Алехандро протянул пачку тете. Но она сдержанно отодвинула ее, улыбнувшись благодарной улыбкой.

— Обдулия никогда не курила,— сказал дядя, затягиваясь и полузакрыв глаза. Потом пустил колечко дыма вверх и вздохнул с видимым наслаждением.— Первая настоящая сигарета за двадцать лет. Старушка, ты б дала нам еще по чашечке кофе, а? — он повернулся к племяннику: — Ты и представить себе не можешь, как я завидую твоим родителям. Но не из-за того, что ты, наверно, думаешь, а из-за тебя.— Он помолчал.— Если б у нас был сын, все было бы иначе. Понимаешь? Нельзя рассчитывать, что девочки могут выбиться в люди самостоятельно.

— По крайней мере, все мы вместе, Эдди. Это что-нибудь да значит.

— Девочки — статья особая. Влюбятся и...

— Они слушаются тебя, Эдди,— возразила тетя суховато.

Старик кивнул, не отрывая глаз от Алехандро.

— Да, слушаются. Но эта, как ее там, из Федерации женщин, вскружила им голову. Их манеры уже не те, Алехандро! Они, бедняжки, этого не замечают. Иногда вдруг такое скажут, что просто непонятно, как это могло прийти в голову девочкам такого утонченного воспитания! — Он развел ладони, словно что-то просыпалось у него сквозь пальцы.— Мы, верно, были с ними недостаточно строги. Мы должны были поступить как твои родители и не сделали этого. Отсюда — все остальное.

— Ради бога, Эдди...

Дядя повернулся к жене:

— Но, черт подери! Але — свой человек. Поверь мне, Але, нелегко вырастить дочерей приличными девушками под гнетом коммунизма!

Тетя Обдулия сидела, затаив дыханье. И смотрела на мужа строго. Однако когда она заговорила, в голосе ее слышалось смирение:

— Не знаю, какое впечатление они на тебя произведут, Алехандрито, но твои кузины — очаровательные девушки, сам увидишь.

Дядя безнадежно опустил голову. Но сразу же встряхнулся, хлопнул по ручке кресла и сказал с легким хохотком:

— Что мы, правда? Как на поминках! Ведь тянем нашу телегу, хорошо ли, плохо ли, а тянем! А там увидим... Пока что еще не случалось, чтоб у нас не нашлось двадцати песо на хлеб. В этот дом никогда не входила нужда, это уж точно. Когда приличный обед можно было достать только в ресторанах, мы платили по десять, а то и пятнадцать песо тому, кто постоит за нас в очереди. Теперь мы покупаем что угодно за какую угодно цену. Пока у нас не отняли нашу маленькую ренту и то, что у нас в банке лежит, мы не будем терпеть нужду. Потому что, будь покоен, в этой стране, слава богу, хоть бизнес и считается одиозным, но вырвать с корнем его не могут.

Алехандро внимательно следил за сменой настроений дяди, за его внезапным оживлением, за его показным восторгом от хорошей сигареты, за кольцами дыма, так лихо пускаемыми им под самый потолок, за его эмфатическими жестами в момент когда он не находил нужного слова. Его супруга, казалось, была в восторге от этого позерства: она смотрела на него в каком-то даже экстазе, словно внезапно обрела прежнюю веру в него.

По настоянию дяди Алехандро принялся рассказывать о родителях, их занятиях, положении, квартале, где они живут. Ему пришлось подробнейшим образом описать их дом и всех тамошних знакомых.

— Этих людей я не помню! — прерывал его время от времени дядя Эдуардо.— Ты их знала, Обдулия?

Алехандро обратил внимание, что старик вдруг нахмурился, и вскоре послышалось нетерпеливое постукивание по ручке кресла. Он ясно представил себе, о чем думает старик в эту минуту. И чтоб еще более сосредоточить его на этих мыслях, снова протянул ему пачку сигарет, заключив со вздохом:

— Каждый год, на пасху, мама работает в одной лавке, заворачивает пасхальные подарки...

Тетя Обдулия резко вздернула голову.

— Твоя мать заворачивает пасхальные подарки? — переспросила она изумленно.

— Там это в порядке вещей, тетя; способ приработка, как любой другой.

— Но, милый мой!..— тетя задохнулась и приложила руку к груди.

— Ты думаешь, там лавки такие, как здесь? — резко вступил в разговор дядя.— Думаешь, такие же жалкие лавчонки, где все по талонам?..— Тут он почувствовал негодующий взгляд жены и немного растерялся: — Ладно, я тоже не в восторге от ее занятий, но хочу только сказать, что лавки здесь и лавки там — две разные вещи...— поправился он.

Но Алехандро не слышал его последних слов. Его поразил тяжелый, пристальный взгляд, какой бросила на мужа тетя Обдулия, эта улыбчивая, хлебосольная тетя Обдулия, что еще так недавно хлопотала, чтоб приготовить самый крепкий, самый кубинский кофе в честь приезда племянника, которого они потеряли из виду ребенком и который теперь вернулся с «живописной сединой», украсившей завитки его коротких бачков. Тетя смотрела на своего мужа из темной глубины давней и тайной обиды. Алехандро прочел этот взгляд... Разве не его, Алехандро, мать, дочь этого неуклюжего гиганта с громоподобным басом, была тою, кто замутил чистоту крови старинного рода, поддерживаемую в течение стольких поколений? Разве не его, Алехандро, отец — старший из сыновей, который должен был служить оплотом для семьи, а не подрывать ее устои, буйная голова, чей нрав не созрел еще для понимания важности некоторых вещей, на которых зиждется фундамент его рода...— разве не он превратил то, что могло остаться в тени, как случайный проступок, в нечто окончательное и необратимое, перевернувшее все обычные понятия, в нечто — о, ведь его предупреждали! — послужившее началом всего этого кровосмешения, всей трагедии рода, дотоле крепкого, как дуб, противостоящий всем ветрам, и с той поры уже не сумевшего выпрямиться?!

Дядя чувствовал, наверно, в эту минуту тяжесть двух взглядов: взгляда жены, полного темной мести, и взгляда племянника, спокойного и испытующего. А может быть, этот взрослый теперь человек был в курсе всех кипений и шептаний, всех тайных заговоров, рождавшихся в лоне его семьи еще до его собственного рождения? Дядя посмотрел на племянника: перед ним сидел совсем чужой человек, непрошеный гость, с которым не знаешь чего придерживаться и который пока что ничем не проявил себя, кроме изящной манеры курить... Поэтому дядя, чтоб заполнить время, принялся подробно рассказывать про шикарные магазины, какие есть в Майами, про универмаги «Мэйси» в Нью-Йорке — «там можно все купить: от булавки до самолета». Беседа незаметно приняла более общий характер, и когда тетя Обдулия объявила, что завтрак на столе, они уже говорили о жизни в Соединенных Штатах вообще, в общих чертах...

— Прошу к столу...

Алехандро взглянул на часы и хотел было извиниться и распрощаться, но властный тон дяди заставил его изменить свое намерение.

— Ты что, обидеть нас хочешь? — сказал старик, хватая его за рукав и таща в столовую. И добавил, уже мягче: — Увидишь, как твой дядя сумел прилично устроиться и в этой обстановке...

Они прошли по галерее, вдоль довольно неухоженного сада. В глубине величественно высилось хлебное дерево с его огромными плодами и стояли плотной группой так называемые «пальмы путника». Загородка, отделяющая галерею от столовой, была складная, вдоль всей стены, и сейчас сдвинута. Алехандро рассматривал старинную мебель столовой, в колониальном стиле, тяжелый стол красного дерева, серебряные приборы и посуду английского фарфора, красиво разложенные и расставленные на этом столе. Высокие бокалы были из богемского стекла и хрусталя-баккара-

ра, а в центре стола пламенела огромная охапка цветов, только что собранных в саду.

— Да это прямо как пикник, словно на природе...

Дядя благодарно улыбнулся в ответ на подобную похвалу.

— Мы не можем предложить тебе вина, потому что оно теперь редко бывает, а когда бывает, то самое плохое. Где теперь прежние кьянти, «Фаиска», «Маркес де Рискаль»? Изредка в лавках появляется одно, прозванное здесь «Панчо Бравый», или одно русское, какое мы бы раньше и на соус не употребили. Но видишь, какой я окорок отхватил? Понял теперь? Надо иметь кое-что в кармане и хорошие связи. Тогда все в порядке.

Дядя разглагольствовал во время всего завтрака; супруга смотрела на него с гневным блеском в глазах, но молчала и только подкладывала в тарелки, хотя сама почти ничего не ела. Алехандро чувствовал, что им все более овладевает немота, и ему казалось, что дядя этим даже доволен, как заправский артист, чувствующий, что представление удалось.

— ... так что тебе вдруг вздумалось совершить прогулочку в наши места. Это прекрасно! Ты увидишь своими глазами, как живут люди, которые лишили нас всего. Прежде бывало, что за всю жизнь съездишь куда-нибудь раза два. Кто хоть раз увидит Париж, считался богачом. А теперь, знаешь, как эти их руководители живут? Нынче на колесах и завтра на колесах. Любой негр по три раза в год в Европу отправляется. Да какое там — негр! Целый самолет, набитый неграми! И зачем, думаешь? Гонять мяч или бить в барабан. Даже в шахматы играют!.. В этом тоже их пресловутая «классовая борьба». Как говорится: отойди в сторонку, я на твое место встану!

Алехандро жевал и машинально кивал головой. Дядя положил нож с вилкой на тарелку и взглянул на него значительно:

— Ты не знаешь, от чего уберегся. Ни малейшего представления не имеешь.

Алехандро поднял глаза, заметил напыщенный вид дяди и почувствовал, что необходимо хоть что-нибудь сказать. А то ведь дядя подозрителен...

— Не все то золото, что блестит.

Глаза у дяди стали совсем круглые.

— Как так?

— Мне приходится тратить сто пятьдесят долларов в месяц, чтоб выплатить за мое образование. Еще долго придется так вот выплачивать.

Дядя вдруг вздел руки, словно взвешивая множество подавляющих аргументов и не зная, какой из них следует выбрать в ответ на эти слова. Затем ограничился высокопарной улыбкой...

— Да что для тебя составляют какие-то сто пятьдесят песо, если ты зарабатываешь по нескольку тысяч в год? Что живешь широко — это правильно. Это верная гарантия, что тебя кто-нибудь не обскачет. Естественный отбор, знаешь ли...

Алехандро искал решающий довод, чтоб прекратить эту полемику; поэтому, когда дядя стал усиленно рассыпаться насчет очевидных выгод капиталистической системы, ему вдруг сделалось так спокойно, словно он укрылся от дождя под цинковый навес.

— ... это все особенно заметно на людях, которые сейчас начинают сюда приезжать. Большинство из них были голодные оборванцы, а теперь взглянешь — прямо цари-волхвы. Всем подарки привозят. Когда они приезжают, весь квартал начинает ходить нарядный, как в Майами. Для меня так эти факты красноречивее всяких слов. Я человек практический. Если б дело было в словах, то наши земляки были бы сейчас на первом месте в мире!

В речах дяди было то хорошо, что они побуждали к воспоминаниям. Алехандро снова увидел, как мирно сидит в самолете, летящем на Кубу, и как неожиданно оказывается средь всей этой кутерьмы, средь этой толпы людей, охваченных веселым безумием, которые во внезапном порыве развязывали свои узлы, опоражнивали чемоданы и коробки, надевали одну одежду на другую — и все это под взрывы смеха и радостные возгласы. Вначале Алехандро ничего не понимал. Все здесь происходило по законам, ему неведомым. Старуха, у которой было место рядом с ним, разъяснила ему лаконически и доверительно: «Таможенный досмотр! Сейчас начнется!» Он вдруг почувствовал унижение от такого соседства. Зажег сигарету и попытался успокоиться. «Каждый преследует свою цель,— подумал он,— моя мне известна, а вот

их-то какова?» Он не мог отделаться от чувства презрения, глядя на эту бесформенную кучку людей с какими-то стертыми лицами, счастливых тем, что собираются перехитрить таможню всеми возможными и невозможными способами... Толпятся, как стадо скота... Он ощущал себя меж ними чужаком, принадлежащим к другому какому-то миру, быть может выдуманному. Он представил себе, как нелепо должна выглядеть сейчас его одинокая фигура в стороне от этого вопящего и жестикулирующего человечества, направившего всю силу своего ума на то, чтоб избежать уплаты таможенных пошлин путем позорных и одновременно комических увертюр.

Он вспомнил старуху с девочкой — дочь или внучка? — и как она вдруг вскочила, якобы в туалет, таща толстую дорожную сумку, и как, по возвращении, она все одергивала кофту и поправляла огромные груди, каких у нее только что не было и какие, когда она вновь садилась на место, безбожно выпирали, как она ни старалась их умять своими бесстыдными похлопываниями. И как потом улыбочка — бессильная и умоляющая улыбочка воришки, пойманного с поличным,— прокралась на ее губы, и, подмигнув соседу, она прошептала одно слово, одно-единственное, но очень значимое: «Кофе!» Алехандро отвел взгляд от этих глаз, в которых могла бы светиться мудрость и которые сейчас блеснули крохотной жалкой радостью от своей крохотной жалкой победы. Невольно он взглянул на детское личико ее спутницы; но эта только сжала обеими руками свои груди, словно защищаясь, густо покраснела и опустила голову. Эта внезапная краска стыда на девичьих щеках немного успокоила Алехандро.

Но унижения на этом не кончились. Несколько позже, когда они под палящим солнцем ждали у трапа «Ил-62» служебного автобуса, оказалось, что шофер не согласен ехать, пока кузов не заполнится. Когда все вошли, духота стала нестерпимая. Наконец автобус двинулся и через несколько минут остановился у таможни. Все вышли. Женщина, шедшая рядом с Алехандро, вдруг пошатнулась и схватила его за руку. «Я сейчас потеряю сознание»,— пробормотала она. Мужчина, идущий с другого боку, тоже поддержал ее. Сразу ее окружили, и Алехандро услыхал, как кто-то насмешливо бросил на ходу: «Эта старуха — сундук на двух ногах!»

Но тут голос дяди заглушил голос воспоминаний и вернул Алехандро к действительности:

— Слушай, ты почему не ешь? Или стряпня моей Обдулии тебе не по вкусу пришлась, а?

Нет, стряпня пришлась ему очень по вкусу, и после подобного признания ему положили еще жаркого. И пока кроткая тетя Обдулия накладывала это блюдо ему на тарелку с ловкостью, неожиданной для ее нежных рук, он услышал не менее нежный звук ее голоса, произносящего:

— Ах, Алехандрито, я такая нелепая! Еще не спросила у тебя о матери! Как она там? Все такая же красавица? Нравится ей в Майами?

Да, мама чувствует себя хорошо, мама не постарела, мама не тоскует по утраченному добру, мама покупает в бакалейной лавке сколько угодно кофе, мама делает всем подарки под Новый год, очень изящные (она ведь их сама с таким искусством заворачивает), мама счастлива, особенно когда дома все спокойно.

Они закончили обед и перешли в другую комнату — выпить еще по чашечке кофе. Было уже довольно поздно, когда из университета вернулись обе кузины. Завязался общий разговор, а под конец произошла та памятная сцена, о которой ему как раз и не хотелось бы вспоминать.

Приняв душ, она накинула халат, включила вентилятор и бросилась плашмя на постель. Когда мать вошла с чашечкой кофе, Ана только приподнялась на локте и протянула руку.

— Мне кажется, я сегодня не способна встать даже из-за голода,— сказала она.

Мать молча кивнула и направилась к двери, покуда Ана зажигала сигарету и ставила пепельницу к себе на грудь. Ветерок от вентилятора приятно щекотал лицо. Она как-то вся обмякла и словно плыла куда-то.

Внезапно она поймала себя на том, что думает об Алехандро. Сначала наплыло воспоминание о его голосе и словах, какие произносил этот голос. Потом его образ начал обрисовываться все в новых чертах, пока не предстал пред нею как наяву: его взгляд, особая манера двигать руками, подобно дирижеру, направляющему оркестр, его рот, произносящий каждое слово, будто пробуя на вкус. «Я, как только

ступил на эту землю, заметил большие перемены. Таможенники, служащие отеля — все вели себя со мною как-то для меня непривычно. Дело не в простой любезности. Мне показалось, что жесты, выражение лица, интонации голоса — все вдруг стало мне близким, узнаваемым. Я, наверно, неясно говорю...» Это были его слова. Но тут всплывало одно обстоятельство, которое вдруг стало ее беспокоить, тем более что объяснения ему не находилось: почему Мария Эухения впутала ее в это дело? Почему она должна теперь всюду сопровождать этого?..

Невольно приходилось ей возвращаться к образам, прочно забытым, припоминать лица, какие давно исчезли из ее памяти, как она полагала, навсегда и которые теперь выплывали из прошлого и представали перед нею настойчиво и неотступно. Это были люди из ее квартала, с ее улицы, из ее дома, мужчины и женщины, составлявшие человеческий пейзаж ее детства и в один прекрасный день решившие перестать быть этим пейзажем, чтоб исчезнуть в темной пустоте забвения. И вдруг сейчас они возвращаются, и притом в самом последнем своем воплощении, окончательном своем варианте, какой приняли в момент своего бегства... Она вновь увидела их — в попытках совратить тех, кто оставался, в хлопотах по нелегальной отправке мебели и одежды и, в завершение всего, в постыдном раже, с каким они уничтожали все, что не могли взять с собой. Она вновь увидела все эти холодильники, радиоприемники, телевизоры — искореженные, «чтоб не попали в руки коммунистам»... и как беглецы, опьянев от ярости, крушили раковины и унитазы, засоряли трубы...

«Что общего у меня с этими людьми?» — подумала она. И с неприязнью припомнила слова Алехандро, сказанные с такой сердечностью: «Мне особенно приятно, что ты так радушно приняла меня, Ана. Ты даже не представляешь, как много это для меня значит». И он дополнил эти слова пристальным взглядом, выражавшим благодарность и печаль. «Зачем Мария Эухения впутала меня во все это?» Она чуть не произнесла вслух этот горький упрек.

Теперь она уже не ощущала усталости. Она была крайне раздражена против сестры. Почему бы той не пригласить его к себе, в Пунта-Горда, и пускай бы там разговаривали хоть целый век! Но ее-то почему должны интересовать чувства чужого человека, приехавшего сюда, чтоб успокоить свою совесть, или утвердиться в решении, принятом не им, или же просто из любопытства? Если смотреть в корень, то существует только два лагеря: тех, кто идет в ногу с историей, и тех, кто стоит у нее на дороге. Так-то. Два поезда, идущих один в одном направлении, другой в противоположном. Перекрещение их путей — лишь мгновенная случайность. И в ее отношениях с Алехандро нельзя об этом забывать...

Она попыталась вспомнить кое-что из их разговора. Но вспомнила только смутно, что он говорил что-то о корнях своей жизни, уходящих в прошлое. Конечно, куда ж ему еще поместить эти свои «корни» в разговоре с нею? Но ей-то что до его корней?! Зачем сестра повесила ей на шею этот камень? «Я ж и родилась-то, когда он уже уехал! Он ведь ее друг детства, а не мой! И вообще неизвестно, что ему тут надо, в чем настоящая цель его путешествия, и сам ли по себе он приехал или подослан кем-нибудь?..» Она погасила сигарету, с досадой ткнув ее в пепельницу.

— И теперь вот я должна день и ночь возиться с «червяком» [1], как у нас прозвали всех этих... кто от нас уполз!.. — воскликнула она громко и грозно.

И повернулась к стене.

Если совсем откровенно, то она немного погорячилась: в глубине души она не верила, что этот человек кем-то подослан. А то зачем бы он стал разыскивать именно ее? Что могла она сообщить ему такого, что не напечатано в «Гранме»? Очень сомнительно, нелепо даже... И потом: кто же приезжает с тайной миссией, предварительно известив о себе письмом? Он и раньше часто писал, хоть ему никогда не отвечали. Все к Марии Эухении, долго писал к ней. Жаль, что эти письма не сохранились! Вот прочесть бы их теперь! А то приходится прибегать к воспоминаниям сестры, иногда матери. Но мать так скупа на слова — покачает головой и скажет: «Бедняга погрузили в самолет как чемодан какой. Он там оказался один, совсем один. И потом стал такие письма писать, что душа разрывается, как вспомнишь...»

И хоть письма эти писались ребенком, что-нибудь они да означали. И ведь говорит же о чем-то его теперешнее поведение, эта его грустная озабоченность? Но, может быть, это ошибочное впечатление?.. Разве ЦРУ пришлет агента, у которого все на лице написано? Эта мысль пронзила ее своей сокрушительной логикой. Но сразу

[1] «Червяками» («гусанос») на Кубе называют контрреволюционеров.

же эта логика была сокрушена в свою очередь новым соображением: а разве станет ЦРУ посылать такого агента, который в первом же разговоре жалуется на свою судьбу? И почему обязательно агент ЦРУ! Разве покинуть родину и стать «червяком» — этого мало?!

Она разом вскочила с постели и направилась в кухню:

— Мама, этот парень, Алехандро, давно перестал писать?

Мать неопределенно пожала плечами:

— Трудно сказать. Надоело, верно, вот и перестал. Года два писал, даже, пожалуй, дольше; но твой отец никогда не разрешал Марии Эухении отвечать на его письма. Я-то жалела его, очень... Представь себе, мальчик, воспитанный в роскоши, и вдруг его посылают на чужбину одного-одинешенька...

— А куда подевались письма?

— Бог его знает! Кто в наше время думает о письмах, доченька?..

Несмотря на усталость и теплоту в комнате, она никак не могла уснуть — так, лежала с открытыми глазами. Вообще-то нечего делать из всего этого какой-то детективный роман: если их впустили, значит, так надо. Кроме того, она уже выполнила обещание, данное сестре: встретилась с этим человеком, была с ним вежлива, даже внимательна, помогла ему сориентироваться в новой обстановке. С его стороны было б теперь вполне естественно начать ездить по разным местам, посещать друзей и знакомых, как сделал бы любой на его месте. Возможно, он теперь оставит ее в покое. Покрутится по Гаване, найдет себе новую компанию. Это будет ему нетрудно. Он милый, привлекательный...

И когда уже засыпала, ее в сердце ударила совсем неожиданная мысль: а вдруг он из тех, кто прыгает на полном ходу с поезда? Вдруг из тех?!

Сквозь дремоту слышала она, что звонит телефон, долго и упорно. Потом звонок прекратился и в знойном воздухе вечера слышалось только жалобное стенание старого вентилятора. Но ей почудились мягкие шаги матери в коридоре, потом тихо скрипнула, приоткрывшись, дверь, и раздался голос, нарочито тихий, словно чтоб она не проснулась, словно чтоб не ответила, чтоб не вставала:

— Анита, тебя к телефону...

— Все это очень сложно,— сказала она задумчиво и не глядя на него, когда они беседовали, сидя вдвоем в сумраке бара, и у Алехандро было такое чувство, что с каждым ее словом этот сумрак рассеивается.

Два дня тому назад он бросил вскользь какую-то ироническую фразу насчет мирного сосуществования, и Ана мгновенно вспыхнула и ответила что-то резкое. Но теперь ее речь текла спокойно, без нажима, словно ей хотелось скорее что-то объяснить, в чем-то убедить. Два дня назад все было вообще по-другому. Совсем по-другому. Едва положив трубку, он уже раскаивался, что позвонил ей. Его охватила вдруг такая усталость... Быть может, виною тому была невыносимая духота, которая словно липнет к телу, так что кажется, будто на тебе сейчас загорится кожа. Или безотчетный страх, охватывающий людей в тропиках, что этот весомый, влажный воздух вот-вот сгустится в водяной пар, в клочки ваты, во что-то, чему никак не проникнуть в наши легкие... Но дело было не только в этой дремотной духоте. Просто ему не хотелось быть одному, просто ему нужно было любой ценой прогнать призраков, которые его преследовали. Вечер в доме дяди оказался горьким испытанием. После посещения этого дома он чувствовал себя так, словно ему перепилили кости; он и сейчас еще ощущал жгучую боль от той пилы, скрипящей по его телу. И одиночество... Как и в Майами, как и в Детройте, как и в Нью-Йорке, одиночество висело над его головой подобно бескрайнему серому небу. Сжимало душу, словно холодная морская глубь, оставляющая пловцу, занятому подводным ловом, лишь недосягаемый отблеск солнца и жизни.

Несколько раз собирался он спуститься вниз, чтоб выпить чего-нибудь, а вернее, чтоб перемолвиться словом с барменом и послушать его рассуждение насчет сравнительных качеств виски, водки и джина, звучащее монотонно, как дальний шум прибоя. Тогда-то и пришло ему в голову позвонить ей.

Поначалу он думал было, что поступил правильно. В первую секунду, едва он услышал ее голос, одиночество будто бы отпустило его немножко. Но уже очень скоро у него хватило душевной ясности — иначе, пожалуй, не скажешь — заметить в ее голосе легкое какое-то смущение. Словно она не была в чем-то уверена. Говорила

как-то нехотя, была какая-то далекая, не такая, как в первый раз. Потом уступила его якобы настойчивости, какой он и не думал проявлять, потому что раскаивался уже, что позвонил. К тому ж он почувствовал вдруг такой упадок сил, что с ужасом подумал о том, как сейчас надо выходить, тащиться куда-то по незнакомому городу, в обществе существа чужого и далекого, вдруг потерявшего для него всякий интерес, да еще и улыбаться этому существу. Сейчас он уже предпочитал свой уединенный и тихий номер в отеле беспокойному кипению гаванских улиц, с их удручающей жарой, сгущающейся по вечерам, когда даже легкий ветер стихает и все вокруг замирает в неподвижности, словно повисая в раскаленном воздухе.

Наверно, было б лучше зайти, как он и собирался, в эту самую «Сирену», пропустить стаканчик, поболтать с барменом и послушать, что хорошего скажет этот добрый человек из желания угодить посетителю или в надежде на чаевые. Было б лучше... Во всяком случае, он подумал так, когда положил трубку. Подумал так, но поступил иначе.

Вернулся он совершенно измученный, но какой-то обновленный, хоть и пришлось полгорода пройти. Больше всего он мечтал зайти в бар и заказать «ром-коллинз», попросив, чтоб положили побольше льда. Проведя платком по лицу, он сказал ей об этом:

— Я бы сейчас выпил целое озеро!

Ана улыбнулась, как всегда, когда он отпускал одну из своих шуточек.

— Ты устала?

— С чего ты взял?

— Не знаю, как ты можешь спокойно выносить этот климат!

Ана улыбнулась, на сей раз со смирением,

— А почему ты думаешь, что я его выношу спокойно?

Они шли по набережной Малекон. Море под лунным светом поблескивало, как спина огромной рыбины. Вдалеке мерцали огоньки нескольких рыбачьих шлюпов, бросивших якорь в глубоководье. Небо над головой было иссиня-черное. И на его глянцевом фоне, проткнутом звездами, высокие силуэты зданий вдоль побережья казались гранитными памятниками; несмотря на свет, падающий из их окон, они представлялись необитаемыми.

Алехандро остановился и оперся о каменный парапет набережной.

— Твой город очень красив. Я не перестаю любоваться им.

Она не отвечала. Села рядом с ним и следовала глазами за взглядом его глаз, старающихся охватить окрестность, словно боясь упустить хотя бы одну черту, одну точку на этом небе или на этих стенах... Ей уже приходилось видеть такой его взгляд, и она знала, что сейчас он не здесь, рядом, а где-то далёко, далёко.

— Какую силу таят в себе образы прошлого...

Она и на сей раз не ответила. «Как это он сумел так быстро найти линию поведения, созвучную чувствам другого человека?» — спрашивала она себя. И подумала: «Сейчас он начнет рассказывать мне про свое детство».

И когда Алехандро действительно начал рассказывать, он никак не мог понять, что означает эта внезапная беглая улыбка на лице Аны.

- Я хотел привести в какую-то систему мои воспоминания о моем детстве на Кубе, а оказывается, их почти и нет. Но ты и представить себе не можешь, какая в них сила! — Он опустил голову.— Я всегда называл их «мои волшебные острова». Я так ясно представлял себе эти острова...

Ана смотрела на него задумчиво.

— Для тебя все по-иному,— добавил Алехандро,— тебе не надо было хранить в памяти обрывки знакомого пейзажа. Он все время был у тебя перед глазами. И если менялся, то и ты менялась вместе с ним.— Он опять улыбнулся, но на сей раз как-то грустно и растерянно.— Я не могу примириться с этими пустотами. Мне кажется, если потерпевший кораблекрушение попадает на необитаемый остров, он в мечтах видит свой родной край. Если жизнь разламывается надвое, надо мечтать о той ее половине, что осталась далеко.

Он обернулся и бросил долгий взгляд на море, на огоньки рыбачьих шлюпов, мерцающие вдали:

— Прощай, о море, Антильское море... Откуда это?

— Если про Антильское море, то, похоже, это строчка из Гильена. Но тут у нас Мексиканский залив.

— Вот видишь! Значит, надо выпить «ром-коллинз»!..

Они снова пошли по набережной.

— И до чего хорошо было бы выпить его вот тут, присев на парапете! Чтоб прямо сюда и принесли! Если б Малекон находился в Майами, то уж будь уверена, там оборудовали бы огромный бар на открытом воздухе, между Эль-Морро и Ла-Чоррерой [1]. От неоновых огней неба было б не видно.

Они поднимались по склону, протянувшемуся от отеля «Насиональ» до бывшего памятника броненосцу «Мэн». Внезапный ветерок освежил их на секунду, но коснулся только лица, не уменьшив жара, сжигающего изнутри.

— Будем надеяться, что нам повезет,— сказал Алехандро, беря свою спутницу под руку на крутом подъеме.— Представляешь, если в баре мест нет?

Им, однако, повезло. Бар был, правда, полнехонек, но в момент, когда они вошли, один столик как раз освободился и официант посадил их; и сразу же принес два «ром-коллинз». Алехандро разом выпил свой бокал и вздохнул с облегчением. Он пристально посмотрел на свою приятельницу, и губы его сложились в горькую улыбку.

— У меня осталось странное чувство от сегодняшнего разговора по телефону,— сказал он.

Ана молча взяла сигарету и стала вертеть ее в пальцах. Он протянул ей зажигалку.

— Я просто была усталая,— сказала она, не подымая глаз.— Только что пришла и не было как-то сил выходить снова.

— И ничего больше?

Ана молча затянулась, и взгляды их встретились сквозь душистый дым. В полусумраке ее глаза казались очень большими, и какое-то странное выражение промелькнуло в них. Она опустила голову.

— Ничего... пожалуй...

Алехандро искоса взглянул на бармена за стойкой в призрачном свете бара, приготовлявшего коктейль «дайкири». И продолжал смотреть на улыбчивое лицо этого человека, пока снова не услышал голос Аны:

— Ты не обижайся... Столько лет безо всякого общения! Чего только в голову не придет... Тебе, пожалуй, и не понять так сразу.

— Почему же не понять?

Что еще мог он здесь услышать, если с каждой минутой все более уверялся, что он совсем чужой в этой среде, если с каждой минутой ему становился все резче виден неуловимый водораздел между ним и ею?.. И есть ли на свете худшее зло, чем оказаться неузнанным на этой зыбкой дороге жизни, квадратиком из кубика-головоломки, который никак не приладить на единственно возможном пространстве, ибо он не подходит ни по форме, ни по тону и не лезет ни в один просвет? Основная причина — он теперь понимал это — в том, что он перестал быть таким, как эти люди. Основная причина — в этих двадцати годах, отделивших его от них. В тех дорогах, которыми он без них шел. Это, в общем, Ана ему и сказала, запинаясь на каждом слове. Что ответить ей? Что его самым тайным и чистым желанием было приехать и оказаться одним из них? Что самый вид кубинских берегов был для него вспышкой молнии, сжегшей все былое и открывшей ему ворота самых заветных его мечтаний — «вот приеду и сразу же смешаюсь с толпой...»?! О, как это замечательно — быть одним из многих! А тут тебе с самого начала суют в лицо твою обособленность, которая всем, оказывается, видна и которую скорее должен бы чувствовать новоприбывший, кто стремился сюда в поисках истины, долженствующей открыться ему теперь или никогда!..

Но он только повторил, сухо и жестко, чтоб скрыть свое потрясение:

— Почему не понять?

Ей, однако, показалось, что в голосе Алехандро прозвучала презрительная гордыня, и она ответила обиженно:

— Если б понимал, то не делал бы такое презрительное лицо!

Но тут она подняла на него глаза, увидела, с какой болью он на нее смотрит, и добавила, уже мягче:

---

[1] Эль-Морро — старинная крепость с маяком при входе в Гаванскую бухту; Ла Чоррера — небольшая бухта в районе Ведадо г. Гаваны.

— Ты так долго был за тридевять земель отсюда. Для меня все, кто там, казались одинаковы. Теперь... ну, теперь эта перемена меня удивляет, как и всех здесь. Это что-то новое. К этому надо привыкнуть.

Алехандро криво усмехнулся:

— К чему привыкнуть? К мирному сосуществованию?..

И вот сейчас, через два дня после такого разговора, когда они снова сидели в баре «Сирена» отеля «Насиональ», тема эта снова всплыла, и Алехандро, движимый скрытой обидой или чувством горечи, которую только сейчас осознал, повторил свой иронический вопрос:

— К чему привыкнуть? К мирному сосуществованию?

Но она, опустив голову, ответила уже не так резко, как в прошлый раз:

— Это все очень сложно, Алехандро... Зачем такая ирония?

За соседним столиком смеялись. Кто-то, по-видимому, рассказал забавный анекдот. Алехандро оглянулся на них, не видя...

— Все здесь у нас ново не только для вас, но и для нас самих,— сказала Ана.— Не думай, пожалуйста, что мне с тобой легко. Это не одно и то же — говорить с тобой или с любым товарищем из наших. Он меня сразу поймет, а тебе надо все объяснять.

Алехандро почувствовал, что его будто ударили. Перед ним была женщина, способная несколькими словами душу перевернуть... Он все более ощущал, что если и блуждает по лабиринту, то нить Ариадны уже у него в руках. И однако, она глядела на него неприветливо.

— Ты обладаешь странным даром говорить как раз те слова, которые мне нужны...— вырвалось у него.

За соседним столиком так хохотали, что Ана едва расслышала, что он сказал. И ответила хмуро:

— Зато ты всегда выражаешься загадочно. Нельзя ли яснее?

Словно сбросив с себя тяжелый камень, Алехандро стал говорить, сбивчиво, взволнованно, с пылкостью, какой она от него не ожидала, какую сочла бы невозможной для него еще несколько минут назад:

— Меня как раз это и беспокоило: как здесь на меня посмотрят. Между нами большой разрыв, это так, но я больше всего на свете боялся, что этим разрывом меня будут попрекать.

Тут послышался голос Аны, протестующий, оскорбленный.

— Никто тебя не попрекает!

Он резко махнул рукой, не давая ей продолжать. Кипящие в нем мысли и чувства требовали выхода. Но они были сбивчивы, эти мысли и чувства, и он никак не мог ввести их в единое русло. Он уже не обращал внимания на вызывающий хохот толстяка и его друзей за соседним столиком и, привстав, старался их перекричать, чувствуя, как слова стремятся, торопятся, рвутся с его языка.

— Да, мы разные, разные! — крикнул он ей под конец.

И она, с расширенными, блестящими глазами, кивала головой в знак согласия:

— Я ведь говорила! Говорила!

И он отозвался, словно в бреду:

— Говорила, и даже не знаешь, как я тебе благодарен за это!

Как объяснить этому тоненькому существу, что она, сама того не зная, бросила в разговоре слова, ранящие, как ножом, но одновременно прорвавшие мрак вокруг него? Способна ли она понять, что два-три простых, так вот брошенных вскользь слова могут перевернуть мир? Если сказать ей: «до сих пор мы видели все в сугубо личном свете, как лишь нас, уехавших, касающееся — тех, кто боится протянуть здесь кому-нибудь руку и не получить ответа»,— то она может подумать, что речь идет просто о гордости, о ложном понятии собственного достоинства. Поймет ли, что самое важное — такое важное, как жизнь, как любовь,— нельзя вымаливать словно милостыню?..

Но теперь голос Аны возвышается над выкриками шумных соседей. И этот голос настаивает: так где ж твоя нить Ариадны? И этот вопрос стучит и стучит в его мозгу, как эхо.

— Так где ж она?

Алехандро смотрит на девушку, не понимая, не помня уже, что он сам употребил

в разговоре с нею этот образ... И, допив разом свой бокал, он махнул официанту, чтоб принес еще один.

— А тебе?

Вместо ответа она показала подбородком на свой почти нетронутый. Он снова закурил.

— Ты еще не поняла, где моя нить Ариадны,— сказал он.—Мне представляется сейчас, что я читаю обратное отражение в зеркале собственных чувств. Если и с тобой происходит то же самое, значит, я больше не одинок. Это ж просто: если мы оба ощущаем отчуждение, значит, проблема у нас общая. Я вижу: есть что-то нас объединяющее, независимо от нашей воли. Я начинаю хоть как-то понимать жизнь тех, кто, по мнению моего дяди, «умирает с голоду». Сознательно или нет, здесь ищешь что-то близкое, что считалось потерянным навсегда и что можно найти только здесь. Я, мне кажется, уже преуспел в своих поисках.

Он снова усмехнулся, но теперь без горечи, а скорее робко, даже смущенно.

— Прости мне эту вспышку, моя маленькая Ариадна...

Официант принес «ром-коллинз», взял со стола пепельницу, полную окурков, и поставил на ее место чистую.

— За твое здоровье! — сказал Алехандро, подымая бокал.

— За то, чтоб ты с каждым днем становился менее трудным! — сказала она.

Он кивнул.

— А кто он, твой дядя, который уверяет, что мы все здесь с голоду помираем?

Алехандро улыбнулся:

— Я разве не говорил тебе, что был у родственников?

Она отрицательно покачала головой.

— Да, я решил познакомиться со своей так называемой семьей...— начал он медленно.

И в нескольких словах описал визит к дяде.

— Я чувствую, что у меня с каждым днем все меньше общего с ними со всеми. Мы говорим на разных языках... Вначале я колебался, думал, что нельзя оттолкнуть их так вот, всех разом. Несправедливо. Но теперь убежден в обратном.

Ана допила, сама не заметив, свой ром и вертела в руке бокал, позвякивая кусочком льда. Алехандро подозвал официанта и заказал еще.

— Пока дядя похвалялся своим образом жизни, я спрашивал себя: в чем его сходство со всей этой кучей эмигрантов, которая и сама не знает, зачем уехала и зачем возвращается? И понял: в том, что они оценивают себя и других по благам, какие удалось накопить.

— Погоди,— сказала Ана,— ты говоришь «они», а для меня это «вы». Выдаете себя за землячество, а вот я не вижу никакого землячества, а только кучки людей, которые приезжают, нагруженные всякой дрянью, мелочами разными, свитерами, которыми здесь хвастают. Уехали, ослепленные идеей приобретательства, моралью «общества потребления», а теперь приезжают ослеплять нас. Хотят убедить нас — а может, и себя,— что сделали правильно, уехав. Приезжают будто увидеться с семьей, а на деле — показать себя...

— Поначалу мне казалось, что между нами, уехавшими, существует какая-то общность,— сказал Алехандро.— Я не сразу разобрался, а когда осмелился наконец заглянуть в пропасть, отделяющую меня от многих из них, то пришел в ужас. Потому что понял, что единственная общность между нами — даже внутри моей семьи — это участь изгнанников.— Он помолчал.— Факт истории... Однако все не так просто, и не все тамошние одинаковы. Много показного, верно, но что стоит за ним? Может, за пестрыми тряпками они скрывают свое крушение? Луну ведь видно только с одной стороны.

Лицо Алехандро затуманилось.

— Ты хотел мне о дяде рассказать,— напомнила Ана.

— Ах, да! Очень неприятная произошла сцена, когда девочки вернулись из университета. Неприятно даже вспоминать: девочки вообще-то милые. Но дело в том, что моя мать послала им подарки... Да, то, о чем ты говорила: брюки и пуловеры, и когда я им их отдал, девочки чуть не подрались из-за них. Пришлось вмешаться тетке. Потом они извинялись и улыбались, словно ничего не произошло. А дядя смотрел на все это с улыбкой патриарха. И никому, видимо, кроме меня, эта безобразная сцена не

показалась унизительной. А девочки очень мирно попросили меня передать тете, чтоб прислала по почте ярлычков фирмы «Ли» — для джинсов...

— Ну что ж, прекрасная семья... Кузины-студентки!..

— В рамках «хамелеоновой политики», как выражается дядя. А ты в университете?

— Закончила педагогический. Хотела стать архитектором, но выбрала педагогический по призыву Союза молодых коммунистов. Я горжусь тем, что стала учительницей. Терпеть не могу людей, которые получают образование здесь, чтоб применить его там...

— Да никакого «там» не будет! Хамелеоны, вроде моего дяди, останутся здесь на всю жизнь. Но все-таки я им, признаюсь, благодарен...

— Опять говоришь загадками!..

— Видишь ли, они заставили меня задаться вопросом: что было б хуже, остаться или уехать? Я увидел в девочках отражение самого себя. И я и они — из, так сказать, «социально неадаптировавшихся». Но для них я не вижу возможности возрождения. Они мечтают об этикетках американских фирм — разных там «Ли», «Леви Строс», «Рэнглер». А уехали б — и увидели б собственными глазами крушение мифа.

— Думаешь, увидели б?

— Сама Америка показала бы им это крушение. На каждом шагу показывала бы. Неумолимо.

Ана пожала плечами.

Алехандро допил «ром-коллинз» и поставил пустой бокал на круглую картонную подставочку. Подняв глаза, встретился взглядом с Аной.

— Боюсь быть нескромной, но... Почему ты вдруг стал думать как теперь думаешь? Ведь ты — из зажиточной семьи... Не понимаю...

Алехандро медленно комкал пальцами сигарету, пока в пепельнице не осталось ни единой искры. И смотрел на окурок так пристально, словно в жизни у него не было другой заботы...

Ты говоришь, что не понимаешь. Что сказать тебе в ответ, если я сам не понимаю. Столько лет старался понять, к тому же многое видел своими глазами, и все же...

Чтобы объясниться яснее, надо бы рассказать тебе об Освальдо. Мы с ним встретились снова уже в университете. Он закусывал в кафетерии, а я случайно оказался рядом с ним у стойки. Сначала я его не узнал. Он отрастил бороду за это время. Однако, услышав мой голос, он слегка откинулся назад и радостно меня приветствовал. Кончив закусывать, мы вышли вместе и довольно долго прогуливались, вспоминая прошлое. Мы познакомились в одно далекое воскресенье, выходя из церкви. Освальдо был друг Пола, поскольку Пол, как известно, обладал даром знать всех и вся.

— Это Освальдо,— сказал он мне,— он немножко...— и повертел пальцем у виска.

Освальдо нехотя протянул мне руку. Шутка друга была ему не по вкусу; потому, быть может, что не был уверен, что это шутка. Пол считал его либо маньяком, либо скучным типом, что еще хуже. Всегда сует нос не в свои дела, еще в историю с ним попадешь...

— Если захочешь поскучать, пойди к нему в гости,— настаивал Пол.

— Может, когда-нибудь ты поймешь что к чему...— заметил Освальдо.— Вот тогда и приходи.

В то утро Пол был в раздражении. Он не отозвался на слова друга и обратил взгляд на группу прихожан уже преклонных лет, которые церемонно прощались друг с другом на паперти.

— А что? — вдруг сказал он резко.— Разве это не скучно: потерять здесь целое утро? (Освальдо и я остолбенели от такого внезапного поворота.) Разве не приятнее было бы провести время где-нибудь в другом месте?

Я еще не собрался с мыслями, чтоб достойным образом ему ответить, как он уже принялся размахивать руками и выкрикивать, запинаясь на каждом слове, как всегда, когда бывал взволнован или раздосадован:

— Знаю, знаю! Но почему обязательно надо посещать?.. Человек проникает в пространства вселенной, а мы дальше своего носа не видим!

Может, дурное настроение Пола передалось и нам, или его слова всколыхнули в нас какие-то чувства, только мы оба хранили молчание... А потом Освальдо начал:

— Пошли, выпьем пивка. Деньги у меня есть.

И мы направились к ближайшему бару. И начиная с того воскресенья не пере-

ставали посещать этот крохотный бар. И — странно! — хоть мы тогда и не ответили ничего на слова Пола, но в церковь что-то стали ходить все реже и реже. Мы, правда, встречались там — на паперти,— но сразу же шли в наш бар. А потом и встречаться стали в другом месте...

В тот раз мы примостились у стойки, и Освальдо заказал три пива. Пол немедленно сел на своего конька:

— С этим типом можно говорить только до тех пор, пока он не начнет тянуть свою песню. Убью его когда-нибудь!

— Ты ведешь себя как ребенок, Пол. Дело идет о вещах жизненно важных.

— Теперь у него получается, что негры — важные члены общества...

— Да, и негры, и индейцы, и пуэрториканцы. Мы не должны допустить, чтоб они попали в руки коммунистов. Хоть многие и не понимают, но борьба за гражданские права — это лучшее оружие против коммунизма.

Пол уклонялся от спора, и аргументы его были циничны, как всегда:

— Думай лучше о себе, Освальдо; с нами обоими обращаются здесь как с неграми, а мы от этого не становимся коммунистами. Чего тебе еще?

Освальдо покачал головой в растерянности.

Но для меня все эти разговоры не проходили бесследно. Словно какой-то луч света проникал в затуманившие мой мозг сумерки. Меня занимали мысли Освальдо, хоть я и не хотел ни в коем случае ссориться с Полом. Он был, и в дурном и в хорошем, моей правой рукой...

К счастью, мы с Освальдо жили почти рядом. Это позволило мне часто его навещать и упиваться новизной его взглядов. Где он живет, узнал я как-то вечером, когда мы все собрались у одной подруги Крист. Было скучновато. Кроме нас пришли еще две-три пары, люди всё незнакомые. В довершение прочего, Крист с Полом поссорились и скоро ушли. Послушав давно надоевшую музыку и протанцевав пару раз с незнакомыми девушками, мы поняли, что мы здесь лишние. Они это поняли еще раньше. Так-то любезно они распрощались... Только на улице мы вздохнули свободно. Хозяйка дома ласково махала нам из окна. Мы тоже помахали ей в ответ, посылая ее в душе ко всем чертям.

— Хочешь, пойдем ко мне? Я тебе классическую музыку поставлю!

Вот тогда я и узнал, где он живет. С музыкой мне повезло: он выбрал скрипичный концерт Чайковского. Вот это действительно музыка!

— Послушай,— сказал я,— поговори со мной про гражданские права.

Он посмотрел на меня с удивлением и приглушил немножко звук проигрывателя.

— То, что ты слушаешь,— з а п р е щ е н н а я м у з ы к а, по мнению Пола.— Улыбка сбежала с его губ.— Она тебе нравится? Правда, нравится?

Да, она мне нравилась... Мы тогда проспорили почти целый вечер. Хоть у меня и не было таких четких взглядов на все, как у него, я спорил с ним, чтобы послушать его аргументы — в них непреложная логика. Каждое мое слово он опровергал сокрушительными доводами. Освальдо знал глубоко предмет, о каком рассуждал, и был счастлив, что может поверять свои знания кому-то, кто ими интересуется.

— Речь не только о неграх. Но с них все началось. Дело касается всех национальных меньшинств. Не забывай, что эта страна состоит из чужеземцев. От «Мэйфлауэра»[1] до кубинцев, добирающихся сюда на весельных лодках, или мексиканцев, пересекающих границу вплавь. Их миллионы. Что произойдет, если будет продолжаться их бесправие? — Он помолчал, пристально глядя на меня.— ...То же, что произошло в испанских колониях, или то, что случилось с англичанами здесь.

Он пошел в кухню и принес две бутылки кока-колы.

— Больше у меня ничего нет,— сказал он и вернулся к прерванному разговору.

Когда мы допили свои стаканы, Освальдо остановил проигрыватель.

— Надо понимать демократию в ее истинном и прямом смысле. В прямейшем смысле...— подчеркнул он.

Он не мог и вообразить, что означали эти слова для меня. Мне вдруг захотелось смеяться. Смеяться безудержно. С глаз моих словно спала повязка. Все мои смутные мысли распределились по своим местам и пришли в строгий порядок. Моей единственной реакцией мог быть радостный смех — и я радостно рассмеялся.

— Что с тобой? — удивился он.

---

[1] Корабль, на котором в 1620 году прибыли первые английские колонисты на территорию нынешних Соединенных Штатов.

А мне казалось, что разрозненные стеклышки в калейдоскопе моих мыслей вдруг сомкнулись разом, образовав невиданно яркий узор.

— Хорошо чувствовать, что у тебя есть почва под ногами,— сказал я наконец.

— Ты в этом уверен?

— Уверен. Принеси хоть еще кока-колы: отпразднуем мое прозрение...

Он принес еще две бутылочки. Пока он откупоривал их, я сказал:

— Мне до сих пор не приходило в голову, что все так просто. Но ты, я думаю, прав. Я до сих пор не понимал, что такое гражданские права. Я не думал, что это может касаться и таких, как мы с тобой...

Теперь настала очередь Освальдо изумляться. Но я был слишком взволнован, чтоб заметить это.

— Мы с тобой тоже отщепенцы. Мы живем не в Коконат-Гроув, но если б рухнули перегородки...

Я взял стакан, который протягивал мне Освальдо, и стал вертеть его в руках, глядя на пузырьки, бешено ударяющиеся о стекло или лопающиеся, всплывая на поверхность.

— Ты представляешь себе,— сказал я,— что означало бы жить в этой стране так, как должен жить любой нормальный человек? Если б не существовало никакой сегрегации?

— ...Никакой сегрегации,— повторил я, прощаясь.

Придя домой, я сразу лег, но никак не мог уснуть. Идеи Освальдо пробудили во мне что-то, открывающее передо мною новый путь. Я вдруг почувствовал, что меня тянет в мою страну, что демократические преобразования великой моей страны предоставляют мне возможность направить свою жизнь в верное русло. Мне казалось, словно огромный кусок континента, разом сойдя со своих берегов, вдруг встал передо мною во весь рост и с любовью протягивает ко мне ладони, на которых лежит моя судьба. С этой минуты я почувствовал себя полноправным человеком. Исполнилась мечта моей жизни — я стал одним из всех. Кем-то, твердо знающим свое место в обществе. Кем-то, кто смешался с толпой, кто растворился среди миллионов равных ему существ, как крупинка соли в воде. Кем-то, кто есть часть целого.

Так мечтал я, переходя от одной мечты к другой, покуда, уже в одиннадцать утра, не вошла в комнату мать и не стала раскрывать окна... Я вскочил с постели и расцеловал ее. Я уже давным-давно ее не целовал.

— Ты что, с ума сошел? — сказала она, удивленная.

Я был счастлив, встретив этот новый день с открытыми глазами...

...Сейчас, когда мы с Освальдо сидели на скамейке в саду, я повторил ему свой субботний вопрос. Освальдо поднял на меня глаза и нахмурился.

— К чему ты ведешь?

— Нелегко мне было разобраться в этих гражданских правах.

Я сказал это с улыбкой; но он молчал, мрачный, задумчивый, словно озабоченный.

— Не легко, нет; тут думать надо... Это долгий путь.

Я улыбнулся еще шире:

— Ни негры, ни мы не добьемся чего-то важного. Немногим большего добьемся, чем Мартин Лютер Кинг.

Освальдо сжал губы. Я перестал улыбаться. И добавил:

— Во всем этом есть ключевое понятие: «Establishment». Если б здесь действительно хотели перемен, то они бы произошли. И если даже внешне что-то изменится, по существу все будет по-прежнему.

Освальдо медленно кивал головой в знак согласия. К моему удивлению, он вдруг надел очки, словно чтоб разглядеть меня. Так он казался много старше.

— Не знаю, как думаешь ты, Алехандро, но для меня это был полезный опыт.

Я дружески хлопнул его по колену:

— Один раз я последовал за тобой, но оказалось, что прав-то был Пол.

Он рассмеялся.

— Ты что-нибудь о нем узнал?

— Случайно. Он по-прежнему в Нью-Йорке.

Освальдо в сомнении покачал головой:

— Жаль парня.

Я вытащил сигареты и угостил его. Закурили.

— А что дал тебе твой опыт? — спросил я не без едкости.

Освальдо, пораженный, нахмурил брови.

— Как так, что дал мне?

Но затем, видно, понял и горько улыбнулся, только белые зубы сверкнули сквозь заросль бороды. Затянулся, задрав голову, и залюбовался на пышную шапку клена, подымающегося по ту сторону усыпанной гравием дороги. Меж ветвями порхали какие-то птицы, но, мне кажется, Освальдо их не заметил. Казалось, он смотрит куда-то вдаль, сквозь просветы листвы, в небо, может быть становящееся все синее и свинцовее.

— Дело не только в гражданских правах. Я всегда думал о широком движении социальных реформ внутри и вне страны, какое воспрепятствовало бы развитию коммунизма. Для меня это представлялось единственной формой спасения демократии. Помнишь? — он пристально взглянул на меня и перестал улыбаться.— Происшедшее с Хуаном Бошем[1] было первым ударом ниже пояса, который я получил. Бош казался мне единственным противовесом «кастро-коммунизму». Это был возврат к программе, от которой Фидель отступился, так ведь? Но вместо реформ нас ожидало вторжение. Агрессия против доминиканского народа. Все смели. Убивали студентов. Это был горький опыт. Дикое издевательство — расправа с демократами во имя демократии. Тут-то и открылось мне двойное лицо этой страны. И я пришел к ужасному выводу,— он взглянул на меня поверх очков и улыбнулся, словно нехотя,— что среди здешних демократов я был единственным, кто защищал демократию.

Наступила тишина. Птицы, порхающие по веткам клена, разом взвились в воздух. Освальдо задумчиво шевелил гравий носком ботинка. Я никак не мог освоиться со странным звуком его голоса на последней фразе, а тем более со странным смыслом его слов. Разговор наш принял такой неожиданный оборот, что я растерялся. Однако ответ мой прозвучал резко, хоть и не во всем последовательно:

— Не будь наивным, Освальдо. Одно дело — реформизм, и совсем другое — коммунизм, хоть и в скрытом виде. Кастро и Бош — это одно и то же. Я понимаю, что американцы хотят всегда выглядеть презентабельно, но совсем в другом смысле, чем полагаешь ты: ну, как добрые отцы семейства, усердные прихожане, веротерпимые либералы. Но враги демократии лицемерны по-иному: они говорят от имени народа и кончают тем, что уступают власть коммунистам.

Я тогда не вполне понимал категоричность собственных суждений; да и далек был от того, чтоб на них настаивать. Однако я подумал, что Освальдо сдастся, признает, что зашел слишком далеко в этом своем чувстве разочарования. Но когда он ответил, слова его звучали твердо: казалось даже, что он раскаивается в том, что так легкомысленно мне открылся.

— Ты смотришь на все слишком узко. Теперь получается, что нет возможности идти вперед против того, что установлено.— Он помолчал и добавил: — Ты, может, не отдаешь себе отчета, но ты абсолютно погряз в этом «establishment», который ты путаешь с борьбой за что-то. Я тоже поначалу через это прошел. Я мечтал о плане реформ, охвативших всю Америку, о чем-то вроде «Союза ради прогресса» в духе Кеннеди[2]. Но теперь я спрашиваю себя: какое мы имеем право распоряжаться делами других стран? Иными словами, моя концепция гражданских прав была пропитана представлением о Соединенных Штатах как об управителе жизни — и это относилось не только к кучке латиноамериканцев, живущих здесь, но и к большинству тех, что живут в своих странах. И при этом я еще считал себя передовым человеком! До чего ж мы подвержены влиянию всяческих навязанных нам схем! Подобные словеса впору самому Тэду Рузвельту или Барри Голдуотеру![3]

— Не говори глупостей! — сказал я, но он будто и не слышал.

— После случая с Бошем я задал себе вопрос: если противовес реформизму — вторжение, так куда ж подевалась та демократия, знаменосцами которой мы себя полагали? На деле существует только этот самый «establishment», бросающий свою ги-

---

[1] Хуан Бош (род. 1909) — доминиканский государственный и политический деятель, писатель, лидер буржуазно-реформистского движения, в 1963 году был президентом республики, свергнут реакционерами, поддержанными США.

[2] «Союз ради прогресса»— программа социально-экономического и политического развития стран Латинской Америки, выдвинутая в 1961 году президентом США Джоном Кеннеди.

[3] Теодор Рузвельт (1858—1919) — президент США, ярый империалист. Барри Голдуотер — современный американский реакционный деятель, сенатор.

гантскую тень на весь континент. Каждый родится с ярлыком на шее, на котором обозначена его цена. Малейшая попытка изменить что-либо — и уже кричат: ты коммунист. Есть, правда, один слабый аргумент в защиту подобного порядка вещей — неспособность некоторых стран к свободному искусству демократии.

Мне стало ясно, что Освальдо раскаивается — зачем начал этот разговор? Однако, сраженный его последними словами, я принялся опровергать его не менее желчно:

— Одно дело — этот твой «establishment», и совсем другое — демократические принципы. Одно дело — борьба за упорядочение общества, и совсем другое — косвенное сотрудничество с Кастро и его сторонниками. Мы намерены бороться с ним или не намерены? Он представляет для нас угрозу или не представляет? Я лично не собираюсь подавать Фиделю Кастро на серебряном блюде всю Латинскую Америку!

Лицо Освальдо оставалось замкнутым после этой моей тирады. Он, как и прежде, старательно разгребал гравий носком ботинка, но теперь как-то с сердцем, пристукивая каблуком:

— Ты одержим навязчивой идеей. В Доминиканской Республике была борьба только с теми, кто вторгся. А что ты скажешь об агрессии против Кубы в пятьдесят девятом? Разве она началась не раньше, чем Фидель предпринял свои первые радикальные действия? Не началась ли она, когда национальная буржуазия и мелкобуржуазные слои поддерживали революцию? И не то же ли самое происходило в отношении Гватемалы Арбенса [1]?

Этот град вопросов был брошен мне в лицо, как град камней. Я не нашелся, что на них ответить. Но не это смущало меня. Я смотрел в его глаза, огромные за стеклами очков, смотрел на его гневный рот со сжатыми губами. Мне казалось, что передо мной — лицо незнакомца. Это был не тот Освальдо, которого я знал. Я сказал ему об этом. И притом в единственной форме, какую считал возможной:

— По-моему, ты говоришь как коммунист...

Освальдо сердито сдвинул брови и резким движением швырнул окурок в дорожный гравий.

— Ну, дошли, наконец, до табу! Это вот и есть «Сезам, откройся» нашей политической культуры! Магическое слово — все под себя гнет! Дальше мыслить нечего!

Он опустил голову, вынул пачку сигарет и закурил, забыв предложить мне. Я взял из своих.

— Нет, я не коммунист,— сказал он, опуская в карман спички,— и жаль, что тебе не приходит в голову ничего, кроме такого крутого вывода. Тоже мне Маккарти![2]— он заглянул мне в глаза и добавил: — Если уж тебя интересует мой образ мыслей, то скажу тебе, что я — не коммунист в полном смысле слова, но меня не убеждают и догмы страны, где мы с тобой находимся.

Последнюю фразу он сказал, уже поднявшись и взглянув на часы.

— Опаздываю...— он натянуто улыбнулся.— Мы еще поговорим на все эти темы. Я после занятий работаю в лаборатории.— Он по-военному отдал мне честь.— Уборщик Освальдо Гутьеррес, к вашим услугам...

И он пошел в свою лабораторию. Я видел, как он удалялся по дороге, покрытой золотыми осенними листьями. Сейчас только я заметил, что он прихрамывает. Это была еще одна новая черта, какую я в нем заметил.

Развалившись в шезлонге, Алехандро наблюдал игру света и тени в длинных ветвях пальм. За его спиной подрагивал трамплин и слышался плеск купальщиков, взрыхляющих воду бассейна. Он чувствовал себя отдохнувшим. Помогло ли тут купанье, коктейль или просто солнце, обжигающее ноги,— но он был сейчас как-то больше в ладу с самим собой. Он услыхал бульканье воды под чьими-то шагами. Кто-то, только что из бассейна, приближался. Он почти сразу узнал голос.

— Наслаждаешься кастровским теплом?

Он повернул голову и увидел рядом Эухенио, выжимавшего что-то мокрое.

---

[1] Арбенс Гусман Хакото (1913—1971) — гватемальский политический деятель, лидер демократической революции 1944 г., президент Гватемалы (1951—1954), свергнут с этого поста в результате интервенции, организованной империализмом США.

[2] Джозеф Маккарти — американский сенатор, известный реакционер, организовавший кампанию преследований прогрессивных сил США.

— И теплом от рома «Гавана-клаб»,— сказал Алехандро и указал на сиденье рядом.

Они познакомились в аэропорту Нью-Йорка. Они были примерно одних лет и приехали в Соединенные Штаты почти в одно время. И при почти одинаковых обстоятельствах. Но Эухенио был родом из города Матансас, и его отец держал там лавку, где торговали чем попало.

Он с удовольствием растянулся в шезлонге и махнул рукой, подзывая официанта.

— Ты уже виделся со своими?

Эухенио отрицательно покачал головой.

— Это что — очень далеко отсюда?

— Миль за девяносто,— сказал он, указывая подбородком туда, где должно находиться море, и, не отводя взгляда от олеандров и кротонов, скрывавших его, добавил: — У меня здесь нет никого. Но я не хочу знать эту землю по рассказам — лучше все увидеть, услышать и почувствовать самому.

— Несмотря на «кастризм»?

— Да ведь это только слово... как в «Гамлете»: «Words... words... words...»[1]

Алехандро улыбнулся:

— За эти немногие дни здесь я научился бродить по улицам, не боясь услышать шаги за спиной, Эухенио.

— Они живут как сибонеи, древнее индейское племя, заселявшее этот остров около шести тысяч лет назад,— с дверью настежь. Это что — новый мир? Или, может, как раз древний? Они уже прошли через все испытания, или все испытания у них еще впереди?

Алехандро взглянул на него с любопытством:

— Цивилизация или варварство? Так ты ставишь вопрос?

Эухенио рассмеялся. Но решил закончить свою мысль:

— Не знаю, что ждет меня здесь, но уверен, что там, откуда мы с тобой приехали, варварство проложило себе дорогу сквозь цивилизацию.

Алехандро поставил свой бокал на металлический столик. Ему подумалось, что Эухенио что-то темнит. То тамошние порядки хвалит, то здешние. В общем, правая рука не знает, что делает левая. Словно бежит через мелководье по камешкам и боится, что вдруг поскользнется да и свалится в воду. И однако, именно это так в нем и привлекает... В самой интонации Эухенио, в скрытой робости, с какой он высказывал все эти мысли, чувствовалась боязнь собственного краха. «Жаль, что я ничего о нем не знаю»,— подумал Алехандро. На примере Эухенио он увидел свои собственные сомнения и колебания, невидимые, наверно, для других...

А Эухенио тем временем рассказывал о бригаде строителей, у которых побывал:

— Это нечто совсем новое, знаешь? Ну, пришло ль бы тебе в голову отправиться взглянуть на бригаду строителей где-нибудь в штате Висконсин? Нет ведь? А здесь вот идешь! И знаешь, что я тебе скажу — сугубо по секрету: не просто идешь, а идешь даже с энтузиазмом. Ну, а если не с энтузиазмом, то, уж во всяком случае, с любопытством. Если б я не боялся быть слишком красноречивым, я сказал бы «с надеждой»...

Алехандро смотрел на него молча и пытливо, нахмурившись. Ему хотелось ответить: «Да, Эухенио, ты прав, все новое подкупает страстностью поиска, но требует и полной отдачи всех сил. Здесь нужно терпение ученого, его неустанное упорство, побеждающее любые душевные срывы. Здесь нужна вера мистика, помогающая перенести самые тяжкие испытания. А главное — здесь нужна воля, закаленная в боях, несокрушимая и там, где свистят пули... А таким, как мы с тобой, нужно огромное напряжение, чтобы пережить и познать мгновенно то, что пережили и познали люди в течение этих двадцати лет... А это означает мыслить космически, разглядывая, подобно магу, тайну крохотных частиц вселенной, растворенных в пространстве... Проникать пророчески, подобно ученому-ботанику, в скрытую жизнь дерева по одному только виду его заболони... Читать на песке таинственные письмена, начертанные приливом и скрывающие, быть может, в своих замысловатых узорах образ вечности... Вот что это означает...»

Но все эти высокие слова остались только в душе. Алехандро молчал.

И оба они молчали все остальное время, задумчиво опрокидывая бокал за бокалом. Потому, может быть, что знали: какими бы страстными ни были слова, это все же

[1] «Слова... слова...» *(англ.)*

только слова, пустые слова, бессильные сдернуть покров с загадки, перед которой они стояли. «Слова... слова... слова...» — прав был Гамлет.

— Столько мы тут наговорили, правда?

— Да. Мы приехали из страны, где так уж умеют полировать слова! И какие ж красивые слова-то! Мы их читаем всюду, начиная с Декларации независимости и кончая редакционными статьями «Нью-Йорк таймс». Страна, из которой мы приехали,— самый крупный поставщик красивых слов во все точки земного шара.

Напротив них сквозь густую зеленую шапку ягрумы солнце проливало матовую краснину заката, которая с горизонта подымалась в небо и расстилалась над морем.

— Какой красивый вечер!

— Дивный, но мне хочется есть.

С полотенцами через плечо они пустились в путь. Морской ветерок срывал бумажные салфетки со столиков. В воде бассейна отражались фиалковое небо и их собственные тени, медленно движущиеся в направлении отеля.

Приняв душ, Алехандро стал одеваться к ужину. Повязал галстук, потом развязал и бросил на постель. Лучше попроще. «Да, Ана, я, кажется, уже отчасти освоился...»

Он спустился в ресторан, заказал ужин и стал ждать. Знакомых лиц было мало. Большинство его знакомцев по путешествию разошлось и разъехалось по родственникам; кое-кто присоединился к экскурсиям, организованным Туристическим бюро, или же просто разъезжал на свой счет. Он стал мысленно перечислять... Парня из Пенсильвании он потерял из виду уже через два дня после приезда. Этот уж наверняка «настрелял» с дюжину фотопленок с разными видами и лицами. Старуху с внучкой он так и не встретил — неизвестно, в отеле они остановились или еще где. Молодежь из Майами — супружеская пара или брат с сестрой? — накануне уехала в Сантьяго.

Официант поздоровался и стал расставлять приборы. В этот момент кто-то попросил разрешения сесть за его столик и сразу же сел, прежде чем он успел ответить; быстро заказал обед и попросил поскорей подать пиво и хлеб с маслом.

Его лицо показалось Алехандро очень знакомым.

— Они так медленно обслуживают. Хлебом с пивом хоть червяка заморишь,— пояснил новоприбывший.

Он сказал это очень серьезно, словно не затем, чтоб вступить в разговор, а высказывая глубокое убеждение и не менее глубокую досаду. В эту минуту Алехандро узнал его. Это был мрачный пассажир с их самолета. Он впервые слышал его голос, в котором тоже звучали мрачные ноты.

— Вы путешествовали по стране? — спросил он осторожно.

Мрачный пассажир резко вздернул голову:

— А что еще было мне делать? Я в Гаване никого не знаю. Я из Сан-Хуан-и-Мартинес. Знаете, где это? Ну, святого такого хоть знаете?

Алехандро хотелось ответить, что в жизни не слыхал, чтоб святого называли по фамилии, но, взглянув на лицо собеседника, он сдержался и лишь отрицательно покачал головой.

— В провинции Пинар-дель-Рио, вот где! Вы вот курите, а того не знаете, что Сан-Хуан — это земля, где разводят лучший в мире табак! Там находилась компания «Cuban Land». Слыхали про такую? Производила самый лучший на Кубе табак; а у самого въезда в поселок, по правую руку,— Ойо-де-Монтеррей. Про это вы, верно, слышали. Про это-то уж наверняка знают и те, кто не курит.— Алехандро поспешил сказать, что, безусловно, знает, что такое Ойо-де-Монтеррей, и, конечно же, слышал о компании «Cuban Land» и о поселке Сан-Хуан-и-Гонсалес.

— И-Мартинес! — громовым голосом поправил его мрачный пассажир.— Это мой город. Я там родился и вырос и думал уже, что там меня и зароют... Однако видите, как вышло...

В эту секунду подошел официант с пивом и хотел налить клиенту, но клиент резко вырвал у него из рук бутылку и налил себе сам.

— Принесите вторую! — сказал он и, повернувшись к Алехандро, добавил: — До чего ж не торопятся! В Майами от такого обслуживания все бы уж с голоду умерли!

— Вы живете в Майами?

— У меня там мясная лавка неподалеку от Восьмой улицы, в районе South West.

— В сердце так называемой «малой Гаваны»?

— Именно там. Но... что мне это дает? — он выпил и налил себе снова.— Скажите, что мне это дает при существующем порядке вещей?

Его глаза мрачно блеснули. Он схватил салфетку и вытер ею не только губы, но и шею.

— Заводишь дело, стараешься добиться чего-то в жизни, трудишься как вол, а все зачем? Так недолго и с ума сойти. Нет, разве?

И, заказав еще бутылку пива, он принялся за принесенный обед с остервенением, низко наклоняя лицо над паром от горячего блюда.

Алехандро осторожно рассматривал его. Он ел, почти не подымая головы, и только дергался время от времени, словно отгоняя какую-то докучливую мысль.

Попробовав кофе, принесенный одновременно им обоим, он пробормотал, обернувшись к Алехандро потным, красным лицом:

— Холодный, как кровь мертвеца...

Вынул сигару, яростно откусил кончик, выплюнул его прямо на стол и закурил, пуская струю дыма не в воздух, а вниз, между приборов.— Это лучшее здесь,— сказал он, вертя в пальцах плоскую сигару.— С тех пор как уехал из Сан-Хуана, я не пробовал настоящего табака! Хотите одну?

Алехандро показал взглядом, что у него уже есть сигара. Мрачный пассажир поморщился:

— Кто курит такие, как у вас, не знает, что значит курить; а уж американские тем более...— он смотрел на собеседника серьезно и сдвинув брови.— Скажите мне правду: вы уехали или вас увезли?

— Я был тогда ребенком.

Мрачный пассажир бросил: «Ах, вот что!»— покачал головой и стал задумчиво следить за дымком своей сигары. Лицо его еще более потемнело. Тем не менее когда он поднял глаза на Алехандро, тот заметил в них какую-то тоску.

— У вас есть хоть кого обвинять,— пробормотал он, внимательно рассматривая дым и словно обращаясь не к Алехандро, а к самому себе.

«Сейчас начнет рассказывать свою жизнь,— подумал Алехандро.— Все здесь почему-то рассказывают о собственной жизни. Как на исповеди. И отчего это люди всегда выбирают кого-то незнакомого, чтоб раскрыть ему самые заветные свои тайны?»

Он посмотрел на квадратное лицо собеседника, на его мощные челюсти, узкий лоб и всклокоченные вихры. На крепкие, жилистые руки, привычные, верно, к тяжелой работе. «Дикарь,— подумал он — а, смотри, выбит из колеи. Не может нести свой груз один, должен высказаться, рассказать кому-нибудь свою драму. И что могло приключиться с таким вот беднягой?

— Когда вы уехали? — спросил он, уперев голову в ладони и приготовившись терпеливо слушать.

Собеседник быстро поднял голову и устремил на него вопрошающий взгляд. Лицо его вдруг как-то обмякло, и он начал говорить, тихо и кротко, как преступник, решившийся признаться во всех своих преступлениях:

— В начале всего. Я знал, что против американцев не попрешь. Знал и то, что если не уедешь сразу, то уж не поднять тебе головы ни тут, ни там. Такая большущая страна, да еще с атомной бомбой, никак не допустит, чтоб на острове, который она считала своим, установили коммунистическое правительство. Потому как, вы ж знаете, все лучшее здесь было для американцев. Стоило им нагнуться — и золото само в руки просилось. Вы видели их фермы здешние — аккуратненькие, чистенькие, табачные склады — под цинковым навесом. А дома крестьян-гуахиро? Да как теперь: крыша из пальмовых листьев, да крохотное пятнышко табачных посадок позади... смотреть жалко... И я сказал себе: «Первое, что сделают со мной эти люди,— отнимут мой домишко и мясную лавку». Тут я и говорю жене: «Хасинта,— говорю,— все это вокруг нас и есть коммунизм, так что я уезжаю!» Она выпучила на меня глазищи, но я не дал ей вставить ни словечка, потому что заранее знал, куда она гнуть станет. Потому я сказал ей: «Я уж все обмозговал и со сведущими людьми переговорил (я не сказал, с кем именно, но я и вправду посоветовался с аптекарем и с хозяином «Бабочки» — лучшего у нас магазина готового платья). Лучше-ка собирай давай вещи, да и отправимся, пока не поздно».

Он глубоко затянулся и печально покачал головой.

— Но жена не пожелала уезжать. Не стану описывать вам наши ссоры да свары. Тяжко это было. Мы жили всегда так дружно. Пятнадцать лет вместе — и всегда во

всем согласные. Понимаете? Но дело в том, что ее отец и брат были настроены куда как революционно и уперлись, что, мол, нет да нет. Меня-то им не провести: они и всегда-то были супротивщики. А старик — так тот и вовсе с придурью,— совсем запутался со своими профсоюзными склоками. Сынок давно против Батисты шел, и хорошо еще, что в тюрьму не угодил... Значит, как она мне сказала, что остается, я ей и говорю: «Ладно, как знаешь». Ну, и вскорости я и... не помнинайте лихом. Я все надеялся, что она одумается, приедет ко мне. Я ведь говорил уж: пятнадцать лет душа в душу прожили. Не стану вам врать: тяжко было с детьми расставаться, да я решил, что так для всех лучше. Потом я думал, что когда она одна останется и трудно ей придется, то обязательно ко мне приедет.

Он говорил, не подымая головы, словно разглядывая скатерть на столике. Иногда глубоко затягивался и с силой пускал дым, как делают любители сигар.

Со стола давно убрали, и Алехандро заметил, что метрдотель незаметно бродит мимо них туда-сюда, не переставая любезно улыбаться, но словно намекая, что для беседы можно выбрать и другое место.

— Уже закрывают. Пора уходить.

Когда они поднялись, метрдотель поклонился им, словно благодаря за пониманне.

— Перейдем в бар? Я приглашаю...

— Нет, спасибо,— сказал Алехандро,— пройдемся лучше по саду.

Они вышли из ресторана, поднялись в вестибюль, сейчас полный туристов и чемоданов, и направились к саду. На террасе их встретил свежий ветерок с моря. Сад спускался к самой воде, и по нему вела дорожка, выложенная камнем.

— Вы правда не хотите сигару? — еще раз предложил мрачный пассажир.

— Значит, жена не поехала с вами...

И рассказ продолжался точно с того места, где был прерван.

— Я ждал все, что она уступит, да вышло не так... Мне тогда один человек посоветовал уехать тайно, в лодке, и что удобней всего из Пунта-де-Картас, такое есть место. Грязь да тина. Плати, мол, по две тысячи песо с головы и можешь взять с собой детей. Я не захотел. Теперь думаю, зря я это...

Он вдруг замолчал, подавленный. Задумчиво стал глядеть на огни машин, мчавшихся по улице у подножия отвесной скалы.

Вечер был светлый и тихий, наполненный медовым ароматом тропических цветов. Алехандро глубоко вдохнул этот аромат вместе с запахами моря. Он внезапно забыл про мрачного пассажира. Он почувствовал, что страстно любит этот душистый воздух, это небо над его головой, эту землю под его ногами. Он был так счастлив, глядя на сверкающее, волнующееся море, слушая мирное шуршанье волн о скалы прибрежья. Он вспомнил Ану. Без нее время тянулось медленно, и к нему возвращалось чувство собственного крушения. «Почему тебя нет со мной, Ана?» Он вздохнул глубоко, чтоб наполнить легкие ароматами ночи, но вместо этого наполнил их дымом от сигары мрачного пассажира.

Он обернулся и встретился с ним глазами.

— Нельзя ж было увозить детей от матери... И я к тому ж надеялся, что ведь соединимся же мы когда-нибудь все вместе...

Он загляиул Алехандро в глаза, ища поддержки. Алехаидро кивнул.

— Я всегда был человек честный,— говорил его собеседник, воодушевляясь.— Все, что у меня было, честным трудом нажито. И старая мясная лавка, которую у меня отобрали, и теперешняя. И я всегда заботился об жене и детишках. Посылки им все посылал. И вдруг — понимаете? — она мне письмо шлет, что, мол, не надо больше никаких посылок. И хуже того: что она ребятам ни одного моего подарка не отдала. Это было единственное письмо, какое я от нее получил. А я-то так радовался, посылая эти подарки! Строго обошлась. Не спросила даже, как живу...

И, неожиданно для Алехандро, закончил резко и даже с вызовом:

— Но она меня любит! В глубине души любит, я знаю! Понимаете, сколько лет прошло, а она не вышла снова замуж, одна все... Это точно, мне мои братья писали. А простить мне не может, вот в чем штука! И теперь я думаю: если б остался, был бы сейчас тоже революционером. Вот оно как! Все у меня в голове теперь перевернулось. Сколько всего обмозговать надо было...

— А как они вас приняли? — спросил Алехандро, возвращая его к действительности.

Мрачный пассажир пожал плечами и печально покачал головой:

— Представьте себе — не ждали. Это первое. Потом, вижу я, все вокруг изменилось. Мальчишки мои выросли, взрослые уже. У старшего тоже, оказывается, свои трудности. Он-то больше всех ко мне привязан был... Ученье бросил. Я не особо-то принял это к сердцу, сам неучен, да и ни к чему было. Плохо то, что он пить стал и работать не хочет. Тяжело говорить — в тюрьму попал парень. Как отцу на такое глядеть? Я-то сам в суде отродясь не бывал, даже свидетелем. Представляете? А когда мне жена рассказала, как он в тюрьму-то попал, то я заглянул ей в глаза и увидал, что она меня во всем обвиняет. Получается, что я виноват во всем, что у них случилось плохого за все эти годы. А я-то думал, что для них жертву принес!

Он яростно затянулся и отбросил сигару.

— Теперь его дела вроде бы получше. Дядя, очень влиятельный человек — он из G-2 [1],— за него хлопочет. Но он не простил мне, что я уехал. В тот первый вечер, я, как увидел, что он входит в комнату, спросил его: «Ты меня не узнаешь?» А он удивленно так обращается к матери: «Мама, кто этот человек?..» И когда она ему объяснила кто, он сказал только: «А-а...» — и даже руки не подал. Видите как? Я им добро хотел сделать, а сын не прощает. И жена тоже. Письма мои, оказывается, и не читала — то рвала, а то брату отдавала нераспечатанные. Да вранье это, читала она! Я ведь как-никак муж ей, верно? — он опять закурил.— Все эти годы я как вол работал, оборудовал недурную лавку в Майами, а зачем мне это все? Что я с деньгами этими делать стану? Все ведь для них старался. Мне самому деньги не нужны, я их и тратить не умею. Я в жизни одно только и умею — работать. Теперь-то я пристроился. Она — оттуда. Мы живем вместе, но каждый по-своему. Вы меня понимаете? Я ей немножко помогаю, и на этом все кончается. Женщина тихая. Я на нее не трачу деньги, которые для детей копил. В Майами люди — даже приезжие — только о деньгах и думают. А в старости уж к чему это, верно?

— Вы правы.

— Знаете что? — он вдруг оживился.— Я уверен, что, если б вернулся, жена меня бы приняла. Эх, начать бы все снова! — Но, подняв глаза и встретив печальный взгляд Алехандро, он вздохнул: — Только это невозможно! А мои никогда не уедут отсюда...

Алехандро искал слова, чтоб подбодрить его. И не находил...

В гостиницу они возвращались молча. И как только вступил на террасу, спутник Алехандро снова превратился в мрачного пассажира с самолета на пути в Гавану.

— Может, пойдем выпьем? Хорошо бы...— сказал он сухо.

Алехандро извинился, уклонясь от предложения.

Новый знакомец вдруг схватил его руку, сжал до боли и сказал пылко:

— Ну, вы знаете, где меня найти. Если вы живете в «малой Гаване», обязательно зайдите ко мне в лавку... И послушайтесь моего совета: не ходите туда, где родное... Не стоит труда...

Сказав это, он резко повернулся, с силой толкнул дверь и исчез.

Алехандро спустился со ступеней и один пошел бродить по саду. Огромная луна освещала шапки деревьев и полировала до блеска траву. Он дошел до места, где на постаменте стояли пушки. Немного подальше начиналось море. Огоньки нескольких рыбачьих шхун мерцали, отражаясь в спокойной воде.

«Не ходите туда, где родное... Не стоит труда...» — вспомнил он. А кругом уже разливалась ночь, приводя на память другие образы и картины, и среди них — огромный дом, перед которым он стоял недавно, другим вечером.

Наружность дома совпадала по всем приметам; он узнал его еще издали каким-то внутренним чувством, увидев над густолистьем двух высоких лавров окошко мансарды между зубцами над плоской крышей. И он прочел надпись на скромной дощечке у входа. Сомнений быть не могло — это тот самый дом.

Огромный. Мощная ограда, опоясавшая его,— под стать крепким стенам; но живая изгородь давно исчезла, и трава газона совсем пожухла. В одном только описание не совпадало с реальностью: дом был выкрашен не в белое, а в ярко-синее — даже смотреть больно. Со всей очевидностью, его дядя совсем забыл сюда дорогу.

Старуха — толстая негритянка — усердно подметала террасу. Он наблюдал ее движения, неторопливые, как на замедленной съемке. Поколебавшись с минуту, открыл скрипучую калитку и очутился лицом к лицу с консьержкой, которая прекратила свое занятие и смотрела на него вопрошающе, вытирая пот со лба.

---

[1] G-2 — служба государственной безопасности Кубы.

Ну что ж, это оказалось легче, чем он думал. Поздоровавшись со старухой, в ответ только нахмурившей брови, Алехандро стал расспрашивать: что за дом и кто здесь жил раньше. Она, опираясь обеими руками на метлу и еще больше нахмурившись, вначале не отвечала. Но когда Алехандро приветливо ей улыбнулся, старая негритянка, словно отделавшись от испуга, показала ему свои белые зубы в широкой ответной улыбке.

— Вы их знали?

— Я обещал им, что схожу взглянуть на дом...

— Богатые люди были! — круглые глаза негритянки выражали восхищение.— Сильно богатые! Вы и представить себе не можете. Как же их звали-то, черт возьми? Знала ведь! Голова у меня слабая стала, вот что! — заключила она жалобно.

Тогда он решился задать ей еще вопрос.

Консьержка задумалась.

— Уж и не знаю, можно ли, сынок...— она подняла на него свои кроткие глаза, в которых теперь была грусть, и добавила скороговоркой: — Из такого далека приехали! — Она вдруг снова широко улыбнулась, словно решив что-то для себя: — Вы ведь будете вести себя степенно, правда? — и, переваливаясь, пошла впереди него к дому.— Человека-то по личности видать... Вон, глядите, тут — третий класс,— она приотворила тяжелую кованую дверь и указала на ряды парт, расставленные в просторной зале.

С этой минуты они говорили на разных языках: то, что для нее было классной комнатой второго класса, для Алехандро оказывалось («точно, точно...») маленькой гостиной, где его мать по вечерам беседовала с подругами за чашечкой кофе. В библиотеке отца — как не узнать обшивку красного дерева? — находилась теперь «Дирекция». Дверь была полуоткрыта, и он просунул голову в щель. Старая мебель исчезла. Он напрасно искал взглядом тяжелые кожаные кресла. В глубине стоял стол какого-то конфетного цвета, выглядевший нелепо на фоне этих строгих стен со встроенными шкафами. Ему казалось, что он смотрит на какой-то перевернутый мир, где царит хаос предметов разномастных, из которых некоторые — явно дурного вкуса.

Только теперь он явственно увидел всю перемену. Ему стало больно. Толстуха продолжала открывать перед ним одну дверь за другой, давая пояснения, иногда излишние:

— Это вот кухня...

Нет, не досада так мучила его в эти минуты. Это было что-то глубокое, куда более глубокое, чем простая досада...

Словно горячая лава заливала его сердце. Подымаясь по лестнице, он взглянул на старуху, заметил, как ей трудно всходить на верхний этаж, как тяжело она дышит. Обратил внимание на то, какие стоптанные на ней башмаки, как обветрилась и потрескалась кожа на ее ногах с распухшими щиколотками. Но в эту минуту он не чувствовал сострадания к этой женщине. А ведь только что ему так приятны были и ее открытая улыбка, и ее наивные слова, и ее доверчивый взгляд. Но теперь он смотрел на нее как на картинку в книге или на персонаж из какого-то фильма — толстая, добродушная негритянка,— и где только продюсеры их выкапывают? — создающая образ существа смиренного, покорного, из тех, чья жизнь течет незаметно даже для них самих. Но с той минуты, как она робко приоткрыла перед ним дверь «Дирекции» — убедившись, верно, что он человек воспитанный и безопасный, но боясь, что нарушает свой служебный долг,— и он увидел этот печальный пейзаж опустошения, где все было опрокинуто, сдвинуто с привычных мест, словно сокрушено чьей-то невидимой, безжалостной рукой,— с этой минуты он уже не различал ничего, кроме несмываемых пятен на белом мраморе ступеней; кроме панелей из прессованного картона, небрежно втиснутых между колоннами; кроме облупленных стен с островками голого кирпича там, где обвалилась штукатурка; кроме проводов, свисающих с потолка гроздьями и наскоро перевязанных полосками изоляционной ленты... Как все здесь наспех, как все здесь без памяти о прошлом...

Он подымался дальше, приспосабливая свой шаг к трудному шагу старухи. И постепенно прояснялось овладевшее им чувство, хоть он еще и не мог определить его до конца. Только уж на верхнем этаже, после того как увидел, что роскошная люстра исчезла и вместо нее мигают развешанные и расставленные вразброс флюоресцентные лампы; после того, как смог обозреть сверху донизу все целое, начиная с мраморной балюстрады, величественным пьедесталом парящей над всем пространством вестибюля, из которого вырастает широкая лестница,— только с этой минуты он понял

истинную глубину превращения, какому подвергся его родной дом, понял, как прискорбно необратим для него тот новый путь, по которому двинулась окружающая его жизнь.

Крепко вцепившись в перила, он взглянул вниз. Консьержка остановилась и, подняв голову, тоже смотрела на него. И он сам не узнал своего голоса, когда задал нелепый вопрос:

— Вы их знали?

Послышался сдавленный смешок, и старуха сказала:

— Мальчик, сразу видать, что вы не из прежней жизни! — Она покачала головой, словно отмахиваясь от чего-то, известного лишь ей одной.— Здешние хозяева были люди богатые, сынок. Стоишь, к примеру, против дома, видишь: подъезжает шикарная машина, из нее шофер вылезает. Дак ты думаешь, он шофер как шофер? Это на нем только форма такая. А сам не хуже хозяина богачом выглядывает!

Она помолчала.

— Хозяина я видала разок.— Она перестала улыбаться.— Иду как-то после работы, а он в свою машину садится. Видный такой. И с ним супруга, красавица женщина. Но то случай такой вышел. Тут можно цельный день простоять у палисада, а и не увидишь ничего. Решетка теперь голая, а раньше-то тут кусты росли, высоченные, садовник так уж все засадил густо, ни щелочки не оставил — не подсмотришь. Уж больно богачи были, больно богачи!

Алехандро кивал головой, но больше, чем о словах старой негритянки, задумался о ней самой.

— Так вы довольны, что работаете здесь? Вы тут как у себя дома, а?

Старуха, видно, не поняла вопроса. А он думал: «Что же за чувство владеет мною? Ненависть — нет, не ненависть. Унижение — нет, не унижение. Вот оно, определилось: чувство краха...» Словно из какого-то темного угла большого дома вышли навстречу ему образы, вызванные его воображением,— родители... Вот они, подавленные, приниженные, растерянные, спускаются по этим роскошным лестницам, сами таща свои чемоданы и поминутно оглядываясь, словно чтоб удержать в памяти последние картины их мира, который колебался и обрушивался у них на глазах. Как взорванное, здание вздрагивает, отрывается от фундамента, от корня, и словно летит куда-то, освобожденное... На их лицах — отчаяние. Им жаль этого мира. Напрасно? Как знать: ведь когда строится дом, когда готовится убранство внутри и снаружи, дело идет не только о личном удобстве, но и о чем-то еще. И вот за это «что-то еще» люди вступают в отчаянную схватку с жизнью и с другими людьми. Что это?.. И вот он смотрит на то, что было его домом («Не ходите туда, где родное... Не стоит труда...»), а рядом с ним — эта старая женщина, для которой не имеет никакой цены все, что ему дорого, которой не жаль ничего, что ему дорого, смиренное, простое существо — и все-таки символ всего, что восторжествовало... И как уверенно движется она на своих больных ногах в этом жизненном пространстве, как твердо стоит на страже того, что восторжествовало! Мирный воин победившего войска!..

И ему не пришло в голову ничего иного, как повторить свой вопрос, полный болезненного любопытства:

— Так вы довольны, что работаете здесь? Вы тут как у себя дома, а?

Теперь лицо старухи нахмурено, словно она пытается что-то вспомнить:

— Мне сюда ходить близко. Когда все произошло, я работала в Мантилье [1]. Представляете? Цельный день на автобусе трясись...

И вдруг, словно только теперь поняла смысл вопроса, она выпучила на него глаза и затряслась всем своим тучным телом от неудержимого хохота:

— Сынок, да как я могу чувствовать себя тут как дома! Господи спаси и помилуй! Да что б я с таким домищем делала?! По одним углам бы заплуталась!..— Она говорила так, словно в жизни не слыхивала ничего нелепее подобного вопроса, и если ничего больше не прибавила, то только из уважения...— Подумайте только! Хоть на плату я не жалуюсь, но с одной уборкой цельный день вожусь! — старуха печально покачала головой.— Такой дом хорош только для богачей... Или вот, как теперь, под школу...

— Так вы никогда не мечтали о таком доме?

Наклонившись на секунду, чтоб растереть больные ноги, старуха молча возобновляет свой трудный подъем по лестнице... Теперь и ее одолели воспоминания —

[1] Район Гаваны.

страшные, горькие, похороненные, казалось, навсегда,— воспоминания о том ужасном времени, какое пришлось пережить... О времени, навсегда отброшенном назад... Воспоминания, от которых теперь уже не больно... Которые она теперь любила, как свидетельство испытаний, из каких сумела выбраться невредимой... Ее тяжкое прошлое... Каким оно кажется далеким...

Только как объяснишь это теперешнему-то юнцу, да еще такому вот, нездешнему, из тех, что и приезжают для того только, чтоб тебя расспрашивать, словно словами можно объяснить что-нибудь про новую жизнь, заполнить пропасть между нею и прошедшими временами?! А он стоит вон там и ждет ее слов. «И чем же ему помочь, как не словами, каких он ждет»,— думает старая негритянка, хорошо усвоившая, что никогда никому нельзя отказывать ни в хлебе, ни в воде...

— Мечтать я, сынок, мечтала, кто ж не мечтает? А бедняки пуще других. Только не о таком доме.

И старуха, подняв голову, смотрит прямо в глаза Алехандро, и взгляд ее спокоен и светел:

— Вот как в жизни-то бывает! Моему сыну недавно дали квартиру. Двухкомнатную... Представляете? И со всей обстановкой! А я иногда вижу во сне свою прежнюю комнатенку в пристройке — угловая она была, в два окошка. И все тот же сон повторяется: будто я на подоконник горшки с бегонией ставлю. Я всегда мечтала бегонии на окнах иметь. И, знаете, с удовольствием вижу во сне мою комнатушку!

Крист тоже любила бегонии. Поэтому, идя к ней тем вечером, я снес ей самые красивые, какие только нашел. Я бережно поставил горшочек на ее ночной столик. Но Крист, казалось, не заметила. Скользнула взглядом с целлофановой обертки к моим глазам, не изменив своего угнетенного выражения. Даже полуприкрыла веки — то ли от слабости, то ли от яркого света, падавшего из окна за моей спиной. Я, чуть ли не на цыпочках, приблизился к окну и задернул штору. Воцарился прозрачный сумрак, но Крист по-прежнему молчала и не открывала глаз, и я тоже молчал. Потом я понял, что свет тут ни при чем. Крист вздрагивала всем телом, губы ее дрожали, как ни силилась она сжать их плотнее. Я увидел слезы в ее глазах. Я тихонько взял ее руку, но ее скрюченные пальцы так и вонзились мне в ладонь — словно я схватился за ветку колючего кустарника. И тут Крист, уронив голову на подушку, начала плакать, да так, что содрогалась вся ее кровать, на краешек которой я присел.

Я погладил ее по голове, пытаясь успокоить; но от моей робкой ласки она еще сильней заплакала. Я навалился на ее плечи и спрятал лицо в ее волосах. Но она сквозь плач произнесла с трудом и запинаясь:

— Прости меня, Але, прости меня!

— Все пройдет, Крист...— отвечал я, хоть и не был в этом уверен.

Не отнимая лица от ее волос и чувствуя, как ее плечи содрогаются, я начал говорить все, что ни приходило мне на ум, чтоб как-нибудь утешить.

Но в ней, видно, произошел глубокий душевный надлом.

Я знал отчего: она думала, что нашла, наконец, истинный путь, а оказалось, что он ведет в тупик...

— Если я в чем утвердилась,— говорила она мне несколько месяцев тому назад, после серьезной ссоры со своим отцом,— так это в том, что не пойду по стопам своей семьи.

Ее родители, подобно родителям Пола, были на Кубе простыми трудягами; но тогда, в тех обстоятельствах, считались благополучными людьми, потому что у них была постоянная работа круглый год. Отец водил грузовик, развозящий с разливочного пункта одной из американских компаний бутылки с прохладительными напитками по разным лавкам и буфетам Гаваны. Упорным трудом он добился возможности подняться на одну ступеньку: завел собственный дом и утвердился на хорошей должности. Ему завидовали... Для него революция означала шаг назад... перспективу снова слиться с массой, над которой он сумел подняться. В конечном счете, с того момента, как не стало американской компании, он и все подобные ему снова потеряли свою твердую позицию в жизни. Отсюда и пошли все его раздумья... И добровольное изгнание рисовалось ему как нечто преходящее, и даже через много лет, когда у большинства эмигрантов уже не оставалось никаких надежд, он все еще цеплялся за свои иллюзии. И с каждым днем росла в нем животная ненависть к коммунизму, а вместе с ней — слепая ненависть ко всему на свете.

— Какое мне дело до того, что ты потерял! — выкрикнула Крист в лицо отцу, швыряя на стол приборы и тарелки.

Было воскресенье, и они собирались завтракать. Все было мирно. Крист накрывала на стол. Вдруг отец пробормотал что-то насчет скудной и жалкой пищи.

Дикая реакция дочери на это простое замечание была для него как пощечина. Весь красный, со вздутыми на висках венами, он закричал:

— Мерзавка! Неблагодарная! Да ты понимаешь ли, что сказала?!

Он сжал кулаки, словно для удара, и весь трясся от внутренней дрожи. Но не двигался с места.

— Это здесь ты должен был всего добиться! — кричала Крист в негодовании.— Что ты все обрушиваешься на Кубу?! Это здесь мы завязли в болоте!

Отец — живая громадина,— кажется, собирался обрушиться на нее, но не двигался с места, словно приклеенный к полу.

— Так ты мне платишь за мои заботы, сволочь?!

Но в Крист словно бес вселился — она нарочно дразнила отца.

— Почему ты не обрушиваешься на Майами?! — кричала она ему в лицо: — Это здесь, в этом твоем раю, мы гнием заживо! Ты ненавидишь кастризм, да? А я так больше ненавижу бедность!

Пощечина отца прервала речь Крист и опрокинула ее навзничь, так что она даже покатилась по полу. Мать, перепуганная, прибежала из кухни с громкими криками. Крист, не пытаясь подняться, слушала ее оскорбленья, упреки, проклятья: «Гадкая дочь! Бессовестная!»

Но Крист — она мне в тот самый вечер об этом рассказывала — не пролила ни одной слезы. Напротив, и пощечина отца, и выкрики матери возымели обратное действие: они придали ей твердости. Внезапно она почувствовала себя свободной — последняя ее жизненная связь порвалась. Ее родители предстали перед нею без всяких прикрас, и пропасть, отделяющая ее от них, виделась ей теперь со всей ясностью. Они были неотъемлемой частью всей этой эмигрантской падали... Неудачники, научившиеся лгать и притворяться. В их душе жила только досада и ненависть... Она вдруг поняла, что пощечина отца помогла ей сделать то, что давно надо было сделать. В сущности, у нее уже давно не было ничего общего с родителями. А теперь все прояснилось. И к лучшему...

В ответ на мой вопрос она пожала плечами:

— Не знаю, что мне делать. Да ничего, наверно. Буду по-прежнему жить дома. В конце концов, они ж должны меня содержать, правда?

Она произнесла эти слова с горькой улыбкой. Потом нахмурилась и продолжала совсем тихо:

— По правде сказать, Але, я все-таки не знаю, что мне делать. Будущее покажет. Пока что я знаю твердо одно: они мне чужие. Я даже не хочу обвинять их — это уж значило бы быть такой, как они. До чего ж мне надоело их нытье!

С этого дня Крист совсем замкнулась в себе, и встречались мы только случайно, да и то просто раскланивались, не вступая в разговор.

Крист была независима, и похоже, что счастлива. С Полом она вот уже несколько месяцев как порвала. Казалось, она окончательно нашла свой путь. Так, по крайней мере, она сказала мне — причем по-английски,— когда мы как-то случайно столкнулись, выходя из кино. Остановилась и, поколебавшись мгновенье, попросила проводить ее до остановки автобуса. Я думаю сейчас, что тогда в последний раз видел ее веселой. А вскоре она и вовсе отдалилась от нас: от Пола, от Освальдо и от меня.

— Что поделаешь, приходится приспосабливаться, Але. Прошлое есть прошлое. Мы живем в этой стране, нет у нас другой родины...

Мы стояли на автобусной остановке, и я думал, что хорошо бы тоже настроиться на такой лад, найти в себе силы окончательно порвать с прошлым, с этой принудительной семейственностью, которая меня так с ним связывала...

— Нелегко это все...— бросил я.

— А жить, как мы живем, легко?!

Крист взяла мои руки в свои, крепко сжала и пристально глядела мне в глаза.

— Поверь, Але: надо быть чем-то одним, а не разрываться на части. Теперь, когда у меня нет семьи, я это понимаю гораздо лучше.

Я кивнул в знак согласия... Тут подошел автобус, и мы простились.

Перемену, произошедшую в Крист, наша компания восприняла как дезертирство.

Она теперь ни к кому из нас не заходила, у нее завелись новые друзья. Родители окончательно с ней порвали. Мы так и не узнали, они ли выгнали ее из дому, или она сама ушла. Только много спустя я узнал кое-что от нее самой. Но я и раньше понимал, что она уже никогда не будет снова той Крист, какую мы знали.

Все взорвалось разом — в тот день, когда Дороти Вильборн устроила у себя большой званый вечер. Когда пришла Крист, уже народу было — яблоку негде упасть. Крист потанцевала с одним, с другим, особенно не выбирая, до тех пор пока не стали обмениваться партнерами, и тут она оказалась в паре с одним парнем. Это был веселый крепыш, и сама его веселость исходила, казалось, из его мускулистой крепости. С этого момента они уже не расставались.

«Я слыхал о тебе раньше...» — говорил он ей с задорной улыбочкой, лукавства которой она не замечала, в тот момент, когда Дороти вдруг вздумалось поставить пластинку с музыкой мамбо и обратиться к гостям с просьбой встать в круг для того, чтоб Крист протанцевала «нечто экзотическое». Так и поступили. Крист начала танцевать. Кто-то попросил ее сбросить туфли, и все одобрительно захлопали... И Крист танцевала босая под дробный ритм оркестра Переса Прадо. Она-то думала, что Дороти напрасно это... Но не захотела обмануть ее ожиданий и плясала во всю мочь. Когда она остановилась, некоторые захлопали, другие насмешливо замяукали или просто засмеялись. Кто-то крикнул: «Ради бога, Дороти, поставь настоящую музыку!»

Парень, с которым она раньше танцевала, взял ее за руку и повел в переднюю. Вечер был прохладный, но в комнатах было столько народу и стояла такая духота, что дышать невозможно.

— Я не знал, что ты так хорошо танцуешь. Все кубинки так умеют?

Крист резко вздернула голову и взглянула прямо ему в глаза:

— Я американка,— сказала она сухо.

— Да, да, конечно! Я не хотел обидеть. Просто ты прекрасно танцуешь...— Он наклонился, коснувшись лбом ее волос.— А скажи-ка по секрету: ты все делаешь с таким огоньком?

Он был большой и мускулистый, наверно каким-нибудь тяжелым спортом увлекался. И хоть он только слегка придержал ее за плечи, Крист поняла, какая силища таится в этих руках. «Такой так сожмет, что все косточки переломает,— невольно подумала она.— Да еще грубости говорит...»

Но она сделала вид, что не поняла, и приветливо ему улыбнулась.

Порыв ветра взбудоражил листву деревьев за раскрытой дверью. Крист вздрогнула.

— Тебе холодно?

Он привлек ее к себе и обнял, и Крист словно совсем исчезла в этих крепких объятьях. Но в этот момент в переднюю ввалилась группа парней и начала шутливо толкать великана и похлопывать по спине.

— Глядите-ка, где он, оказывается, наш Джо-победитель!

Добродушно посмеиваясь и продолжая держать Крист за плечи, Джо повел ее в комнату.

— Это моя компания,— объяснил он ей,— хорошие ребята. Промочим горло, идет?

Крист было немного не по себе, и голова кружилась, но этот великан был ей симпатичен, и она не захотела испортить ему праздник... Джо взял ее за руку и потащил к столику с напитками. Казалось, невозможно пробиться сквозь всю эту толпу людей, но он пересек огромную комнату с такой легкостью, словно она была пуста. Налил виски в два бокала, взял оба в одну руку и, подняв их высоко над головой и крепко сжимая запястье Крист, стал пробираться к выходу. Когда они так вот выбирались из этой толчеи, Крист подумала, что хорошо, когда тебя кто-то защищает. Выпив виски, они опять танцевали под бравурную музыку, и было уже далеко за полночь, когда к ним подошел один из друзей Джо.

— Ты не уходишь, Джо?

— Пошли, Пат.

— Надо попрощаться с Дороти,— сказала Крист.

— Не стоит,— заметил Джо.— Завтра позвонишь ей.

Машина стояла неподалеку. Кто-то поместился впереди. Пат сел за руль, а они с Джо — на заднем сиденье. Крист назвала свой адрес, и машина помчалась. Едва отъехали, Джо стал ее целовать. Крист, в тепле и полудремоте, не отталкивала его, отдавшись приятному чувству безопасности рядом с этим большим, сильным человеком.

Они проезжали улицу за улицей.

— Слушай, Пат, тебе не кажется, что наш Джо что-то слишком распалился? — произнес тот, кто сидел рядом с водителем.

— Оставь его, Тэдд, он готовится к большому состязанию.

Крист посмотрела в окно и растерялась. Они ехали по загородному шоссе.

— Куда мы едем?

— Сначала завезем Тэдда,— успокоил ее Джо. И продолжал целовать... Внезапно машина свернула с шоссе, проехала метров сто по кочкам и ямам и остановилась. Те двое, что ехали впереди, вышли и исчезли в темноте, не произнеся ни слова.

— В чем дело? — испугалась Крист.

Джо рассмеялся.

— Они скромные люди, Крист. Ты ведь не захочешь, чтоб все произошло на их глазах, верно?

Он с силой прижал ее к своему огромному телу и повалил на сиденье. Она не сопротивлялась. Когда его неуклюжие пальцы застряли в лабиринте пуговиц и крючков, Крист уже забыла о тех двоих. Только тихо сказала ему на ухо:

— Ты мне все платье порвешь...

— Да, лучше ты сама,— отозвался он, торопливо сбрасывая пиджак.

Крист нравилась его неловкость, и она улыбнулась ему в темноте.

— Сама не знаю почему, но мне вдруг понравилось твое имя: Джо...— сказала она, ласково потянув его за уши.

Но он только глухо пробормотал сквозь зубы:

— Довольно романтических глупостей! Хочу, чтоб ты проплясала подо мной один из этих ваших мамбо.

— О Джо, не говори так!..— взмолилась она.

— Пляши, говорю тебе...— услыхала она над собой грубый голос...

...Когда она открыла глаза, Джо был уже одет. Ей было горько и больно. И хотелось быть где-нибудь в другом месте, подальше от этой машины, подальше от Джо. Она подумала, что и он, верно, досадует на случившееся... Приподнялась, больше не поцеловав его. Он сидел в углу и почему-то смотрел на часы, вглядываясь в темноту.

Она молча принялась собирать свою одежду и начала одеваться. Джо сидел все в той же позе, опустив голову и задумавшись. Внезапно кто-то открыл переднюю дверцу машины.

— Одну минуту, ради бога! — крикнула Крист.

В машине вспыхнул свет. Он ударил в глаза Крист, и она не сразу различила лицо Пата, просунувшего голову внутрь кабины.

— Ради бога, Джо, скажи ему, чтоб закрыл! — крикнула она, заслоняясь обеими руками.

Но Джо сидел рядом с нею бесстрастный, даже не оборачиваясь в ее сторону.

— Джо, сделай же что-нибудь, прошу тебя! Это гадко!..

— Не будь недотрогой,— произнес, наконец, Джо, не глядя на нее.

Крист дико взглянула на него, пораженная. Пат, опершись на спинку переднего сиденья, пожирал глазами ее полуголое тело.

— Джо, скажи ей, что ты не ревнив,— услыхала она его голос.

— Это верно, Крист, я не ревнив...— улыбнулся Джо.

— В нашей компании мы привыкли всем делиться, ты разве не знала? — добавил Пат.

Крист сидела как в столбняке и неотрывно смотрела на Джо, отодвигаясь от него все дальше и дальше...

— Это ведь шутка, Джо, скажи, что это шутка!

Ей казалось, что голос, произнесший эти слова, принадлежит не ей, а кому-то другому.

— Да чего ты ломаешься! — сказал Джо с раздражением.— Что тебе стоит доставить ему удовольствие? Не впервой небось...

— Джо, скажи, что это шутка! Я не могу больше! — пронзительно крикнула Крист, собрав последние силы.

— Поздно уже, Крист,— проговорил Джо.— Пора кончать дело.

Крист резко рванула дверцу и пыталась, дрожа, схватить с полу свою одежду. Но Джо крепко наступил на ее платье. Она выскочила из машины и ринулась прочь, босая, по острому щебню. Но вскоре кто-то догнал ее и схватил поперек талии. Потом

ее толкнули и бросили на землю... какой-то человек всей тяжестью упал на нее... Она отчаянно сопротивлялась...

Гравий затрещал под чьими-то торопливыми шагами:

— Нужна помощь, Тэд?

И Крист услышала прерывистый голос вплотную над своим лицом:

— Придержи ее за руки, Пат!

Стремительным движеньем Крист вонзила ногти в лицо Тэда, заставив его вскрикнуть... и сразу же ее с силой ударили в подбородок...

И уже теряя сознание, Крист услыхала нежную мелодию, раздававшуюся из машины, где включили радио...

...Она еще долго плакала в тот день, когда я пришел к ней.

Слезы, казалось, облегчили ее, и постепенно она успокоилась. Вдруг она схватила мою руку и поцеловала.

— Спасибо, Але,— сказала она,— ты очень хороший.

Я подумал, что она, верно, слишком одинока и слишком подавлена, чтоб так вот поцеловать мою руку.

— Тебе понравилась бегония? — спросил я, уверенный, что она даже не заметила, что я ей что-то принес.

— Ты знаешь, я люблю бегонии,— ответила она устало.

— Зачем ты это сделала, Крист?

Она долго молчала, не подымая глаз, потом, словно покорившись какой-то необходимости, медленно начала говорить:

— Много всего собралось, Але. Ты никогда не чувствовал, что перед тобою закрываются разом все двери? — Она помолчала.— Я уж начала было думать, что приспособилась к здешней среде, и была довольна. Я не замечала, что только отдаю и ничего не получаю взамен. А на деле моя жизнь мало отличалась от жизни любой проститутки. Но я была покойна — хоть дорогой ценой, но покойна. Иногда даже счастлива. Иногда со мною бывали ласковы, и тогда у меня появлялась надежда, что с кем-нибудь все будет по-другому. Думала, посмотрит же кто-нибудь на меня не просто как на женщину. Я так ждала этого, так надеялась! Едва познакомлюсь с парнем, который был со мной деликатнее других, пусть хоть из робости, с участием расспрашивал о моей жизни, сердце у меня так и подпрыгнет. Думаю: «Вот он!..» И некоторое время считаю себя самой счастливой женщиной на земле. Но не было ни одного...— она закусила губу.— Знаешь, я, наверно, была той, на ком учатся... Понимаешь? Вещь! Я никогда не была чем-либо другим, Але. Вещь, которую используют и бросают.

— Все пройдет,— сказал я, дотрагиваясь до ее руки.

Но Крист, казалось, не слышала.

— Когда произошло то, о чем ты знаешь, на шоссе, у меня не стало сил продолжать. Унижение было слишком огромно. Мой мир рухнул, и повязка упала с моих глаз. И завертелись передо мной обрывки моей немыслимой жизни. Я вновь увидела себя в школе, не понимающей незнакомого языка, всем чужой, всех боящейся; такой замкнутой в своей болезненной робости, не смеющей ни до чего дотронуться, словно чтоб не оставить следов... Я вновь увидела себя той жалкой женщиной, которая упорно цеплялась за свою жалкую жизнь, не нужную никому, кроме нее... Я помню все так смутно... Кто-то, верно, подобрал меня возле шоссе и отвез в полицию; но полицейский врач сказал, чтоб меня не тревожили — говорить я все равно не могла. А потом я сделала то, что сделала. У меня недостало сил жить дальше. Их только на то и достало, чтоб открыть газ. Я думала: усну и смерти своей не замечу. И не чувствовала ни радости, ни горя. Просто не могла иначе.

Теперь Крист казалась спокойнее.

— Ты их назвала?

Она скривила губы:

— Я сказала, что не знаю их, что было почти правдой. Они обошлись со мной хуже, чем с проституткой, но мне уже все равно. В той или иной мере другие обходились со мной не лучше.

— Это все кончилось, Крист! Теперь тебе надо начать заново.

— Я должна пойти работать, да не хочется. Ничего не хочется.

— Пройдет.

— Да, все проходит. Но что придет на смену? Чтобы жить, нужна хоть какая-нибудь почва под ногами. Не такая шаткая...

— Тебе что-нибудь нужно?

Она криво усмехнулась:

— Спроси лучше, что мне не нужно.

— Я хотел сказать...

— Не беспокойся обо мне, Але. Фрэнк заходил сюда пару раз. Оставил немножко денег. Он тоже хороший.

— Я его давно не видел.

— Он был очень занят. Вступил в какую-то организацию — антикастристскую или что-то в этом роде. Так, кажется, он мне сказал. Но ты меня не особенно слушай... у меня в голове все так смешалось!..

— «Мохито» приготовляется обязательно с лимоном, из здешних,— сказал Рикардо, указывая в окно на лимонное деревце.— А во всех этих горшках я посадил мяту для коктейля. Как видишь, я запаслив...

— Так и должны жить все сибониеи.

— Только немножко поспокойней, пожалуй,— сказал Рикардо и посмотрел на Ану.— Как тебе пришло в голову приехать?

— Иногда у меня бывают светлые мысли, дядя, и к тому ж Алехандро никогда не видал Гуанабо.

Рикардо бросил в бокалы кусочки льда и стал угощать. Алехандро, повернувшись к окну, смотрел на море. Вода была синяя-синяя. Он поднес бокал к губам.

— Да ты настоящий волшебник, Рикардо! Море и божественный «мохито»... Да я б поселился в этом доме навечно. Сущий рай.

Рикардо поправил очки и сказал:

— Однако сколько-то лет тому назад это был сущий ад.

Алехандро оторвался от окна и глядел на него с удивлением.

— Район Гуанабо был раем до тех пор, пока те, кто нелегально уезжал из страны, не избрали его своим перевалочным пунктом...— задумчиво продолжал Рикардо, словно не замечая устремленного на него взгляда.— Тогда здесь каждый вечер начиналась беготня, давка, перестрелка. Ты и представить себе не можешь, сколько суденышек пускалось в плаванье наудачу от этой части берега.

— Дядя, расскажите ему про тех, на плоту, помните? Это удивительная история, Алехандро, их на одном плоту собралось четырнадцать человек...

— На плотах, на полых пальмовых стволах, на канистрах из-под горючего... Вообразить невозможно...

Алехандро нахмурился и снова повернулся к окну.

— Взрыв всеобщего отчаяния...— пробормотал он сквозь зубы.

— Можно, конечно, назвать и так.

— Я тоже в какой-то мере был частью этого исхода отчаявшихся.

— Ты уехал раньше. Тогда Соединенные Штаты вроде как раскрыли нам объятья. Они полагали, что бегство большей части буржуазии и специалистов в разных областях парализует нашу страну. А когда этот политический ход провалился, они попробовали другой: ограничили законный въезд и стали подстрекать на тайное бегство. Вот тогда-то это прибрежье сделалось по ночам таким людным, будто тут карнавал.

— Значит, моя семья была из первых.

— Семья здесь ни при чем. Во время больших потрясений каждый человек примыкает к какому-нибудь потоку и действует как часть его. Это похоже на карту военных действий: каждая стрелка указывает на определенную точку. И неизвестно, означает ли эта стрелка сотню или тысячу людей. Так и в политической жизни: мы подчинены определенной схеме, хоть и не подозреваем этого.

Алехандро поставил свой «мохито» на стол.

— Да,— произнес он, словно повторяя надоевший урок.— Фидель не противостоял всей буржуазии разом. Он открывал новые фронты по мере того, как одерживал отдельные победы над врагом. Мы составляем часть третьей или четвертой схемы. Если все объяснять так, то уж слишком просто получается.

Рикардо задумчиво сосал листок мяты.

— Теперь, на расстоянии, все видится так,— сказал он.— Сегодня нелегко говорить об отсутствующей семье, о тайных отъездах и многих других вещах. Ты сам — пример тому. Двадцать лет назад твои родители и вообразить не могли, что в один прекрасный день ты очутишься здесь, с нами, и будешь рассуждать о прошлом как революционер.

— А ты думаешь, это мне легко далось?

Рикардо поднял голову и поймал горький взгляд Алехандро.

— Наверно, нелегко. Но нельзя всю жизнь искупать первородный грех. Сейчас ты здесь, с нами, ты пришел вместе с моей любимой племянницей, и на столе у нас нечто кубинское и очень вкусное. На другую тему: приготовить еще по стаканчику?

И, не ожидая ответа, Рикардо принялся колдовать над новой порцией своего любимого «мохито». Не отрываясь от этого занятия, он продолжал:

— Вот я и говорю: твое присутствие здесь — это еще одно доказательство происшедших перемен. Года два назад я не мог бы вообразить такое... Революция — дело серьезное. Я смотрю на людей, которые ее не пережили, и мне кажется, что они прозевали свою жизнь. Но к тебе это не относится. Ты тоже захватил свой кусочек воскресенья, как мы тут говорим. Знаешь, что это значит?

Алехандро кивнул.

— Только не воскресенья,— сказал он,— а скорее понедельника. А понедельник, как известно, самый несчастливый день недели. Знаешь что, Рикардо? Я ужасно рад, что с тобой познакомился.

— Это означает, что ты переходишь в нашу веру.

Алехандро поджал губы.

— Возможно,— сказал он,— но я еще не избавился от сомнений. Это неизбежно, правда? Были ведь и ошибки. Нельзя же все слепо принимать.

Рикардо провел рукой по лицу и характерным жестом поправил очки:

— С ошибками тоже надо мириться, они ведь часто вызваны особо сложными обстоятельствами. А иногда впоследствии оказывается, что то были и не ошибки вовсе. Верить надо. Мы не обучались политике и не готовы были к пониманию социальной революции. Что мы знали? Борьбу за существование, за прочное место в жизни, за материальное благополучие. Вещи все сугубо личные... И вдруг все переворачивается, и ты оказываешься посреди бурного потока, поглощающего все твое жизненное время, обратив его на дела, не имеющие отношения лично к тебе... Посреди бурного потока, имя которому — революция... Где уж тут думать об отдельных ошибках — неизбежных к тому же... Разумно ли это?.. Ведь каждый теперь уже уверен, что революция делается для всех и что она справедлива. Не тебя одного посещают сомнения, других тоже, но они все равно с уверенностью идут вперед. «Не может быть, чтоб столь многие ошибались»,— невольно думает сомневающийся. И эти многие — на прокладке ли дорог, на рубке ли сахарного тростника — заставляют тебя понимать, что есть нечто, стоящее над всеми твоими сомнениями. Что есть высшая сила, и ты — часть ее, и ее прибудет от твоей твердости, и убудет от твоей слабости...

— Я чего-то запутался...— сказал Алехандро.

— Ясно, нельзя же постичь двадцатилетний опыт за одну минуту. Впрочем, те, кто это пережил, тоже запутывались. Теперь-то все пришло в более стройный порядок. Революция поначалу всегда хаос. Открываются новые дороги и переоцениваются все обычные ценности: семья, дружба, деньги, общественное положение, иерархия — словом, все. В этом океане немудрено заплутаться. Но главное все же происходит: переплавка разрозненных масс в единое целое... И все просто: или мы все потонем, или все выплывем. Борьба не на жизнь, а на смерть, остальное — неважно. Чтоб понять это, есть самый короткий путь: хоть раз встретиться лицом к лицу со смертью...

Алехандро слушал внимательно, переводя взгляд с Рикардо на Ану, восторженно упивавшуюся его словами.

— Да это почти религия,— сказал он.— Приятие веры. Я знаю, что такое религиозный экстаз. Может все получиться прекрасно, но может и привести к превышению власти отдельных лиц.

Рикардо налил себе напитка, попробовал и вздохнул с облегчением:

— Хорош. Даже лучше, чем в тот раз,— он бросил взгляд на Алехандро и Ану: нравится ли им тоже, и удобно устроился в кресле.

— К сожалению, нет точного слова, чтоб определить веру нерелигиозную. Та-

кой верой ответил народ на программу и слово Фиделя. Тебе это все покажется, возможно, странным. Там, у вас,— другой настрой чувств. Думаю, не очень-то там верят в своих руководителей.

Алехандро помолчал.

— Нельзя сравнивать,— сказал он немного погодя.— То совсем другой мир.

— Но в них верят? — спросила Ана.

Алехандро рассмеялся:

— Об этом надо спрашивать у североамериканца, а не у меня. Но, сдается мне, что не очень-то верят. Для вас политика — это дело каждого человека. Любой кубинский рабочий мог бы сделать политический доклад в нашем университете. А в Соединенных Штатах средний американец узнает о предстоящих выборах только за неделю, и в день самих выборов у него всегда находятся более важные дела. Для большинства президент — нечто вроде голливудской кинозвезды. Недосягаем. Нечто, усердно предлагающее через все средства информации свой образ — тот, что сфабриковали его газетчики. Среднего американца волнуют совсем другие вещи: деньги, постоянная работа, дом, машина и дружеские связи. Он хочет, чтоб его оградили от любого риска.— Алехандро смолк на мгновенье, и на губах его появилась странная улыбка («Никогда б не подумал, что придется произносить такие слова...»)— В особенности от коммунистической опасности...

Он пристально взглянул в глаза обоим, но на их лицах не выражалось никакого удивления, словно то, что он только что сказал, было вполне естественно...

И он глубоко вдохнул свежесть, доносящуюся с моря,— странное волнение наполняло его... Он шагнул к окну и стал смотреть на эту громаду воды, раскинувшуюся вдалеке, над ветвями казуарин, напоминающими маленькие пушистые крылья казуаров. Он думал о Поле, об Освальдо... Как бы они удивились, услышав от него подобные речи... Отвернувшись от окна, он с усилием произнес:

— Здесь никто не защищает свои миллионы, это правда. Но я боюсь, что вы рисуете мне слишком идиллическую картину.

— Идиллическую? — Рикардо повернулся в сторону Аны.— Как думаешь, Анита? Первый раз за последние двадцать лет мне приходится услышать это слово. Мы здесь говорим всё на важные темы, у нас минуты лишней нет, какие уж тут идиллии. Если б ты жил на Кубе, все бы тебе представлялось по-иному. Мы здесь таких отвлеченных разговоров давно не ведем. Мы говорим об ошибках, о случаях поверхностного отношения к делу, о бюрократии, о неорганизованности. А остальное само подразумевается. У нас есть еще нечестные служащие, нечистые на руку продавцы, бюрократы, использующие свои должности для приобретения личных благ. Есть и оппортунисты, ловкачи, разные «примазавшиеся»... «В виноградниках божьих всего понемножку», гласит поговорка. Так что до идиллии нам еще далеко. И мы пока что ограничены в возможностях. Мы разрешили множество трудных проблем, а попробуй-ка купи себе трусы — три часа в очереди простоишь... Повседневная жизнь у нас нелегка. Если б ты жил здесь, понял бы.

Алехандро подошел к столу, взял свой «мохито» и добавил льду.

— И мяты добавь,— сказал Рикардо.— Раньше, чем лед, надо мяту класть.

— Ну, вы специалисты не только в политике, но и в приготовлении «мохито»,— сказал Алехандро с улыбкой и положил мяты.

Рикардо провел рукой по лицу, закурил и заговорил снова:

— Революция — это не ложе из цветов, в особенности на первых порах. Я расскажу тебе историю одного моего хорошего друга. Он участвовал в повстанческом движении, а года через два после победы оказался впутанным в довольно неприятное дело: начальник обвинил его в растрате. Трудное было время, никакого контроля не существовало. Словесные показания решали все. Мой друг был осужден на два года принудительных работ на государственной ферме. Но не прошло и года, как стало известно, что его бывший начальник задержан при попытке тайно бежать из страны. Узнав об этом, рабочие даже растерялись. А ведь, когда он оклеветал моего друга, многие на предприятии, в особенности из управления, подозревали, что тут что-то не так, но у них не было доказательств. И если б начальника в ту пору сняли по простому подозрению, рабочий коллектив не понял бы.

Алехандро взял себе еще «мохито», не забыв на сей раз добавить пару листиков мяты.

— А друга твоего спросили? Его разве не толкали на то, чтоб тоже сесть в лодку?

— А друга моего спасла, я думаю, та вера, о которой мы здесь говорили.

— И у него не осталось горечи?

— Он провел полтора года на ферме; но никакого урона, кроме вообще присущего жизни, он не ощутил.— Рикардо улыбнулся как-то загадочно.

Ана поднялась и поцеловала его. Алехандро посмотрел на нее удивленно: у него сложилось впечатление, что ей хочется, чтоб этот разговор не продолжался.

— Идете купаться? — спросил Рикардо, ласково потрепав ее по щеке.

— Пойдемте с нами!

— Да видишь, сколько у меня разных бумаг накопилось. В конце недели я должен представить отчет министру.

— Мы тебе помешали работать...— стал извиняться Алехандро.

— Нельзя ж все время держать себя на привязи... Но сейчас я должен заняться всеми этими бумагами, будь они неладны...

Пляж был неподалеку от дома. Они спустились по склону холма. По одну сторону высилось что-то вроде нефтехранилища, по другую, вознесясь над живой изгородью, виднелись домики с палисадами, где росли фруктовые деревья. По мере того как они спускались, море пряталось за ветками казуарин и снова показалось, только когда они очутились возле деревьев, от которых песчаный берег круто спускался к воде. Как радостно было окинуть взглядом весь этот простор: и пляж, перетянутый зеленым поясом казуариновой заросли, и сияющее море, уходящее на горизонте в немыслимую синеву неба!.. Они с наслаждением растянулись на песке.

— Хорошо, а?

— Я никогда не забуду этих минут...

Он сказал это так, что Ана невольно отвела глаза. И тут только заметила, что он чертит на песке ее имя... И осторожной рукой стерла легкие черточки, складывающиеся в буквы.

— То, что написано на песке...

Алехандро резко замотал головой:

— Нет, ты — часть незабвенного.

— Дядя Рикардо сказал бы по этому поводу, что незабвенное забывается менее быстро.

Алехандро приподнялся на локте.

— Когда ты его поцеловала... мне показалось, что ты этим хотела дать мне понять что-то.

— Он много страдал...

— Он был арестован?

— Так ведь он сам тебе об этом рассказал... Не сказал только, что начальник был другом его детства...

Ана повернулась лицом к морю и внезапно, одним прыжком, вскочила на ноги. Ветер бросил ей в лицо ее пушистые волосы. Алехандро смотрел на ее гибкое, упругое тело, на ее крепкие ноги, вонзившиеся стопами в песок, на ее руки, закинутые за голову, чтоб сдержать волосы, которые трепал ветер... Он смотрел на ее лицо под жгучими лучами, на ее маленькие гордые груди, на мягкую линию ее бедер... И услыхал ее голос, вовсе чуждый всем этим чудесам:

— Поплаваем...

Вода была очень теплая, но зато спокойная, так что можно было плыть да плыть... Алехандро не раз помогал ей нырять: или погружался, держа ее за руки, или она, отталкиваясь от его плеч, бросалась в волны. А когда ей случалось поскользнуться и она падала на Алехандро, то оба весело смеялись, и тогда он удерживал ее на несколько мгновений в своих объятьях. Один раз она было наглоталась воды, и тогда он удержал ее немножко подольше. У берега было глубоко, она не могла коснуться дна, и Алехандро почувствовал, как она повисла на нем, обвив руками его шею. Потом, отдуваясь, отпустила его и поплыла к берегу. Рухнула на песок и заслонила лицо рукой. Алехандро лег рядом с нею и видел, как она тяжело дышит. Солнце горело на ее втянутом животе, пересеченном «бикини», и на ее ногах, слишком крепких для такой тонкой фигуры. Алехандро взял горсть песку и стал медленно сыпать ей на живот. Ана приподнялась на локте:

— Мне нравится, как ты улыбаешься,— сказала она ему.

— Я не улыбаюсь, я стараюсь принять свирепый вид.

— Значит, мне твоя свирепость так нравится.

И вдруг она резко переменила разговор:

— Какое впечатление произвел на тебя Рикардо?

— Незаурядная личность, и говорил так интересно. Я не ожидал. В Майами все время прибывали эмигранты, но я б никогда не подумал, что самим своим отъездом они давали лишнее оружие в руки врагам Революции. Как это ни странно, я ни разу не взглянул на все это глазами тех, кто остался. Теперь я вижу, что это было нечто вроде массового дезертирства из армии.

Ана как-то криво усмехнулась.

Алехандро внимательно на нее посмотрел. Что означает эта усмешка? Какая-то даже презрительная. Во всяком случае, в ней сквозило равнодушие. Для нее этот вечер ничем не отличался от других: кто-то после далекого заплыва отдыхает на песке подле очаровательной женщины... Что особенного? А для него?.. Разве для него все это что-нибудь означает? Навряд ли...

— Я неисправим, да? — сказал он.— Это и есть то, что нас с тобой сближает и разделяет одновременно. До сих пор я свои успехи и ошибки мерил мерками американского общества. Не соотнося с вами всеми...

— Победители тоже страдают.

— Да, но побежденные не знают этого. Взглянула бы ты на эти толпы, все прибывающие и прибывающие... Короче, я всегда считал себя гонимым, а не гонителем. Рикардо словно показал мне обратную сторону луны. Но впервые я не чувствую себя виновным в своей судьбе. Я был унесен потоком, как многие другие. Так бывает во время великих переворотов. Забавно только, что я теперь и сам не знаю, кого винить. Каждый боролся за свою жизнь как умел... Здесь ничего не случилось, умерло двое тирян и трое троянцев... Есть много людей, сломленных раз навсегда, которые уже не найдут своего пути. Но циклон промчался. Надо забыть и начать снова.

— Может, ты напрасно себя так мучаешь?

Алехандро покачал головой.

— Я не мучаю себя,— сказал он.— Просто я все это время жил в прошлом. Мне кажется, я только сейчас вступаю на порог настоящего.

— Но ведь прошлое умирает...

— Нет, прошлое живет рядом с нами. Но оно неподвижно, а мы меняемся, поэтому надо принимать его таким, как есть.— Его глаза встретились с ее глазами, в которых был интерес и любопытство.— Так что Рикардо прав: жизнь каждый день начинается сызнова.

— Значит, начинаешь новую жизнь? — Ана улыбнулась с каким-то недоверием.

Улыбка была так мимолетна, что когда Алехандро посмотрел в упор, то встретил серьезный и пристальный взгляд. Но этой мимолетности было достаточно...

— Ты не веришь мне! — выкрикнул он, ударив кулаком по земле. Он даже вздрогнул от внезапной обиды. Ана взглянула на него с изумлением и хотела встать, но он задержал ее. Оба молчали, и слышен был только глухой шум волн, разбивающихся о берег.

— Прости,— сказал он, подымая голову.— Я не хотел повышать голос и сказал лишнее. Но ты так странно улыбнулась... Словно насмехаешься надо мной. А для меня нет ничего страшней твоей насмешки.

Ана сделала невольное движение, словно отталкиваясь от чего-то:

— Как ты мог так подумать?

Она чувствовала его тяжелую руку на своей, глядела ему в глаза и слушала его слова, будто не слыша. И продолжала сидеть, чувствуя тяжесть не руки его, а взгляда. Вот, значит, как: от одной брошенной вскользь фразы, пусть даже проникнутой невольной иронией, Алехандро вдруг так круто переменился. Впервые убедилась она, что и он может выйти из себя. И это, как ни странно, было ей приятно. Он вел себя с нею резко, не боясь, что она может встать и уйти. А она вот не встала и не ушла. Что удерживало ее? Его рука? Или взгляд? Во всяком случае, не эти его рассуждения... Она смотрела на его низко склоненную голову и вдруг поняла, что с этой минуты он стал ей ближе. И в первый раз почувствовала его превосходство над нею. Странным образом, именно эта его покорность и раскаяние оборачивались неожиданной душевной твердостью. И она вдруг испугалась того, что росло в ее душе... И ей захотелось погладить его по волосам, по этим светлым завиткам над

ушами — погладить, как гладят по голове ребенка. И она улыбалась, слушая его голос и не слыша слов, и поймала себя на том, что упивается его смущением. И теперь, видя его лишенным своей защитной брони, она ощущала свою власть над ним и чувствовала себя с ним свободней и уверенней. «Вот сейчас отниму руку, он подымет голову, и я опять увижу в его глазах растерянность,— подумала она.— Вот отниму руку и проверю...»

И она отняла руку, но совсем по другой причине... Алехандро поднес ее руку к губам и покрывал поцелуями. Ана отняла руку и отвернулась. Она почему-то не решалась взглянуть ему в глаза. Взгляд ее скользил по далям — по этому морю, что простерлось к закату; и так, не отрывая глаз от заходящего солнца, она медленно поднялась с земли. Ее тень мягко легла на песок, протянувшись до маленького холмика у подножий казуариновых стволов. Одинокая чайка взлетела с поверхности вод и, достигнув линии берега, задержала лет и недвижно застыла в воздухе. Ее тень тоже легла у маленького холмика.

Алехандро поднялся и положил руки ей на бедра. Ана ощутила прикосновенье колючих песчинок на своем теле и вздрогнула. Повернувшись, выскользнула из его рук, державших ее так легко. Лицо ее было спокойно:

— Не надо, Алехандро...

И, снова отвернувшись, она продолжала смотреть на закат.

— Пойду смою песок,— сказала она и вошла в воду.

Твердо ступая по дну, она отошла на некоторое расстояние и бросилась головой вниз в теплую воду, принимающую в свою глубину лучи заходящего солнца. Окутанная золотыми отблесками, она медленно поплыла в ту сторону, где оно так ярко умирало. Часть берега уже погрузилась в сумрак, солнце еще пылало на верхушках казуариновых деревьев. Стая голубей, в поисках родного гнезда, пролетала, едва не задев их ветки. Ана увидела Алехандро, медленно ступавшего по песку к воде. Он весь был освещен лучами солнца, плашмя ложащимися на его тело. И глядя на него сейчас, Ана говорила себе, что ведь она — женщина, а он — мужчина, и все, оказывается, гораздо проще... Но когда Алехандро поплыл к ней, она подумала: «Проще — да, но зато все меняет...»

(Окончание следует)

ТЫНЯНОВА ИННА ЮРЬЕВНА

Советский переводчик поэзии и прозы, литературовед. Печатается с 1944 г. Автор книги об испанской поэзии «Ветер борьбы народной» (1972), многих работ, посвященных проблемам испаноязычных и португалоязычных литератур, творчеству испанских и латиноамериканских писателей — классиков и современных. Ей принадлежат сборники переводов и вступительные статьи к ним бразильских классиков Томаса Антонио Гонзаги и Кастро Алвеса, переводы произведений Алехо Карпентьера, Николаса Гильена (Куба), Пабло Неруды (Чили), Жоржи Амаду (Бразилия), Рубена Дарио, Эрнесто Карденаля (Никарагуа), Орасио Кироги (Уругвай), классиков Испании и Португалии — Хорхе Манрике, Лопе де Веги, Педро Кальдерона, Эса ди Кейроша; стихи и пьесы Федерико Гарсиа Лорки и др.

ТОМАС МАКГРАТ

...кроме последнего

РОМАН

Перевод с английского Г. ЗЛОБИНА

ПОСВЯЩАЮ

революционерам всех стран: женщинам, мужчинам, детям — от великого Мака Блэра[1] до моего сына Томасито.

Часть первая

СУББОТА

Первое, что проникает в сознание,— это погода и пределы изведанного мира, вывеска военного магазина на авеню, а если посмотреть с пятнадцатого этажа, то полоска тумана, тянущаяся над островом Статен. Рассвет чист и свеж, небо еще не замызгано делами дня. В неподвижном воздухе повисло над Бронксом потерявшееся облачко. На Джексоновских высотах падает с дерева последнее яблоко. В Хобокене на какой-то улочке валится стена жилого дома, в утреннем свете встает столб пыли. Вверх-вниз, вверх-вниз. Мир устанавливает свою систему измерений. Замусоренные лестницы и лифты выбрасывают из большущих домов-ульев без горячей воды миллион трудяг, их всасывают провалы подземки, и они растекаются по разным концам города. Разладился барометр сна. Сквозь нагромождения кирпича и камня, сквозь стальные ребра небоскребов в центре едва различим человеческий ручеек, и доходы растут прямо пропорционально понижению уровня беспамятства на запачканном экране сна. Вверх-вниз, вверх-вниз.

Выйдя на улицу, попадаешь в исторический процесс. Газетные заголовки связывают тебе руки и ставят к стенке — или же подсовывают

[1] Мак Блэр — портовый рабочий, профсоюзный активист, наставник и друг автора. *(Здесь и далее прим. перев.)*

© Copyright 1984 by the University of North Dakota

ТОМАС МАКГРАТ — THOMAS McGRATH (род. в 1916 г.)

Американский поэт и прозаик. Начал печататься в 1940 г., выпустив сборник стихов «Первый манифест» («First Manifesto»). С тех пор им написано более двадцати книг, в том числе роман-памфлет «Из рога врата и врата из кости слоновой» («The Gates of Ivory, the Gates of Horn», 1957), автобиографическая эпопея в стихах «Письмо воображаемому другу» («Letter to an Imaginary Friend», parts 1—4, 1957—1985), поэтические сборники «Фигуры двойного мира» («Figures from a Double World», 1955), «Новые и избранные стихи» («New and Selected Poems», 1964), «Отзвуки в лабиринте» («Echoes Inside the Labyrinth», 1983) и др.

Произведения Т. Макграта неоднократно переводились на русский язык («ИЛ», 1961, № 8, сборник «Письмо к воображаемому другу. Поэзия, проза, публицистика», М., «Радуга», 1984).

Роман «...кроме последнего» («...All But the Last») был опубликован в издании университета Северной Дакоты «North Dakota Quarterly» под названием «Гроб без ручек» («This Coffin Has No Handles», Grand Forks, University of North Dakota, Fall 1984). Печатается в журнальном варианте.

бутылки с медным купоросом и подсказывают, куда и когда их швырять. Гражданская война в Китае. Голод в Пуэрто-Рико. Третий день бастуют нью-йоркские докеры. Тебя выносит за границу видимого мира. Ты уже движешься в других измерениях, хотя тебе еще не поздно возвратиться назад, тебе, нейтралу, человеку посередине, ни то ни се — домохозяйке с Грэнд Конкорс в Бронксе, дремлющем на семнадцати холмах, мужчине, который с пятнадцатого этажа глядит на туманную дымку над Статеном, или сторожу в отделении Организации католической молодежи. Забастовка, гражданская война и прочее — они не трогают нейтрала, ничейного человека, не влияют ни на погоду, ни на рассеяние света, в котором чернеют газетные заголовки и зеленеют листья на деревце посреди детской площадки, что на Семнадцатой улице, поближе к Восьмой авеню. Благополучно возвратившись в привычный мир видимых вещей, ты вдруг замечаешь, что день окрашен зеленью, хотя стоит октябрь и уже падают листья и они вовсе не зеленые. И все же Центральный парк — как зеленый остров в спокойном утреннем море. Нижняя сторона листьев — бледно-зеленая: амбарная краска, к которой подмешали молоко. Если ночуешь на парковой скамейке, то эта молочнистая зелень и есть цвет окружающего мира, когда продираешь глаза. Если служишь барменом, то зеленый неоновый светильник похож на водомер, наполненный рыбьей кровью. Если ты полицейский из водного патруля на Красной излучине, то, вытащив из воды трехдневного утопленника, ты замечаешь лунки на его ногтях — грязно-зеленые, как лишайник в старой, истосковавшейся по дыму печной трубе.

Потом зеленый цвет меняется, и постепенно, по мере того как расходится утро, мир неподвижных предметов трогается с места. Ничто не остается неизменным. На пятнадцатом этаже количество энергии космических лучей, попадающих на квадратный дюйм твоего тела в одну шестидесятую долю минуты, превышает секундную дозу облучения, которому подвергается утопленник на уровне моря. Улицы меняют обличье, топают толпы по металлическим ступеням, и поезда подземки разбегаются по дальним предместьям за Пляжем и парком Пелем-Бэй. Встряхивается город сна, расщепляется атом кристалла, и частицы под действием центробежной силы разносятся какая куда, обгоняя друг друга. Туннели забиваются автомобилями; стонет пароходный гудок — выходит из порта судно, направляющееся к мысу Хаттерас; трое подростков, лет по двенадцать, не больше, прыгают в порожняк, тронувшийся с Центральной товарной, чтобы проехать первый отрезок своего долгого пути на Запад; и самолет третьего рейса Нью-Йорк — Шаннóн и далее, на континентальную Европу, серебрится осколком льда в солнечном свете над Лонг-Айлендом.

Все растекается, распадается, разбегается, старается освободиться. То же самое желание различаешь на лицах людей. В глазах у них лихорадочный блеск, они движутся по улице как маньяки, подгоняемые какими-то неясными побуждениями, и, не разбирая дороги, наталкиваются друг на друга, сбивают друг друга с ног, не замечая, на что они натолкнулись. Как свет, который, тронув рано утром верхушку Эмпайр стейт билдинг, теперь распространяется с постоянной скоростью по пределам пространства, так и они бегут и бегут вперед по невидимым рельсам, подчиняясь законам стихийной механики.

Ты не обязан думать о них как о людях, потому что ты сам — нейтрал, ни то ни се. Хотя они и испытывают желание освободиться, оно — лишь часть всеобщего распада, центробежного движения и сравнимо с жаждой высвобождения, затаившейся в бруске динамита. Ты видишь, как они проносятся по улице — спешащие, ослепшие, одержимые. В Бронксе обращаешь внимание на фанатиков дальних странствий, которые голосуют, надеясь на попутку, и за обожженной колесами бетонкой видят нетронутые ландшафты Мэна. На Красной излучине ты багром вытаскиваешь утопленника — так же, как подцепляют талями

вдоль Четырнадцатой улицы освежеванные говяжьи туши. А поближе к пирсам ты видишь, как выбрасывает из толпы невысокого черноволосого парня с пачкой листовок под мышкой — точно новую звезду, еще не остывшую, не затвердевшую, движущуюся в каком-то сиянии, которое и есть его решимость стать свободным.

7 утра

Он вышел из метро на Семнадцатой улице. От стука удаляющегося поезда боязливо задребезжали крышки мусорных баков, потом грохот растекся в недрах Четырнадцатой и Деревни.

Он остановился на углу, поеживаясь в слабеньком тепле утреннего солнца. На западной стороне Восьмой авеню и северной — Семнадцатой улицы сверкали на камне косые лучи, отражаясь от стекла и тяжелых брусков льда, сложенных на тротуаре у лестницы в какой-то подвал, смягчались, падая на ящики с золой, и та делалась похожей на ткань.

Он рассеянно перешел на солнечную сторону и направился к Десятой авеню. Навстречу двигался тяжелый грузовик, в его ветровом стекле зажегся и отразился солнечный свет, так что идущий словно попал в прожекторный луч; черные волосы и темные индейские глаза плохо вязались с костистым лицом и вытянутым, как у жителей Новой Англии, подбородком. Как все низкорослые люди, он то и дело негромко и нервно откашливался, словно быстрая ходьба насыщала его избыточными электрическими зарядами. На нем была выцветшая полевая куртка с отметинами на рукавах от споротых капральских нашивок. Под мышкой он нес пачку листовок.

Он прошел мимо чистки и красильни на углу, мимо киоска, отягелевшего от кип утренних газет с кричащими чернеющими заголовками. Через дорогу маленький армянин с черными усиками усердно тер витрину своей лавчонки, смуглая рябая жена обстреливала его отрывочными недовольными восклицаниями, а из дверей выходил разносчик льда с первыми на дню тремя бутылками пива. Он перешел улицу, аккуратно поставил их на брусок льда и уселся на ступеньках дома номер 323. По его красной майке уже пошли пятна пота. Стоял октябрь, но даже в этот ранний час становилось жарко. Разносчик равнодушно взглянул на парня с листовками и погрузился в мечтания о Бруклине, в котором не было ни хворой жены, ни пятнадцатилетнего сына-оболтуса, не желавшего учить итальянский. Бруски льда, обернутые снизу мешковиной, подтаивали у него на глазах. Надо бы спустить лед в подвал, в холод, но он безразлично смотрел на него, а вода сочилась сквозь мешковину, и его майка тоже мокла от пота. Он пока не возражал, что они идут, эти два одновременных процесса распадения — подтаивание и потение, доход и расход.

Из закусочной с жаровней под вывеской «Якорь» доносится аромат свежего кофе, и тридцатипятилетняя девственница из Холлиса, что в Западной Виргинии, барабанит пальцами по крышке кассы, дожидаясь, когда моряки потянутся в бюро найма, а потом сюда, чтобы перехватить лепешек или яичницы с грудинкой и выпить кофе, пива или виски. Она не заметила листовок, но машинально окинула парня взглядом, и не успел он скрыться из виду, как снова предалась своим утренним грезам. Она думала о парке Грэмерси и платяном фабриканте, который несколько месяцев назад в киношке положил руку ей на колено. Показывали «Любовь в засаде», но она воображала, что картина о нем и его деле — пусть занудном, зато верном и доходном. Она влепила ему пощечину, и он сразу же поднялся и ушел. В тот вечер она смотрела картину второй раз. Потом она была там еще два раза на том же фильме, но ее ухажера и след простыл.

В доме около пустыря, где ватага из здешней Организации католической молодежи недавно порезала двух пуэрториканцев, на втором

этаже, в квартире с вытянутыми цепочкой, как железнодорожный состав, комнатами, которую она снимала с тремя подругами-проститутками, маленькая мексиканочка, почти забывшая свое настоящее имя, потому что с самого начала все звали ее только Долорес, мечтала о солнце, белых отелях и красных бобах, а сторож в помещении ОКМ подальше на той же улице думал только о блевотине на полу, которую оставил кто-то из тихих неповоротливых животных, с темнотой выходящих на добычу. Никто из них не замечал парня с листовками, хотя они и слышали его отчетливые, как октябрьский рассвет, шаги на безлюдной пешеходной дорожке.

Поближе к перекрестку он перешел на другую сторону и около забегаловки Пэдди-Хряка увидел бесформенную фигуру, разлегшуюся пластом, точно рисованная рыба на блюде, и спокойно похрапывающую на тротуаре. Мимо прогрохотал грузовик с мусором и словно вытряхнул спящего из винного садка.

— Образование, организация, агитация... Такая, значит, платформа, м-м?— пробурчал пьяница. Видимо, что-то зашевелилось в его отвыкшей работать голове.— И какую же роль в этой дохлой исторической драме ты отводишь себе? — мрачно вопросил пьяница, потом закрыл глаза, чтобы не видеть дневного света и непонятных двуногих, и попытался снова заснуть. У него есть еще целых пять минут, думал он, до того, как подойдет участковый полицейский и скажет, что ночь кончилась, и велит проваливать отсюда.

Но в это утро ему посчастливилось полежать подольше. Когда парень с листовками завернул за угол, он не увидел полицейского: тот в эту минуту поднимался по лестнице третьего от поворота дома, где жила молодая женщина, чей муж еще находился в армии, а она, как на грех, не перестала питать слабость к мужчинам в форме. Полицейскому стоило бы заинтересоваться парнем с листовками, но он уже взошел на первый этаж эротической фантазии и потому отвернулся.

Черноволосый шагал по Четырнадцатой улице к западу, к реке, но никто не обращал на него никакого внимания. Народ в этих кварталах был погружен в мясную фантасмагорию. Поблескивая в солнечном свете глянцевитыми ребрами, свисали с талей разделанные багровые, розовые, белые туши и царственно уплывали в чрева складских помещений.

Чем ближе к порту, тем становилось теплее, и парень расстегнул куртку. Под косыми еще лучами солнца улица была похожа на безлюдную, девственную черную равнину, по которой безразлично и бесцельно, как вымершие бизоны, бродили одинокие лунатики. Парню с листовками почему-то подумалось, что здесь, должно быть, скоро прольется кровь.

7 вечера

У меня не было ни малейшей охоты лезть в эту заваруху.

Я только что демобилизовался — на три дня позже, чем остальные ребята, с которыми я вернулся, и все из-за каких-то пропавших бумаг. Было семь часов вечера и как-никак октябрь, но жара стояла несусветная. Сумасшедшая погода, однако тронулся я отнюдь не из-за жары. В старой армейской куртке я шагал к порту, туда, откуда уже расползалась по улицам забастовка, становясь словно бы живым существом с собственным норовом и повадками. Мне не хотелось иметь никакого касательства к ней, и тем не менее я спешил туда, как будто назначил свидание какой-нибудь потрясающей блондинке, и никак не мог убедить себя, что я делаю это только потому, что здесь, в Вест-сайде, я жил и кантовался до войны.

Мало что изменилось здесь с тех пор, как я уехал в сорок первом. На улицах по-прежнему пахло нагретым камнем, кровью, слезами и потом. Радио с верхних этажей изрыгало сногсшибательные ритмы, душекусательные мелодии, бодрящую рекламу жевательной резинки,

ладана и мирры. Тянуло выхлопными газами. Судачили на ступеньках домов старики, детвора писала прямо на тротуар. То и дело попадались плакаты: «Добро пожаловать, Эдди» или: «С возвращением, Фрэнк» и подписи: «Старая компания». А меня не встречали флагами. Никто не скучал по мне и не ждал меня; я был абсолютно свободен, и все равно я упрямо шагал к порту, хотя не знал, зачем я туда иду. Если в ячейке узнают, что я вернулся и слоняюсь без дела, они быстренько разъяснят, почему я должен быть там. Не нужно мне их разъяснений.

Я узнал о забастовке три дня назад, когда в покачивающемся пьяном свете увидел старушку Америку. То есть это я был малость пьян, а не свет. Он был нормальный, этот ранний рассвет на Гудзоне, чистый и свежий, как будто занимался первый раз. Утро было таким, каким его ожидали.

Первыми нас встречали чайки. Эти летучие кучи лениво роняли жидкий помет на зеленоватую воду, на белые горделивые обводы судна, на живую силу. Мы не возражали против такой бомбежки. В то утро даже чайки не портили настроения. Мы давно не были дома, и было бы худо, очень худо, если бы что-нибудь сейчас не понравилось нам.

После чаек выплыла над закованными в берега водами залива статуя Свободы, едва держа в поднятой руке факел. Свобода отвернулась от Америки и смотрит куда-то за Атлантику остекленелыми глазами, как будто ждет кого-то еще, а не нас. Но нам было все равно. Сколько она стоит так, и ничего не происходит, а тут — нате, явились мы, хотя, конечно, пьяные в стельку, как монахи на поминках у ирландца.

За статуей Свободы появился Батарейный парк и за ним еще один — парк небоскребов вокруг Уолл-стрит и Пайн-стрит. А за небоскребами — порт.

Пирсы шли по Гудзону гребенкой, как фортепианная клавиатура, где не хватает черных клавиш, или вставная челюсть с выбитыми зубами, конечно же, самыми лучшими. То есть именно как пирсы. И все-таки что-то было не то в порту, я почувствовал это еще до того, как наш транспорт вошел в реку. Потом я понял, что́ было не то: застывшие стрелы у кранов, никакого движения, погашенные огни.

— Е-мое,— заскулил парень из Мейкона, по-южному, на манер Скарлетт О'Хара, растягивая слова, а заячья губа и лексикон из семнадцати слов, причем два из них — непечатные в семи языках — тем более мешали разборчивости и вразумительности его речи.— А где ж аркеср?

Оркестра не было. Зато было кое-что другое. В порту стояла ночная кладбищенская тишина. На другом краю знакомого пирса маячила пара посудин. То тут, то там, сбившись в небольшие кучки, расселись работяги, словно привинченные задницами к причальному настилу. Даже если бы сам Иисус Христос вдруг потопал по гудзоновым водам, то и тогда они бы не шелохнулись. В тот момент я и понял, что́ происходит.

Среди них я увидел одного мужика, которого знал, когда вкалывал тут четыре года назад. Это был бывший ирмовец[1], который в ту пору состоял сразу в двух профсоюзах — портовых грузчиков и моряков, но предпочитал вообще нигде не работать, если только не требовалось разжиться деньжатами на выпивку. Настоящее его имя было Конн, но все звали его Пароход, так как он уверял, что когда-то, в старые времена, плавал на Миссисипи лоцманом. Так ли, нет ли, но Марка Твена он читал, это точно. И не только Марка Твена, вспомнилось мне. Он был тогда самым начитанным завиралой в порту, да и сейчас, наверное, тоже.

---

[1] Член боевой профсоюзной организации «Индустриальные рабочие мира», основана в 1905 г., распалась в 20-х годах.

— Эй, Пароход,— крикнул я, перегнувшись через поручень.— Какого черта ты там изображаешь?

Жмурясь от солнца, он обернул ко мне сморщенное, словно у выкидыша, личико. Он был под градусом, что для него вполне естественно даже в такой ранний час — как, впрочем, и в любой другой.

— Привет, Джо! — небрежно кинул он, как будто мы виделись десять минут назад.— Мы тут маленький прием в твою честь соорудили.

— Нет, а что все-таки происходит?

— Восстание вшивых трудящихся масс, приятель,— ответил он, выуживая полсигареты из нагрудного кармана.— Неужели не слыхал? Третий день уже.

Странно, что офицеры не информировали нас о забастовке. В армии любят использовать такие вещи для пропаганды. Может, наверху решили, что инцидент сам собой рассосется. А может, поскольку война как-никак кончилась, они еще не выработали новой тактики.

— Выходит, нам так и сидеть в этой калоше? — буркнул Блэки.

— У тебя что, ног нету?

— А снаряжение и вещи?

— Не заводись, парень,— сказал Конн.— Что на горбу не снесешь, мы снимем. Военные-то суда пока еще разгружаем. Все для фронта — разве не знаешь? Добро пожаловать, защитнички родины!

— Как же это началось? — спросил я у Конна.

Забастовка в нашем порту — штука загадочная. Особенно с таким профсоюзным руководством, которое за долгие годы научилось держать народ в кулаке.

— Как началось? — переспросил Конн.— Работа прекратилась, вот и началось.

Я знал, что иначе из хитреца больше ничего не вытянешь, и кинул ему пачку сигарет.

— «Удача»? — фыркнул он презрительно.— А где же «Фатима»? Где «Три короля»? — Тем не менее он вытащил сигарету, а пачку сунул в карман.— Один взял да и бросил работу — так, видать, и началось,— продолжал он.— Тут вскорости договор подписывать, а компания не дает прибавок. Руководство профсоюза договору, натурально, радо-радешенько. Остальные тоже вроде рады-радешеньки — все, кроме одного. И этот один бросает работу. Пользуясь методом убеждения, он привлекает на свою сторону дружка. Если двое бросили работу — это уже забастовка, верно?

Я слышал это изречение давным-давно, знал, что́ за ним последует, и перебил Конна:

— А ты, конечно, был третьим? Пресвятая коннова троица.

— Браток, я начал бастовать, когда ты еще на свет не вылез.

— Хорошо-хорошо, ну, а четвертым? Еще один дружок?

— Сие известно только господу богу, да и то благодаря бесконечной мудрости его,— ответил Конн, и по его тону я понял, что он говорит серьезно.— Такого я еще не видывал. То есть здесь, в порту, не видывал. Народ крюки за пояс — и по домам.

— Ну, а потом что было?

— Ничего не было. Сидят дома или по пивным.

— И никто не пытался организовать людей?

— Заглядывали тут разные, искали, кто в актив хочет. Никто не захотел. Келли, конечно, в другую сторону тянет. Выйдем, мол, братцы, на работу. Пока впустую старается.

— Как по-твоему, его можно выгнать?

— Не знаю,— ответил он, поглядывая на сидящего рядом с ним типа, который прямо-таки пялился на меня.— Может, просто не хотят.

— Когда забастовка, кое-что можно сделать.

— Полоумные вы, комми, вечно хотите что-то сделать. Нет чтобы понять, что другой раз работяге одно надо: чтоб его в покое оставили.

— Сейчас я и сам этого хочу.

— Ну, ладно, увидимся еще. Собираешься руководить массами, а?

— Нет, не собираюсь,— ответил я.— Пусть кто другой этого младенца нянчит.

Однако пока я собирал вещи в кубрике и, обливаясь потом, стоял на палубе в ожидании приказа сходить на берег, я чувствовал, как во мне закипает знакомое волнение.

Народ выползал на улицу и разбредался — кто в киношку, кто в пивную. Прогуливались, негромко переговариваясь, парни с девицами под ручку. На углах и у кондитерских сбивались в кучки подростки, рядили чем заняться и провожали взглядом девчонок, которые по двое, по трое шли мимо, неумело виляя соблазнительными попами. Я глядел на них, и мне становилось одиноко. Глупость какая-то, ведь у меня есть девушка, к которой я запросто могу заскочить в гости. Мне ничто не мешало пойти к ней сразу же после прибытия, ничто не мешало пойти и сейчас, но я не пошел. Я словно отложил мысль о Кей в сторону — хотя и недалеко, чтобы легко достать при желании,— и отдался на волю той части моего существа, которой приятно просто прошвырнуться по этим мерзким, занюханным улицам.

И все-таки у них, этих улиц, есть свое, особое очарование. В другой стране, той, что лежит недалеко от центра, вдоль Гудзона, стоят хорошие, красивые дома. Или там, за рекой, в Нью-Джерси и дальше, по всей Америке раскинулись тысячи небольших городков, и там тоже стоят белые домики с красными ставнями, в них заперлись люди, у которых есть решительно все для хорошей жизни: дом, автомобиль, а то и два, холодильник с пивом и замороженным цыпленком. Есть свой сейф в банке, и в нем — деньги на каникулы сыну-студенту, бумаги на семейный участок и карта Острова сокровищ. Есть скамья в местной церкви, оплаченная на десять лет вперед, и бессрочная подписка на «Загородный дом и сад» — позолота буржуазного образа жизни и плата за него. Если же здесь, в Нью-Йорке, то просторная квартира на пятнадцатом этаже с видом на реку и на парк — грохот и скрежет города отдаются тут мурлыканьем котенка, закормленного сбитыми сливками,— и тысячелетний план оставаться наверху.

Это совсем другая страна. Но даже там, за этими красными ставеньками, люди боятся — бог весть чего и почему. Они накрепко привинтили крышку и сняли манометр, и все-таки им страшно. У них есть решительно все для хорошей жизни, но хорошей их жизнь не назовешь. Утром они мчатся в свои конторы и целые дни занимаются куплей-продажей и всякими мошенничествами, получая при этом такое же удовольствие, как от хорошо сделанного дела — будь то постель с женой начальника или точный посыл в футбольные ворота. Но вечером, дома, их самих воротит от этих успехов, им снова становится страшно — несмотря на привинченную крышку, и церковную скамью, оплаченную на десять лет вперед, и бумаги на дом, припрятанные в старом чулке. Червем грызет по ночам беспокойство: падает процент прибыли, язва откусывает очередную стотысячную дюйма желудочной ткани, в порту продолжается какая-то забастовка, а в Китае — война, и не приносит облегчения мысль о поле для гольфа или дорогом психиатре с европейским именем.

Они жили всюду, это беспокойство и этот страх. И всегда, сколько я себя помню. Людям ничто не угрожало, кроме этого страха, но он был повсюду. В «Тайме», где рекламная особа в красном платье внушала такие умные и утешительные вещи неудачливому романисту, который казнится тем, что подрядился писать хронику в журнал. В газетах, которые никогда еще не были такими пухлыми и такими пусты-

ми. Можно сказать, что виноват в этом класс, который, сознавая свою ненужность, тем не менее живет и наживается на страданиях и невежестве остального общества. Сказать-то можно, но вот поверить в это — труднее. Что бы ни говорилось в книгах, в жизни дело обстоит иначе. Там лишь умом понимаешь, но воспринимаешь всем своим существом только то, что видел сам и с чем сталкивался, не книжное, настоящее. Реальные вещи отличаются от книжных, даже если это одни и те же вещи.

Однако такого страха не было здесь, на грязных, вонючих и убогих улицах, а если кому-нибудь и страшно, то вовсе не из-за чувства виноватости. Здесь не хранят бумаг на родовое поместье или карт Острова сокровищ. Здесь другая страна, она тянется на три тысячи миль к Западу вдоль железнодорожных путей и расходится оттуда заводами, шахтами и фермами, где, исходя пóтом, шестьдесят миллионов трудящихся создают сокровища из сырья.

По этим улицам, тоже не переставая, бежит пот. Дети рождаются мучительно и сразу же попадают в западню, из которой им никогда не выбраться. Девяносто тысяч мужчин и женщин в эту самую минуту складывают зверя о двух спинах, подпирая обломками распадающуюся семью или любовь. Тысяча замышляет убийство. Тут десятилетний поджигатель покупает первую коробку спичек, там двенадцатилетняя девчонка теряет невинность, подросток с выбитыми передними зубами в первый раз раскрывает «Манифест Коммунистической партии», а в темном подъезде умирает старик. Люди ссорятся, кричат, матюгаются, работают и живут, причем три четверти из них — так, как учит вчерашний фильм.

Таковы были вест-сайдские улицы в этот час. Я шел, не особенно присматриваясь к тому, что делается вокруг. Но вдруг недалеко от Шестнадцатой меня что-то словно осадило. Впереди, в полусотне метров, гляжу, подкатились к парню трое и так заботливо обложили его со всех сторон, будто встречаются с ним в последний раз перед опознанием в мертвецкой. С того места, где я остановился, видно было плохо, и я сначала подумал, что это обыкновенная драка. Потом при свете витрины я рассмотрел, что на парне полевая армейская куртка, а сам он невысокого роста и черноволосый. Те трое поддерживали его, как будто он был пьян и не мог стоять на ногах.

Они быстро шли мне навстречу, но затем свернули за угол около почты. Один вытащил что-то из кармана. Я скорее угадал, чем увидел, что это дубинка. Из-под мышки у черноволосого выскользнули листки бумаги и разлетелись по тротуару, как голуби. Тогда я понял, что́ происходит. Забастовка звала меня. Я заорал и сломя голову кинулся вперед. Расправа готовилась серьезная. Если бы они хотели просто избить парня, они сделали бы это прямо на Девятой авеню и оставили валяться на мостовой.

Черноволосый, натурально, голосил как резаный, и те трое тоже, может, из-за того, кому бить. Я несся по авеню и кричал, призывая прохожих на помощь.

Не сбавляя ходу, я свернул за угол и увидел, что один заносит над беднягой руку с дубинкой. Я не слышал, как дубинка рассекала воздух, но как она стукнула, было слышно дай боже. Удар был быстрый, точно бросок змеи. Черноволосый приподнял локоть, хотя на нем повис другой малый, и рванулся в сторону. Удар во всяком случае пришелся не по затылку. Он удержался на ногах. Снова поднялась дубинка и сочно шмякнула о мясо. Черноволосый сполз наземь, привалился к железной ограде у лестницы, спускавшейся в какой-то подвал. Он увлек за собой двоих: один упал на спину, другой на колени. Они сплелись в один змеиный клубок.

Малый с дубинкой стоял спиной ко мне, но, услышав, что я подбегаю, быстро обернулся. Он не успел изготовиться для удара. Я с ходу двинул его коротким прямым как раз в тот момент, когда он

хотел дать мне под дых. Он малость откинулся, в подбородок ему я не попал, зато мой кулак достал его адамово яблоко. Теперь я стоял крепко и, не давая ему очухаться, с размаху ударил его по скуле. Он выронил дубинку и, теряя равновесие, попятился назад. Три шага — и он сел на водосточный желоб, да так и остался сидеть. Как сейчас помню его жалкую избитую ирландскую морду.

Черноволосый оказался крепким орешком. Я думал, что его так измолотили — не встанет, но когда я повернулся, он уже поднялся на ноги. Один из головорезов буквально вцепился в него, так что второму трудно было подступиться. Увидев меня и приняв, наверное, за третьего, он начал поворачивать своего противника, чтобы поставить того между собой и мной.

Теперь громила стоял спиной ко мне, незащищенный, освещенный лунным светом, и тем не менее от возбуждения я промахнулся, попал ему по затылку. Он оторвался от черноволосого и закачался. Оставалось разделаться с третьим. Он болтался передо мной, точно боксерская груша, и я молотил его куда попало — бац, бац, бац, как кролик капусту, раз двадцать стукнул, но настоящего удара не получилось.

К этому времени вокруг нас уже начал собираться народ — жители из соседних домов, прохожие. На какое-то мгновение малый отцепился от нас и быстро нагнулся за дубинкой, о которой я совсем забыл. Подхвати он ее, начался бы новый раунд, но черноволосый припечатал ему руку к земле тяжелым армейским башмаком.

— Давай-ка сматываться!— крикнул я. Давно бы надо было, но я растерялся.

На углу Девятой стояло свободное такси — хоть раз именно тогда, когда нужно.

— Куда едем, мистеры?— осведомился шофер таким тоном, будто перед ним расстилались все дороги мира.

— Да поехали же, потом разберемся!— торопил я, оглядываясь.

— Куда ехать-то?

— Прямо давай, скорее!

— В такой вечер в Центральном парке замечательно,— раздумчиво произнес таксист, словно давая совет влюбленной парочке.

— Ну, давай в парк!

— Хороша погодка для октября, а?— В голосе его звучала гордость, точно в этом была его личная заслуга. Потом он наконец-то переключился на сцепление, и, убрав подкрылки и пристегнув ремни, мы полетели по Девятой сквозь густую тьму.

9 утра

Крип сидел за столиком у окна в кафе-автомате на Шестой авеню. Перед ним расстилалась улица, желтеющая от кативших такси, напротив начинался сквер, примыкавший другим краем к публичной библиотеке. Косые лучи солнца, проникавшие в окно, уже порядочно пригревали, и в их свете листья на деревьях в сквере были похожи на замасленную кожу. Вообще-то листва была по сезону, но при таком угле падения лучей она словно бы почернела.

На скамейках под деревьями расположились студенты с тетрадями и старики. Народ уже потянулся по дорожкам к библиотеке. Человек с мешком на боку аккуратно подцеплял на остроконечную палку обрывки бумаги.

Именно такое время дня Крип любил больше всего, особенно в хорошую погоду. Он подолгу сидел здесь и, прихлебывая кофе, читал газеты, а после, если было настроение, не спеша шел между деревьями к некрасивому каменному зданию на другом краю сквера. Но сегодня ему не до исторического зала и старенькой библиотекарши. Может быть, завтра, подумал он, а может, и нет. Он снова развернул га-

зету — это была «Нью-Йорк таймс»— и начал внимательно читать редакционные статьи.

Он читал так же, как делал все остальное, как штудировал в историческом зале десятки и десятки книг, документов, журналов — спокойно, методично, ничем не выдавая своих чувств. Читая редакционные статьи, он испытывал то же самое, что и штудируя исторические писания — глухую ярость оттого, что пишущие злоупотребляют его доверчивостью. Закончив, он снова почувствовал, что его обманули. Он перечитал одну статью, потом другую, чтобы разобраться, где же она спрятана, эта ложь, но безрезультатно. Ведь она где-то здесь, в этом месиве слов, сползавшем с газетной полосы. Он не узнал ничего такого, чего бы не знал до того, как раскрыл газету, до того, как десять лет назад начал свои исторические разыскания, которые никому не были нужны, но которые он вел истово, словно заряженный током высокого напряжения, предназначенным совсем для другого.

Оставив газету на столе, Крип подошел к торчащему из стены крану с кофе и набрал еще одну чашку. Он сильно хромал: левая стопа у него была вывернута. Засыпав в кофе сахару — три ложки с верхом,— он проковылял к своему столику и взялся за первую полосу. Первым делом он прочитал сообщения о забастовке. Далее шла статья о возобновлении военных действий в Китае, и Крип не спеша прочитал ее, то и дело заглядывая с каким-то злобным недоверием в карту со стрелами, помещенную на другой странице, снова и снова повторяя названия незнакомых городов, как бы пробуя их на вкус. Потом он сложил газету, допил кофе и вышел на улицу. На углу Шестой и Сорок первой к нему бочком, по-крабьи, подгреб бродяга.

— Извиняйте, мистер, у вас не найдется?..

— Проваливай,— прошипел Крип, не глядя на попрошайку, и заковылял по улице, чертыхаясь про себя, давясь беспредметной злобой.

Он пересек Седьмую авеню, потом Восьмую и направился к старому дому-улью в итальянском квартале. Дверь в помещение, где жила хозяйка, была распахнута. В ее квартире пестрело от разноцветных ваз, фарфоровых зверюшек и птичек, от макетов Пизанской башни, Эмпайр стейт билдинг, Ниагарского водопада, последнего боя Кастера[1]. На стенах развешаны дешевые литографии и картинки из календарей, углы были утыканы бумажными цветами.

— Привет, Крип! — окликнула его домовладелица, выглядывая из своих дебрей. Возле нее на столике стоял большой бокал кислого вина с кубиками льда, она была явно в подпитии.

Он, чертыхаясь, поднимался по лестнице и слышал, как она залилась вдогонку счастливым смехом. «Старина Крип с ранья не в духе»,— с беспричинным удовольствием сообщила она себе самой.

Войдя в свою комнатенку с парой стульев и узкой кроватью с медными шарами на спинках, Крип перестал чертыхаться. Он выдвинул верхний ящик комода и вытащил шкатулку. Достав из бумажника ключ, он отпер ее и взял оттуда что-то тяжелое, завернутое в промасленную тряпку. Он подержал предмет в руках, словно прислушиваясь к чему-то — может быть, к чему-то внутри себя, как будто хотел убедиться, что там ничего не переменилось за эту минуту. Он не услышал перемены. Он был тем же Крипом — невзрачным, незаметным, невысоким человеком с незапоминающимися чертами лица. Единственное в нем, что обращало на себя внимание,— это глаза. Чересчур крупные радужные оболочки напоминали желток, вытекший из яйца. Ничего, даже обычной затаенной злости, не было в нем сейчас, когда он развернул промасленную тряпку и принялся чистить тупорылый револьвер.

---

[1] Сражение на реке Литл-Бигхорн, штат Монтана, в июне 1876 г. между индейцами сиу и чейенами и карательным отрядом генерала Джорджа А. Кастера, закончившееся сокрушительным поражением последнего.

9 вечера

В Центральном парке делать нам было нечего. На Двадцать третьей улице мы свернули, проехали по Пятой авеню до Шестнадцатой и вылезли. Протопав несколько кварталов пешком, повернули потом на Шестую и добрались наконец до дома, где жил черноволосый.

— Осторожничаешь?— спросил я.

— На меня еще сегодня утром навалились,— ответил он.— И один был из этой самой компании. Похоже, что их заинтересовала моя особа.

Мы вошли в дом, поднялись на третий этаж, и черноволосый вытащил ключ. Далось это ему нелегко, так как рука у него здорово разболелась.

— Я ночую тут у одного парня, он снимает эту конуру,— объяснил он.

Квартира была из тех, где в одной комнате и кухня, и гостиная, и спальня с дверью в крохотную ванную. Такая узкая, что между двумя кроватями вдоль стен едва оставался проход. Поближе к окну стояла простенькая книжная полка с откидной крышкой, которая служила письменным столом, и два кресла. По свободным стенам тоже тянулись низкие самодельные и пока некрашенные книжные полки, от них еще пахло свежим деревом. На крышке лежали «Санди уоркер», «Воспитание Генри Адамса» и несколько воинских нашивок.

— В Европе воевал?— спросил я.

— Ага. А ты?

— И в Европе тоже.

Он стащил с себя куртку и рубаху и растянулся на кровати. Рука его пониже плеча, там, куда пришелся удар, вздулась. Не то чтобы очень сильно, но когда я начал было ощупывать ее, на лбу у него выступил пот.

— Не надо, а?— выдавил он.— Болит адски.

Я пошел в ванную, но в аптечке, кроме старых бритвенных лезвий и баночки с вазелином, ничего не было. Я принес баночку и начал растирать ему руку. Он кряхтел от боли.

— Завтра сам и штаны не натянешь.

— Посплю в штанах. Я в шесть в порту должен быть.

— Лучше переждать несколько деньков. Если утром на тебя охотились и сейчас тоже, значит, завтра опять объявятся.

— А что делать, приходится.

— Редко, когда действительно «должен» и «приходится».

— Значит, это тот самый редкий случай.

— Ну, как знаешь.— Я понял, что уговаривать его бесполезно, и, кроме того, кому-то же надо быть там. Просто подумал, что парню и так досталось.

— Они, понимаешь, вообще за нашими охотятся,— сказал он.— Мне пока везло. Три дня уже тут, и ничего. Других бьют, а меня нет. Странно получалось.

— Теперь вот не странно. Рад, если тебе от этого легче,— отозвался я и начал шуровать в кухоньке. Мне было неловко, потому что в глубине души я знал, что завтра меня самого потянет в порт и мне тоже придется быть с ним и с другими нашими, а я не хотел этого, не хотел.

Кухонька была одно название. Я откинул штору — и вот она как на ладони: морозильник, вмещавший от силы три банки пива, пара кастрюлек, в которых только яйцо сварить, перец, соль, масло, уксус. Чайника не было даже маленького. Я налил в кастрюльки воды и поставил на обе конфорки.

— Проголодался я что-то,— сказал я.

Черноволосый без особой надежды кивнул на морозильник. Хорошо, что хоть пиво там нашлось, и я открыл две банки. Стаканы, видно, давно побились, если вообще были. Я подал ему банку и присел на

край кровати, чувствуя, как его глаза ощупывают меня, точно радар. Глаза черные, блестящие, как две пуговки, они почему-то не вязались с остальным лицом, и оттого хотелось взглянуть на него второй раз, и пристальнее.

— Знаешь, ты на одного моего знакомого похож,— сказал я, вспомнив Блэки Кармоди, такого же низкорослого, юркого, черноволосого. Он кивнул, но без всякого интереса.

— Как тебя зовут?— спросил он.

Я наложил ему на руку полотенце, смоченное в горячей воде, и оно, должно быть, жгло, как утюг. На большее моей медицинской изобретательности не хватило.

— Джо Хантер.

— А меня Билл Эверсон. Я тебя и поблагодарить-то в такси толком не успел... Спасибо, если б не ты — хана мне.

— Надеюсь, мне не придется благодарить тебя за то же самое.

— Мне просто повезло, что ты рядом очутился.

— Жил я там, на Семнадцатой, вот и решил посмотреть. Интересно было, как там, в порту.

— О забастовке слышал?

— Я забастовку за три мили чую,— ответил я.

— Чудна́я она какая-то. Народ целыми днями торчит на пирсах, а порт стоит. И все из-за того, что один занюханный профсоюз поднял бузу.

— Занюханный? Не скажи. У них Келли, а это кое-что.

— Пожалуй... Я сам с Запада, видел забастовки, но такой — ни разу. Ты-то что о ней думаешь?

— Ничего не думаю. Похоже, что работяги перетрудились и решили отдохнуть. Не думаю и не хочу думать. Не хочу лезть в эту заваруху.

Я пересказал Биллу свой разговор с Конном.

— Ты, выходит, работал здесь?

— Работал немного,— ответил я.— До войны.

— А меня от коммунистической ячейки послали.— Он посмотрел на меня так, словно я непременно должен был что-то ответить.

— Меня бы тоже послали, если б знали, что я вернулся.

— А ты разве не встанешь на учет? Люди во как нужны. И не только члены партии. Но главное, неизвестно, что делать с этой забастовкой. Никто ничего не соображает. Прямо руки опускаются.

Я знал, что услышу что-нибудь в этом роде. Транспорт — вот что делает Нью-Йорк уникальным с точки зрения рабочего движения, но профсоюзы здесь почти самые отсталые в стране. Келли и его шайка держат порт в руках с тех пор, как он сорвал большую забастовку после первой мировой войны. Он единолично ворочал делами, а когда надо, прибегал к помощи церковников, властей, полиции, шантажистов и прямых мошенников. Сломить его никак не удавалось. Народ закипал от возмущения и успокаивался, партия тоже прилагала немало усилий, но все оставалось по-прежнему. Одного из самых активных наших ребят нашли однажды после отлива на другом берегу Гудзона, в Джерси: его засунули ногами в бочку с бетоном. А уж тех, кого отстраняли от работы, проваливали на выборах, избивали до полусмерти — не сосчитать. И если уж пошла такая пляска, как выразился Конн, то это означало, что людям действительно надоела профсоюзная, с позволения сказать, деятельность Келли.

Предстоял бой, и нешуточный. Забастовка захватила массу народа, а наши силы малочисленны, рассеянны и слабы. И вообще работать с большими группами забастовщиков — все равно что вести ночью вниз по горной дороге тяжелый грузовик без тормозов и рулевого управления.

— Подаюсь на Запад,— сказал я.

— У тебя там задание?

— Я сам себе даю задание.

— Так ты оттуда? Где ты родился?

— Я родился, когда мне было восемнадцать,— ответил я,— упав плашмя спиной на детройтскую мостовую.

10.30 утра

Патрик Джеймс Келли сидел за столом и задумчиво пускал изо рта кольца табачного дыма. Снаружи по Восьмой авеню несся поток машин — одни шли к Сорок второй улице, другие — в обратном направлении, к узкой горловине туннеля Холланд. Было шумно, но Келли казалось, что на Манхэттен пала неестественная тишина. Мысленным слухом он вслушивался в то, что происходит на пирсах, и с горечью понимал, что в это прекрасное октябрьское утро городской какофонии не хватает именно портовых шумов.

Келли был рослый, видный, начинающий полнеть мужчина, но без малейшего признака дряблости. Седеющие волосы аккуратно подстрижены. Глаза за очками в металлической оправе глядели печально, и это впечатление усиливалось тем, что один край его рта горестно опускался книзу, словно отзываясь на какую-то неутихающую внутреннюю боль. Келли было лет пятьдесят пять — шестьдесят, однако выглядел он на сорок пять.

Он положил сигарету в дешевую железную пепельницу и посмотрел на календарь. Там было написано большими буквами: ПОЗВОНИТЬ КАМИНЕТТИ, а внизу его обычным почерком: *Хаск, десять сорок пять.*

— Вшивый итальяшка,— сказал он вслух и потянулся за новой сигаретой. Не закуривая, он повертел ее и сунул обратно в пачку. Любитель хороших сигар, он презирал сигареты. Выдвинув правый ящик стола, он задержал взгляд на коробке с сигарами, но потом, пошарив в глубине ящика, достал пачку драже «Береги здоровье» и кинул одну горошину в рот. Врачи настоятельно рекомендовали бросить курить, так что драже и легкие сигареты заменяли хороший табак. Коробку с сигарами он держал в ящике как вызов судьбе.

ПОЗВОНИТЬ КАМИНЕТТИ. Это придется сделать рано или поздно, но момент пока не настал; он сидел, откинувшись на спинку кресла и посасывая драже, смотрел на улицу и думал.

Контора была запущена и занимала один этаж делового здания. Двери и рамы окон бугрились от многочисленных покрасок, стены отдавали желтизной. У стола торчала старая медная плевательница, сохранившаяся с прежних времен. *Почти с доисторической эпохи.* Келли смотрел на улицу и словно видел за домами тени их предшественников и призрачный след протянувшейся вдоль Девятой авеню надземки.

Контора не переделывалась с тех самых пор, когда он сел сюда сразу же после первой мировой войны. Теперь профсоюз снимал другое, дорогое помещение в новом большом здании по соседству. У Келли там тоже был кабинет — богатый, с рядами телефонов и высокооплачиваемой секретаршей, но временами он заходил сюда, в свою старую контору — свою первую контору — с небольшим конференц-залом, где сейчас сваливали всякий хлам, сюда, где ничего не переменилось. То тут, то там проходили иногда кистью или приносили новый стул, но плевательница была та же самая. *И запах тоже.* Келли сделал глубокий вдох, словно хотел набрать побольше этого особого запаха. Ему было одиноко.

Одиноко ему было из-за забастовки. Он чувствовал какую-то растерянность, сомневался в окружающих и в самом себе, а застоявшийся запах конторы свидетельствовал, что не все подвержено переменам. Одни дома уступали место другим, нет больше на авеню надземки, но контора та же самая. *И я тот же самый.* Келли уверял себя, что

справится с любой трудностью, но сейчас ему очень хотелось закурить сигару, хотя сигары ему вредны.

И все же надо что-то решать с забастовкой, решать с Каминетти.

Забастовка беспокоила его. Она вообще не должна была начаться. Докеры неплохо заколачивали. Всю войну платили хорошие сверхурочные, так что при желании можно было прилично подработать. В Вест-сайде и в рабочих кварталах Бруклина и Джерси скопилась такая куча денег, какой там никогда не видывали, и вдруг — забастовка.

Как кирпич на голову. Босяки вшивые.

Он думал о тех, кто бастует. В нем кипело раздражение, но оно было не такое сильное и не перешло в настоящую злость, и он даже заулыбался, вспомнив себя в молодости, когда сам вкалывал на пирсе. Может, забастовка началась, потому что кончилась война?

Плевать на то, как она началась,— а вот как она кончится?— думал он, посасывая драже. *Выигрываешь-то до поры до времени. Выигрываешь все, кроме последнего.*

Он услышал шаги на обшарпанных деревянных ступенях лестницы, и в приемную вошел человек с осунувшимся, чахоточным лицом. Одет он был в темный костюм, на голове шляпа. Подойдя к столу, он начал подбирать листовки. Келли он не заметил.

Келли некоторое время молча смотрел на человека, стараясь вспомнить, как его зовут, и вдруг имя словно само написалось на крышке стола.

— Ты чего там, Монк?— окликнул Келли.

— А-а, привет, Пе Де. Да вот, листовки надо взять. Народ сегодня гужуется. Вот и решили, что самое время раздать материал.

— Листовки,— фыркнул Келли.— До сих пор я прекрасно без них обходился. Сегодня листовки, а завтра и все остальное как у красных. Так мы будем руководить профсоюзом?

— Да мы посоветовались...— начал было Монк Райан.

— С кем посоветовались?

— С Хаском...

— С Хаском? Значит, это его идея? Я так и думал. Новомодная метода!— Келли напускал на себя рассерженный вид.

— Он сам и писал их.

— А ну-ка покажи.

Монк взял листовку и положил перед Келли на стол. Рука Келли машинально выдвинула правый ящик и достала сигару. Он огорченно посмотрел на нее, вспомнил о враче и протянул ее Монку.

— Возьми ее, проклятущую. Доктора запретили.

— Спасибочки, Пе Де.— Монк повертел сигару под носом, как бы наслаждаясь ее ароматом, и подумал, до чего же противно они пахнут.

— А теперь проваливай со своими бумажонками.

— Я мигом.— Но у двери Монк обернулся и сказал:— Наши ребята утром задали трепку двум комми. Шныряют по пирсам, проклятые, вынюхивают как и что. Где их только не встретишь.

— Не так уж их много.

— Хватает,— неуверенно протянул Монк, не желая вступать в спор.

— Значит, и трепки побольше надо.

— Понятно, да не так-то просто это. Неизвестно, как работяги посмотрят. Пару дней назад навалились на малого двое наших, а они встряли. Туго нашим пришлось.

— За то и платят.

— Платить-то платят, а все равно туго.

— Заладил: «Туго, туго»! Откуда тебе знать, когда по-настоящему туго. Ты бы видел, как Тони — ну, тот красный, которого потом пристукнули,— как он всю низовку против нас в Бруклине поднял. Ты бы видел, как Каминетти подмоги просил.— Келли с удовольствием

вспомнил, как выглядел в те деньки Каминетти.— Или забастовку в двадцатом. Вот когда было туго — хуже некуда.

— Представляю, хотя у Каминетти сейчас порядок. Уломал кое-кого, вышли на работу.

— У Каминетти свои проблемы. Ну, ладно, забирай свое барахло и проваливай.

Он слышал шаги, спускающиеся по лестнице, и скрежет наружной поворотной двери и старался вспомнить, о чем же он думал, когда появился Монк. Он хотел вспомнить, но мысль ускользала, а она вдруг сделалась самой-самой важной, заключавшей разгадку того, что происходит в порту, силился вспомнить и не мог. *Кроме последнего.* Да, это самое, но что оно значит? Внезапно его больно пронзило озарение. Он прошел много схваток и вынес из них фаталистическое убеждение: выигрываешь один бой за другим, выигрываешь все — кроме последнего. Однако теперь это означало нечто большее, что-то такое, что имело отношение к доктору, который запретил ему курить, и к забастовке тоже. Имело отношение к смерти. *Кроме последнего.*

Он смотрел на листовку, лежащую перед ним, буквы расплывались, двоились, кружились. Он понял, что когда-нибудь умрет.

Выйдя из подземки на углу Четырнадцатой улицы и Восьмой авеню, Элтон Хаск остановился, чтобы посмотреть на людей, собравшихся у реки в конце Четырнадцатой. Он не видел никакой закономерности в движении у пирсов. Небольшие группы сливались, как капельки ртути, перемещались то туда, то сюда, раскалывались и расходились снова. Иногда разлетались листовки, и ему было любопытно, чьи они — его собственные или противника.

Хаск был высокий, под метр девяносто, крепко сложенный мужчина с темными вьющимися волосами, коротко подстриженными «под бокс», кареглазый и толстогубый. Вид у него был недовольный, как у надувшегося ребенка, но он радовался, глядя на работяг, рассыпавшихся по пирсу. Ему вообще нравилось, когда ломался установившийся порядок, и он испытывал подъем от этой заварухи, хотя в определенном смысле забастовка была направлена и против него самого, поскольку он работал на Келли. Он всегда искал такие проявления жизненной силы, жаждал ее и жадно впитывал, словно заполняя какую-то пустоту внутри самого себя.

— Здравствуй, Эл,— окликнул его кто-то, и, обернувшись, он увидел темный костюм, шляпу, худощавую фигуру и листовки. Это был Монк Райан.

— Ты, я вижу, с листовками.— Говор у Хаска был ровный, плавный, как у коренного жителя Запада, хотя и не протяжный, и отчетливый, но без среднезападной звонкости.

— Угу,— Монк заговорщически усмехнулся.— Пе Де как увидел их, его чуть не вывернуло.

— Не понравилось старику?

— Может, и понравилось, только он виду не подал.

— Старомоден наш Пе Де, старомоден,— сказал Хаск спокойно.— Сидит долго, вот и начал думать, что, если он не меняется, значит ничего не меняется.

— Похоже на то,— отозвался Монк, но так, что нельзя было понять, согласен он или нет. Его избрали в комитет только благодаря его отцу, который был знаком с неким Мердом, председателем окружного совета демократической партии, и тот, пользуясь своим положением, попросил Келли об услуге. Монк до смерти обижался, когда кто-нибудь из больших шишек хотел его руками жар грести.

Вот прохвосты, думал, он, мне же ничего не надо, кроме как выполнять свою работу. Я человек маленький, и я ее выполняю. Он испытывал гнев праведника.

— Между тем кое-что меняется,— продолжал Хаск, глядя на вереницу автомобилей, тянувшуюся по авеню. Ни с того ни с сего он вдруг почувствовал радостный подъем, недовольное выражение на лице сменилось улыбкой, и в этой внезапной перемене было что-то настораживающее.— А мы все-таки побьем этих ублюдков,— воскликнул он, хлопая Райана по плечу.

— Обязательно,— откликнулся Монк, хотя не вполне понимал, кого Хаск имел в виду.— Глянь-ка,— сказал он, показывая на черноволосого парня в армейской полевой куртке на другой стороне улицы.— Видишь того комми? Этот паршивец мотается в порт чаще автобуса поперек Манхэттена...— Его снова захлестнула обида. Проклятущий красный, завертелось у него в голове, как же мы промахнулись с тобой вчера вечером, паршивый ублюдок, безбожник чертов. Он подумал о своей жене, не вылезавшей из квартиры, которая выходила на задний двор на Двадцать седьмой улице в доме без лифта, о том, как по три раза на дню ее всю выворачивает — бог весть от какой болезни, о двоих детях, и одному всего полгодика.

— Ну и разделайтесь с ним.

Хаск всматривался в мужчину, который как раз заворачивал за угол. У него был высокий лоб с большими залысинами.

— Обязательно,— проговорил Монк машинально, уже позабыв про парня.— Мистер Хаск... Э-э... работяги на моем пирсе не помогают мне как следует.— Он хотел сказать, что они не отдают ему его долю левых денег, но не знал, как это выразить.

— Конечно,— отозвался Хаск, не слыша, что говорит Монк. Он смотрел через дорогу. Ну что ж, Барни, думал он, вот мы и встретились опять.

Как бы услышав его, худощавый мужчина с залысинами повернул голову и пристально посмотрел на него. Элтона Хаска обдало холодком страха, словно рядом просвистела пуля, и этот страх затронул в нем самое потаенное и уязвимое. Последний раз он видел Барни Ласта в Испании. Он предстал перед трибуналом за дезертирство, а Барни выбрали защитником. Больше того, Барни добился, чтобы его оправдали. Другой раз Хаск поступил умнее и дезертировал из батальона вчистую.

Ласт смотрел на Хаска так, словно видел не Хаска, а стены банка за его спиной. Потом, ничем не выдав себя, отвернулся и зашагал к порту.

— Несправедливо же это,— говорил Монк.— Мне больше причитается. Может, поговоришь с Пе Де?

— Ты же знаешь, что Пе Де не интересует, как вы там договариваетесь.

Это была ложь, и оба знали это. Не интересует — как бы не так, думал Монк, запросто мог бы пристроить меня у кормушки, даже если сам не гребет свой процент с моего пирса, запросто мог бы, так нет же, теперь придется кланяться этому сучьему сыну Мерду, а тот потребует и ему отвалить.

— Пе Де мог бы замолвить за меня словечко,— не отступал Монк.— И в Католической ассоциации меня хорошо знают,— добавил он поспешно.

— Не знаю, не знаю...— рассеянно проговорил Хаск. У газетного киоска на противоположном углу Четырнадцатой он увидел Ландерса и взвешивал, стоит с ним поговорить или нет.— Я займусь этим, Мак, посмотрю, что можно сделать,— сказал он с наигранным доброжелательством.— Тебе на пирс пора.

— Я мигом.— Монк надвинул шляпу на свое сухонькое личико и побрел по Четырнадцатой к порту. Сукин сын, даже не помнит, как меня зовут, думал он, шибко образованный; Пе Де хоть знает меня.

Хаск проводил Райана глазами, угадав по походке и посадке плеч, что тот обижен, и понял, до чего несимпатичен ему этот человек, как,

впрочем, и все остальные. Неудачники вообще внушали ему какое-то виноватое чувство. Однажды в Детройте он подрался с негром — потом у него было такое ощущение, будто он испачкался. Разумом он все понимал и не имел ничего против негров, евреев и прочих, однако при встрече с ними ему всякий раз делалось неприятно, словно до него дотрагивается больной. До сих пор он не избавился от этого чувства. А сейчас он просто ненавидел Райана, черноволосого парня, Ласта, забастовщиков, весь рабочий класс. Он помахал Ландерсу.

Тот осторожно переходил улицу, глядя как положено сначала налево, потом направо. В руках он держал «Уорлд телеграм» и вчерашний выпуск «Пост». «Пост» был сложен таким образом, что виднелась страница с колонкой рабочей хроники.

— Привет Троцкому.— Хаск кивнул на газеты.— Что же тискают эти наемные писаки, так называемые специалисты по рабочему вопросу?

— Пишут, что Келли — отъявленный мошенник, но с другой стороны, что забастовку устроила Москва. И делают отсюда вывод: надо поддержать Келли.— Он обернул к Хаску свое сообразительное, как у растущего ассистента, лицо, снял очки и принялся тщательно протирать стекла.— Тебе что нужно, Эл?

— Ничего особенного. Хотел узнать, что ты думаешь обо всем этом.— Он махнул рукой в сторону порта.

Ландерс пожал плечами, надел очки.

— Читай нашу прессу.

— Плевать я хотел на то, что пишет «Борец» или «Трудовой...», как он там называется. Гроша ломаного не стоят ваши фракционные листки. Я хочу знать твое личное мнение и какую позицию ты намерен занять.— Хаска раздражала его уклончивость.

— Ситуация сложная...— Ландерс неторопливо складывал газету, подбирая слова.— Келли может полететь. Я лично этого не исключаю.

— И как ты смотришь на такую возможность?

— Трудно сказать. Дело может зайти слишком далеко. Сейчас власть вышла на улицу, она ничья — бери и держи. Но ее могут взять не те люди.

— То же самое, что говорит «Пост»?

— Ты же знаешь, я руководствуюсь другими мотивами,— сказал Ландерс, краснея.

— Я знаю, что, если вы вздумаете по-своему действовать — ты и твои друзья-католики,— тогда можете проститься со своим отделением. Так и передай в Ассоциации на очередном собрании.

— Я не потерплю ничьих приказов,— сказал Ландерс спокойно.

— Неужели? — Хаск улыбнулся той же настораживающей улыбкой.— Ну, ладно! Нет смысла ссориться. Нам предстоит серьезный бой.

Ландерс молча повернулся и пошел в сторону порта, но Хаск знал: он хорошо запомнит то, что услышал.

Да, проблем уйма, размышлял Хаск. Первая, конечно, сами забастовщики, их настроения. Как поведет себя тот или иной, легко вычислить, но, взятая в целом, эта орава непредсказуема. Другая — Келли со своим поразительным умением ничего не делать. Потом Ассоциация католиков — членов профсоюза. Раньше они не давили на профсоюз, отдали его на откуп Келли, поскольку тому удавалось не подпускать коммунистов. Теперь же, с окончанием войны, выскочки в Ассоциации подняли голову. Вместе с Ландерсом и еще двумя троцкистами они уже составляют большинство в руководстве одного небольшого местного отделения. Хаск понимал, что с новой бандой не легче будет управиться, чем со старой.

Куда ни кинь — всюду проблемы, рассуждал он, пересекая улицу. Взять того же Каминетти, который считает, что Келли пора бы и на отдых. И наконец, коммунисты. Как организация они не волнова-

ли его — он мысленно видел лишь одного человека, Барни Ласта, и его снова обдало холодком страха. Он раздраженно стряхнул неприятное чувство. Не так уж их много, да и те, что есть, неопытные.

— Никак мистер Элтон Хаск, эсквайр? Всегда в первых рядах,— раздался голос.— Спешит в офис, чтобы опередить босса. Поскорее послужить трудящимся. Иначе куда девать профвзносы? Хорошо поработал — хорошо заработал, верно я говорю?

— Привет, Пароход,— сказал Хаск и, глядя на его красное сморщенное личико, подумал: угораздило же встретить.— Все еще выставляешь себя первым человеком в порту?

— Я и есть первый человек,— ответствовал Конн; он был выпивши.— Что с утра курим?

Хаск вытащил пачку сигарет и протянул Конну.

— «Честерфилд»? — протянул тот разочарованно.— Я-то думал, «Виргинские» или «Золотой лист».— Он вытряс из пачки полдюжины сигарет и отдал ее Хаску.— Ну-ка, подожги кончик.

Хаск поднес огонь.

— И что же он думает, твой приятель, о соотношении сил? — Конн кивнул в сторону Четырнадцатой улицы.

— Кто?

— Как кто? Старина Ландерс. Христос... э-э, прошу прощения, христопродавец мировой революции.

— Он мне не приятель.

— Развелось их, которые «анти», хоть пруд пруди. Куда ни плюнь, всюду спец по коммунизму, верно? — Конн выпустил дым и, хитро прищурясь, смотрел на Хаска.— Гляди, Эл, как бы тебе не пришлось подыскивать другую работенку.

— Если моя накроется, сделаюсь героем Девятой авеню — вроде тебя.

— Не-а, не получится.— Конн сплюнул.— Есть только один герой вроде меня — это я сам. К тому же я как цезарева баба.

— Не улавливаю.

— Я тоже выше, выше честолюбия.

— А я нет?

— Сдается, ты не прочь на самый верх.

— В келлево кресло, так, что ли? — Хаск заулыбался, положил руку Конну на плечо.— Как насчет того, чтобы войти со мной в сговор?

— Подсади тебя в кресло — пойдет новая модель Келли, не я буду.— Он отодвинулся, и рука Хаска упала с его плеча.— Почем нынче платят за участие в управленческой революции? — подпустил Конн и добавил: — Монета при себе на кофеек имеется? Сделаем взнос в Забастовочный фонд Конна-Парохода?

— Имеется. Пошли, я и сам с удовольствием.

— Не-а, я-то свою на кружку пива хотел пустить.

— Тебе все можно,— сказал Хаск, доставая мелочь из кармана.— Ты у нас личность особая.

— Это точно... Шут при царствующей особе.— Конн взял деньги и отцепился.

Хаск зашел в ближайшую забегаловку и заказал кофе.

Конн прав и неправ. Ему действительно хочется сменить Келли— сменить в широком смысле слова, а не просто сесть в его кресло. Однако он неправ касательно его честолюбия. Нет у него никакого честолюбия. Если когда-нибудь им и владело честолюбие, то он расстался с ним во время охоты в округе Кер-д'Ален, штат Айдахо, когда ему было шестнадцать лет.

Элтон Хаск представлял третье поколение семьи крупных лесопромышленников на Западном побережье. Настоящая фамилия деда — Хасик, но **он** поменял ее в тот **самый** день, когда приобрел вто-

рую тысячу акров корабельной сосны на Каскадных отрогах. К тому времени, когда Элтону исполнилось десять годков, в семье уже предпочли забыть и родовое имя, и тот прискорбный факт, что дед работал руками. Тогда они жили в Сиэтле в большом доме над заливом.

Элтон Хаск был единственным ребенком в семье и привык к одиночеству. У его отца, грубоватого здоровяка,— весь в иммигранта Хасика — не хватало времени на сына. Тем не менее Элтон рос нормальным ребенком, успевал в школе, хотя и не блистал, и по очереди мечтал стать лесорубом, машинистом, лесничим, летчиком. У него были обыкновенные мальчишеские желания и еще одно, бессознательное, о котором он не догадывался: ему очень хотелось, чтобы отец любил его.

Каждый раз в конце октября отец устраивал большую охоту. В тот год, когда Элтону исполнилось шестнадцать и он перешел в последний класс средней школы, отец взял его с собой.

После трех дней хождения по лесам он внезапно услышал хруст ветвей. Из-за деревьев выпрыгнул олень и ровной трусцой пошел вдоль озера. Элтон не то чтобы позабыл о ружье в руках, но не сумел поднять его. Едва олень пересек косу и исчез в зарослях, как рядом хрипло заматерился отец.

— А ну дай сюда! — Отец выхватил ружье у него из рук. Будто во сне он увидел поднятую руку и упал, сплевывая кровь изо рта. Он даже не успел понять, что его ударили. Удар был как молния — неожиданный, мгновенный. Он хотел встать и дать сдачи, но побоялся.

Элтон Хаск не простил отцу обиды. Несколько следующих лет ему удавалось иногда вообще вытеснить этот случай из памяти, но все равно он ничего не простил отцу и до того ненавидел его, что был готов убить. После двадцати он перестал придавать случившемуся какое бы то ни было значение и думал об отце с полнейшим безразличием, даже не держал зла за тот удар. Иногда, правда, приходила мысль: надо было дать сдачи, но почему-то обиднее всего было то, что у него отняли ружье, хотя первое время он об этом совсем не думал.

Вот тогда-то он и расстался с честолюбивыми планами, которые сводились к одному: быть похожим на отца. Да и зачем оно, честолюбие? Рано или поздно леса и фабрики все равно перейдут к нему.

Через год после охоты умерла его мать — миловидная блондинка, мягкая, рассеянная и, как он потом понял, глубоко несчастная. Умерла, должно быть, просто от смертной скучищи. Отец был настолько занят делами, что не нуждался в жене. Хозяйство в доме вели слуги. Смерть матери была для него ударом: он любил ее бездумно, по-щенячьи, потому что больше любить было некого.

Через месяц после смерти матери он потерял невинность с одной из служанок. Он гордился поступком и стыдился, что — с прислугой. Не будучи от природы особо сообразительным, он вдруг увидел мир в новом свете, но когда потянулись студенческие годы и он выгребал семестр за семестром, хотя и не в первой лодке, а летом носился под парусом по заливу, легкие любовные победы перестали доставлять ему удовольствие. Последовал период запоздалого взросления, он обнаружил, что слова и идеи тоже могут волновать кровь. Одно время он даже мечтал стать великим ученым.

Мечтание было пустое. Вскоре он потерял интерес к книгам, забросил занятия и в конце третьего года был вежливо отчислен из колледжа. Почему это его задело — непонятно.

Он вернулся в Айдахо, поехал на озеро, где испытал первый охотничий азарт и отец отнял у него ружье, и, несмотря на то, что сезон уже кончился, подстрелил-таки оленя, и не одного, а целых трех, но не потрудился даже пойти посмотреть на свою добычу. Три месяца он провел в хижине, которую отец построил двадцать лет назад, без книг, без радио, копаясь в себе, пытаясь понять, чего же он хочет, и

возвратился в цивилизованный мир со смутным намерением принять католичество. Попадись ему хороший патер, вероятно, его жизнь сложилась бы совершенно иначе, во всяком случае, он жил бы иначе, в других категориях, даже если бы по сути она осталась такой же. Однако ему попался не убежденный проповедник, а всего лишь умный пропагандист, начисто лишенный чувства греховности.

Тогда Хаск решил переиначить, перехитрить судьбу. Он подделал отцовскую подпись на чеке, в первый раз в жизни испытав удовольствие от того, что предстает совсем другим человеком в своих собственных глазах, а также в глазах отца и друзей, и после досужего путешествия через всю Америку обосновался в Нью-Йорке. Через несколько лет он внезапно отправился в Испанию. Он поехал туда не по убеждению — так же, как без нужды подделал чек,— а лишь рассчитывая, что его захватит романтика войны.

Вместо романтики он нашел страх. Он никогда не считал себя трусом, но в Испании ему стало страшно, и он даже не сумел выстроить на своем страхе систему координат, как это делали другие. Дело кончилось дезертирством и трибуналом, на котором избранный бригадой Барни Ласт выступил защитником. Не прошло и месяца, как он дезертировал снова, на этот раз удачно. Он сбежал, унося с собой ненависть к Барни и к республиканцам — такую же лютую, какой когда-то ненавидел отца.

В Нью-Йорке он тиснул серию статей о своей испанской эпопее под названием «Они отобрали у меня винтовку». Статьи принесли ему толику славы — он не знал, то ли доброй, то ли дурной, и не хотел знать — и пару тысяч долларов. С Западного побережья пришла телеграмма от отца, тот прощал сына, а Хаск, действуя опять-таки не по убеждению, а из ненависти к Барни Ласту, примкнул к одной троцкистской организации. Его направили в Детройт, в крупное отделение профсоюза автомобилестроителей, которым руководили коммунисты. С кем бы он ни был в упряжке, команду сразу начинало трясти от раздоров.

В его группу помимо него входило еще трое — Мэнзи, старик Бриггс и один парнишка-негр. Бриггс заявил, что не потерпит фракционности.

— Ты же продаешься классовому врагу! — кипятился Бриггс, любивший выражаться старыми клише. Субъективно честный революционный ортодокс, он с гордостью утверждал, что побывал во всех без исключения левых партиях, какие только существовали за последние полвека.

— Продаюсь? Но ведь я могу успешнее бороться с красными изнутри.— Спор забавлял Хаска.

— Мы не примкнем к охоте на красных,— упрямо твердил старый Бриггс, багровея так, что казалось, его вот-вот хватит удар.— У нас своя линия. Мы...— и пошел шпарить, как из передовицы. Хаск посмотрел на других. На губах у Мэнзи блуждала задумчивая полуулыбка. У негра был жалкий вид, того и гляди расплачется, потом вдруг он сорвался с места и кинулся на Хаска. Завязалась драка.

Группа распалась. Бриггс не мог пережить предательства и бросил политику. Через несколько месяцев Хаск составил список рабочих, которые подпали под влияние коммунистов, и в этом списке фигурировало имя того негритянского парнишки. А еще через год он узнал, что Мэнзи все это время был платным агентом компании.

Хаск понял, что специалисту по коммунизму на заводе делать нечего. Слишком много народу толклось у кормушки и еще больше в автомобилестроительных профсоюзах пролезло наверх. Единственный способ попасть в руководящие круги — деньги. Придется поиграть, размышлял Хаск, хотя и скучно. Во время поездки на Восток он познакомился с Келли, тот предложил ему место, и он сразу же, не возвращаясь в Детройт, приступил к работе.

Зарабатывал он меньше, зато из-за комитетских столов дела выглядели по-другому. Именно здесь была власть — вопрос лишь в том, как ее использовать. У Хаска разгорелся аппетит. Деньги, власть? Он и сам не знал, чего добивается. Просто ему хотелось, чтобы что-нибудь произошло. Ничего особенного, однако, не происходило, потянулись серые, убогие дни, и поэтому даже стихийно вспыхнувшая стачка в порту радовала его.

Хаск допил вторую чашку кофе. Пора двигать в комитет — предстоял разговор с Келли. «Сдается, ты не прочь на самый верх»,— сказал Конн-Пароход. Пьяный болван, подумал Хаск. Потом мелькнула мысль: а я *этого* хочу? — и принесла радостное возбуждение, похожее на то, какое он почувствовал, когда решил дезертировать. Он начал было думать о забастовке, пытаясь разобраться в ее механизме, думать обо всем, о чем ему и положено было думать. Но скоро бросил: какая разница, как она кончится. Нет в ней никакого смысла, ни в чем нет никакого смысла.

В том и состояло его глубочайшее убеждение. В жизни нет никакого смысла — ни в его собственной, ни в жизни всего мира. Эта мысль согревала его, когда он поднимался по старым, истоптанным ступеням, постепенно погружаясь в застоявшийся запах минувшего.

— Привет, Джо! Прости, я немного задержался, но эта поганая забастовка отнимает уйму времени.

10 вечера

Я вышел от Билла на улицу в скверном настроении. Причин вроде бы никаких, если не считать того, что я злился на самого себя. Билл и не думал говорить, чего от меня ждут, но я это и без него знал. Мне расхотелось ехать на Запад. Я почувствовал потребность определиться.

Мне нужно было посмотреть себе в лицо — постаревшее на четыре года, с грязными следами прошедших лет. Прежний Нью-Йорк и я сам, каким я был до того, как меня окутал дым войны, отодвинулись далеко-далеко. Я думал, что возвращение домой будет похоже на встречу со старым другом, которого давно не видел, и теперь не знаешь, с чего начать разговор, но старый друг, которому мне предстояло посмотреть в лицо, был я сам плюс четыре года, унесенные верностью стране и флагу. Смотреть в это лицо трудно, потому что человек, спрятавшийся за ним, сделался другим.

Каким — я не знал; на фронте слишком часто вспоминаешь о том, как было до войны и каким был ты сам, и потому не замечаешь, как меняешься. Буду жив, говоришь себе, будет время отделить то, что есть, от того, что было. Я, во всяком случае, думал именно так. Теперь все оказалось куда труднее.

Годы в армии были — как бы это выразить получше? — затянувшимся отдыхом, что ли, от моей прежней жизни, которую я видел теперь более отчетливо, понимая, что она похожа на пестрое лоскутное одеяло. Родился я, можно сказать, без родителей, потому что отец и мать умерли, когда я был малолеткой, и я совсем не помню их. Рос я у дяди, в мичиганском городишке, в лесном краю, которому хорошо бы оставаться лесным. Земля там никудышная, но край все равно хороший, и, даже уехав оттуда, я часто памятью сердца слышал посвист ветра в соснах, напоминающий звук выходящего из проколотой шины воздуха, и как полощется озеро о берега за домом.

Детские впечатления у меня зыбкие, так как уехал я совсем молоденьким парнишкой, сначала учился в школе, какое-то время даже в колледже, а потом поступил на фордовский завод в Детройте. Голоса Мичигана приходили ко мне, как знакомые картины во сне, но не громкие, не зовущие. Тот край не стал мне домом, потому что родился я совсем в другом месте.

Это случилось в Детройте, когда мне было восемнадцать, во время одной заварухи, которая так и не вылилась в забастовку. Полицейский ударил меня дубинкой, и я выскочил, готовенький, из своей собственной головы, как Афина, когда Гефест расколол Зевсу голову топором. Непорочное зачатие, беременность, роды — все это в один миг, как по палочному мановению.

Какие только превращения не случаются на свете! Я падал на мостовую одним человеком, нет, даже не человеком, а комком сырого вещества, из которого только в будущем мог получиться человек, бесформенным губчатым плетением плоти, поры которого забиты туманными клочками знаний, затейливыми фантазиями и смутными желаниями всякого свойства — одни, как младенцы с неоткрывшимися еще глазенками, только вылезали на свет, вопя благим матом, другие усыхали и откладывались в бинтах и смолах забывчивости.

Между ударом и падением совершилось чудо. Я опускался мягко, плавно, как рыболовная сеть, но едва коснулся холодного дна Кадиллак-сквер, как начался процесс известкования. Когда я поднялся на ноги, все вокруг и внутри меня затвердело острозубыми обжигающими коралловыми рифами, а сладкие сказки и со́ски оторвались от моего губчатого отрочества и попрятались по темным подводным пещерам Детройта.

Сколько же народу рождалось тогда таким вот способом, а позже, во время войны, и того больше. Вероятно, это не самый лучший, не самый естественный способ рождения человека, если, конечно, отвлечься от общеизвестного печального факта: бои и битвы, всякие бои, твои собственные или чьи-то еще, есть неотъемлемая часть печального развития человечества. Когда рождаются таким способом, рождаются только для себя, а это плохо.

После этого события я много ездил по стране, повидал всякого, помогал организовывать забастовки, сделался своего рода профессионалом. Меня, наверное, это устраивало — переезжать с места на место. Я ведь родился готовеньким, иначе говоря — без истории. У меня не было ни прошлого, ни будущего, и одно место и один день были похожи на все остальные. Мне дали роль, но я еще не стал личностью, и так было легче. Вообще жить как химически чистый элемент, без примесей, без самосознания — проще, если под «проще» подразумевать «безболезненнее».

О том, что случилось, можно сказать без затей: я болтался наивным зевакой в толпе и получил по башке, зато очнулся начиненный ненавистью к фараонам и властям и начал сводить счеты.

Проехали последние припозднившиеся мусорные грузовики, подбирая остатки прошедшего дня. Чем ближе к Шестой авеню и Восьмой улице, тем делалось светлее и веселее. В магазинах шла бойкая торговля, а газетный киоск на углу был увешан свежими воскресными выпусками, отпечатанными большей частью пару дней назад.

Подальше к западу поднималось стройное и строгое здание женской тюрьмы. На Гринвич-стрит стояла тишина и прохлада. После грязноватых душных улиц, которые я миновал, редкие деревца здесь смотрелись прекрасно. Из бара «У Джулиуса» доносился шум: его еще во время войны буквально оккупировали морячки. Из дверей вышел высокий худощавый лысеющий мужчина. Это был Барни Ласт.

— Здорово, Джо! — окликнул он меня, протягивая руку.— Я не знал, что ты уже вернулся. Демобилизовался? — Он кивнул на мою нашивку.

— Несколько часов назад.

— Ну и хорошо. Ты нам пригодишься. О забастовке слышал?

— Ясное дело.

В моем голосе, должно быть, не было воодушевления, и он глянул на меня как-то странно.

— Может, хочешь отдохнуть перед тем, как приступить к работе?

Мне не понравился его тон, и я уже собирался сказать: да, хочу, и подольше, но понял, что он спрашивает всерьез.

— Не исключено, что я скоро уеду,— подумав, ответил я.

— Смотри сам, Джо. Никто не собирается тебя принуждать.

— Я одного из наших только что видел, Эверсона. Очухивается сейчас. На него два раза за сегодняшний день нападали. Говорит, все идет как надо.

— Хороший парень,— вздохнув, согласился Барни.— Молод, правда. А я, ей-богу, не знаю, как она обернется, эта чертова забастовка.

— У нас там одни слабаки. Боятся задницу высунуть. Не думаю, чтобы им удалось организовать трудяг.

— Это тебя и пугает? Поэтому и хочешь смотаться?

И поэтому тоже, подумал я, пожал плечами и ничего не ответил.

— Да, веселенькое мне мероприятие досталось,— сказал Барни словно самому себе.

— Ты, значит, теперь портовой ячейкой заправляешь?

Он покачал головой:

— Нет, мне поручено заниматься только забастовкой.

— А почему не портом вообще?

— Решили, что я не гожусь... Послушай, Джо, я вот о чем думаю. Если найти стоящих ребят, тогда можно провести выборы. Избрать нормальных людей в руководство, хотя бы в нескольких отделениях. Не обязательно из партии, а просто порядочных, хороших мужиков. Ну, а дальше — вопрос времени и настойчивости. С другой стороны, не исключено, что работяги пошлют все к чертовой матери, подпишут договор и выйдут на работу.

Он достал пачку сигарет, мы закурили.

— Честное слово, не знаю,— сказал я наконец.— Надо подумать. Может, и помогу, хотя одним больше, одним меньше — не вижу разницы.

— Есть разница. Дел невпроворот. Кстати, мы тут собираем наших. На понедельник наметили, если забастовка не накроется.

— А где именно?

— В помещении ячейки.— Он дал мне адрес.— Заходи.

— Посмотрю.

Разговаривая с Барни, я чувствовал, что надо мной захлопывается крышка.

Барни зашагал по улице, а мне ничего не оставалось, как пойти к Кей. Чудно́! Мне хотелось повидаться с ней, а я все откладывал и откладывал — так же, как хотел оттянуть время и не показываться в ячейке, хотя прекрасно понимал, как там нужны люди. Но нельзя же откладывать до бесконечности. Я брел по Гринвич-стрит и чувствовал, что меня прошибает пот. Затянувшийся по случаю войны отпуск кончился. Трудно привыкнуть к мысли, что снова зажил в зоне свободного выбора, и я не знал, хорошо это или плохо.

1.30 дня

Ослепительное палящее солнце заливало пустынный пирс в Бруклине. По темно-синей воде шла мелкая, отдающая металлическим блеском рябь. Над Ист-Ривер кружили чайки, раздирая безветренный воздух нетерпеливыми пронзительными криками. Пристань на другом берегу реки, в нижнем Манхэттене, и старые неказистые катера, курсирующие в Фолл-Ривер, казались в солнечном свете еще более грязными и тусклыми, как будто вымытый камень, стекло и металл небоскребов на Уолл-стрит и Пайн-стрит высокомерно и властно забирали всю его яркость. На настиле лежал утопленник, и в непросохших каплях воды на нем тоже отсвечивало солнце.

— Господи Иисусе, поскорей бы уж труповозка пришла,— сказал

полицейский постарше, сплевывая в воду.— Что мне, делать нечего, как валандаться со жмуриком.

Он повернулся спиной к реке и сел на брус, пришитый к настилу вдоль края причала. Брус был низкий, и полицейский, ворча, натягивал на толстых коленях штанины иссиня-черных форменных брюк. Живот у него обвис, мешая сидеть, и он вытянул одну ногу и повернулся, выбирая позу поудобнее.

— Еще малость — и он ведь завоняет, как дохлая рыба. Везет же этим сачкам на труповозке. А тут маешься...

Другой полицейский, помоложе и новенький, думал об утопленнике. Он никогда не видел покойника вблизи, правда, раза два был на похоронах. Но тогда лица умерших, будто сделанные из папье-маше, выглядели вполне пристойно, а в этом трупе, лежащем на голых досках, было что-то отталкивающее.

— Отдать богу душу вот так вот, в воде — худо, видать,— сказал он.

— Известно, что худо,— отозвался старший.— А как хорошо — никто до сих пор не придумал. Утопнуть — самое милое дело.

— Милое-то оно милое, это всякий скажет,— снова заговорил младший.— А все равно жутко — вот так отдать концы, да еще ночью и на глубине. Потом человека выудят — водный патруль или еще кто, выкинут на бережок, и все — людям начхать. То есть вроде и не было тебя...— закончил он, запинаясь, не умея выразить то, что думал.— Главное, начхать всем.

— Мне уж точно начхать,— сказал толстый полицейский, ерзая на брусе.— Матерь божья, кофейку бы сейчас.

— А если бы ты был на его месте? — Новенький ни с того ни с сего разозлился.— Представь, что это ты утоп. Представь, что это ты валяешься здесь, а я только про кофе и думаю... Ей-ей, ведь это ты мог быть на его месте... или я. Разве лейтенант пустит слезу?

— Когда помер, так уж без разницы,— ответил старший.— Тело бесчувственное — какая ему забота.— Он поправил кобуру револьвера и уселся поудобнее.— И вообще, о душе думать надо,— добавил он.

— О душе! Скажешь тоже...— разочарованно протянул младший. Он закурил и бросил спичку в воду. Спичка попала на масляное пятно и поплыла под причал.— А душу тоже из воды выуживают?

Старший строго посмотрел на напарника. Он не любил такие шуточки.

— Которые в воду сигают, у них души нет,— сказал он назидательно и добавил немного погодя: — Хорошо устроились эти ребята из водного патруля.— Он расстегнул ворот и снова переменил положение.— Кто он, догадываешься?

— Откуда? Обыскать, что ли, хочешь?

— Надо бы... Да ладно, мне-то что. Меня поставили, я и стерегу, пока не заберут. Чтоб никто его не уволок, покойничка, на память. Чего тебя гложет-то?

— Да так, ничего...— Молодой сел рядом со старшим.

— Хорош красавец, а? — сказал тот, покосившись на труп.— Ты его руки видел?

— Нет, а что?

— Мозоли у него, работяга, стало быть.

Молодой полицейский подошел к трупу, присел около него на корточки и стал разглядывать руку.

— Похоже, у него зелень какая-то у ногтей...

— Значит, разлагаться начал.

— И местами вроде кожа содрана.

— Рыбы это,— сказал толстый.— Они утопших жрут. Мозоли страсть как любят.

— Не травишь?

— Хошь верь, хошь нет — мне-то что,— мрачно отозвался стар-

ший. Он потерял всякий интерес к утопленнику. Новенький подошел к нему, снова сел рядом.

— Пить хочется,— сказал он.— Пивка бы сейчас. Повидал небось покойничков-то?

— Покойничков? Еще бы! Во время депрессии, бывало, навалом. На днях сам повидаешь.

— Это почему?

— Забастовка же,— сказал старший, сплюнув.— Быть беде.

— Ну, при забастовке в реку не кидают.

— Много ты знаешь — не кидают! Глянь на этого типчика, не сам он в воду прыгнул — сбросили его.

— Откуда ты взял?

— По башке долбанули, разве не видишь? — Он показал на багрово-синюю отметину на голове утопленника, идущую от виска вниз.

— Может, он ушибся, когда прыгал, или напоролся на что-нибудь в воде.

Толстый полицейский сплюнул.

— Может, все может,— согласился он и переменил тему: — Когда без повреждений тонут, труп дольше сохраняется. А вот ежели тебя пырнут или пристрелят — беда. Вода внутрь попадает, и пошло гнить.

— Они же и так недолго сохраняются.

— Это верно, недолго. Погодят малость и гниют.— Полицейский опять сплюнул и стал прислушиваться, не едет ли санитарная машина.

10.30 вечера

Кей жила на Шестнадцатой улице в Ист-сайде. Даже днем это тихая, малолюдная улочка, а сейчас здесь и подавно никого не было. Дверь в подъезде была отперта, я поднялся на второй этаж и пошел по коридору к ее квартире. Ее дверь тоже была открыта, наверное, из-за теплыни, и я вошел. Я слышал, что кто-то есть в глубине квартиры, в большой мастерской, выходящей окнами в сад. Комната была увешана картинами, которых я здесь прежде не видел. Вместо сюрреалистских штуковин появились абстракционистские — всевозможные фигуры, квадраты, прямоугольники, нарисованные яркими, кричащими красками. Абстрактное искусство как раз вошло в моду.

Кей работала, а я стоял на пороге мастерской и смотрел на нее. Рослая, рыжеволосая девица с квадратным лицом, которое немного смахивает на какую-нибудь ее собственную тщательно продуманную композицию из плоскостей и углов. От высоких скул на щеки падают легкие тени. Абсолютно прямой нос — такой, что встречается только у статуй,— придает ее в общем-то простоватому лицу привлекательность. Кей была в шортах, длинные ее ноги покрывал глубокий загар. Она орудовала в своем беспорядочном живописном хозяйстве без особого изящества, но резкость ее движений происходила от уверенности в том, что она делает, и желания сделать это побыстрее.

Я простоял так минуты две, глядя на нее, чувствуя, как колотится сердце, понимая, что веду себя глупо, и с каждой секундой во мне крепла мысль, что приходить к Кей не следовало. Я повернулся и пошел прочь. Задержавшись в прихожей, я услышал радио в соседних квартирах, шорох шагов по лестнице над головой, услышал людей, у которых есть дом, и они живут в этом доме, не думая ни о чем другом, и меня охватило одиночество. Я подумал, что хорошо бы нам вместе податься на Запад, и на миг мне даже показалось, что тогда все устроится, непременно устроится, однако что-то останавливало меня.

Но вот сейчас, стоя в прихожей, я вдруг понял: «Я тебя люблю»— это единственное, что я могу сказать Кей. На войне мне казалось, что это совсем немало — сказать такое женщине, особенно когда дума-

ешь о доме, и воображение рисует, как ты возвращаешься, и жизнь словно останавливается, чтобы подождать тебя и избавить от хлопот с домовладельцем, с мясником, с булочником, с гробовщиком. Да, тогда это казалось чем-то очень важным, значительным, но сейчас... Я уходил, даже не окликнув Кей. К чему слова, к чему пустое сотрясение воздуха? И все-таки... И все-таки, какая же это замечательная вещь — сказать человеку «люблю», и, может быть, поэтому, уходя, я чувствовал себя трусом, сбегающим с поля боя.

5.30 вечера

Работяги расселись с большими бутылями пива на причале за Четырнадцатой улицей. День клонится к вечеру, и солнце уже уходит дальше на запад от джерсийского берега. Тут и там к причалам пришвартованы неуклюжие, горбатые баржи, из кают кое-где вьется дымок. На крыше одной каюты жарятся подростки и ныряют прямо отсюда в густую маслянистую воду. Воздух как будто застыл. До сидящих на причале доносится ровный, точно от генератора, гул города, да изредка прогремит по ближней улице грузовик. Они с полудня блаженно тянут пиво и не чувствуют ничего, кроме тепла дощатого настила.

— До чего же приятно — передохнуть чуток.

— Мы в Мобиле тоже прохлаждались. Как к двенадцати, солнце аж дыру через тебя прожигает. Тогда, значит, мы и отваливали — куда-нибудь в тенечек. Никто не обязан надрывать пупок.

— Ну и болван, ежели там так распрекрасно, чего уехал-то?

— Бог его знает... Не, в Мобиле хорошо... Особливо когда у тебя куча зелененьких, а сам ты белый. Когда, значит, плантация своя и на тебя целая артель потеет.

— Когда, когда...— последовал презрительный плевок.— Когда деньгу выдавишь вместо дерьма. Для голодранцев она, Алабама твоя. Нет, если уж подфартило — знаешь, куда бы я подался? Сюда, вот те крест! Купил бы апартаменты на Лондонских высотах, молоденькую мохнатку под бок для зимнего обогреву — или смотался бы на Майами-Бич, или еще куда.

— А я дальше Джерси нигде и не был... Хоть Мобил повидать и вообще поездить...

— Много ты понимаешь, браток. Был я там, когда службу в армии проходил. Не в Мобиле, правда, но весь Юг, бля, изъездил. В Миссури был. Три месяца как один день. И в Техасе был. Поганый, бля, штат. Отдать бы его индейцам или мексам — у кого мы его отняли-то? Сержант у нас был из Далласа — ну и сучий сын! Таких, бля, стрелять надо. Гори он тихим пламенем, твой Юг.

— Тебе хорошо говорить. А вообще-то — разве плохо поездить? Мальчишкой думал — вот вырасту. Мечтал на Запад до самого океана проехаться. Монтану повидать хотел. Хотел в Бьютт податься, на шахты. Да так и не выбрался никуда. Раз в деревню ездил, в Коннектикуте. Супружницу свою взял — когда ж это было, в двадцать третьем? Мы только-только обженились. Хорошее место, ничего не скажешь.

— Коннектикут — хороший штат. Хозяйство хорошо делать. Табак, помодори, разный овощ.

— В Коннектикуте, бля, янки длинноносые гужуются. А они знаешь — на ходу золотишко из челюсти вытянут. Когда какой хитрый еврей всему обучится, его в Коннектикут шлют. Для повышения квалификации.

— Не, что ни говори, для мужика самое место — Нью-Йорк.

— Это точно, нет ничего лучше, как большой город. Ну-ка, подай сюда кружку.

Кружка идет по кругу, наклоняются бутыли, легкое облачко наплывает на Уихокен, преображая солнечный свет в какие-то немыс-

лимые краски. Поодаль проходит невысокий гражданин с бамбуковой удочкой в руках и густошерстным терьером и принимается возиться с наживкой.

— Когда прохлаждаются, значит, это и есть забастовка? Тогда мне хоть каждый месяц подавай забастовку.

— Тебе что! Послушал бы мою старуху, когда она узнает, что я не работаю.

— А все равно хорошо — посачковать.

— Как бы не так. Что мы с этой забастовки будем иметь? Показуха одна. Или специально подстроено.

— Я в забастовку впервой попал.

— Заладил: забастовка, забастовка. Цирк, бля, это, а не забастовка.

— Мне все едино — только от меня работы не жди, пока ребята не выйдут.

— Посмотрим, как оно будет...

— Никак не будет. Обман все это, говорю же вам! Кто объявил забастовку? Неизвестно. Кто лезет руководить? Кому не лень. Побросали работу — а ради чего? Ни одна собака не знает. Гляди сюда...— Из кармана вытаскивается листовка.—«БРАТЬЯ! ДОЛОЙ МОШЕННИЧЕСКИЙ ДОГОВОР». Знаете, кто это пишет? Красные, мать их так!

— Предлагаешь, выходит, на работу — как профсоюзный комитетчик говорит?

— Мать его так, этого комитетчика!

— Мне хоть баба, хоть комитетчик — все равно скэбом не буду.

— В бумаге, значит, сказано — долой договор? — Он всматривается в перевернутый вверх ногами листок.— Сказано, плохой договор — верно это?

— Конечно, верно! Только на кой мне проклятые красные указывают? Знаешь, чего они добиваются — чтобы комитеты были в отделениях и на пирсах. А из кого комитеты-то?

— У нас в Италии есть таких анархистов...

— Заткнись ты со своей Италией!

— Хошь не хошь, кто-то сорганизовать должен.

— Что она даст, забастовка, как по-твоему?

— Что даст, то и даст, а пока посачкуем.

— Не знаю, что даст, но нет у меня настроения вкалывать. Пускай сначала договорятся.

— Ни хрена она не даст! Ни одна собака не знает, что творится. Келли как задницу к креслу привинтил. А красным слабó сорганизовать. Шум подняли: бастуем, братцы! А на факте... комедию ломаем, бля буду!.. Господи, дай хоть хлебнуть маленько...

11 вечера

— Самое время прошвырнуться,— твердил Блэки,— это в субботу вечером.

И вот субботний вечер, и я дома. Блэки уволился на три дня раньше, потому что в демобилизационном центре куда-то подевались мои бумаги. Наконец я на гражданке, с двухмесячным жалованьем в кармане и не набравшийся мужества повидаться с моей единственной настоящей любовью. За эти часы я успел ввязаться в драку, и мне уже предложили поработать.

Надо было остаться у Кей. Что мне помешало? Я не знал. Я знал только, что не готов к встрече с ней. Хорошо, повидаюсь завтра. Но что изменится завтра? От времени ничего хорошего не жди — оно приходит с навостренным разделочным ножом, и на другой день твоя голова украшает чей-то вигвам. Никаких оснований думать, будто завтра что-нибудь у меня переменится.

Я брел по Четырнадцатой, как слепой, как человек, который вдруг проснулся посреди ночи и потирает затекшую руку. Что же все-таки

стряслось? Я думал, что я вернусь и мы с Кей отправимся на Запад. Все казалось так просто. И вот теперь это давнее желание преобразилось в бредовую фантазию. Живая Кей не похожа на Кей в моих снах. Нечего тут удивляться. Но когда всю войну мечтаешь о чем-то, а потом мечта не сбывается — до чего трудно переучивать уроки реальности. Она сильнее твоих желаний и подчиняется только своим законам.

Тело, которое не признает окончательных решений, подавало мудрый совет. Лечь с ней в постель — чем не решение? Логика полового влечения и полуночных видений хороша при горизонтальном положении, но она недостаточна в иное время, особенно когда то, что принимаешь за реальность, сдвигается на боковой путь, о существовании которого даже не подозревал.

Я дошел до Шестой авеню, Авеню Америк, и подумал: не пойти ли к Биллу переночевать. Но время было не позднее, спать не хотелось, и я решил, что надо бы разыскать Блэки.

Я едва ли мог объяснить себе, почему мне захотелось встретиться с Блэки. В армии мы с ним были друзьями; то есть это только так говорится — никакими друзьями мы не были, потому что в армии ты не человек, а половина человека. Теперь я чувствовал в себе другую половину, это беспокоило и тянуло поделиться мыслями с кем-нибудь, хотя, с другой стороны, зачем Блэки мои заботы.

Я вспомнил последнюю ночь на транспорте. Как только дали отбой, я вышел на палубу. Было около одиннадцати, луна висела почти полная. Я прошел на бак и стал у борта, глядя, как разбегаются из-под носа и завиваются кружевами волны. Боковые огни отбрасывали на темную воду серебряные пятна.

— Дай огоньку, парень,— попросил кто-то, и я, не поворачиваясь, протянул через плечо зажженную сигарету.

— А, это ты,— сказал он, прикуривая. Это был Блэки.— Даже не верится, что только это и отделяло нас от дома,— сказал он, глядя на кружева, выбегавшие из-под форштевня. Я понял, что́ он имел в виду,— воду.— Когда я мальчишкой был,— продолжал он,— любил купаться в Гудзоне. Летом бегали на пирс в конце Четырнадцатой улицы, туда пускали. Соберемся, бывало, в воскресенье и — айда! А там художники малюют, дамочки прохаживаются. Я прямо с пирса нырял, футов на пятнадцать запросто. Или на другой ходили, за Деревней, где баржи стояли. Иногда чуть ли не до Джерси доплывал. Все, думал, об реке знаю.

Он сплюнул за борт.

— Чудно́ все-таки, если подумать, что́ стояло между нами и Штатами. Просто вода, в которой плавал, когда сопляком был, только побольше ее.

— Количество переходит в качество.— Я понял, что он хотел сказать, но выразился он так прямолинейно и в то же время так чертовски верно, что я мог изречь только формулу из книжки по диалектике.

— Факт! — горячо отозвался он и принялся распространяться, кажется, о разнице между Гудзоном и Колумбовым океаном. Главная разница, конечно,— прошедшие годы, но это он знал и без меня.— Считаешь, нас в первый же день освободят? — Блэки любил изъясняться, как выпущенный на поруки из исправительной колонии в Элмайре.

— Навряд ли.— Я давно потерял надежду на то, что в армии научатся поворачиваться быстро.

— Может, хоть увольнительную дадут.— Его голос словно оглаживал кого-то.

— Не трепыхайся,— сказал я.— Через несколько деньков отпустят. Не будешь же под конец бузу поднимать.

— Через несколько деньков — это долго. У меня на гражданке дел куча.

На этот раз я тоже понял, что он имеет в виду. У всех была куча таких же дел.

— Мне наверстывать надо,— продолжал он.— Без меня весь мой бизнес наперекосяк пошел. Придется повертеться.

— А кому не придется? — возразил я и больше не слушал, что он говорит, но понял: он готовит себе место в морге. Убежденный, что мои заботы куда важнее, я погрузился в собственные мысли.

— А ты-то чего хочешь? — вдруг спросил он.

— Хочу быть свободным! — выпалил я. От таких слов муторно делается, надо быть идиотом, чтобы даже подумать такое, и все-таки я сказал их. Они как-то затерялись в шуме движения, гуле судовых машин и шипении форштевня, выделывающего кружева на водах Атлантики в тысяче миль к югу от Гранд Банкс.

— ...Вечером, в субботу. Самое время прошвырнуться по старой плешке. Пивную Макнамары на углу Четырнадцатой и Седьмой знаешь? Такую кружку за десять центов больше нигде не дают. Если нас несколько деньков продержат, пусть уж в субботу вечером выпустят.

— Субботний вечер или не субботний — мне все равно,— сказал я.

— Не скажи, в субботу все-таки веселее всего. Расслабляется народ, воскресенье-то свободно, только в церковь сходить. Когда погода, все на улице — кто гуляет, кто сидит себе у подъездов, языками чешет, кто ведрами выпивку из соседней забегаловки тащит. У кондитерских цыпочки отираются, дожидаются, пока их подцепят. Окна в домах настежь, и твой пахан ходули на подоконник выставил, в руке банка с пивом, уже воскресную газетку почитывает... Если, конечно, жив пахан.

— Может, и веселее.— Я хорошо знал, что делается на Вест-сайде в субботние вечера.— Пока народ гуляет, огольцы по квартирам шарят. Другие девчонку безмозглую в подвал затащили. А на Девятой авеню двое пьяных вот-вот голову друг другу проломят крюками. Весело, ничего не скажешь.

— Ну и что? Если ухо востро держать, никакой крюк не страшен. Вот сейчас как раз...— Он вздохнул.— Сейчас вот ребята вывалят из Легионного клуба или из Ветеранского центра на Двадцать третьей. У них бочонок с пивом, и они его приканчивают. Ты в какую организацию фронтовиков будешь вступать?

— Не думал еще.

— А я, наверное, в обе. Почему бы и нет? Очень может пригодиться, когда надо чего-то протолкнуть.

— Ну, а вообще-то ты что собираешься делать? Ведь не только хлестать пиво в Легионе или у Ветеранов?

— Ко мне пирс перейдет,— ответил Блэки.— Надо сразу же на все педали нажимать.

Я понял, о чем он говорит, но подумал — шутит. До войны я и сам поработал в порту и пытался сколотить хорошую группу из низовки, чтобы скинуть продажное руководство профсоюза. Когда кто-то говорит: «У меня пирс», это означает, что он имеет доход от всех махинаций, которые там совершаются: отчисления со своего рода налога-взятки, который устанавливается при перевалке любого груза, долю выручки от продажи ворованного, кусок от игорного бизнеса, «взносы» шейлоков — так называют ростовщиков, монету-другую с «десятины», которую на некоторых пирсах грузчики платят бригадиру, чтобы не потерять постоянную работу.

— Тебе кто-нибудь его в наследство оставил? — Я все еще думал, что он меня разыгрывает. Блэки не раз и не два рассказывал мне о том, что творится в порту, но на фронте вообще так: с каким удовольствием ребята травят про разные рисковые дела, которые они

якобы проворачивали с лихими приятелями, пока их не замели в армию.

— Старик мой,— сказал он, и я понял, что он говорит серьезно.

Я внимательно посмотрел на него, может быть, в первый раз так внимательно с тех пор, как мы познакомились. Сходишься как будто с человеком, а на самом-то деле сходятся только половина тебя и половина его, те половины, которые принадлежали армии. Нет ничего проще, как завязать дружбу на почве общего опыта, особенно если этот опыт приобретается по приказу. Потом вас раскидывает в разные стороны. Ты вспоминаешь парня, или получаешь от него письмо, или даже встречаешь его, и вот тут происходят удивительные вещи. Смотришь и видишь не приятеля, а кого-то другого, привычный облик куда-то пропал, и ты столкнулся нос к носу с незнакомцем. Бывает, что пропадаешь ты сам.

Я еще раз внимательно посмотрел на Блэки. Роста он невысокого и вообще не выглядит жестким, грубым парнем. Силы и задиристости у него хватало, но грубым он не был. Кустистые и черные брови нависают на глаза, точно папоротник с обрыва.

— Значит, отец оставил тебе пирс? — спросил я.

— Вроде того.

— Я не знал, что это практикуется.

— Он, понимаешь, заправлял там по профсоюзной линии,— объяснил Блэки.— Ничего, правда, с этого не имел. Поздно начал, когда я в армию пошел, а потом скоро помер.

— В постели помер-то?

— Факт, в постели, где ж еще?

— Значит, ты полагаешь, что тебе пирс причитается. А как работяги к этому отнесутся?

— Плевать я хотел, как отнесутся.— Он протянул мне пачку сигарет, я достал огонь.— Все права у меня, я так считаю. Отец сколько годов надрывался. С простого грузчика начинал. И за все это время ему лишней монеты не перепало, чересчур совестливый был. Потом только набрался уму-разуму, да поздно — отдал богу душу.

Блэки умолк, ожидая, что я скажу, но я молчал. Он знал, как я отношусь к докерскому бизнесу, однако рассчитывал, видимо, что я по дружбе отпущу ему грешки.

— Будь я проклят, Джо, ведь я полное право имею! — разгорячился он.— В доме-то у меня мать-старуха и сестренка-малолетка. Да еще старшая сестра, в Филли живет, хоть и с мужиком, но пользы от него — как от козла молока. Хочешь не хочешь, а я должен пробиваться.

Я продолжал молчать, и немного погодя он заговорил снова:

— Ей-ей, я ж не агитирую тебя! Чего нам с тобой делить? Ты вот опять с красными в порту свяжешься, но они ведь ничего не добьются. Сколько лет пытаются. Вот если б они Келли свалили, тогда бы, может, чего-нибудь и вышло. Но нет у них такой возможности, нету. Ну да ладно! Ты так понимаешь, я по-другому — не сволочиться же из-за этого?

Так он дал понять, что по-прежнему считает меня своим другом, даже более близким, может быть, чем я думал.

— Смотри в оба,— говорю я ему,— не сковырнись. За войну, знаешь, какие деньги через порт прошли. Думаю, и на твоем пирсе целая банда охотников подоить его как следует. Как бы тебя не сбросили с того самого причала, где нырял мальчишкой. Ноги в бочку с бетоном и — плыви!

— Ты лучше о себе позаботься...

— А мне-то что? Я сматываюсь отсюда.

— Правда? И куда?

— На Запад.

— У тебя там что-нибудь наклевывается?

— Нет, просто хочу погреться на солнышке... Слушай, давай вместе махнем, а?

— Я бы рад, да как с матерью быть и сеструхой?

— Ну, смотри.

— А ты, значит, обратно к красным? — спросил он, помолчав.

— Зачем мне обратно,— говорю.— Я и сам красный.

— Я хочу сказать — здесь, в Нью-Йорке.

— Не люблю Нью-Йорк. В нем себя, как в чужом краю, чувствуешь,— ответил я.

— Может, он и есть чужой край,— проговорил Блэки.— Но если нас в субботу вечером выпустят, я тебе покажу, где-что-почем!

И вот теперь была суббота, и была Четырнадцатая улица. Из пивной Макнамары («самая большая кружка в Нью-Йорке за десятицентовик») словно протянулась какая-то рука и схватила мою. Внутри было темно и неприветливо, грязные столы и какая-то особая мрачность, как в великой славянской душе. В таком заведении мигнуть не успеешь, как уже накачался,— если, конечно, ты не привычный или не здешний, вест-сайдский, который младенцем вместо мамкиного молока пиво сосал. В таком месте хочется швырнуть связку ручных гранат, причем без особого риска задеть кого-нибудь стóящего. В самой середине зальца стоял Блэки, разговаривая с кем-то из барменов. Я кинул десятицентовик на стойку и стал ждать, когда подадут самую большую кружку пива в Нью-Йорке. Пиво подали быстро, и кружка была самая большая.

Блэки — невысокий, невзрачный парень, единственное, чем он выделяется,— это какой-то исходящей от него энергией. Он даже на стул опускается так, будто совершает тяжелую и важную работу.

Он разговаривал, урча и вибрируя от напряжения, как генератор, работающий на малом режиме. Я отпил из кружки, самой большой в Нью-Йорке, и обнаружил, что пиво, пожалуй, тоже самое паршивое. Из приемника неслось: «Полюби меня навек, да-да-да», потом глохло в гуле голосов. К Блэки подвалил и что-то сказал рослый докер с крюком за поясом и половиной наличного запаса алкогольного пойла Макнамары в животе.

Блэки обернулся и посмотрел на грузчика. Просто посмотрел, и все. И вдруг тот шумно вздохнул и потащился к столику у дальней стены. Здоровенный детина увидел в глазах Блэки что-то такое, чего не замечал я.

— Блэки! — окликнул я его как раз посередине очередного «Полюби меня, полюби».— А пиво-то паршивое.

— Факт, паршивое,— отозвался он, сразу поворачиваясь ко мне, как будто знал, что я здесь.— Что из этого?

— Пойдем отсюда.

— Чего уж проще.— Мы вышли из пивной.

На углу Четырнадцатой улицы и Седьмой авеню мы остановились, глазея, как подземка выбрасывает народ в вечернюю тьму — точно автомат стреляные гильзы.

— Ну, а теперь надо выпить,— сказал Блэки. Мы огляделись, подальше к югу, у входа в кафе Стюартов, кучка людей — богемная публика из Деревни, стоят и, как последние ветераны Гражданской, горячо о чем-то спорят. Невысокий негр на углу продавал «Дейли уоркер»— точно так же, как три года назад, когда я был здесь последний раз.

— На другой стороне бар есть, испанский,— сказал я.— В свое время ничего был.

Перейдя улицу, я купил у негра газету, и мы вошли в бар. Когда-то это был уютный, затемненный и спокойный уголок, спокойнее, чем любая забегаловка поблизости, и сюда приходили итальянцы из ок-

рестных кварталов выпить вермута с содовой и льдом. Теперь они пили купажированное виски, полумрака и покоя тоже не было. Кто-то уговорил хозяина украсить помещение, и тот понавесил по стенам лампы дневного света. От их неестественного зеленоватого света на лица ложилась мертвенная бледность.

— Виски? — спросил Блэки.

— Лучше пива. Мы теперь безработные.

— Я заплачу. Я не безработный.

— А я безработный,— повторил я. Он заказал виски себе, а мне пиво.

«Уоркер» был заполнен материалами о забастовке — сообщениями о том, что происходит на пирсах; слухами о чьих-то попытках заставить докеров выйти на работу, призывами каких-то неопределенных низовых комитетов, организованных в таких-то и таких-то отделениях. Была, конечно, и передовица, разъясняющая, почему необходимо поддержать забастовщиков и почему они не должны соглашаться на надувательские условия контракта, который хочет подписать— в сущности, уже подписал — Келли. Это была единственная более или менее толковая статья.

— Размахиваешь тут своим коммунистическим листком, вредишь моей репутации,— рассмеялся Блэки.

— Квиты мы. Водить компанию с будущим королем вест-сайдских гангстеров мне тоже не на пользу.

— Не городи чепуху, Джо. В таких делах участвуют очень даже уважаемые люди. Хочешь, назову двоих политиков с нашей улицы?

— Не сомневаюсь, назовешь. И уважаемые люди — тоже не сомневаюсь. Но все равно сучьи дети.

— Почему ты так уверен?

— А потому, что стоит влезть в такие дела — хана, замарался. Если, конечно, раньше на тот свет тебя не отправят.

— Все там будем,— пожал плечами Блэки, вертя стакан.

— Будем. Но это не значит, что надо обещать вознаграждение за собственный скальп.

Блэки поставил стакан, побарабанил пальцами по стойке.

— Еще одну? — спросил он и продолжал сухо, медленно: — Ты не по той части пошел, Джо. Тебе надо было проповедником заделаться.

— А, поступай как знаешь! — бросил я и уткнулся раздосадованный в газету.

Блэки допил виски и отставил стакан.

— Знаешь что...— сказал он. Я поднял голову от газеты. Он задумчиво барабанил пальцами по стойке, и глаза его из-под черных нависающих прядей смотрели печально, как у побитой собаки.

— Знаешь что,— снова начал он.— Не ради веселой жизни я на это решился. Я только хочу свое взять, понял? Есть у меня права или нет? И нечего выставлять меня мошенником, будь я проклят! И не шейлок я. Не собираюсь трясти какого-нибудь беднягу с конфетной лавкой...

— Да брось ты, Блэки, я этого не говорил.

— Не проходимец я, понял? — продолжал он, словно не слыша.— Или, по-твоему, я мелкая шпана, ищу, где бы лишним долларом пожиться? Может, я и есть шпана, не знаю. Но если я на пирс подамся или на грузовик — что это мне даст? Сейчас заколотить дай бог как можно, это факт. А завтра? Рук всегда больше, чем работы. Значит, придется подмазывать, иначе вообще ни хрена не получишь. Или вдруг катавасия опять какая вроде кризиса — тогда хорошо, если день или два в неделю занят будешь. Уж я-то знаю, что это такое. Мой старик сорок годов лямку тянул. Куда ни кинь — всюду клин. Можно и пятьдесят тянуть, и все равно не выберешься из какого-нибудь клоповника вроде нашего, а у тебя мальцы, четверо или пятеро, на улице

растут, с хулиганьем, и супружница что ни день стервеет все больше, а сам последнюю заначку выкладываешь в какой-нибудь паршивой дыре — у Двейна или в Гудзоновой таверне. Накачиваешься как скот, потому что тебе слабо напустить газу в квартиру, чтоб уж всех разом...— Голос у него осекся.— Как ни крути, в ловушке я, Джо, в большущей ловушке, размером в жизнь. Тюрьма, самая настоящая тюрьма, мать ее так! Значит, бежать из нее надо. Господи Иисусе, на кой я тебе все это рассказываю...

— Послушай, Блэки,— заговорил я как можно мягче.— Я знаю, что сейчас делается. Я понимаю, каково тебе. И все-таки не убежден, что ты правильный выход нашел...

— А где он, правильный выход? Пролетарии всех стран, соединяйтесь? Обо мне здесь ничего не говорится. Ты же знаешь, я не такой, чтобы уткнуться в «Тайм» или «Американский журнал», как старая бабка в приходское письмо. Я ведь соображаю, чего вы хотите, но как это провернуть? Конечно, здорово — разогнать богачей, дать каждому работяге шанс. Но когда это будет? Опупеешь, пока дождешься. Сколько вы бьетесь, как лбом об стену, и все без толку. Я понимаю — идея! Но идея-то для всех, для человечества, а для меня что? Для одного человека, которого зовут Блэк Кармоди? У меня только одна жизнь, а мне уже двадцать три. Четыре с половиной года я правительству подарил. Они мне тоже подарок отваливают — корячиться полвека на пирсе, и, если выплачивать за страховку, как раз на гроб хватит. А я желаю жить, сейчас жить, а не потом. Чхать я хотел на будущие поколения. У них свои заботы. Нормальная, порядочная жизнь — все, что мне нужно. Одна она у меня, одна, понял? И только один способ добывать деньги. Можешь предложить другой, лучше?

— Не знаю, Блэки, не знаю... Хорошо, если бы ты с нами был. Большую бы пользу принес. Порт как свои пять пальцев знаешь.

— Ну, а потом что? Допустим, избавились от Келли. Допустим, выбрали меня куда-нибудь, посадили, к примеру, на местное отделение. Тогда такой расклад получается. Я начинаю печь свой пирог, обирать своих же товарищей. Это же самое последнее дело, верно я говорю? Ты же сам против меня первый встанешь. Или я веду честную игру — и что? Надрываюсь, рискую, на меня давят со всех сторон и все равно гол как сокол. Что ты на это скажешь?

— Что скажу? Да ведь самому приятно поступать по совести. Делать то, что хочется!

— Нету у меня времени соображать, чего мне хочется, понял? Мне надо соображать, что я *могу* сделать. Приятно, неприятно — этим сыт не будешь. Я по-другому буду действовать. Ну, а теперь еще по одной и айда — навестим мою мать и сеструху. И вообще хватит наставлять меня на путь истинный. Тоже мне проповедник нашелся — безбожник окаянный!

Мы еще раз причастились святой водой, благодаря которой так плавно вертится земной шар и светится так, что с другой планеты видно.

9 вечера

— Беда наших профсоюзов в том, что нет у них настоящих лидеров,— заявил Элтон Хаск.

Они только что кончили обедать и теперь курили, потягивали кофе. Келли задумчиво вертел в пальцах сигарету. Она обслюнявилась на целый дюйм, из нее торчали табачные нити. Он брезгливо ткнул окурок в пепельницу, но ничего не сказал. Хаск внимательно смотрел на Келли сквозь табачный дым и гадал, как тот отнесется к его словам. Оба они порядочно выпили.

— Ты прав,— отозвался наконец Келли.— Настоящих лидеров со времен Гомперса не было. Да и тот, по правде говоря, ни к черту не годился,— добавил он, довольный своей шуткой.

— Но ведь с Гомперса все и началось,— возразил Хаск.—Без Гомперса...

— Нет, Эл, я не то сказал. Гомперс был на месте. В те времена рабочий лидер был величина. Его уважали. Вообще все по-другому было... сам помню. И трудяги были другие...— Голос у Келли помягчел, в нем послышались ностальгические нотки.

— Нет, рабочий не меняется,— возразил Хаск.— Как был брюхо и прибор, так и есть.

— Не так громко,— хмыкнул Келли.— Могут услышать.

— Пусть слышат. Рабочие сами виноваты. Дали сесть себе на шею. Теперь им это даже нравится.

— В мое время по-другому было, это верно. Я знаю, тебе нелегко сейчас, особенно с молодыми. Работать не хотят, а прибавки требуют. Послушать их — у святого терпение лопнет. Вот когда я в порту трубил, иначе было. Отработал, получи свое — и точка. Никаких тебе протестов, никакой так называемой активности в низовке, ни этих проклятых красных.

Келли замолк и перенесся мысленно в те далекие времена, когда он носил отцу обед, если тот на дальнем пирсе работал, и они с мальчишками смывались с уроков и шли удить рыбу или нырять с того причала за Деревней. *С Оуни и Пучеглазым Минолой — его потом в первую мировую кокнули.*

— Теперешние лидеры,— продолжал Хаск,— все они незаконное отродье Гомперса. Засели посередке между предпринимателем и рабочим и в ус не дуют. Держатся за свои кресла, живут на казенный счет, машины, девочки. И власть у них есть — но боятся ее использовать. А власть такая штука, что и уплыть может в чужие руки.

Пучеглазый Минола, можно сказать, из него мужчину сделал, собственную сестру подсунул. *Давай, давай, не тяни резину, она согласная.*

— Рабочие — вот реальная сила. Коммунисты тут правы. Вопрос в том, как ее использовать.

— Знаешь, где в ту пору самое зеленое место было?— Келли словно с самим собой разговаривал.— На канале Гэвонес! Можешь себе представить?— Келли понесло.

Хаск посмотрел в окно. Улица вдруг показалась ему безобразной, как гроб с выбитыми торцовыми стенками.

— Я понимаю, ты теперь иначе смотришь,— проговорил Келли чуть ли не виновато.— А я вот такой улицу вижу, какой она в прежние времена была, в субботу вечером. Кино не было, и народ сидел у домов, беседовал тихо-мирно. Господи, до чего же хорошо было!

— Ты послушай, что я хочу тебе втолковать,— напирал Хаск.— Так долго продолжаться не может. Война кончилась. У нас сейчас самая мощная промышленность за всю историю. Через год или через десять лет это создаст кучу проблем. Пойдет борьба за рынки, но скоро нечего будет делить. Рано или поздно система взорвется, будет кризис, депрессия. И тогда выиграет тот, кто быстрее поворачивается.

— Что-то я тебя не совсем понимаю, Эл.

— У нас сейчас пятнадцать миллионов рабочих в профсоюзах. И бог весть сколько еще можно втянуть. А профсоюзные лидеры пытаются дедовскими методами действовать. И нашим и вашим подыгрывать — лишь бы договор подписать.

— Чем плох наш договор?

— Это не я говорю, что плох, а те, кто работу бросил. А что значит — подписать договор? Профбоссу и рабочих задобрить надо, и с хозяином не поссориться. Чтобы все тихо-мирно было. Но так не бывает, кто-то должен остаться внакладе. Вот он и вертится, как уж. Он даже готов согласиться время от времени на забастовку — по возможности, так, не крупную. Средний предприниматель и большой профсоюзный босс — вот кто сегодня по-настоящему за капитализм.

— Что-то я не улавливаю,— произнес огорошенный Келли.— То, что ты говоришь...— Его подмывало сказать «коммунизмом попахивает», но он удержался.

— Я тебе вот что скажу. Есть люди, большие люди, которые хотят покончить с теперешней системой. Может, завтра, а может, через несколько лет в промышленности начнется развал, им придется защищать свои заводы. Серьезное положение будет, очень серьезное. Сейчас рабочие — как стадо баранов, но ведь они и боднуть могут.

— Ну уж нет, Эл,— твердо сказал Келли.— Ничего такого не произойдет. И откуда ты взял, что снова будет депрессия?

— Я просто говорю, что наверху думают.

— Не знаю, не знаю...

— И вот когда это произойдет, знаешь, что будет решать? Не армия или там флот. И не контроль над всей оравой продажных вашингтонских политиков. На чью сторону рабочий человек встанет — вот что будет решать. Если на сторону красных — пиши пропало.

— И что из этого следует?

— Надо так сделать, чтобы он с нами был.

— У нас же есть профсоюз.

— Я не об одном профсоюзе говорю, а обо всех или о большинстве. И не о такой организации, как сейчас. Нет, их надо в ладошке держать. Чтоб, когда понадобится, сказать: «Давай», и они дадут. И к этому только один путь есть.

— Какой же?

— Затеять для них бой. К примеру, откажись от этого договора. Выведи забастовочные пикеты, добейся приличной прибавки. Погоди-погоди, я знаю, что у нас с компаниями джентльменское соглашение есть по некоторым пунктам. Ну и что? Неужели мы не сумеем договориться с ними? Зато у тебя в руках сила. А работяги на тебя же еще и молиться будут, как на Христа спасителя.

— Но тогда они заставят нас пойти дальше, как при социализме...— Он сделал неопределенный жест и умолк.

— Ни в коем случае. У работяги только сила и есть, если он как следует организован. В остальных отношениях он нуль. Все, что ему требуется,— это жратва и баба в субботу. И мы дадим ему это. Но вот до управления не допустим. Одним словом, кто-то должен повести их за собой. Вопрос — кто. А те, кто посередине, сегодняшние профсоюзные лидеры — им придется уйти.

— И ты хочешь начать с моего профсоюза?

— Где-то нужно начинать.

— Я не убежден, что вообще хочу что-то начинать,— рассмеялся Келли.— Да и староват я.— Он почувствовал, что сердце его подпрыгнуло, как вспугнутый зверек.

Случилось это месяц назад в квартире, которую он снял для Евы. Ева немного опьянела, а это всегда обижало и сердило его, как будто она была его дочерью, а не любовницей. Он быстро разделся, лег и начал уже дремать, когда Ева вошла и выключила свет.

Она, вздохнув, улеглась в постель, придвинулась к нему, он хотел было сказать «спокойной ночи», как вдруг почувствовал ее руку. Он притворился спящим, но она не отпускала его и шептала что-то горячее и постанывала. *Пат, ну, пожалуйста, иди ко мне. Пат, я изголодалась, Пат, пожалуйста,* и терзала его, колотила и плакала, а он ничего не мог поделать, решительно ничего — только успокаивать ее неуклюжими нежностями усталого, стареющего, раздраженного и раздосадованного мужчины. Больше он с Евой не встречался.

— Все, о чем я говорю, потом и промышленникам будет на руку,— продолжал Хаск.— Они уже...

— Староват я,— повторил Келли, и в голосе у него прозвучала

нотка такой неизбывной печали, что Хаск посмотрел на него удивленно, как на незнакомца. Преподаватель из провинциального колледжа, подумал он, разглядывая его лицо, если б не эта гримаса у рта. Из-за стекол в металлической оправе на него смотрели подслеповатые глаза.

— Пока это только идея,— сказал Хаск.

— Маленько завиральная идея, но ничего. А парень ты башковитый.

— Стараемся,— иронически отрезал Хаск и внезапно почувствовал глубокое презрение и ненависть к Келли. Он исподтишка глянул на него. Ну, конечно же! Как он раньше не замечал эту жалкую подслеповатость в глазах Келли! И эта болтовня о старых добрых временах, эти красивые сказки — мог бы и догадаться, что они значат. Хаска охватило сознание собственного могущества.

Келли снова начал рассказывать о своей молодости:

— Знаешь, была такая выпивка, богатые потребляли. «Черный бархат» называется. Не пробовал? Теперь его вряд ли где достанешь. Шампанское с портером, должно быть, с «гиннесом». Его на приемах подавали. Господи, мужики в смокингах, женщины...

Они пили, а Келли все говорил и говорил о старых добрых временах своей молодости.

11.30 вечера

Мы шли по Восьмой авеню в сторону центра.

— Давай зайдем к нам — с мамкой познакомлю,— сказал Блэки.— Я ей про тебя рассказывал. С сестренкой тоже. Она у меня симпатичная.

— Поздно уже.

— Какое там поздно! Кто ж в субботу раньше двенадцати ложится?

— Я-то могу. У меня никаких свиданий.

— Цыпочку свою видел?

— Угу.

— Ну и как, порядок?

— Да я на минутку заглянул,— соврал я. Мне не хотелось говорить о Кей.

— Ну и правильно! От них не отцепишься.

Пока мы были в пивной, слегка побрызгало дождичком и улицы запахли свежестью. Пройдя несколько кварталов, мы повернули и подошли к дому, где жил Блэки. Дом был похож на все остальные, шестиэтажный, длинный. Облокотившись на подушку, положенную на подоконник, из окна первого этажа судачила с кем-то на улице домовладелица — вид у нее во всяком случае был хозяйский. Одним наметанным взглядом она раздела нас обоих мигом, содрала кожу и мясо, разобрала скелеты и, кивнув Блэки, отвернулась к собеседнице. Площадка первого этажа была застлана дешевым линолеумом «под мрамор». Пахло ветчиной, капустой, ладаном и чуть ли не верблюжьим навозом. Точно в таком же доме когда-то жил я сам. Мы карабкались по лестнице, как по ступеням запахов, и когда наконец поднялись на нужный этаж, на меня дохнуло запахом разорения на седьмом месяце. Блэки отпер дверь своим ключом, и мы вошли.

Даже не зажигая света, по шелесту разбегающихся тараканов можно было понять, что дверь открывается прямо в кухню. В ней стояла угольная плита, оборудованная газовыми горелками, холодильник и буфет.

Комнаты тянулись от кухни по прямой линии одна за другой, как железнодорожный состав, так что вся квартира просматривалась из конца в конец. Мы прошли две спальни и только тогда попали в гостиную, выходившую на улицу. В комнате, освещенной одной тусклой лампочкой, были женщина, мужчина и девочка-подросток.

Женщина — крупная, черноволосая, когда-то, должно быть, полная, но сейчас похудевшая и болезненная — лежала на кушетке у стены. Мужчина сидел в глубоком кресле за керосиновой печью — как я мог догадаться, среднего роста, совершенно седой, с длинным тонким носом, вероятно из скандинавов. У него был такой вид, будто он никогда не подымется из кресла и вообще удалился от дел в возрасте двадцати пяти лет и с тех пор ни разу не пожалел об этом. В общем, он произвел на меня впечатление полнейшей отрешенности.

Девочке, сестре Блэки, было лет двенадцать-тринадцать, от силы четырнадцать, и одета она была как положено: свитерок, юбчонка до колен, носочки. Такие же черные, как у брата, волосы, но ухожены не в пример лучше. Уложенные набок, они походили на воронье крыло. Аккуратные бровки, тоже совсем черные, и из-под них, словно два чернильных колодца, смотрели огромные глазищи. Совсем малышка, однако обещает стать красавицей.

— Добрый вечер, Фрэнсис,— произнесла едва слышно женщина.— Рада познакомиться с твоим другом.— Она даже головы не подняла, и я понял, что она совсем плоха.

Мужчина не проронил ни слова. Он не спеша окинул нас безразличным взглядом, словно говоря, что мы ему глубоко неинтересны. Зато сестренка заметно оживилась:

— Полундра! Наши вояки прибыли.

Она обращалась к брату, но играла не на него. Потом она повернулась ко мне, и я почувствовал себя старым, раздетым и одиноким. Бровки ее были вздернуты, точно сигнальные флажки, и на губах появилась зазывная, как у дешевок, улыбочка. Теперешние девчонки все так делают. Она протянула руку.

— Привет, солдатик! — Ручонка горячая, и грудки под свитерком круглятся парой новехоньких бейсбольных мячей. Я поспешил к кушетке поздороваться с миссис Кармоди.

— Блэки мне писал о тебе. Ты и впрямь красный? — Она смотрела на меня удивленными глазами, как если б я был о двух головах. Хорошенькое начало для разговора.

— Не приставай к человеку, мам,— выручил меня Блэки.— Зачем я его позвал — проповеди выслушивать? — Он обернулся ко мне.— На днях отдаем мамку в монастырь,— произнес он проникновенно.— Чересчур она чистая для нашего порочного мира.

Привычная, видимо, семейная шутка доставила немалое удовольствие миссис Кармоди. Она рассмеялась сочным, грудным, чуточку бесстыдным смехом.

— Думаю, что святые сестры могли бы кое-чему у меня поучиться,— сказала она неожиданно громко и тут же откинулась на подушку со вздохом.— Боже, что я говорю! — Мне подумалось, что в миссис Кармоди сохранилось что-то очень живое и сильное, она тщетно старалась усмирить это, и напрасные усилия только изнуряли ее.

— Я старая женщина,— проговорила она не без удовольствия.— Мне теперь совсем немного нужно.

— Если в это «немного» входит пиво, попробуем что-нибудь сообразить.— Блэки высунулся в окно.— Лавка еще открыта.

— В это «немного» входит не пиво, а ты, Фрэнсис,— возразила мать.— Вот когда ты устроишься, найдешь хорошую работу и жену, я буду спокойна.

— Меня пока устроит пиво,— сказал Блэки.— А потом заработаю первую сотню тысяч, возьму в жены девицу из кордебалета и сделаю тебе внука, пойдет?

— Я не шучу, Фрэнсис.

— Я тоже.

Последовало короткое напряженное молчание.

— Беги уж за своим пивом, если так хочется. Гарунян скоро закроется.

Блэки ушел, и немного погодя Мэри спросила:

— Мам, я пойду к Хоуп, ладно?

— Иди.

— Не возражаешь, если я останусь у нее? На ночь? Мать у нее ушла.

— Почему на ночь?

— Да просто так. Ей одной скучно.

— Ладно, иди.

— Ну, тогда пока! Спокойной ночи, мистер Манта,— сказала она молчаливому мужчине, а мне бросила: — Еще увидимся, большой!

— Непременно,— ответила я. Она окинула меня взглядом опытной соблазнительницы, который тоже подсмотрела в кино, и вышла.

— Мэри спешит стать взрослой,— рассмеялась миссис Кармоди.— Вот и практикуется на тебе.— Потом она вздохнула и посерьезнела:— Я за Фрэнсиса беспокоюсь. Ты знаешь, что он вбил себе в голову?

Я кивнул.

— Весь в отца пошел,— продолжала она устало.— Но того я в узде держала, получалось, кажется. Поговорил бы ты с ним, Джо, образумил, а?

— Уже говорил — не слушает.

— Не надо вмешиваться в чужую жизнь,— неожиданно изрек Манта. Это были его первые слова за все время. За печным стояком, загороженный от света, он казался каким-то серым и беспомощным. Руки его лежали на коленях неподвижно, как чужие.— Помочь ближнему вообще нельзя,— проговорил он невыразительным, бесцветным голосом человека, пережившего поражение и научившегося безразличию.

И тут до меня дошло, что именно эта полнейшая пассивность привлекала в нем миссис Кармоди. То есть не то чтобы привлекала, нет, она сама жаждала достичь такого же безразличия и безмятежности — и не могла.

— Да не собираюсь я вмешиваться в его жизнь. Я просто хочу, чтобы он сам себе не мешал прилично жить,— сказала миссис Кармоди и добавила с угрюмой решимостью: — Ну, нет, я добуду ему работу. Добуду, чего бы мне это ни стоило. Я уже разговаривала с отцом Берком.

Джон сидел молча и неподвижно, сложив руки, как плохенький, третьесортный Будда. Всем своим видом он говорил: что ни делай, конец един. Миссис Кармоди повернулась ко мне.

— Плохо, что ты отступил от веры,— сказала она укоризненно, и по этому переходу от созерцания Манты к разговору о церкви я понял, что́ она нашла в нем. Он научился тому, чего так не хватало ей самой и что она надеялась обрести через веру — покой и умиротворенность, которые приходят, когда сдаешься, складываешь руки. Но она не имела права складывать руки. У нее есть свой крест — Блэки, и она должна нести этот крест до конца. Та слепая жизненная сила, которая прорывалась в ее смехе, рождала ее заботы о сыне и ее тревоги. Она была прежде веры и перебарывала ее. Неудивительно, что миссис Кармоди так ослабла. В ее душе шел незатихающий бой.

— Был у меня знакомый,— начал Манта своим тихим загробным голосом.— Его тяжело ранило. Друзьям предстояло везти его к доктору за двести миль. Они ехали всю ночь. В те времена автомобили ходили медленно. По дороге он то и дело терял сознание и в беспамятстве говорил о двух вещах: о мужчине, которого он хочет убить, и о женщине, которую он любит. Все бы ничего, но вот человек, которого он хотел убить, сидел здесь же, в машине. Их друзьями считали.

Манта помолчал, словно раздумывая над рассказанным, и продолжал:

— Когда он приходил в себя, то просил остановиться и найти ему священника. Потом опять терял сознание и опять твердил, что убьет его, или воображал, будто он с этой женщиной. Так повторялось несколько раз. Он понял, что священника к нему не приведут и к доктору они не успеют. Он перестал разговаривать — только отдал свои часы тому самому человеку, которого грозил убить, когда был без сознания.

Манта умолк и сидел, не шевелясь, в кресле, за печью. Лицо его ничего не выражало. Хорошенькая история, подумал я. «Его ранило» — так просто это не бывает. И если нужно гнать двести миль к врачу, значит, им нельзя было останавливаться. Кто был тот человек в машине, которому раненый отдал часы? И что из всего этого следует?

— Отсюда следует,— сказал Манта, как бы откликаясь на мои мысли,— что люди жаждут того, о чем понятия не имеют.

Я не ожидал, что Манта истолкует рассказанное им таким манером. В его истории заключалась и другая мораль, а именно: только оставивший всякую надежду на спасение способен творить благо. Это лучше подходит его философии, его тихому, уютному пораженчеству.

— Я девчонкой тоже о вере не думала, как и ты,— проговорила миссис Кармоди, словно не слышала никакого рассказа.— В церковь ходила, потому что все ходили.

Я чувствовал, что в ней снова закипает смех, тот самый, сочный и чуточку непристойный.

— Чтоб отпустить мои грехи, одного духовника не хватало. Хотя молодые они все такие... Ты бы поговорил с ним, Джо, чтобы он не отказывался. Очень приличная работа. Вы же друзья-приятели.

— Ну, конечно! Сделаю, что от меня зависит,— только и мог я обещать.

— Как ты думаешь, Джон,— спросила миссис Кармоди.— Бог — он есть?

— Да,— ответил тот,— но мы ему не нужны.

— О какой такой работе тут толкуем? — спросил Блэки, входя с пивом.

— О той, на которую я хочу тебя определить.

— Ну и зря,— Блэки сунул мне бутылку пива, другую протянул Манте.— У меня своя наклевывается.

— Нет, ты на эту пойдешь, если получится.

— Ладно!.. Для вас что угодно, мадам,— сказал он, обращая все в шутку.— Три сотни в неделю положите? Не с нуля же начинать.

— Положим, положим,— ответила миссис Кармоди в тон. Оба не хотели ссориться и отложили спор.

Мы посидели еще, попивая пиво и болтая о том о сем. Потом Блэки говорит:

— Может, прошвырнемся, Джо? Как ты?

— Можно.

Манта и я попрощались с миссис Кармоди и спустились вниз. На улице Манта кивнул «пока!» и пошел к Девятой улице. Через несколько минут спустился и Блэки.

— Кто этот доморощенный йог?

— Кто, Манта? Сосед. Я его с детства помню. Сторож он в Организации католической молодежи.

— Странный тип.

— Да, оригинал.

— Твоя мать давно его знает?

— Порядком. Последнее время он часто заходит. Ей вроде нравится с ним разговаривать.

Значит, так оно и есть. Не отдавая, быть может, себе отчета, она жаждала проникнуться тем же духом отрешенности, научиться такому же безразличному спокойствию, но не могла выкинуть Блэки из головы.

— Что ты решил насчет этой работы? Твоя мать очень надеется, что ты согласишься.

— Насчет этой работы? За паршивые сорок долларов в неделю? Мне нужна куча денег. У мамы-то моей... рак.

— Да-а,— протянул я.— Хуже не придумаешь.

— Она еще не знает. Понимаешь, она была у доктора перед моим возвращением. Ей-то он, натурально, ничего не сказал, а мне написал. Чтоб я сам сказал, если захочу. И что стадия пока не самая опасная, понимаешь? Надо бы светило какое найти, ему показать, может, что-нибудь и сделает... Такие вот пироги, Джо. Я тебе первому сказал... Да если б не эта штука проклятая, я, может, и согласился б на эту работу, раз ей так хочется. А теперь не имею права, понял? Нужны деньги, много денег. И побыстрей.

— Понял.— Теперь я окончательно уразумел, почему он так настроен.— Слушай, может, не так все плохо? Можно ведь в больницу ее положить и вообще что-нибудь придумать. И совсем не обязательно для этого грабить банк.

— Хочешь сказать, в богадельню упрятать?

— При чем тут богадельня? Да и какая разница, как называется — лишь бы лечили.

— Да в такое заведение я и собаку не отдам. Нет, деньги, только деньги, и сейчас, немедленно.

Некоторое время мы шли молча.

— Послушай, Джо, я не собираюсь тебе мозги мусорить. Даже если бы мама была здорова, я все равно нацелился идти по-крупному. Когда человек бедный — он ноль без палочки. Ладно, чего тут распространяться, я тебе все изложил в баре. Только если б с мамой порядок был, я бы иначе действовал. Пошел бы и на эту работу, чтобы приятное ей сделать. Люблю я ее, понимаешь?

— Значит, за пирс возьмешься?

— Нет, не сразу. Тут столько тонкостей, что спешить нельзя. Целую организацию сколотить надо. Сговориться с какой-нибудь шишкой, чтобы прикрывал в случае чего. Нет, пока я за одно заведение взялся. Паскудный промысел, что и говорить, так ведь и кругом одно паскудство.

— Помнишь, ты сказал, что не будешь трясти беднягу с конфетной лавкой.

— Пивная не конфетная лавка.

— Смотри сам, не маленький,— сказал я, представив себе Блэки в арестантском халате с номером на спине, а потом и похуже — с дыркой в голове.

Поближе к Девятой улице нам навстречу попалась Мэри с подружкой.

— Приветик!— окликнула она нас и, обращаясь к подруге, добавила: — Чур, мне — симпатичный!

— А если я тебя возьму да отшлепаю? — ухмыльнулся Блэки сестре.— Никакого уважения к старшим.

— Я-то тебя уважу, в любой момент! — ляпнула подружка.— Попробуй как-нибудь со мной.— Блондиночка среднего роста, годков шестнадцати, к сорока она расползется, точно тесто, но сейчас кругленькая и спелая, как персик. Блэки опять повернулся к сестре:

— А ну-ка, топай домой. Нечего в такое время по улицам шляться. Брысь!

Девчонки пошли дальше. Старшая выдала напоследок стандарт-

ную стервозную улыбочку, как раз вошедшую в моду, и так завихляла задом, что человека враз пронимало.

— Матерь божья,— удивленно протянул Блэки.— До чего же быстро они понабрались. Настоящие прости-господи! Когда я в армию уходил, эта задрыга Хоуп еще в штаны писала, а теперь, говорят, огольцам со всего квартала дает. Ну и местечко! Нет, за Мэри теперь глаз да глаз. И чтоб подальше от этой... А то оглянуться не успеешь, как по рукам пойдет.

Забавно было слышать от Блэки такие вещи. Но затем я посмотрел на него внимательно и увидел невысокого озабоченного парня, который словно держал на своих плечах всю тяжесть огромного грешного мира, и его слова перестали казаться забавными.

— Может, скажешь, куда мы направляемся? — спросил я.

— Надо повидаться с ребятами в клубе.

Клуб демократической партии находился на втором этаже какого-то делового здания. Две большие комнаты, заставленные складными стульями, и большой государственный флаг на стене. Шестеро за неказистым столом резались в покер. В другой комнате трое невзрачных активистов — толстый, тонкий и глупый — вырабатывали политическую линию. В помещении стояла вонь, как от обманутых и отброшенных надежд.

Блэки подошел к столу и несколько минут наблюдал за игрой. В конце концов тип, похожий на персонаж из комиксов, загреб кон на три двойки. Другой игрок, рослый парень с напомаженными бриолином волосами и лицом, словно мясничий топор, обменял чипы на деньги и подошел к нам.

— Шухер какой-нибудь, Блэки? — спросил парень.

— Не-а. Просто дома не сидится. Джо, познакомься с Кенни.

Я познакомился с Кенни, и мы двинулись по улице.

— Зайдем к Двейну,— сказал Блэки.— Мне Мелла нужен. Я думал, он с тобой, в клубе.

— Был да весь вышел,— информировал Кенни.— Небось поскакал за какой-нибудь курочкой.

У Двейна, поближе к Двадцатой, было точь-в-точь как у Макнамары, только кружки поменьше да неона побольше, матросня, какие-то личности неопределенного вида и девицы вполне определенного сорта.

— Я угощаю, моя очередь,— сказал я.

Кенни посмотрел на меня как на психа.

— Оставь свои при себе,— мотнул головой Блэки.— Рассчитаемся.— Они заказали виски, а я пиво.

Время приближалось к полуночи, заведение ходило ходуном. Ревел музыкальный автомат, народ пил, плакался, матерился, блевал, тискал девиц, бил морду. Каждый развлекался как умел. Новенькому попасть сюда — все равно что получить пропуск в сумасшедший дом, когда у персонала выходной.

— Как тебе моя штаб-квартира? — лыбился Блэки.

— Вполне. Если еще клиент подвалит, придется на тротуаре столы ставить.

К нам подошла какая-то девица и что-то зашептала Кенни на ухо. Мы с Блэки болтали, не обращая на них внимания, потом он нагнулся к нам:

— Жалуется, бедная.

— В чем дело? — спросил Блэки.

— Да этот парень, Боров Фарран...

— Выкладывай, чего мямлишь!

Кенни посмотрел на меня, потом опять на Блэки, пожал плечами.

— Боров, он лапу на нее наложил. Велел сегодня четвертной ему обеспечить. У нее не вышло, он ей — в зубы. Непорядок это,

Блэки,— добавил он обиженно,— ей-ей, непорядок. Где ей такую монету взять, правда ведь, дорогуша? — Он потрепал девицу по заду.— Набежало сюда этих пуэрто-риканских кобылок.

— Я не имею двадцать доллар,— хныкала девчонка. Годков восемнадцать ей, а то и поменьше, неопытная и вполне миловидная. Ее до смерти напугало то, что она понесла на Борова.

— Сказал убьет, если болтаю.

— Боров — подонок, это всем известно,— сказал Блэки.— Но я не знал, что он безмозглый подонок.

— Черт, что у вас тут происходит? — спросил я.

— Сволочь он, этот Боров,— объяснил Блэки.— Девчонок заставляет на себя работать. Эта тоже из его стойла. Мы, значит, попросили его убраться куда подальше. А он, видите ли, явился и опять за старое.

— Он пьяный,— вставила девица.

— Плохи дела,— протянул Кенни.— Вообще-то он трус, но ежели наберется — от него всего жди. Нож при себе держит. Надо бы Меллу позвать, а, Блэки?

— А где его черт носит?

— Может, пойти поискать?

— Поищи.

— Не думаю, что твой Кенни жаждет встретиться с этим Боровом,— сказал я, когда тот ушел, и переменил тему: — И что же все-таки насчет девиц? Будешь их от этой сволочи-сутенера стеречь?

Он посмотрел на меня, и я понял, что он сердится.

— Вижу, тебе очень хочется меня выжималой-вышибалой выставить. Валяй, валяй! Да я от них ни цента не имею, понял? Просто Двейн не желает, чтобы этот подонок у его заведения ошивался. Ну, я и посоветовал ему отвалить. Лотерейщики разные, лошадники — это другое дело.

— Ладно, замнем для ясности,— сказал я.

Но он не хотел, чтобы за мной оставалось последнее слово.

— Не шейлок я, понял? Ни цента от них не имею,— повторял он.

Наверное, так оно и есть. Но вот сам Двейн от этих кобылок имеет, это точно,— иначе чего бы ему возражать, если этот Фарран свой кусок отломит. Попросту говоря, Двейн занимается вымогательством. Блэки у девиц ничего не берет, однако ж Двейн ему платит — либо за определенную услугу, либо долю от левого дохода. Вот и выходит, что в лоб, что по лбу, и Блэки понимал это не хуже моего. И ему было противно. Он тянул виски, но оно не веселило. «Одно паскудство кругом»,— сказал Блэки. Что и говорить, прав он. Мир гнил, и Блэки, этот сильный, славный парень, сидящий рядом со мной, гнил вместе с ним.

11.30 вечера

Крип отложил книгу и погасил лампу около кровати. Часы на комоде показывали половину двенадцатого. Пора.

Из верхнего ящика комода он достал револьвер и засунул его за пояс. Не очень удобно, но лучше, чем в заднем брючном кармане или в пиджаке: револьвер оттягивал бы карман, заметно. Пиджак двубортный, если застегнуть на все пуговицы, ничего не видно.

Крип внимательно осмотрел себя в зеркало — от верхней пуговицы до колен, обеими руками одернул полы, убедился, что все в порядке. Выключив свет в комнате, он вышел на полутемную лестницу. На нижней площадке было слышно радио из хозяйкиной квартиры, шла юмористическая передача. Шутихой взорвалась в ночном воздухе плоская острота, раздалось отрепетированное ржание ведущего, и Крипа опять охватила привычная беспричинная злость, как

будто ему нанесли личное оскорбление. У него совсем не было чувства юмора.

На улице было тепло, как летом. Он прошел безлюдные Кварталы моды. Тридцать четвертая улица зияла огнями. Он остановился на углу, глядя на горящие вывески питейных заведений и раздумывая, откуда лучше начать, потом решил пойти дальше на южную сторону. Он должен выследить человека, которого нанялся убить.

Ему было совершенно неинтересно, кто он, этот человек, его жертва. Он даже не знал его имени — только лицо и искал это лицо среди тысячи других. Он не знал также, кто его нанял, кто хотел убрать этого человека, о котором он понятия не имел. Все было устроено как положено: к нему пришел один из тех, с кем он когда-то встречался, они договорились о цене, и ему просто показали того, кого он должен убить. Это было обыкновенное деловое соглашение, бизнес. Сейчас он приступил к делу, не имея особо разработанного плана, но не потому, что считал его легким или привычным, а потому, что чутье подсказывало ему, куда идти и что делать. Он машинально свернул за угол и так же машинально опять взял на юг, двигаясь к цели с какой-то автоматической сосредоточенностью, как паровоз по рельсам.

Такая работенка ему не внове. Первый раз он угодил за решетку в двадцать два года — за ограбление, которое принесло ему три с половиной доллара. Он совершил ограбление с помощью старого отцовского револьвера, бесполезной железной игрушки, в которой и патронов-то не было. Он пошел на это не подумав, в приступе яростного отчаяния, и до сих пор не знал в точности, что им двигало. Он ненавидел улицу, на которой жил, жаркую, душную летнюю ночь, которая погнала его из вонючей квартиры, свою косолапость, нужду, горькое сознание того, что он — пустое место. Он стоял у прилавка в кулинарии, позабыв о револьвере в руке, и напуганный хозяин протягивал ему три доллара пятьдесят центов. Его схватили, едва он добрался до угла. Он загремел на три года.

В тюрьме Крип кое-чему научился. На место стихийной, слепой ярости пришло чувство порядка, пришел метод. Он уже не был мальчишкой с револьвером в руке — он сделался профессионалом. Три года закалили его горечь и ненависть.

После этого он не раз ходил на дело — иногда успешно, иногда нет. Полжизни он провел за решеткой. Во время последней отсидки он и принялся изучать историю — частью из-за презрения к другим заключенным, которым ему нечего было поведать, разве что рассказать, какой дурацкий спектакль он устроил в ту душную ночь с пустым револьвером и деньгами, которые были ему совсем не нужны, а что нужно — он не знал и потому пер напролом к уготованному концу, не разбирая дороги, не чувствуя ничего, кроме горечи и ярости. Частью из-за того, что его грызла и гнала яростная обида: кто-то, кого он не знал, или события и силы, о которых он не подозревал, обманули его, сыграли с ним какую-то злую шутку. Как тогда он схватился за револьвер, думая, что нашел заветный талисман, волшебную палочку-выручалочку, так теперь он набросился на книги и принялся поглощать их с холодным остервенением, словно хотел силой заставить их раскрыть свой секрет. Он не тянулся к знаниям — он искал то, что спрятали от него, старался разгадать, в чем фокус и где пружина-причина, и потому ему было безразлично, что читать — китайскую историю или американскую. Выбор книг целиком зависел от богатства тюремной библиотеки.

Бывая на воле, он знал и удачу. Вот уже пять лет, как он живет на то, что досталось ему от одного ограбления на Среднем Западе. Хозяйство он вел экономно, питался в кафешках самообслуживания и вряд ли догадывался, что существуют более удобные места, чтобы поесть, снимал комнату в дешевом доме-улье. Иногда целые дни он

просиживал в библиотеке, роясь в книгах с такой же напряженной и нервной сосредоточенностью, с какой сейчас охотился на человека, которого должен убить, и испытывая от чтения глухое раздражение и злобу: *господи Иисусе, только-то и всего?*

Он убил четверых за последние пять лет. Убивать проще, чем грабить, и безопаснее. Несмотря на озлобленность, которая никогда не покидала его, он считал себя, если угодно, бизнесменом, причем сравнительно удачливым. На его счету было немало трудных свершений. Он листал перевод Евангелия на язык могавков, выполненный преподобным Уилоком и индейцем Джозефом Брантом, и мог рассуждать о том, почему сэр Уильям Джонсон [1] разводил павлинов.

Добравшись до Двадцать восьмой улицы, Крип начал прочесывать пивные. Он был уверен, что человек, которого он ищет, где-то здесь.

Пивные к полуночи битком набиты, так что можно зайти в любую и незаметно уйти, даже ничего не заказав. Внешность у него самая заурядная, одежда тоже, разве что хромота привлечет чье-то внимание. Примерно в половине второго ночи он зашел в бар на Восьмой авеню, в начале двадцатых улиц.

В дальнем углу за стойкой сидели двое: один — невысокий, черноволосый, лет двадцати с небольшим, другой — повыше, пожалуй, футов шести, прямые русые волосы, брови темные, глаза карие. Окинув их быстрым взглядом, Крип отвернулся.

Он заказал джин, сразу же положил деньги на стойку, чувствуя, что на него смотрят, и раздраженно подумал: *эти ублюдки меж собой говорят, что джин — для черномазых пойло.* Не притронувшись к стакану, он пошел в уборную.

Уборная была тесная, темная, вонючая, с одним маленьким оконцем. *Сойдет,* подумал Крип. Он вытащил нож, поскреб серо-грязную краску на раме и пошел назад.

Теперь он был доволен. Он поднял стакан, выпил и заказал еще. Револьвер больно упирался в живот, он отодвинулся от стойки, опрокинул вторую порцию и не спеша вышел на улицу. Надо обойти пивную. Войдя в подъезд соседнего дома, он прошел полуподвал и очутился на заднем дворе. Здесь было темно и душно. Он легко перелез через низкую ограду и прокрался к окну уборной. Потом переложил револьвер в правый брючный карман и принялся ждать. Из пивной доносилось радио. Хотелось курить, но можно и потерпеть. *Ну вот, сегодня,* подумал он, *или завтра. Какая разница?*

С полуночи до утра

В баре становилось шумнее и безлюднее. После полуночи человек начинает чувствовать себя особенно одиноким, и неоновые вывески притягивают его, как мотылька — лампа. Обычно люди заходят в заведение выпить, посидеть, поглазеть — и в смутной надежде, что именно здесь кипит самая что ни на есть настоящая жизнь и они найдут то, что ищут — будь то женщина, собеседник или самая большая в городе кружка пива. Потом уходят попытать счастья в другом месте. После полуночи в пивных остаются лишь те, кому некуда деться.

В конце концов Блэки оторвался от стойки.

— Похоже, что не придет, ну и хрен с ним.— Он уже порядком захмелел.— Засиделся я в этой дыре. Двинем дальше?

— Я уж и на боковую не прочь.

[1] Уильям Джонсон (1715—1774) — английский политический и военный деятель, получил известность во время Семилетней войны между Великобританией и Францией за колонии в Северной Америке благодаря привлечению на сторону англичан индейцев-ирокезов.

— У тебя есть где переночевать?

— Есть,— ответил я, хотя ночевать мне было негде.— Я договорился.

— А то давай ко мне.

— Да нет, спасибо. Сегодняшняя ночевка обеспечена.

— Ну, смотри. Если что, в любое время,— сказал он хрипловато, и мы вышли на улицу.

— Твоему Двейну вечерок недешево обошелся,— сказал я, имея в виду количество выпитого нами.

— Это входит в мое жалованье,— усмехнулся он.— Пройдем малость?

Мы пошли по авеню, потом повернули к Восьмой и наткнулись на пьяницу, мирно похрапывающего у входа в кондитерскую лавку.

—Иногда даже позавидуешь такому,— вздохнул Блэки.— Устроился, понятно, не ахти как, зато мозгами шевелить не надо.

— Он, считай, мертвый, только в гроб не хочет.

— А кто не мертвый, м-м? — Я чувствовал, что он сейчас опять начнет плакаться.

— Слышь, Блэки, раз уж взялся, нечего философствовать, поздно. И вообще поздно для таких разговоров. Я спать хочу.

— Вот-вот, вечно для чего-нибудь поздно... А-а, черт! — встряхнулся он, словно сбрасывая груз с плеч.— Но по кружке-то выпить не поздно?

Мы пересекли улицу и зашли в первый попавшийся бар. Там было пусто: только трое в дальней кабинке и бармен.

— Боров Фарран был? — спросил Блэки, пока тот наливал нам.

— Не-а.

— Оставь-ка нам пузырек,— сказал Блэки. Бармен пожал плечами, заткнул бутылку пробкой и придвинул ее нам. Потом он прошлепал в угол, но ни на секунду не спускал глаз с Блэки. Он мне не понравился.

— Слышь, Блэки,— сказал я,— что-то мне не хочется марать руки о твоего подонка.

— Никто тебя не держит, дружище.

Это верно: никто меня не держал. Но и уйти я не мог. Блэки изрядно опьянел, и я не имел права бросить его одного. Поэтому я сидел и сосал пиво, уповая на то, что этот Боров не явится.

Немного погодя дверь отворилась, и на пороге появился мужчина. Мы все: Блэки, я, бармен — посмотрели на него, думая, что это пришел Боров и с ним — беда. Вошедший и глазом не моргнул, прошел прямо к стойке, немного прихрамывая на левую ногу. Я пригляделся: косолапый.

— Джину! — сказал он и положил на стойку долларовую бумажку. Не дожидаясь, пока нальют, он потопал в сортир. Вскоре вернулся, выпил, не разбавляя, и велел налить еще. Он решительно ничем не выделялся: среднего роста, средних лет, совершенно невыразительное лицо. Но когда он приподнял стакан и повернулся немного в мою сторону, я увидел его глаза: водянистые и какие-то вязкие, как будто расплылась радужная оболочка. Совсем не человечьи глаза. Смотреть в них — как в два отверстия, выходящие в пустоту.

Одним долгим глотком незнакомец выпил свой джин, поставил стакан и, прихрамывая, ушел. Тут же, точно по сигналу, через боковую дверь ввалился здоровенный круглолицый парень с черными усиками. Я почувствовал, как напрягся Блэки, а бармен подошел и стал за стойкой напротив нас, вытирая полотенцем руки.

— Чтоб мне никаких неприятностей, Кармоди,— сказал он негромко. До сих пор он держал себя так, будто знать не знает Блэки.

— Отлично,— ответил Блэки.— Так и договорились.— Он смот-

рел в зеркальную стенку, наблюдая за вошедшим. Парень подошел к стойке. Увидев отражение Блэки в зеркалах, он замер.

— Поди-ка сюда, Боров,— позвал Блэки и, быстро спрыгнув с сиденья, начал резкими толчками теснить его в угол. Бармен нагнулся и, бормоча себе под нос, хотел что-то достать из-под стойки. Я схватил бутылку и кинулся к нему.

— А ну, убери руки! — приказал я. Держа бутылку в правой руке, я запустил левую через верх под стойку. Там был полуметровый обломок тяжелого бильярдного кия.— А теперь радио погромче сделай.

Я двигался за ним вдоль стойки, опустив кий. Рука у меня дергалась, словно чужая. Компания в дальней кабине ничего не заметила. Блэки отодвинулся от Борова и с размаху ударил его в скулу.

Тот не защищался, только тряхнул головой и выставил руки вперед.

— Не надо, Блэки! — твердил он.— Слышь, не надо! — Он был перепуган до смерти. Я вспомнил, как стушевался тот рослый докер в пивной Макнамары.

— Не надо, Блэки, хватит,— сказал я.

— Я же тебе, падло, говорил, чтоб ты на Девятую авеню не совался, говорил? — затараторил он, как пулемет.— Кончились твои игры, Боров, понял? Проваливай отсюда. Чтобы духу твоего тут не было.— Он опять треснул Борова. Я подался в их сторону, хотел остановить его.

Боров, верно, подумал, что сейчас я примусь за него с бейсбольной битой, и заверещал — истошно, визгливо, по-бабьи. Бармен почему-то пригнулся, и я на всякий случай стукнул его кием. Он упал.

Теперь уже Боров пошел в атаку на Блэки. Я слышал их хрипение и проклятья. На крик Борова выскочили трое из дальней кабинки. Двое замешкались, но третий подхватил бутылку, хрястнул ею об стол и кинулся на меня. Засверкали острые, как клыки, зубцы. Раздумывать было некогда. Тырчком я опрокинул высокий табурет ему под ноги и сразу же изо всех сил швырнул в него обломок кия. Он грохнулся на пол.

Борову тем временем удалось прижать Блэки к стойке в углу, и он норовил дать ему под дых. Я оторвал его от Блэки, тот двинул ему еще разок, уже машинально, и парень медленно сполз мне на ноги.

— Драпаем! — крикнул я.

— Успеется.— Отдуваясь, Блэки взял со стойки ополовиненную бутылку и подошел к типу, которого я сбил.

— Ну как, желаешь еще попробовать?

Малый осел на пол и тупо смотрел на нас.

— То-то,— хмыкнул Блэки и поднял брошенный мной обломок кия.— Держи! — Он кинул его бармену.— Спасибо за сотрудничество, Джек. Завтра я загляну — поговорим. Ну, а бутылку я изымаю — в качестве компенсации за причиненный нам ущерб.

Боров, покачиваясь, уперся руками в пол, стараясь встать на ноги, но от блэкиного удара в зад он выкатился на середину зала, подчищая мордой пол. После этого мы вышли на улицу.

Напротив Оздоровительного центра на Девятой авеню был небольшой сквер. Мы присели на скамейку. Под деревьями было тихо и темно. На соседних скамейках мирно посапывали босяки, а на одной лизалась парочка.

— Перейдем на виски? — выдавил Блэки и протянул мне бутылку.— Вижу, тебе это не в жилу?

— Да, не в жилу. Я готов драться, когда надо, но не люблю. И не люблю, когда меня втягивают в сомнительные истории.

— Мог и уйти.

— Нет, не мог! А ты этим воспользовался.

Он снова приложился к бутылке и забулькал, а потом, оторвавшись, стал глотать ртом воздух.

— Ну, и отчаливай в таком разе,— бросил он.— Не привязан.

Он осушил бутылку и, взяв ее за горлышко, кинул через дорогу. Она со звоном разлетелась, разбудив кого-то из бродяг и напугав парочку.

— А ты все еще хочешь быть свободным?.. А-а, катись оно все к чертовой матери! — проговорил он негромко и заплакал. Я молчал.

— Пойдем, малыш,— сказал я наконец.— Домой пора.

Всю дорогу он молчал, но когда мы подошли к его дому, спросил:

— Джо, ты в самом деле не хочешь остаться у нас?

— Нет, у меня есть где переночевать.— Я уже решил, что подамся на Пенсильванский вокзал.— Спасибо, малыш.

— Ну, тогда до свидания, Джо.— Я слышал, как защелкнулась за ним дверь. Мои шаги отдавались на пустынной улице, как будто кто-то шел за мной по пятам.

2 часа ночи. Воскресенье

Пенсильванский вокзал гудел, как динамо-машина. Я спустился вниз, в лабиринты подземных переходов и помещений, и разыскал ночлежку для бывшего рядового состава. В комнате было почти темно, народ дрыхнул на скамьях и стульях. За конторкой восседала женщина. Она нерешительно посмотрела на меня, но пропустила.

— Свободных лежачих мест нет,— предупредила она.— Но некоторые через час-другой уйдут, так что если можете подождать...

Мне все равно было не до сна. Я уселся в шезлонг и закурил.

«Ты все еще хочешь быть свободным?» — спросил Блэки. Да, именно это я сказал на судне в ту ночь, когда мы подходили к Штатам. Что ж, не самая большая глупость, изреченная мною. Блэки тоже хотел свободы, но считал, что знает более практичный способ добиться ее. Когда возвращаешься домой после того, как три-четыре года пробыл на другом краю света, за океаном, и еще дольше тянул солдатскую лямку, то чувствуешь, как у тебя на плечах, точно вороны на висельнике, тяжелеют пропавшие годы, и вспоминаешь, как просыпался по ночам весь в поту и физически ощущал, как капля за каплей, словно кровью, исходишь временем, чей бег ты вообще бы не заметил, не переменись оно цветом от военной формы, и как оно, это прекрасное время, вливается в пестрый спектр утрат и становится самой яркой его частью.

Блэки выбрал короткую — и кривую — дорожку к свободе, не отдавая себе отчета в том, куда она заведет. Или взять этого Борова Фаррана. Сволочь и сутенер, что и говорить. Но у него тоже было свое направление в жизни — квартал и бар, где мы только что дрались. Блэки вытеснил его. Не бог весть какая победа.

И все же выигрыш, которого добился Блэки,— на него долго не проживешь. Фарран не обязательно связан с каким-нибудь «папой», но рано или поздно Блэки столкнется с тем, кто покрупнее его. Или сам прилепится к какому-нибудь синдикату. Результат один. В первом случае его вытолкнут из игры или того хуже — угробят. Во втором его захватит механизм определенных отношений и вытравит все хорошее, что есть в нем.

Положение у парня — не позавидуешь. Я подумал о его матери, о том, что она тоже хочет быть свободной — устроить сына, а потом, выбросив заботу из головы, отдаться тому отрешенному покою, который проповедует Манта. Она готова пожертвовать всем, лишь бы он зажил приличной жизнью. А беднягу Блэки грызут жалость и чувство вины, и он как умеет старается помочь матери и утешить ее. Да, рано или поздно все приходит в равновесие, но понятия пу-

таются, и прибыль оборачивается убытками. В экономике такое недопустимо.

Потом мысли мои перенеслись к Кей, длинноногой, рыжей, замечательной Кей, и я подумал: каким же надо быть идиотом, чтобы сидеть в этом шезлонге посреди храпящей солдатни. Мог бы сейчас быть с нею, подумал я и тут же увидел ее такой, какой она виделась мне много-много раз там, за океаном. Да, я вернулся, но снова словно в строю — на вокзале, дожидаясь распоряжений, дожидаясь отправки.

Пока я был там, я считал, что между нами все ясно, все в порядке, но думал-то я только о себе. Теперь опять все перепуталось у меня в голове. Путаница началась с того момента, когда что-то переломилось в моей жизни.

Это случилось, когда я ехал на Запад, но лишь гораздо позже, в армии, я осознал, что произошло. Передвигался я на попутках и попал в какой-то городишко в Колорадо. Городишко самый обыкновенный. Таких полно в Колорадо и в Нью-Мексико, в Аризоне, Калифорнии и наверняка в других местах, где я не был. Зато в первый раз за два года мне выпала возможность посидеть спокойно и прислушаться к тому, что творилось все это время у меня в душе.

Городишко был маленький с квадратными, белеющими на солнце домами. Узкие улочки, извиваясь, как речушки, сбегали с холмов к небольшой площади. Посередине ее бил родник, вода бормотала точно так же, как и верхушки сосен в Мичигане, все вокруг пригрелось и дремало, ленивое жужжание пчел едва нарушало тишину, и даже птицы кричали сонно и как-то жалобно. Я радовался, глядя на городок. Жизнь в нем текла легко и разумно. Здесь обитали мексиканцы и индейцы, от них несло одновременно духом затхлости и вольности. На холмах паслись овцы и козы, кое-где коровы. Народ понемногу занимался орошаемым земледелием. По-моему, так и нужно жить, хотя не исключаю, что потом меня подвела память, которая наждаком времени счищает грязь и оставляет лишь отпечатки земного рая.

Быть может, и в самом деле проказничала память и играло воображение? Быть может, его вовсе и не было, этого городка, или он был, но совсем не такой, каким запомнился мне? За две недели, что я пробыл там, его характер, или свет, или сама тамошняя жизнь буквально заставили меня пережить медленное умирание и новое рождение. Я не знал, что во мне что-то происходит, просто нежился на солнышке и перебирал эпизоды моего детства, отрочества и моей юности.

Так или иначе я рос и взрослел, как Пол Баньян [1],— не по дням, а по часам. Сам-то я этого не замечал. Индейцы тоже. Они курили свои трубки и наливались живой водой. Мексиканцы же если и замечали, то из деликатности не подавали виду; они дремали на площади под бормотание родника, или гонялись за своими козами, или вырезали безобразные деревянные распятия — единственное свидетельство того, что их житье-бытье отнюдь не было таким распрекрасным, как мне потом чудилось.

В конце концов я стал совсем другим. Я начал понимать это в армии и окончательно понял сейчас. Городок совершил надо мной обряд посвящения и приобщения к человечеству, я перестал быть законченным и отдельным, особым и обособленным человеком, каким был прежде. Городок подарил мне чувство истории и чувство долга. Порывистый и простецкий парнишка, больше всего на свете ненавидевший фараонов, умер. Я снова превратился в комок сырого ве-

[1] Пол Баньян — герой американского фольклора, славившийся необыкновенной силой и смышленостью. Легенды о нем первоначально возникли среди лесорубов северо-западных штатов.

щества, из которого только вылеплялся человек. Мне это не нравилось, но делать было нечего.

Последние месяцы на фронте, госпиталь, пора, когда я постепенно убеждался, что люблю Кей,— вот когда я понял, что значит для меня этот городок. Я начал тосковать по нему, как будто в нем, и только в нем, воплощались мои желания. Я рвался туда, словно там меня ждали все ответы или новая жизнь.

Так вот, я стоял и думал о том городке, мечтал, как махну туда, чтобы определиться, как приду на заветное место и огляжусь окрест — по-новому, с другого, более высокого уровня,— и вместе с тем, несмотря на радужные мечтания, испытывал какую-то неуверенность и смутное беспокойство, и вот тут-то Блэки и спросил, что я собираюсь делать и чего хочу.

Хочу быть свободным... Да, я мечтал о покое, о свободе, о счастье. Я мечтал забрать туда Кей. Но если я хотел всего этого и если Кей и городок сливались в моих мечтаниях, то почему я ушел от нее, почему испугался встречи?

Как бы это объяснить... Причин бездна. Прежде всего я не знаю, любит ли она меня. Когда-то мы делили постель, но это ровно ничего сейчас не значит. Она привязана к своей работе, к своим друзьям и Нью-Йорку, привыкла к обеспеченности. Словом, причин бездна, но ни одна не оправдывает того, что я трусливо ушел, даже не заговорив с ней. Я шел по вечерним улицам и думал, какой я несчастный. Как раз в этот момент я и встретил Барни Ласта.

Здесь ответ, здесь. Это забастовка спутала мне карты, из-за нее все пошло насмарку. Еще до встречи с Барни я знал, что никуда не поеду — когда-то я теперь попаду туда, в мой солнечный город? Нутром чуял, что не поеду, а уж потом понял головой. Вот отчего я боялся встречи с Кей.

Непонятно почему я почувствовал, что несу какую-то ответственность за эту забастовку. Боже мой, рассуждал я, а мой долг перед Кей, моя мечта о городке? То, чего я хотел, тянуло меня в одну сторону, а то, что я собирался сделать, должен сделать,— совсем в другую. Во мне словно боролись два человека.

Закрыв глаза, я попытался заснуть, но кругом стоял топот текущих через вокзал толп и доносилось глухое грохотание подземки. Прямо надо мной лязгали составы поездов, отправляющихся на родину Кей, в глубинку, на самый север штата Мэн, к лесистым холмам глубокого Юга, на равнины, раскинувшиеся за Чикаго, в белые, сухие, утыканные кактусами и прожженные солнцем пустыни Юго-Запада, к диким долинам и холодным озерам Севера; в Мобил, в Кеннебанкпорт, Медисин-Хат, Мандан, Каламазу, Пуэбло. Рельсы, как кровеносные артерии, разбегаются по телу Америки, кричат гудки, громыхают гигантские локомотивы и подрагивают насыпи и низины.

Завтра я иду в порт. Вздрогнет под ногами почва, люди кинутся на улицы, охваченные лихорадкой забот и движения и точно спасаясь от какого-то страшного стихийного бедствия, как будто сей миг разверзнется земля,— и где-то там, среди них, буду я, и будет Билл, и Келли, и Блэки,— все-все, подхваченные опасной волной века. Усохнут деревца, умолкнут птицы, поникнут травинки, и даже солнце покажется сварочной горелкой. И будет то, что было: пустыня из камня и железа.

Вот как оно будет. До чего не похоже на мой мирный городок, на тихое бормотание родничка на площади и сонную птичью перекличку в полдень. На оставленную страну моего сердца.

Часть вторая

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО СРЕДУ

Зазвонили колокола дня, рассыпая над городом свои железные заповеди, и всполошенная стая голубей разом снимается с фонтана у входа в парк. Сизые, под цвет камня, и мягкие, как лайка, они взмывают вверх и разлетаются в ясном высоком небе, точно брызги потока, разбившегося об утес. В их полете никакого порядка, никакой закономерности, как нет порядка и закономерности на тротуарах, где, словно муравьиные цепочки, текущие по коридорам запахов, бегут люди и зарываются в приманчивые норы богатых банков и грошовых лавчонок. Река разливается до того, как выкопают водоем. Удачливый приходит домой с выигрышем до того, как установлены игральные автоматы. Беспорядочные системы уравнений. Реки, как заколдованные, кружатся около острова, поворачиваются во все стороны света мосты, по улице катит автобус без водителя. И тем не менее хаос постепенно упорядочивается.

Порядок просматривается в золотистой пыли, где пропадает след залетевших к солнцу голубей. Колокола отзванивают тяжелые часы, роняя их на усеянные пометом сверкающие крыши, такие непохожие и такие похожие друг на друга. Голуби разлетаются, сбиваются в стаи, кружат, возвращаются и спадают к фонтану легко и неслышно, как цветень. Тогда начинаешь различать закономерности, порядок, периоды дня.

Первый — это период распада, когда солнце-пушка пробивает крепостные стены сна. Ошалелые от крепкого кофе, зажатые в тиски необходимости, люди вливаются в мощные человеческие потоки. Они мчатся по утренним улицам, не разбирая дороги, как слоны в пору гона. Их захватывают двери контор, затягивают зияющие провалы заводов. Заключенные в бездонные колодцы лифтовых шахт, напрасно скорбят непрошеные пророки и запуганные поэты. Сотни самоубийц устало взбираются на островерхие кручи самых высоких небоскребов и, точно рассчитав время полета и положение в пространстве, бросаются оттуда и падают, как метеоры, на каменные плоскости авеню. Статистики в белых халатах лихорадочно вычисляют степень рассеивания и подправляют свои кривые.

Под хрустальным куполом полудня движение приостанавливается. В мастерские, разбросанные по Кварталам моды, в здания химических и радиотехнических предприятий возвращается жизнь. Рабочие рассаживаются на солнышке у гаражей и складов, кто-то дремлет. Это самый счастливый час, час отдыха, когда не нужно трудиться и нет времени карабкаться на голгофу развлечений. Рабочие рубахи и хлопчатобумажные куртки вбирают весь солнечный свет и тепло этого совершенно свободного часа. Никто не вкалывает, и никто не ломает голову над тем, как сделаться счастливым. Но эти шестьдесят минут не бесконечны. Солнечный свет слетает с синих спецовок, как только в час дня раздается резкий звонок, снова приводящий народ в движение. Проклятие прогресса раскалывает хрустальный купол, и люди бегут по раскаленным ступеням к своим пещерам или с реактивной скоростью взмывают на повисших, как сталактиты, лифтах на семитысячный этаж, где уже дожидается сумасшедший теоретик с очередным проектом превращения их мускульной силы в десятидолларовые банкноты.

Так заканчивается период покоя, один-единственный на дню.

В шесть часов начинается другой период. Это пора, когда воздух синюшен от выхлопов, и город едва стоит на железобетонном основании, опоры изгрызены усталостью и ненавистью, и мосты пьяно качаются от боли и сумасшедших перегрузок; когда хозяева не

рискуют показываться на глаза, потому что с четырех пополудни каждый работник точит нож и стрелка манометра показывает, что давление подходит к критической точке — вот-вот тревожно завоет сирена; когда цены на любовь падают так низко, что биржа пустеет. И вот раздается звонок, возвещающий конец рабочего дня.

В первый момент человек застывает, почти не дыша. Это какое-то чудо! Оно происходит каждый божий день и все равно остается чудом. Люди ждут этого чуда кто с семи, кто с восьми или девяти утра; в одиннадцать о нем не смеют и думать; в половине третьего вконец отчаиваются; после четырех работают механически, наливаясь холодной яростью и видя перед глазами ручную гранату или голову врага на шесте, и вдруг — вот оно, это чудо, в цеху, в конторах, в целом городе, оно вывешено на зданиях как знамя — единственное знамя, которое они признают. Оно полощется в синюшном вечернем воздухе. Настает третий период — период высвобождения.

Мышца Эмпайр стейт билдинг снова наливается силой. Нож откладывается в инструментальный ящик до другого дня, который никогда не настанет, и город вдруг превращается в большую заботливую мать, которая зовет своих детей домой. Втиснутые в грохочущие поезда, как электрический ток в провода, текут под землей толпы. Тоннели извергают их наружу, точно чрева китов — библейских Ион, банки-гробницы и лавки-могилки безропотно отдают своих мертвецов, и по всему городу искалеченные шерифы со стеклянными ключами у пояса отпирают клетки, где томились тысячи и тысячи.

Так бьет час высвобождения и обновления.

После невесть которой чашки кофе, после сообщения о результатах бейсбольного матча и последних известий по радио, когда начисто забывают о чести и не надо пока думать о сне и о том, как рано вставать завтра, которое будет точно таким же, как сегодня, настает период исканий и обольщений. Каждому кажется: стоит только сказать какое-то очень нужное и верное слово, только найти тот самый бар и ту самую женщину, только вспомнить что-то очень важное... и кажется, что это так просто — разыскать улицу, где ты заблудился и где пожал руку, которую больше никогда не пожмешь, и ушел, оставив там самого себя, то, что единственно способно помочь тебе сейчас.

Таков период исканий.

Кончается он обычно пьянкой или потасовкой, печалью или постелью. Кончается засыпанием, да и то не совсем: и во сне всегда тянутся бесконечные пустынные улицы, залитые лунным светом, и всегда живет надежда — а вдруг там, за тем поворотом... Человек — как фигура на гигантской шахматной доске, и от него зависит, сделать ли ход и какой.

Но тебе нет необходимости размышлять над ходом, потому что ты нейтрал, ничей, ни то ни се. Ты можешь подождать. Улицы идут параллельно и перекрещиваются, образуя клетки — белые и черные. И все-таки количество клеток и фигур на доске не безгранично и ходов тоже. Сколько ни ломай голову, есть пределы выбору, возможности, вероятности. Есть вещи, которые нельзя сделать. Это утешает нейтрала в период исканий.

Понедельник, 7 утра

Две ночи промаялся я в ночлежке на Пенсильванском вокзале, и когда встал в понедельник утром, то чувствовал себя покойником, который в мертвецкой слез с нар и решил размяться.

Было семь утра, и подметальщики, проходя метр за метром замызганного вокзального пола, хоронили останки ночи. Женщины

в туалетах, послюнявив пальцы, приводили в боевую готовность брови. Я прошел низом, ища, где бы поесть, и наткнулся на молочный бар. Кофе не намного улучшил мое состояние.

Я вышел из вокзала и пошел к центру. На Сорок второй было пусто — одни газеты, завалы газет, пахнущих типографской краской и смертью. Я взял «Таймс», «Трибюн», «Ньюс», «Уоркер» и пошел дальше на север. Везде мыли окна — так же, как это делал я, когда учился в колледже да еще подрабатывал уборщиком в дешевом ресторанчике. Еще подальше рекламы обещали новые модели автомобилей, как только завод модернизирует оборудование. Я вошел в Центральный парк, увидел голубей и белок и сообразил, что мне нечего им дать. Вообще-то я не люблю подкармливать вольное зверье, потому что считаю: если уж оно не способно позаботиться о себе, то остальные божьи твари и подавно. Я сел на скамейку и принялся размышлять над несовершенством мира.

Стрелка часов приближалась к девяти, когда я вышел из парка на автобусную остановку. К этому времени все пришло в норму. Люди напялили привычные маски и приготовились протянуть еще один тяжелый день.

Автобусом я добрался до Юнион-сквер. Там, по обыкновению, обсуждались проблемы завтрашнего дня. Я взял к западу и углубился в Деревню. Ровно в девять я был в помещении ячейки, куда позвал меня Барни. Какой-то мужчина с сигарой во рту подметал пол и великодушно предложил помочь ему. Он орудовал шваброй, а я переставлял стулья. В пять минут десятого явился еще один и открыл книжный киоск.

— Если ты на собрание, то придется подождать,— сказал он мне.— Барни задерживается. Минут через десять будет. Хочешь почитать что-нибудь — милости просим.

Читать мне не хотелось.

Понедельник, 7.30 утра

В половине восьмого, когда Джо Хантер выходил из молочного бара на Пенсильванском вокзале, Мэри Кармоди вышла из квартиры подружки Хоуп, у которой она ночевала, и взяла со ступенек у подъезда оставленную разносчиком бутылку молока. Потом она поднялась на свой этаж и приложила ухо к двери. В кухне стояла полная тишина. Ключа у нее не было, будить мать и Блэки ей не хотелось, поэтому она оставила бутылку молока на площадке у двери, а сама сошла вниз, чтобы в витрине у Гаруняна посмотреть, который час. Без двадцати восемь — показывали большие дорогие часы на ночном столике, когда П. Дж. Келли очнулся от беспокойного сна, вспотевший и запутавшийся в простынях; он хотел было заснуть снова, но тут позвонил Элтон Хаск.

Мэри мечтала о том, что она будет делать, когда вырастет. Она сидела на ступеньках и, рассеянно глядя на приближающийся грузовик со льдом, силилась представить, как это — быть взрослой. Не такой, ясное дело, как мать или мать подружки Хоуп, потому что обе невообразимо старые; они, наверное, и на свет-то родились старухами, так же, как она сама родилась такой, какая она сейчас, и рискует остаться такой же, застрять в той поре, когда безумно хочется расстаться с девичеством и не удается стать молодой женщиной. Быть взрослой, как Хоуп, которая уже не бегает на дурацкие детские свиданки, когда мальчишки и девчонки гурьбой валят в киношку, а встречается по-настоящему с Лонни, Бертом или с кем-нибудь еще. Когда она сделается взрослой, у нее будет иначе. Мэри хотелось хорошо одеваться, быть богатой, иметь дорогие вещи, только она не знала какие. И тут она увидела себя молодой светской дамой, может быть, даже голливудской звездой: она сидит в роскошном зеленом кресле, под ногами пушистый белоснежный ковер, в руках — сигарета в длинном-предлин-

ном мундштуке, и вокруг ее обворожительного и загадочного, как у сфинкса, лица вьется дымок.

Дым от сигареты разбудил Люсиль. Она открыла глаза и увидела густые серые клубы над кроватью, а на ней бугор зеленого шелка — это был одетый в пижаму Элтон Хаск.

— Доброе утро, милый,— лениво пропела она.

— Доброе утро,— бросил Элтон Хаск, не поворачивая головы и всматриваясь сквозь дым в план действий, который он выстраивал точно, взвешенно, по всем правилам, но в котором тем не менее чего-то не хватало, потому что он не мог предугадать, как поведут себя Монк Райан, Каминетти, Ласт, П. Дж. Келли.

Последний тем временем, ворочаясь с боку на бок в своей жаркой постели, напрасно пытался натянуть на голову простыню сна; в мозгу по-прежнему вертелись мысли о зеленых травах вдоль Гэвонеса... *Чего резину-то тянешь,* подталкивал Пучеглазый, *пора уж мужиком быть...* о той поре, когда он удил рыбу прямо с причала, сбегал с уроков, жарился на солнце. Он старался стряхнуть воспоминания и лежал вытянувшись плашмя, неподвижно, как покойник в гробу, но сон не шел.

Блэки повернулся, просыпаясь, почувствовал перегар во рту и подумал: *господи Иисусе, мог бы целую неделю дрыхнуть, да вставать надо.* Он прикрыл глаза, и его тут же потащило в какую-то черную воду, а в этот момент Джо Хантер, глядя, как плавно движется лебедь по пруду, уныло вспоминал про городок, залитый солнечным светом, и твердил себе, что вечером непременно пойдет к Кей, что все образуется само собой, дай только срок, и ближние колокола, распугивая голубей, начали бить восемь, на две минуты опережая ходики в витрине лавки Гаруняна, хотя Мэри изо всех сил подталкивала взглядом медленные стрелки, и на пять минут отставая от больших дорогих часов на ночном столике у постели П. Дж. Келли, которые зазвенели как-то зловеще-несообразно в этой богатой спальне, и тот кряхтя начал подниматься.

— Ты как маленький ребенок, когда без очков и губы надутые,— сказала Люсиль. В ней шевельнулось желание, и она дотронулась до него под простыней.

— Отстань,— дернулся Хаск, вдавливая в пепельницу сигарету.

Келли-то можно уломать, соображал он, можно... И вдруг ему стало горько и смешно: чего он носится с этим Келли и своими замечательными планами. Думай не думай, делай не делай — все без толку. Перегнувшись к Люсиль, он заглянул ей в лицо. Неужели я целовал эту отвратительную дыру? Где-то внутри у него забился комочек смеха, и обида на ее лице сменилась недоумением, а потом раздражением. Она хотела было встать, но он одной рукой нажал ей на плечи, другой раздвинул колени и с холодным любопытством наблюдал, как туманится и меняется ее лицо, будто лакмусовая бумага под действием кислоты. Все так же тяжело полуобнимая ее, он начал стаскивать пижаму с толстых мягких ляжек, и она сама дернула ногами и сбросила ее — та легла мягким ворохом к их ногам. Он подвинулся к ней, но в эту секунду настойчиво задребезжал будильник на тумбочке по другую сторону кровати.

Приглушив звон на часах, П. Дж. Келли потянулся к отделанному золотой парчой халату и позвал негра-слугу. Тот почему-то не откликнулся, тогда Келли стянул ночную рубашку и, неся ее в руках так, словно это была чужая вещь, поплелся в ванную. Он посмотрел в зеркало, увидел растрепанные волосы и нахмуренные брови и пальцем оттянул нижнюю губу, чтобы взглянуть на зубы. Без очков его лицо не выглядело ни слабохарактерным, ни печальным. Он присел на край ванны, дожидаясь, пока она наполнится, и потрогал опустившийся на колени живот. Живот был дряблый до отвращения. Где-то внутри его, очень глубоко, шел некий процесс, и изумленный, напуганный Келли

осознал, что это процесс разложения и смерти. Он взирал на живот почти с суеверным ужасом, потом, усмехнувшись, завернул кран и влез в ванну.

Несколько минут в горячей воде принесли ему облегчение. Чего зазря волноваться, убеждал он себя. *Глядишь, и до сотни дотяну.* Просто доктор порекомендовал отказаться от сигар и не перевозбуждаться, вот и все. *У миллионов людей высокое давление.*

Однако отнюдь не давление беспокоило его больше всего. И даже не забастовка. Просто совсем недавно он физически начал ощущать, что рано или поздно Патрику Джеймсу Келли придет конец. Он попробовал отыскать начала и причины, но ему удалось наскрести лишь несколько замызганных, виденых-перевиденных картин своих мальчишеских лет. Да нет, не там это. Скорее все-таки забастовка так повлияла на его настроение и самочувствие, поломав привычный образ жизни — вечерний покер с ребятами, выпивка, временами посещение Евы, поездка на Юг зимой. Когда все идет гладко, думал П. Дж. Келли, ничего не замечаешь, ни о чем не беспокоишься. *Чего не знаешь, тем не болеешь.* Выйдут на работу как миленькие, двадцать годов выходят. Все будет нормально, твердил он себе, а сам думал о сигарах, врачах и о смерти. *Матерь божья, пресвятая Мария.* Разное лезло в голову, он выдернул затычку из ванны и опять крикнул негра. *Чего не знаешь, тем не болеешь.*

До чего же много разных вещей, о которых она понятия не имеет, размышляла Мэри Кармоди и вспоминала слова, слышанные от подружки Хоуп, и поворачивала их так и эдак в своей маленькой головке, точно камешки на ладони. Это неприличные и ругательные слова, их говорят, когда хотят, чтоб ты покраснела. От слов ее мысли перескочили к Лонни, который даже старше Хоуп, и к его зловредной и нагловатой ухмылочке, и она сама захихикала, едва выдавив «Доброе утро, сестра», потому что как раз в этот момент мимо нее по тротуару проходила монашенка. Чудные они, эти монашенки. Святые, само собой, но платья уж больно чудные, говорят, они даже лысые. Она смотрела на длинное, чинное, выцветшее, черное одеяние удаляющейся монашенки, и у нее, точно от ветерка, как бы сама собой вздернулась юбка. Тут из лавки вышел четырнадцатилетний отпрыск Гаруняна и критически воззрился на нее. Она поправила юбку, составила колени и окинула его заученным скучающим взглядом, говорившим, что такому ребенку, как он, лучше заниматься своими детскими делами. Однако юный мистер Гарунян, напустив на себя вид многоопытного джентльмена, остановился перед Мэри и сделал ей неподобающее предложение.

— Топай, малец,— произнесла она как можно более низким и грудным голосом.— Мамка зовет.

— Нисколечко ты не рисковая,— проговорил он с хрипотцой.— Задаешься только, а не рисковая. Лонни говорит, ты еще знать не знаешь, что к чему.

— Беги к мамке, молокосос,— ответила Мэри невозмутимо.

— А я все равно старше. Просто чикаться с тобой неохота,— сказал он неуверенно.

— Старше, младше — это не считается,— изрекла Мэри.— Считается, когда умеешь.

Виктор Гарунян направился к своему дому, унося с собой эту житейскую мудрость. Губы у него были сморщены, он пытался беззаботно засвистеть, что ему никогда не удавалось: вместо свиста получалось какое-то шипение. Глядя ему вслед, Мэри думала про Лонни и про то, что сказал Виктор. Нечестно это, возмущалась она, от меня не зависит, сколько мне лет. И в этот момент у юного Гаруняна из губ вырвался свист — такая чистая, звонкая нота, что он опешил и едва не натолкнулся на Барни Ласта, который шел, погруженный в мысли о забастовке. Когда он заворачивал за угол, на Вось-

мую авеню, Джон Хантер в Центральном парке аккуратно складывал просмотренные свежие газеты, а Блэки, сидя на стульчаке у себя дома, с интересом изучал сообщение об ограблении банка в газете четырехдневной давности, которую он подобрал на полу тесной уборной.

Он старался не думать о вчерашнем и особенно о Джо Хантере, поскольку понимал, что вел себя с корешем не так, как надо. Господи, нету у меня права втягивать парня, объяснял он себе, обиделся он, факт, обиделся. Облегчив желудок, он на цыпочках прошел в кухню и опустился на стул.

Завтрак для Келли был накрыт на пестрой скатерти, посуда сверкала на солнце, вливающемся в окна на восточной и южной сторонах комнаты. Квартира располагалась довольно высоко, и отсюда хорошо был виден Манхэттен. Негр-слуга поставил перед Келли разрезанный грейпфрут, но тот не притронулся к нему, дожидаясь яичницы с ветчиной. Он накинулся на нее, как изголодавшийся, умял в два счета и вытер рот тыльной стороной руки.

— Принесешь ты когда-нибудь кофе или нет? — заорал он.

— Да, сэр,— откликнулся негр и мигом появился с подносом. Немного погодя он принес газеты и полдюжины писем, молча положил их на виду у хозяина и растворился в кухоньке, в урчанье холодильника и шипенье добавочной порции ветчины на сковородке. Келли с отвращением оглядел полку, обегающую стены, с расставленной на ней декоративной керамикой, и ему вспомнилась жена. Он так и не сумел привыкнуть к этой дорогой квартире, она казалась ему «бабской». Вскрыв первое письмо, он зафыркал и стукнул кулаком по столу. Видать, не в духе мистер Келли сегодня, отметил негр и принес хозяину еще кофе.

Покончив с кофе, Блэки почувствовал, что желудок у него немного успокоился. Он слышал, как по кухне шаркали шлепанцы, но не поднял головы и не посмотрел на мать. Та пока еще не сказала ни слова, но в воздухе пахло скандалом. Ну и пусть, проговорил он про себя и уставился в треснувшую чашку, стараясь ни о чем не думать. Однако вчерашнее чередой разворачивалось перед глазами. Было бы из-за чего обижаться. Блэки вспомнилось, как они и раньше ссорились с Джо, а потом мирились, и от этого воспоминания ему стало немножко легче. И все-таки что-то сломалось в их отношениях. Я же жизнь ему спас, думал Блэки, и эта мысль была приятна. Но тут же он услышал скрежет подбитого танка, запах горячей брони и невольно застонал.

— Что с тобой, Фрэнсис? — спросила мать, поворачиваясь от раковины.

— Так, вспомнилось кое-что,— ответил он уклончиво.— Я ведь однажды Джо из танка вытащил. Там еще один парень был, мы ему помогали выбраться, ну, а Джо после этого сам еле-еле успел. Я первым через люк полез, парень за мной, Джо этого парня снизу подталкивал, пока я его не ухватил как следует. Так оно и вышло, что Джо ожог на ноге получил, сильный. Его потом кошмары все мучили, спать никому рядом не давал.

— Дело прошлое,— сказала миссис Кармоди.— Не надо теперь об этом думать.— Она подошла к сыну и присела рядом, крупная исхудавшая женщина со следами былой красоты. Вид у нее был усталый.

— А чего мне о нем думать? — резко отозвался Блэки.— Сцепились мы с ним вчера.

— Сцепились? — встревожилась миссис Кармоди.

— Ничего особенного. Просто крупно поспорили.

— Из-за чего?

— Да как тебе сказать...— Он подумал, что даже если бы он посмел открыться матери, ему ни за что не объяснить толком, в чем же причина ссоры. — Разные мы,— проговорил он наконец.— И хотим разного.

— Жалко, такими друзьями всю войну были.

Он вдруг понял, что это правда, что они на самом деле хорошие друзья, хотя он никогда не задумывался над тем, как он относится к Джо Хантеру.

— Жалко,— согласился он и продолжал медленно, словно подбирая слова: — Правильный он парень. Наверное, я люблю его...

— Верно, он хороший.— Миссис Кармоди барабанила пальцами по столу.— Жаль, что он мать потерял, когда еще несмышленышем был,— сказала она как бы самой себе.

— И отца тоже.

— Да, я знаю, ты писал. Ладно, будем надеяться, что не насмерть поссорились.— Она улыбнулась:— Помиритесь еще. Как-никак войну вместе прошли.

— Угу.— Блэки подумал, что война отодвинулась куда-то в прошлое, стала далекой и нереальной, как в учебниках истории, и от этого почувствовал себя старым и одиноким.

— Хорошо бы он нашел работу в Нью-Йорке. Вы бы встречались почаще. Ты говорил, он в порту работал. Может, и сейчас устроится...— Она не закончила фразы.

Блэки разом поднялся из-за стола. Он понял, к чему клонит мать.

— Схожу за газетой,— бросил он и пошел вниз.

Оставшись одна, миссис Кармоди стала думать не о месте, на которое надо бы устроить сына, а о первом годе своего замужества, когда они с мужем мечтали обзавестись собственным домом в Куинсе. Ничего-то у них не получилось. Потом они позабыли про эту затею или во всяком случае не заговаривали о ней.

В животе царапнула боль, и она застыла, словно человек, вслушивающийся во что-то, недоступное слуху, или зверь, учуявший охотника и замерший, чтобы не выдать себя. Она старалась не дышать, тело ее напряглось, потом боль отпустила, оставив по себе знакомое легкое жжение. Она решительно встала и принялась прибирать посуду. Миссис Кармоди уже привыкла к приступам, хотя в каждом было что-то неожиданное, застигающее врасплох, похожее на то, что она почувствовала, когда в ней шевельнулся Фрэнсис. Роды были тяжелые. Она помнила, что, охваченная болью и беспамятством, она могла думать только об одном — как она потом выспится, но все-таки собрала остатки воли, поднатужилась, и на свет появился Фрэнсис Кармоди.

Собрав всю свою волю, миссис Кармоди хлопотала в кухне. Приступ прошел, но она двигалась осторожно, словно несла какую-то хрупкую ценную вещь. А я ведь и сейчас ношу его в себе, пронзила ее безнадежная мысль, он так же шевелится во мне. О, господь и пресвятая Мария, даруйте же мне покой!

— Что-то вы подзадержались, милочка,— миссис Кармоди метнула придирчивый взгляд на вошедшую дочь.— Тарелки за тобой. Фрэнсис за газетой вышел.

«Фрэнсис Кармоди, сын одного из Ваших старых друзей...»— читал Келли. Тоже мне друг, фыркнул он, смутно припоминая Кармоди, и поежился: давно помер мужик. «...Сделать все возможное для бывшего фронтовика...— говорилось в письме.— В наши трудные времена, учитывая нынешние обстоятельства...» Келли живо представил себе отца Алоиза Берка, его деревянную чопорность и розовые щечки с прожилками. Шельма, вечно ему от меня что-нибудь надо. Отец Берк напоминал, что Келли обещал сделать взнос в фонд приходской газеты. Он вовсю расхваливал его бренди. *Все-таки ничего он, старая перечница.* Келли встал из-за стола и пошел в комнату, где стоял телефон.

— Доброе утро, святой отец,— сказал он, услышав голос в трубке.— Ну, чего он там хочет, этот Фрэнсис Кармоди?

Блэки знал, что теперь не избежать крупного разговора с матерью из-за облюбованного ею места, однако не представлял, как ему вести себя. Ему не хотелось обижать мать, но и объяснять ей, что он сам уст-

роился, и гораздо лучше — бесполезно. Не могу я сейчас уступить ей, не могу, даже если умолять будет, подстегивал он себя, может, через недельку-другую или через месяц, глядишь, наскребу деньжат и определю ее в больницу, а там можно и согласиться на эту работу паршивую.

Блэки как ни в чем не бывало шел по залитой солнцем улице, но на душе у него было так, словно ее доверху засыпали ржавыми гвоздями и битым стеклом, потому что в первый раз он вдруг почувствовал то, чего не чувствовал прежде,— обжигающую любовь к матери.

Когда он окунулся в знакомую темень и знакомые запахи своего дома, Джо Хантер, морщась, взбирался по обшарпанной вонючей лестнице — ныла обожженная нога, Барни Ласт заворачивал за угол на пересечении Седьмой авеню и Четырнадцатой улицы, П. Дж. Келли положил трубку, помимо воли прокручивая в голове явившуюся ему идею, Люсиль, посвечивая заманчивым задом, пробежала в ванную, Элтон Хаск приглушил звенящий будильник, а чайки кружили над Гудзоном, издавая бессмысленные жалобные крики.

Понедельник, 9 утра

Собирались медленно, по двое, по трое. Появился Билл Эверсон, я помахал ему, и он сел рядом со мной. Я снова подивился: до чего же похож он на Блэки, правда не такой чернявый, зато энергии тоже через край. Одолжил бы мне малость.

— Как твои синяки? — спросил я.

— Нормально. Горячие полотенца и втирание свое дело сделали. Вчера весь день пролежал, зато сегодня снова почти человек.

— В порту был?

— Был, что-то тихо там сегодня. Народу почти нет.

— Рано еще.

— Может быть. Но обычно в это время уже порядочно набирается.

Когда пришел Барни, зал уже почти заполнился, и еще несколько человек толклись около книжного киоска.

— Говорят, тебе досталось, браток? — обратился он к Биллу, поставив ногу на соседний стул и улыбаясь.

— Да уже прошло все.

— Хорошо, что ты пришел, Джо.

— А как же! Должен же я посмотреть, какой ты цирк здесь устроил.

— Конечно, успеешь еще на свой Запад,— сказал он неторопливо, посмотрев на свои бумаги.— Кстати, что ты там собираешься делать?

— А ты не допускаешь, что человеку просто захотелось махнуть куда-нибудь? — пошел я в атаку.— Да и чего хорошего в Нью-Йорке? Он всю страну вверх тормашками ставит, и партию тоже. В Чикаго надо работать или в Детройте... даже в Канзас-Сити, если уж на то пошло.

— Но ты ведь не в Чикаго нацелился и не в Детройт, верно я говорю?

— Верно,— сказал я и разозлился.— Сам знаешь, сколько мы сил и времени в Нью-Йорке угробили. В этом паршивом городе все как к креслам привязаны...

— Я, например, к креслу не привязан,— возразил Барни.— Ты конкретнее, конкретнее.

— Прекрасно понимаешь, что я хочу сказать!

— Понимаю,— сказал Барни спокойно, присаживаясь и вытаскивая сигарету.— Прекрасно я понимаю, что ты хочешь сказать, а сам-то ты понимаешь? Ты правильно говоришь, что надо разворачивать работу в этих городах. И насчет наших, которые в бумаги зарылись, тоже спорить не буду. Все это верно... Но ведь я о другом толкую, Джо. Об этой забастовке. Прикажешь передвинуть ее куда-нибудь на Запад, чтобы тебе захотелось поработать?

— Ладно, все понятно. Я согласился, и точка.

— Не слышу энтузиазма.

— На кой дьявол тебе мой энтузиазм?

— Я не совсем представляю, что́ тебя на Запад тянет, но создается впечатление, что ты устал и хочешь отдохнуть. Взять, так сказать, длительный отпуск.

— Иными словами — положить на стол партийный билет?

— Может, и так.

— Ничего подобного! — возмущенно проговорил Билл.— Ты, Барни, черт-те что придумываешь!

— Черт-те что? — переспросил он, не глядя на Билла.— А ты что скажешь, Джо?

— Да, придумываешь,— сказал я медленно. Мою злость как рукой сняло.— И в мыслях ничего подобного не было. Никогда.

— Ну, и хорошо,— улыбнулся он и похлопал меня по плечу.— Будет тебе отпуск, будет — дай только кашу эту расхлебать... А теперь начнем наше представление.— Барни прошел вперед, поставил ногу на стул и постучал о стену, призывая к тишине.

— Давайте поживее, братцы, мы и так затянули. Думаю, что все уже подошли... Итак, нам нужно избрать председателя и утвердить повестку дня. Чем меньше мы здесь проторчим, тем больше у нас будет времени там, где настоящая работа.

Барни сделал доклад о забастовке, затронул историю предложенного рабочим договора, осветил положение в местных отделениях профсоюза и шаги, которые, вероятно, предпримет его руководство. Доклад был короткий и давал общую картину происходящего. Когда Барни кончил говорить, слово взял невысокий итальянец.

— У нас в Бруклине в пятницу и субботу народ начал возвращаться на рабочие места. Есть причалы, которые функционируют почти нормально. И вдруг днем в субботу слышим: «Бросай работу». Будто бы от Каминетти пошло. Сегодня опять пусто на пирсах. Хотелось бы знать, с каких пор Марио Каминетти стал руководителем низовки?

Вопрос вызвал целую дискуссию об истинных намерениях Каминетти.

— Вряд ли Каминетти считает, что Келли выдохся,— говорил итальянец.— Если так, он бы первый ему нож в спину. Келли — жулик известный, но этот-то — гангстер. Разве не доказано, что он был связан с «Лигой убийц»? Келли долго сидит, у него везде свои люди. А Каминетти должен иметь свою банду. В Бруклине ему с любого незаконного бизнеса капает.

— Тони прав,— сказал Барни.— Бруклинское отделение ему для собственных махинаций нужно, это главное. Поэтому вряд ли он намеревается обвести Келли вокруг пальца. Келли хочет, чтобы докеры вышли на работу. Зачем Каминетти поперек идти? Бруклинский порт у него в кулаке — он и доволен.

— Ты не знаешь, какая он свинья. С родной бабки корсет стащит.

— Келли ему не бабка. Нет, Тони, прежде всего надо узнать, действительно ли Каминетти не нажимает сейчас на ребят, не гонит их на пирсы, или просто они его не слушают. Если не нажимает, значит под чью-то дудку пляшет. Кто дудит — другой вопрос.

Я уже начал чувствовать себя посторонним. Столько воды утекло, пока меня не было в Нью-Йорке. Несколько раз возникало имя какого-то Хаска.

Потом мы заслушали краткие сообщения с мест — оказалось, что во многих отделениях наши вообще не представлены. Потом вырабатывали общую линию действий в низовых организациях, а там уж подошло к двенадцати, и Барни объявил перерыв на обед.

Мы с Биллом, Барни и его приятель — его звали Фред Эббот — си-

дели в стандартной закусочной компании «Белая роза» и уплетали сандвичи с копченой говядиной. Барни был обеспокоен.

— Хоть бы пальцем Келли шевельнул,— сказал он.— Никак не пойму, что он задумал.

— Что ж тут непонятного? — возразил Фред, коренастый крепыш с квадратной массивной головой.— Может, он просто штрейкбрехеров набирает.

— Верно, попытки сагитировать народ были,— сказал Барни. Он подцепил заостренной палочкой маринованный огурец, похрустел им и отпил пива.— Но сейчас со штрейкбрехерами в Америке плохо. Не то что до войны, в тридцатые годы, помнишь?

— Еще бы! — закивал Фред.— Их целыми грузовиками везли. Похоже, что штрейкбрехерство и в самом деле отмирает.

— Тогда безработных чуть не пятнадцать миллионов было,— вмешался Билл.— При таком избытке рабочей силы гораздо легче манипулировать массами. Сейчас ситуация изменилась.

— Совершенно изменилась,— согласился Барни.— Я не уверен, что сейчас легко заманить в скэбы.

— А фронтовики? — спросил я.

— Что — фронтовики?

— Может, Келли рассчитывает из них охотников завербовать?

— Едва ли,— пожал плечами Барни.— Сам знаешь, как реагировали на фронте, когда узнавали о забастовках в Штатах. Нет, меня беспокоит... Черт, я даже не знаю, что именно! Келли просто сидит, сложив руки. И это на всей обстановке сказывается.

— Хочешь, я тебе скажу, как оно скорее всего получится? — заговорил я.— Народу просто надоест эта кутерьма, и он выйдет на работу, ничего не добившись. Келли ждет, что забастовка сама собой выдохнется.

— Но тем самым он идет на риск,— сказал Фред.

— Да никакого риска здесь нет, пока мы работаем так, как работали,— возразил я.— Старик может спокойненько сидеть и позванивать в газеты: так, мол, и так, состоялось важное совещание, большинство грузчиков согласилось выйти на работу. Вот если бы мы иначе действовали...

— Наверное, ты прав,— проговорил Барни.— Но как действовать? У тебя есть гениальная идея? Выкладывай — и дело в шляпе.

У меня и шляпы-то не было. Мы доели сандвичи и потащились в ячейку, где стояла невыносимая жара — почище, чем в преисподней в воскресное утречко.

Понедельник, 11 утра

Пирс залит ярким солнечным светом. Над джерсийским берегом повисла туманная дымка, но сам Гудзон чист и светел. Изогнув крылья, парят над водой чайки, и крошечный буксир толкает вверх по реке баржу, груженную поблескивающим скрапом. Грузчики, покуривая, развалились на причале, а Платон Морено, старый небритый итальянец, закинул в воду удочку, но за поплавком не следит. Лицо у него смуглое, задубелое, глаза грязно-карие, на щеке небольшой шрам. От него разит чесноком. Он обращается к длинному жилистому негру.

— Проблема — нет организацьоне, нет совсем,— говорит он, досадливо сплевывая в воду.— Если забастовка, план надо.

— Лучше обмозгуй план, как пивка раздобыть,— отвечает негр.— А то в глотке пересохло. Сгоняй за пивком, а, Коротышка? — Он обращается к низкорослому лохматому мужику с рыжими бровями, который усердно вырезает на настиле свои инициалы.

— Накося выкуси! — возражает Коротышка.— У самого ноги не отвалятся.

— Нету у меня никакой возможности подняться,— объясняет негр.— Токо-токо мягкое местечко в доске нащупал.

— А я думал, наш Линк мускул на заду растянул или еще чем страдает. Что-то Дьюи сегодня не видать. Не его разве очередь?

— Факт, его.

— Хочешь поймать рыба,— продолжает Платон,— имей наживка. Хочешь забастовка, имей организацьоне. Смотрю на вас, мне смешно. Нет план, нет линия, нет ничего. Есть толпа без разум. Так ничего не получаешь. Надо план, Линк!

— Заладил: план, план. Возьми да придумай план! А я гляну, что из этого получится. У тебя и рыба-то не клюет. Видать, про наживку забыл.

— Дядька у меня был,— начинает Коротышка.— Когда я еще пацаном был, подарил он мне банк. Ну, копилку, то есть. Я, значит, то цент туда, то никель. Думал, вот накоплю помаленьку богатство. План у меня был — духовое ружье купить, понял? Потом, значит, крыс в подвалах ловил. Хозяйки, которые квартиры сдают, за каждую убитую крысу платили. Ну, думаю, зашибу кучу денег! Глупый был, понял?

Ловлю, значит, крыс, мамка хвалит: «Молодец», дядька, глядишь, монету-другую подкинет. А брат жмотом дразнил, потому как ему деньжата в субботу позарез, а я не давал. В один прекрасный день дай, думаю, расколю ее, копилку. Небось хватит на ружье. И что же ты думаешь? — Коротышка, помедлив, с размаху втыкает нож в настил.— Ограбил братец мой банк, вчистую ограбил,— объявляет он обиженно.— Расколол, значит, копилку, когда меня дома не было, а денежки на девчонку промотал. Я сам, между прочим, к ней подкатывался... Вот тебе и планы, понял?

— Выходит, братан похитрее твоего спланировал.

— Выходит, что так.

— Причина одна,— встревает Линк.— Кругом планов тьма-тьмущая. У каждого сукина сына свой план. Столько планов и линий — плюнуть некуда. Газеты, к примеру,— разве в них про новости пишут? Как бы не так! Жить учат! Который газету пишет, он, значит, лучше меня кумекает. Это, мол, для тебя, Линк, хорошо, а это плохо. У правительства планы, у пастора планы, у агента страхового тоже. Дерьмо все это! Никакой пользы от их планов.

— Это точно! А куда денешься, Линк? В Вашингтоне небось не дураки сидят. Кто-то ж должен страной править.

— Ха! — фыркает Платон Морено, вытаскивая леску из воды.— Трудящий в Америка как бамбино сопливый. Мамма надо, правительство надо, мистер Келли надо.

— Придумай, как по-другому.

— В Италия...

— Отстань ты, Христа ради, со своей Италией. Там что — лучше?

— В Италия мистер Келли...— Он делает выразительный жест.— Бах-бах!

— Кокнули бы его?

— Бах-бах,— повторяет Платон.— Конец. Ла фине.

— Господи Иисусе...— едва выговаривает ошеломленный Коротышка.— Не-е, у нас так не делается. Ты как иностранец рассуждаешь. Значит, кокнуть и конец? — Он задумчиво почесывает косматую голову.— А может, там правильно мозгуют, а?

— Ну, и какая от этого польза — ухлопать мистера Келли? — говорит Линк.

— Я не говорить — ухлопать,— возражает Морено.— Я говорить — для победа надо план, надо организацьоне. После победа — хороший контракт, а Келли — баста.

— Легко сказать.

— Ты бомбу смастери, а Коротышка кинет.

— Не надо бомба. Собрать совет, сделать план в голова.— Платон стучит пальцем по лбу.— Здесь все начинается. Здесь разум сидит.

— Во-во! Как раз по этому месту дубасят, когда начинается организацьоне, бах-бах!

— Голова важная вещь,— упрямо твердит Морено.— Чайка видишь? Я закрыл глаза — чайка нет.

— Как нет? Да вот она!

— Ты глядишь. Закрыл глаза — нет чайка.

— Ну, ты даешь, Платон! Что я, ослеп, что ли?

— Ты закрыл глаза, Линк закрыл глаза — где чайка? Что скажешь?

— Выходит, ежели ослепнем все, и чаек не будет? Выходит, и солнца не будет?

— Си!

— Матерь божья! Линк, слышишь, чего он мелет? У кого на чердаке гайки развинтились, а у нашего Платона чайки расплодились.

— Все здесь начинается,— постукивая себя по лбу, повторяет Платон, очень довольный собой.— Здесь все делается.

— В таком разе сматывай удочку,— лыбится во весь рот Линк.— Не туда забросил.

Понедельник, 12.30 дня

Миссис Кармоди собрала грязную посуду, составила ее в мойку, потом наполнила раковину горячей водой. Солонку и перечницу она аккуратно убрала в буфет, закрыла дверцу и подумала: лучше уж не откладывать.

— Мэри, тебе не пора в школу?

— Что ты, ма, у меня еще целых полчаса,— удивилась Мэри. Она сидела за кухонным столом, подложив одну ногу под себя, и листала иллюстрированный журнал.

— Мне нужно поговорить с Фрэнсисом,— сказала миссис Кармоди.

— Но я ведь не помешаю, правда?

Тяжело переступая, миссис Кармоди прошла через спальни в гостиную. Блэки, сидевший за столом, молча встал и пошел за ней. В гостиной миссис Кармоди поправила подушку на кушетке, легла, кряхтя и отдуваясь, и прикрыла рукой лоб. Блэки опустился в кресло между печью и окном, выудил сигарету и закурил. В окно виднелась вывеска над лавкой Гаруняна. На противоположном тротуаре какая-то женщина вытряхивала пыльную тряпку. Рой пылинок золотился в лучах полуденного солнца.

— Фрэнсис, я хочу поговорить с тобой о работе,— начала она мягко, но решительно.

— Мам, ну какой смысл? — мрачно отозвался Блэки.— Мы уже говорили. Ни к чему мне такая работа.

— И все-таки мы должны поговорить. Как ты вернулся, я только об этом и думаю.

— Мама, я ничего не могу сделать. Мне надо самому устраивать жизнь.

— Если и дальше так пойдет, тебе нечего будет устраивать.

— Нет,— отрезал Блэки.— Я должен делать то, что решил.— Он встал, бросил сигарету в пепельницу, хотел было сразу уйти, но не мог двинуться с места. Рой золотых пылинок на улице рассеялся в воздухе. Взад и вперед по тротуару сновали люди. Сверху они казались какими-то укороченными, изломанными и были похожи на механические игрушки, у которых кончается завод.

— Мама, да не беспокойся ты за меня,— проговорил он с неуклюжей нежностью.— Не разиня же я, в конце концов. Сумею за себя постоять.

— Ты ведь, как принято выражаться, навлекаешь позор на всех нас,— сказала миссис Кармоди.— Но я даже не об этом думаю. Одолеют они тебя, Фрэнсис, а то и убьют. Я прожила долгую жизнь, знаю, чем такие дела кончаются, поверь мне.

— Ничего, обойдется.

— Нет, не обойдется. Пройдет время, сам увидишь, что тебе это уже не нужно, ради чего стараешься. То, что в молодости кажется счастьем. А до него тебе еще тянуть и тянуть.

Блэки молча глядел на теснину улицы. На противоположной ее стороне мальчонка изо всех сил тянул на поводке упирающегося щенка с детской площадки, и ему казалось, будто он слышит, как царапают когти по асфальту. С кухни, где осталась Мэри, доносились непонятные приглушенные звуки. Сейчас заревет, подумал он, охваченный раздражением вперемешку с жалостью.

— Я поговорила с отцом Берком,— продолжала миссис Кармоди,— он сказал, что попытается что-нибудь сделать. Сегодня утром мистер Келли сам позвонил, сказал ему, что готов с тобой встретиться в любое время.

— Незачем мне с ним встречаться. И вообще ни с кем.

— Сделай это ради меня, сын, ну что тебе стоит,— проговорила миссис Кармоди прерывающимся голосом.— Я больше тебя ни о чем не попрошу, никогда...

— Да не могу же я! — выкрикнул он, дернувшись, как от удара плетью.— Черт, оставишь ты меня в покое или нет?! Свихнуться можно!

Трясущимися руками он нашарил в кармане сигарету. За спиной заплакала мать. На кухне испуганно захныкала Мэри.

— У меня есть свои причины,— хмуро сказал он наконец.

— Какие... какие могут быть причины... так обращаться со мной? — сказала мать, словно не с сыном разговаривала, а взывала к молчаливым стенам. И вдруг она подумала, что, если бы ей позволили лежать вот так, не вставая, до самой смерти, глядя на трещины в потолке и не думая ни о чем на свете, это было бы самое лучшее.

— Разные,— произнес он убитым голосом. Бесполезно объяснять матери, что он взялся за рискованные дела, потому что она больна и он любит ее. Он знал, что она не поймет его доводов. И вдруг его прорвало: — Ма, я должен пробиваться сам, неужели ты не понимаешь? Я и так потерял много времени. Пока я воевал, другие делали деньги. А у меня ничего нет, даже профессии. Что же мне остается? Наняться в порт грузчиком, сесть на грузовик? Или подсобным рабочим на склад? Я же ничего не умею. В армии, бывало, думал: пойду в школу или на курсы, выучусь на сварщика или станочника. А теперь вижу, таких мест все меньше и меньше, да и пока учишься, сколько времени уйдет. Вдруг депрессия опять, а у меня ни гроша, на что вы с Мэри будете жить? У нас ничего нет...

— А мне ничего и не нужно, Фрэнсис,— сказала мать устало.— У меня одно-единственное желание, пока я жива.

— А я? Мне, думаешь, сладко? До армии я ни разу не задумывался, как мы живем. Молодой был, дурной. А теперь хочу, чтобы мы наконец зажили прилично. Не хочу, чтобы ты жила в этой дыре и крутилась целый день как заведенная...

— Не то ты говоришь, Фрэнсис,— грустно покачала головой мать.— Этого все хотят. В молодости я тоже старалась, чтобы мои родители прилично жили. И твой отец этого хотел. Мы оба рано начали зарабатывать, еще до того, как поженились,— а что толку? А за меня ты не беспокойся. Кроме покоя, мне ничего не надо. И за Мэри не беспокойся. Умненькая она у нас и хорошенькая, через несколько годков замуж выскочит.

Он посмотрел на вялую материну руку на лбу, мокрую от слез, на ее грязные, обломанные ногти и отвернулся к окну, чтобы она не видела его лица. Образы прошлого поскакали перед его внутренним взором: усталая, осунувшаяся после рождения Мэри мать, в ту пору, когда он не знал, что такое усталость; отец, пришедший домой после смены в пропахшей потом одежде, сгорбился на стуле, словно еще не

сбросил с плеч тяжелый груз, и тупо уставился в пол в ожидании ужина; крикливая перебранка у соседей за стеной; блевотина на лестнице и вонь из уборных и мусорных ящиков. И тут он сообразил, что смотрит, ничего не видя, на мальчишку, который, присев на край тротуара, плакал от обиды и досады и кричал на своего упрямого щенка.

— Ты хочешь, чтобы я все бросил, так, да? От всего отказался? — зло сказал он, думая о том, как качаются его планы.— Со мной что будет — тебе все равно?

На кухне громко, в голос заревела Мэри.

— Дай мне, бога ради, начать собственную жизнь,— произнес он в отчаянии, а мать, стараясь дышать ровно, чтобы избавиться от болезненной тяжести в груди, глядела на трещины в потолке.

— Пожалуйста,— умоляла она.— Ну, пожалуйста, Фрэнсис!

— Ни за что! О боже, когда ты от меня отвяжешься?!

— Ты меня в гроб вгонишь! — проговорила мать, стараясь подняться с кушетки.— Фрэнсис, сынок, пожалуйста! Убиваешь ты меня...

Его охватило странное чувство — облегчения, что ли, будто он только и ждал этих слов.

— Ну, ладно,— Блэки повернулся к матери. Она снова откинулась на подушку, и он хорошо видел ее когда-то красивое лицо, глаза, как две свежие ссадины, бледные щеки и лоб, изрезанный глубокими морщинами.— Как скажешь, так и сделаю,— проговорил он убитым голосом и тут же почувствовал, что предает мать. Он опустился на колено и потерся лицом о ее мокрую от слез руку.— Я хотел как лучше,— сказал он в полнейшей безнадежности.— Хотел, чтобы у тебя все что положено было.

— Я знаю, я знаю, сынок,— торопливо ответила мать, поглаживая его по голове. Она снова заплакала, теперь уже от облегчения и радости.

— Не надо, ма,— просил он.— Не плачь, ну?

— Не буду,— сказала она и попыталась улыбнуться, усталым, машинальным движением поправляя волосы.— Не буду плакать.

Но когда он вышел из комнаты, ему показалось, что мать не перестала плакать и никогда не перестанет, что вся квартира сотрясается от рыданий, и не только квартира, но и дом, и улица, и окрестные кварталы. Плач преследует его с самого детства, он так и не сумел убежать от него. И вообще ему ничего не избежать: ни материнской смерти, ни собственной жизни, которая сама убегала от него мутным потоком горя.

— Извини, малышка,— угрюмо кивнул он Мэри. Она все так же сидела за столом, закусив край платка.

— Ладно уж! — холодно отозвалась она.— А малышкой я больше не буду,— добавила она с непонятной обидой.

Дуреха, думал он, спускаясь по лестнице и выходя на залитую солнцем улицу, где мистер Гарунян что-то втолковывал заплаканному мальчугану, а рядом скулил и крутился его щенок.

Понедельник, 4 часа дня

План в итоге мы разработали. Мы просидели еще два часа в душном помещении ячейки, пот катил с нас градом, сырела плотная, как одеяло, пелена табачного дыма. Выступил руководящий товарищ, его звали Карл. Он говорил, как футбольный тренер, объясняющий команде новые правила игры, но в конце концов мы все-таки подобрались к делу.

Наверное, это был не самый лучший план на свете, в случае неудачи он ударял по нам самим, но надо же от чего-то отталкиваться. Мы понимали, что должны сорганизовать обособленные, сплошь и рядом неподготовленные выступления низовых комитетов. Нам надо было найти простую и точную формулу, объясняющую, почему договор неприемлем. Потом предстояло наладить пикетирование всего порта, по-

тому что сейчас лишь кое-где попадались разрозненные группы пикетчиков.

Забастовка зародилась и уже жила и развивалась, но пока что на этой первоначальной стадии являла собой всего лишь соединение примитивных комков протоплазмы. Каждая клеточка вещества отправляла свои функции, однако существовала почти что сама по себе. Ускорить эволюционный процесс, собрать всю эту аморфную массу в целостный прочный организм, вставить скелет, приделать голову — вот что предусматривал наш план.

Действовать надо было не откладывая. Чем дальше вот так, независимо ни от чьей воли, развивается забастовка, тем больше она подчиняется своим собственным внутренним законам.

Забастовка родилась от желания рабочих избавиться от Келли и почти такого же сильного нежелания предпринимать какие-либо реальные действия ради осуществления этого желания. Келли хочет заставить народ выйти на работу, приняв прежние условия, тогда как активисты хотят довести забастовку до конца и выгнать Келли. Поскольку противоречащие друг другу импульсивные желания и были настоящими родителями, а противоборствующие сознательные воли — всего лишь крестными отцами, то и отпрыск по своему характеру походил больше на желание, чем на волю. На желание, устремленное к определенной цели. Поэтому нам предстояло преобразовать его. Объяснить рабочим, что одного желания недостаточно, нужна воля — иначе не достичь желаемого. А потом организовать эту волю.

Все это очень просто, а если выразить еще проще, то мы должны обеспечить забастовку руководством.

Мы решили создать подготовительный комитет, куда войдут наши и беспартийные активисты, а потом вместе с ним созвать собрание, пригласить на него две-три сотни людей, которые заинтересованы в продолжении забастовки, а они изберут ее руководство. Две-три сотни — не так уж много, когда бастуют тысячи, и все-таки выборное руководство, даже если оно пройдет лишь незначительным большинством голосов, вполне дееспособно. Опасность в том, что Келли, конечно, пронюхает о нашем плане и попытается заслать на собрание своих или вообще сорвать его. Однако делать нечего, придется пойти на риск. Работенка, конечно, предстоит нелегкая, не то что выуживать рыбку из садка, но в целом наш план вполне осуществим.

Когда я вышел на улицу, мне показалось, что я продрался сквозь тяжелый мглистый туман к солнцу, а не просто выскочил на свежий воздух из прокуренного сырого помещения ячейки. Напротив, именно там, на собрании, произошло освобождение. Я чувствовал себя легко и беззаботно.

Время шло к вечеру, и солнце уже не жгло, как в полдень, точно паяльная лампа, а ласкало низкорослые деревца на улице. Оно как будто вобрало в себя часть сияния, освещающего мой заветный городок. Я знал, что вечером пойду к Кей. Просто удивительно, как меняется человек, когда он знает, что ему делать.

Понедельник, 8.30 вечера

Кей была в мастерской и работала, как и в субботний вечер. Дверь в квартиру была отперта. На этот раз я не стал ждать, пока мои внутренние голоса начнут нашептывать, что все равно ничего не получится. Я просто вошел и почти не удивился, когда заговорил нормальным человеческим голосом.

— Здравствуй, Кей,— сказал я.

Она ничего не ответила и подошла — медленно, осторожно, не сводя с меня глаз, словно боялась, что я исчезну, стоит ей только моргнуть. Она крепко обняла меня, и мы застыли в долгом, каком-то отчаянном поцелуе. Кисть, которую она все еще держала в одной руке,

упиралась мне в спину. Волосы Кей немного пахли скипидаром, я помнил этот запах.

— Малыш...— едва-едва выдохнула она и откинулась немного, не отнимая рук и смотря мне в глаза пронзительным и вопрошающим взглядом. Изогнувшись, я взял у нее кисть, и она уткнулась мне в грудь.

— Нагрянул, как снег на голову,— проговорила она.— Я совсем не ждала тебя сейчас, думала, недели через две.

— Соскучилась?

— А как ты думаешь? — Она неуверенно подняла глаза.— Тебя ведь долго не было.

— Больше трех лет. Ты что, стесняешься?

— Ага,— сказала она со смешком.— Глупо, правда?

— Я тоже.

Мы стояли обнявшись, словно поддерживая друг друга, как незнакомые люди, приготовившиеся начать танец, и три прошедших года неприступной стеной вырастали между нами.

Я поцеловал ее еще раз, но лучше мне не стало. Кей нашлась быстрее.

— Джо, ты просто глупый,— сказала она, улыбаясь.

— Наверное.

— Я на самом деле соскучилась.— Ее пальцы уже расстегивали пуговицы на моей рубашке, я бросил кисть на пол и обнял ее. Я чувствовал себя неуклюжим, искалеченным, потерявшим дар речи. Я должен что-то сказать ей, какие-то слова, может, одно-единственное слово, которое все объяснит, поправит и вернет нас друг другу. Я не мог найти этого слова. И вдруг от прикосновения ее рук все начало меняться. Уже не нужны были слова, я физически ощутил, как свалился с плеч какой-то невыносимый груз, и все мое тело, каждая его клеточка, освобождается и оживает.

— Соскучилась, милый, очень соскучилась,— шептала она и добавила хрипловато: — Сейчас сам увидишь.

Я поднял ее на руки и понес в спальню. Она что-то шептала мне на ухо, что-то пронзительное и певучее, и я тоже что-то говорил ей.

— Иди ко мне, ну, иди же,— позвала она, раскинув ноги, и меня словно током ударило и тут же залило медом.

Потом, лежа в темноте, я в ужасе ждал, когда оно нахлынет, чувство абсолютного одиночества, но вдруг вместо него родилось другое, давно, казалось бы, утраченное, которое называют счастьем, но более полное и глубокое, ощущение того, что все правильно и все по силам,— такое полное, что в это мгновение не жалко и умереть.

Вторник, 9 утра

Когда я проснулся, было около девяти. Погода не переменилась, солнце светило ярко и припекало, почти как летом. В садике как раз под окном пара птах уже начинала день, развешивая в воздухе блестки мелодий, чистые и бесполезные, как всплеск воды.

Кей еще спала, подложив ладонь под щеку и свернувшись калачиком, точно ребенок. Во сне она казалась совсем молоденькой и слабой, беззащитной. Эта ее детская беззащитность тоже была частью замечательного утра. Потихоньку, чтобы не разбудить Кей, я вылез из кровати и пошел принять душ.

Когда я вернулся в спальню за одеждой, она уже проснулась.

— Доброе утро,— сонно улыбаясь, сказала она.— Неужели ты наденешь это? — Она кивнула на форменную куртку и штаны.— У меня ведь лежат твои вещи... сберегла на всякий случай.

Она встала и принесла из кладовки две пары брюк, пиджак и прочее гражданское барахло. Я начисто забыл о нем. Странно на-

девать собственную старую одежду после такого большого перерыва. Одевшись, я пошел в ванную комнату посмотреться в зеркало. Оттуда глянул незнакомец, похожий на меня, и я задумчиво побрел в спальню. Кей окинула меня с ног до головы критическим взглядом.

— А знаешь — сойдет. Если, конечно, не захочешь вырядиться по моде.

— Вполне сойдет. Нет у меня таких денег, чтобы покупать новые вещи. Особенно при теперешних ценах.

— И что ты намерен делать?

— В каком смысле?

— В смысле финансов.

— Как раз работаю над этой проблемой,— ответил я.

Она пошла в ванную, и немного погодя оттуда донесся шум душа, а я отправился в мастерскую и начал разглядывать картины. Я ходил по квартире, дотрагиваясь то до одной вещи, то до другой, радостный, как жеребенок, которого выпустили на свежую травку после зимнего стойла.

— Нравится? — спросила Кей, входя в мастерскую.

— Еще бы! — ответил я, уставившись на нее.

— Картина, дуралей.

Я снова повернулся к картине, перед которой стоял. Обычная абстрактная штуковина, похожая на все остальное.

— Не так чтобы очень.

— И мне тоже,— призналась она.— Абстрактный стиль начинает мне надоедать. Сделаю еще две-три вещи, и все. Надо попробовать что-нибудь другое.— Она говорила так, будто точно знала, каким оно будет — это другое.

— Думаешь, нормально получится?

— Еще как получится! Знаешь, Джо, из меня все-таки выйдет художник.

— Нисколько не сомневаюсь.

— Ты не понял. Не просто художник, ну, человек, который умеет рисовать или писать красками, а настоящий художник, понимаешь? Может, я не буду большим художником, не знаю, но настоящим — обязательно.

— Я знаю.

— Приятно, когда в тебя верят,— засмеялась она.— Посмотри-ка на эту вещь.

Это был автопортрет, пока еще не дописанный. Нос, по-моему, был не очень похож. Я всмотрелся получше, и мне показалось, что лицо распадается на части, наверное, потому что работа еще не закончена или Кей видела себя иначе, чем я. Зато рыжие волосы вышли отлично.

— Вот закончу и подарю тебе,— сказала она.— Если захочешь.

— Спасибо. Но сначала мне надо найти место, куда его повесить. Понимаешь, когда я уходил в армию, квартиру свою одному парню отдал. Надо бы поговорить с ним, да не знаю, как он отнесется. С жильем теперь туго.

Я изо всех сил старался говорить небрежно, словно не придавая этому особого значения. Она ответила не сразу, делая вид, что подправляет что-то на холсте.

— А у меня пожить не хочешь? — негромко спросила она.

— Еще бы! Конечно, хочу!

— Ну, и живи,— сказала она.

— Я хотел, чтобы ты сама предложила,— проговорил я серьезно, точно муж после десяти лет супружеской жизни.

— Чего не сделаешь по старой дружбе,— шутливо отмахнулась она.— Да и надоело спать одной.

Мне хотелось услышать что-нибудь другое, но ничто не могло испортить этого утра. Наконец-то я почувствовал, что я — дома.

— Какие у тебя планы, милый? — спросила Кей. Она долила себе кофе и откинулась на стуле. Еще вчера этот вопрос поставил бы меня в тупик и разозлил.

— Да пока особых нет.

— Наверное, пора уже подумать, а? — Для такой особы, как Кей, которая безошибочно знает, что она будет делать завтра, неопределенность хуже дурной болезни.

— Чего беспокоиться? Что-нибудь придумаю,— сказал я.— Когда мы возвращались, была идея — податься на Запад. В один знакомый городок. Только о нем и думал в армии. О нем и о тебе.

— Приятно слышать.

— Нет, правда. Он мне даже во сне снился. Не люблю я Нью-Йорк, и все. Тяжко мне здесь. Как будто между жерновами я, да еще крышка сверху привинчена...

— Я представляю...

— Ничего ты не представляешь. Мне здесь и до войны худо было, а на фронте еще хуже стало... Раз попали мы в переплет — танк мой подбили, загорелся он. Ожог вот на ноге с тех пор. Да что там ожог — чепуха. Мы в ловушке очутились. Танк горит, а внутри тьма кромешная. Дым во все щели лезет, гарь, живьем, можно сказать, жаримся, тычемся туда-сюда в темноте, а крышку люка заклинило. Машина вот-вот взорвется, как шутиха на празднике, мы руки в кровь ободрали, а она никак. Кто в крик, кто-то кому-то в зубы...

Говорить об этом и то тяжело. По ноге пробежала судорога, мне припомнилось, что я тогда испытывал. Даже не страх, если сравнить с другими переделками, когда меня по-настоящему сковывал страх, а какую-то непомерную тяжесть, и я гнулся под ней и сжимался, как будто собственная шкура сделалась мне мала, и грудная клетка так сдавила легкие, что они вот-вот прорвутся сквозь ребра. Словно тебя сбросили в кессонную камеру на большую глубину, мозги вылезают из глазниц и сердце распускается огромным цветком с острыми, как бритвенное лезвие, лепестками.

— Теперь это почти прошло,— продолжал я.— Снится иногда, но ничего. А раньше едва усну, чувствую, опять бьюсь об эту крышку, а она никак. Потом нашел способ — о тебе думал и о городке. Здорово помогало, хотя все равно накатывало иногда.

— Почему же ты сразу не пришел ко мне? Хотел вскочить на поезд и сбежать на Запад?

— А я ведь приходил к тебе, в субботу вечером,— признался я.— Даже в прихожую вошел. Ты в мастерской возилась, кажется, кисти мыла. Посмотрел на тебя и ушел.

— Почему?

— Почему ушел? Подумал, что лишнее все это, Кей. Я знал, что ты ни за что не поедешь со мной. Да еще трепку мне задашь, может, даже выгонишь. Только этого мне не хватало.

— И все-таки ты здесь. Что же произошло?

— Как тебе объяснить? В первый же вечер кое-кого из ребят встретил. Ну, и уговорили меня остаться, помочь им поработать с забастовщиками. Жутко не хотелось, но понял — должен. Нельзя сейчас уезжать. Вот я и решил: пока побуду, а там посмотрим. А вчера после собрания вдруг взбрело в голову, что ты согласишься. Какая-то уверенность появилась: охомутаю я ее, и точка.

— Охомутать меня — одно, а заставить таскаться за тобой по Штатам — другое. Не обольщайся.

— Я и не обольщаюсь.

Мы сидели и молча глядели друг на друга, как два соперника-борца, придирчиво оценивающие противника перед матчем.

— Наверное, я должен кое-что тебе сказать,— начал я.— Я и раньше это говорил, и из Европы писал. И ты тоже говорила. Но это

не то было. Мы оба говорили... ну, как все — как принято, не задумываясь. Люблю я тебя.

Она потянулась с сигаретой к пепельнице, но рука ее дрогнула, и пепел упал на ковер.

— Я тогда в госпитале лежал. И вдруг — как бомба взорвалась. Полюбил. Вчера не любил, а сегодня полюбил. Нет, я всегда хорошо к тебе относился — душевная такая, своя в доску. А уж в постели лучше тебя вообще нет. Но тут что-то другое пришло. Все враз переменилось.

— И ты уверен, что я тоже по-настоящему люблю тебя? — спросила она шепотом. Мы разговаривали, как дети, заблудившиеся ночью в лесу.

— Да, уверен. Только ты не хочешь даже себе самой в этом признаться. Но я тебя заставлю.

— Думаешь, удастся?

— Я должен, Кей, и точка. Должен, понимаешь?

— Не нравится мне, когда вот так, с бухты-барахты.

— Ничего не могу поделать.

Она ткнула сигарету в пепельницу и начала ходить по комнате. Я подумал, что она вот-вот расплачется.

— Послушай, Джо,— сказала она через силу.— А зачем нам что-то менять? Разве нам плохо было? Ты вполне доволен, и мне нравилось. Давай все оставим по-прежнему, а?

Я покачал головой:

— Не получится, сама знаешь. Ты не любви боишься, а ответственности. Я не сержусь на тебя. И ни в чем не обвиняю. Но раз уж так все сложилось, тебе никуда не деться. Я полюбил тебя и разлюбить не в силах.

— А я менять не в силах. Я люблю тебя как умею. Давай оставим все как есть. Джо, ну, пожалуйста. Мы будем счастливы, вот увидишь! Совсем не обязательно лезть друг другу в душу.

— Нет, мне этого мало. Кроме того, я ведь не останусь в Нью-Йорке. Поеду на Запад, забыла?

— Какая тебе необходимость — ехать?

— Никакой. Но я уеду.

— Ты просто удираешь!

— Черта с два! — Я разозлился: она повторила почти слово в слово то, что говорил Барни.— Никуда я не удираю. Я отлично знаю, чего я хочу. Даже если я не поеду туда, здесь я не останусь. Мне надо оторвать тебя от соски.

— Что значит — «оторвать от соски»? Не понимаю.

— Прекрасно все понимаешь! Ты же как агорафоб, боишься открытого пространства. Живешь в заколдованном кругу, только мама да знакомые-художники. Думаешь, если выйдешь оттуда — небеса обрушатся. Ты должна перебороть себя. Иначе никогда не вырастешь и не поймешь, что любишь меня. Так что приготовься.

— Выходит, я безответственная личность и вообще трусиха?

— Не заводись, Кей, бесполезно. Я не устраиваю тебе сцену и не морочу голову. Просто хочу, чтобы ты меня полюбила.

— По-моему, это ты удираешь от ответственности, а не я.

— Хватит, Кей. Не будем препираться.

— А что, если я попрошу тебя выйти вон?

— Не попросишь,— возразил я.— Подожди, ты в самом деле хочешь, чтобы я ушел?

— Нет,— сказала она и заплакала,— не хочу. Только давай не ссориться.

— Давай.— Я обнял ее и начал гладить волосы. Я не хотел ссориться и не хотел, чтобы она плакала.

Потом мы лежали в постели, и Кей рассказывала:

— У меня ничего не было в детстве. Отец плохо зарабатывал. Воображал, будто он художник, а сам ничего не умел. Одни разговоры о живописи — удобный повод ни во что нас не ставить, меня и маму. Как будто нас вообще не существует. Никакого чувства ответственности.

— Я-то не художник,— вставил я,— и замуж ты выходишь не за своего папашу.

— Да нет, он не со зла. Наверное, в глубине души он понимал, что он неудачник. Вечно ему не сиделось на месте. Надеялся, что стоит ему перебраться куда-нибудь, и работа закипит, кисть сама пойдет. Мы бросали все и ехали с ним. Только устроимся на новом месте, опять у него начинается, и мы опять переезжаем. Очень уж любил изображать из себя художника.

Она зажгла сигарету и задумчиво смотрела, как догорает до самого конца спичка.

— Я тебе рассказываю, чтобы ты вошел в мое положение... Иногда он запивал, и тогда в каком-то смысле бывало даже легче. Он заглушал то, что его гложет, успокаивался. Бродит, как сейчас помню, по дому, подойдет к мольберту, ткнет кистью и доволен, что получилось что-то настоящее. Потом, конечно, протрезвеет, посмотрит на холст — ничего нет, одна мазня. И мы снова снимаемся с места.

Так вот мы и жили. Денег никогда не было. Мать с ног сбивается — накормить нас надо, одеть. Платья мне сама шила, хотя портниха она никудышная. А отец одевался — бог ты мой! Хоть сейчас на оперную сцену, на роль свободного художника. Дочке это боком выходило. Дети не богема.

— Бездельник он, твой отец, только думать об этом не хотел.

— Нет, наверное, я сгустила краски. Просто он усвоил мещанский взгляд на художника. Вообще-то я к нему неплохо относилась, но вот бродячую жизнь, которую он нам навязал, ненавидела. Что это за жизнь, когда не знаешь, где ты будешь завтра, как перекати-поле, без корней. Когда язык не поворачивается сказать: «Я дома».

Мама тоже виновата. Безропотная страдалица, верная жена — «куда ты пойдешь, туда и я пойду»[1] и прочее. Это я все понимаю. Но она слишком много ему прощала, хотя он и в постели-то наверняка никуда не годился. Ты думаешь, я из-за мамы не хочу ехать? Нет, она меня не держит, и я сама теперь-то в ней не нуждаюсь... Так продолжалось, пока мне не исполнилось четырнадцать. Потом мама взяла развод, и мы переехали в Нью-Йорк, к тетке. Лучше стало, но не намного. Денег-то все равно не было, иждивенками себя чувствовать — разве сладко? Даже у близкого человека. И все-таки благодаря тетке я пошла в школу. Немного погодя уговорила ее послать меня в художественное училище. Думаешь, просто было? Только самые последние годы я начала жить по-человечески. У меня собственная квартира, и никто ее не отберет, будь уверен. У меня появились друзья. Работа тоже неплохо подвигается. В кои-то веки я ни от кого не завишу. Я свободна, понимаешь? Самостоятельна. А ты хочешь, чтобы я все это бросила.

— Ты все еще живешь ради матери,— сказал я.

— Да, я несу за нее ответственность.

— Ты же и там можешь заниматься живописью.

— Могу. Не в этом дело,— печально проговорила она.— Ты только о себе думаешь. Вбил в голову идею, а я как очередная задачка, которую надо решить.

— Не то ты говоришь,— ответил я, мучительно соображая, как ее уломать.

— Не уезжай, милый, и все будет замечательно.

— Нет, не будет. Если я сейчас уступлю тебе, мне придется идти

[1] Библия. Книга Руфь, 1, 16.

конторщиком в банк или выучиться на методистского проповедника. Иначе как тебя убедить, что на верную лошадку поставила?

— Я никуда не поеду.

— Поедешь,— убежденно сказал я.— Чего ты, собственно, боишься?

— Тебя, Джо. Если ты сейчас уедешь, то никогда не остановишься. Будешь бежать всю жизнь.

— Я не бегу.

— Бежишь, милый. Тебе не нравится твоя теперешняя работа, ты хочешь ее бросить, заняться чем-нибудь другим. Но признаться себе *в этом ты боишься. А пока не признаешься, тебя вечно будет куда-то тянуть. Как моего отца.*

— Я ни за что не брошу своего дела.

— Я не утверждаю, что бросишь. Но тебе хочется бросить. Вот это и гложет тебя, и гонит. Если б ты на самом деле полюбил то, что делаешь, что приходится делать... Тогда бы к тебе вернулась... устойчивость, что ли. Тогда я бы подумала, ехать или нет.

— Придется с тобой поработать, хорошая ты моя.— Я притянул ее к себе и поцеловал.— Возьму тебя в окружение, а потом — на штурм. Как Грант под Ричмондом.

Она изо всех сил старалась вырваться из моих объятий, словно боксер, который хочет выйти из клинча, потом утихла и улыбнулась.

— Это нечестная тактика.

— На войне как на войне.

— Все равно ты меня не переломишь.

— Еще как переломлю! — засмеялся я.

Боюсь, в тот день она уж больше не писала. А я уходил от нее, и сердце колотилось от восторга, как будто целый мир лежит у моих ног. Улица заливалась радостным смехом и пением птиц.

Вторник, 3 часа дня

Список у меня был длинный, и время подходило уже к трем, когда дошла очередь до Брайана Мансона, докера, которого я неплохо знал перед войной по работе. Я ни разу не был у него дома, но адрес показался мне знакомым. Я дошел почти до конца улицы, до Девятой авеню с почтой на углу, и узнал место, где мы с Биллом Эверсоном отбивались от подонков. Да, та самая улица. Я перешел на другую сторону и стал искать дом, указанный в адресе, но номеров не было. В конце концов я наткнулся на кондитерскую с номером над входом и, отсчитав назад, нашел нужный мне дом.

Квартира Мансона находилась в дальнем конце коридора. Тишина тут стояла мертвая, как на пепелище после пожара в похоронном бюро. Я постучал в дверь, и стук утонул в пыли, скопившейся по углам. Я постучал еще раз, подождал немного и уже хотел было уйти, как дверь приотворилась и в щель высунулась голова. Меня окинули подозрительным взглядом. Я не сердился. Кроме дурных вестей, редко что приходит в такие дома.

— Мистер Мансон дома? — спросил я.

— А вы кто?

— Меня зовут Джо Хантер. Мы с ним работали до войны.

Это немного подействовало. Женщина приоткрыла дверь пошире. Худощавая блондинка среднего роста, когда-то она была, видно, хорошенькая, однако сейчас выцвела и попритихла.

— Проходите, пожалуйста,— пригласила она с той неповторимой вежливостью, какой отличаются многие женщины из рабочей среды.

Через несколько минут она появилась на пороге кухни. За ней шел Мансон с полбуханкой хлеба. Он положил ее на стол и протянул руку.

— Рад видеть тебя целым и невредимым,— сказал он.— Мой Джонни тоже пришел, но вот за работу пока не взялся.

До войны мы некоторое время работали в одной бригаде и довольно близко сошлись, однако чего не позабудешь за эти четыре года. Волосы у него немного поседели, но, как и раньше, завиваются на концах, и он все так же расчесывает их на прямой пробор. Если б не седина, его и сейчас можно принять за одного из тех молодых пижонов, только с усиками, которые красуются на старых фотографиях. Была в нем и какая-то учтивость, немного старомодная, ненавязчивая. Говорил он, как коренной обитатель Вест-сайда, понемногу избавившийся от здешнего ужасного выговора.

— Я сам рад, что цел и невредим,— ответил я.

— Насчет забастовки, видно, пришел, верно? — язвительно спросил он.— Я так и думал — непременно кто-нибудь заглянет.

— Если думал, чего сам не заглянул? — заулыбался я.— Адрес знаешь.

— Знаю я ваш адрес, как не знать,— сказал он, умолчав, однако, почему не заглянул. Его жена стояла рядом, и я чувствовал, что не по душе ей был наш разговор.

— Достань-ка нам пивка, Эффи,— попросил Мансон, и та полезла в холодильник.

— Считаешь, она к чему-нибудь приведет, забастовка? — осведомился он, словно невзначай, безо всякого интереса.

— Надеюсь. План мы тут наметили.

Эффи со стуком выставила на стол две пивные банки. Она не скрывала своего недовольства и своих опасений.

— Тогда выкладывай.— Он отставил банку с пивом.— Толковый должен быть план, чтобы сработал.

Я коротко рассказал, что мы наметили созвать большое собрание и выбрать комитет, попутно называя имена людей, которые, по нашему разумению, могли бы туда войти. Некоторые кандидатуры он сразу отверг и вместо них предложил другие.

— Если образуется комитет человек в сто и за каждым поддержка в низовке или на пирсе — тогда можно подумать о массовом митинге в Манхэттене и Бруклине. Такой митинг келлевым молодчикам не по зубам будет.

— А как насчет Джерси? — спросил Мансон.

— Понятия не имею, что происходит за Гудзоном. У нас там ничего не делается. Было несколько ребят, членов партии, но кто в армию ушел, кто в другие отрасли.

— Был там один, Джим Кейс. Кое-что ему удавалось сделать. В ту пору я хорошо его знал. Думаю, он красный.

— Первый раз слышу.— Я записал имя.— Постараюсь разузнать, как он. У тебя его адреса нет?

Мансон покачал головой и немного погодя спросил:

— Ну, а от меня-то что требуется?

— Ты мог бы помочь нам собрать верных людей.

— Да, мог бы.— Он пригладил ладонью волосы.

— Хорошо бы ты вошел в подготовительный комитет. Народ тебя знает, считает порядочным человеком.

— Зачем вы пришли? — сердито вмешалась Эффи.— Какое вы имеете право втягивать его в эти дела?

— Да не втягивает он, Эффи.

— Видели мы это,— продолжала она быстро и все более заводясь.— Помню, что с отцом моим случилось, когда Келли большую забастовку задавил. Так и тут будет, Брайан, как только про тебя выведают.

— Это верно, возьмут на заметку,— проговорил Мансон, не глядя ни на жену, ни на меня.

— Ну вот видишь. Сам же в дураках и останешься,— презрительно фыркнула она.— Тебе-то какая выгода?

— А такая,— сказал я.— Приличная пенсия — это раз. Профсоюз-

ное бюро по найму — это два. Надо кончать с блатом, любимчиками, образцовыми бригадами и прочим. Чтобы у каждого были одинаковые шансы.

— Все это замечательно, кто спорит, но как это сделать? Сколько лет народ дерется за прибавки, пенсию и прочие вещи. Разве что-нибудь изменилось? Вы не имеете права подвергать Брайана опасности. Если с ним что-нибудь случится — кто о нем позаботится? Приход? Правительство? Партия ваша? Да никто! Квартира вот эта и Брайаново место — больше ничего у нас нет и не будет. Не бог весть что, зато наше, и мы не хотим с этим расставаться!

Я молчал, дожидаясь, что скажет Брайан. Она права, почти во всем права. Я незаметно оглядел кухню: прибрана, чистенько. Заново покрашен небольшой холодильник, и керосиновая печь, переделанная под газ, тоже аккуратно подмазана черной краской. Я мог представить себе, в каком порядке содержатся другие комнаты, как не раз и не два ремонтировалась и подновлялась старая мебель, как старательно чинились стершиеся и порванные подлокотники у кресел. Я почти воочию видел истоптанный ковер в гостиной и голый линолеум в остальных комнатах. Случись что с Брайаном, они и это потеряют. Как ни крути, она по-своему права. Я вроде бы обязан повлиять на решение Мансона, но есть люди, которые должны решать сами.

— Эффи, вероятно, права,— неохотно проворчал он, не глядя на меня.— Если б лет десять назад...— добавил он неопределенно. Эффи окинула меня торжествующим взором и удалилась.

— Ты сам себе хозяин, тебе и решать,— сказал я.

Мансон встал и взял со стола полбуханки, с которой пришел.

— Голубей я своих кормил. Может, поднимемся на минутку?

Мы вышли из квартиры, одолели три лестничных марша и выбрались на чердак.

Он распахнул дверь на крышу, и я услышал горловую переговорку голубей, их сонную в косых солнечных лучах воркотню. Но как только он начал открывать одну за другой дверцы голубятни, они встрепыхнулись, громко захлопали крыльями, запорхали, закружились вокруг него. Он разламывал хлеб и рассыпáл его по крыше, а голуби спускались и, поклевывая, важно прохаживались взад-вперед.

— Красавцы, правда? — похвастался он.— Редкие породы, правда, не держу. Посмотри-ка на этого.

Он протянул ладонь с кусочками хлеба и поманил одного голубя. Тот вспорхнул и уселся на руку хозяину.

— Видишь? — Он взял птицу и показал мне ее бугристые узловатые лапы.— Сел, наверное, на что-нибудь горячее. Может, на жидкий асфальт или на дымовую трубу. Прихожу раз, а он притулился, бедняга, на крыше голубятни. Выдохся, значит. Вижу, лапки у него скрючились, едва шевелятся. Ну, выходил я его. Теперь вроде нормально.

Рассказывая про голубя, он преобразился, говорил быстро, увлеченно, словно даже помолодел.

— И давно ты их разводишь?

— Да лет десять,— ответил он, взмахом выпустив голубя в стаю.— Не представляешь, сколько народу голубями увлекается. И здесь, и в Бруклине, и в Бронксе. Я сам человек пятьдесят знаю. У меня-то их немного, хозяин против, а мне неприятности ни к чему.— Он помолчал и добавил: — А с собранием этим постараюсь вам помочь.

— Если опасаешься чего, не надо. Кое-какой народ у нас найдется. Ты в самом деле не обязан подставлять голову.

— Помогу... Но вот в подготовительный комитет мне, пожалуй, не стоит. Не имею я права рисковать.

— Я понимаю.

— Когда помоложе был, правило у меня было: обидчику спуску не давать, пусть он хоть кто. Ну, и доставалось мне, сам понимаешь, порядком. Как говорится, девяносто девять боев и ни одной победы,— невесело повторил он старую поговорку.— Он раскрошил последний кусок хлеба и кинул голубям. Сейчас он опять выглядел осунувшимся и постаревшим.— А вообще-то Эффи права,— заключил он.— Не побороть их. Наша система не человек, с которым можно подраться по-честному — либо он тебя, либо ты его.

— Да, система не человек.— Мне очень хотелось помочь ему избавиться от уколов совести, именно об этом он, собственно, и просил, но все внутри меня протестовало.

— Народ-то во всяком случае я вам кое-какой подберу. Заходи завтра вечерком.

Вторник, 6 вечера

К вечеру я обошел всех, кто числился в моем списке, и был вполне доволен собой. Одни — таких было большинство — встретили меня настороженно, но после некоторых уговоров пошли, как и Мансон, навстречу и согласились кое-что сделать. Другие просто-напросто выставили меня за дверь. Нашлось, однако, и немало таких, кто изъявил готовность войти в подготовительный комитет. Так что к Кей я направлялся в отличном расположении духа. Было около шести.

На углу Четырнадцатой и Седьмой я увидел на другой стороне Конна. Он окликнул меня, и я подошел к нему.

— Привет, комиссар,— начал он.— Какие вести с фронтов классовой-переклассовой борьбы?

— День прошел, и порядок. А какая погода в алкогольном царстве-государстве?

— На нуле стоит, на нуле. Пивка не поставишь, а? Ты ж не при исполнении.— Он подчеркнул последнее слово хитроватой ухмылкой и похлопал меня по плечу.

— Можно и поставить.

Мы зашли в первую попавшуюся забегаловку, сели в отдельной кабинке, и нам принесли пиво.

— Будем! — возгласил Конн и одним махом, насколько я мог заметить — не глотая, влил себе внутрь целую кружку и тут же подставил ее не успевшему отойти официанту.

— Слыхал, должно быть, что за твоим скальпом охотятся? — спросил он как бы между прочим.— Пронюхал Келли про вашу вечериночку. Очень даже вашим братом заинтересовался.

Новость мне не понравилась. Не понравилось не то, что намеревается или не намеревается сделать Келли, а то, что Конн уже знает о собрании. А раз так, к завтрашнему же утру слух, вероятно, разнесется по всему порту. Конн — мужик вообще-то неплохой, по-своему честный и, уж конечно, неглупый. Но пьяница и болтун каких свет не видывал.

— Значит, ты знаешь, ладно... Выгорит у нас, как думаешь?

— За думанье мне пока не платят. Может, курнем после аперитива?

Я протянул ему сигареты, и он начал свое обычное представление:

— Что я вижу? А где же «Легкие французские»? Ай-ай-ай! Где «Морская волна»? — Он отсыпал себе полпачки, остальные вернул мне.— Знаешь, в чем ваша ошибка? Вечно вам организованность требуется! Пора бы уже вбить в голову одну простую вещь: ежели великий американский пролетариат чему-нибудь и научится, то исключительно из-под палки. Остальное он и без вас знает. И привык, что на него, извиняюсь за выражение, гадят. Нет, браток, даром время тратите.

— Ладно, хватит. Мы это с тобой уже тысячу раз проходили.

— Вольному воля. Сам спросил, что я думаю о вашей замечательной стратегии. Я тебе о Босяке Макмаоне рассказывал?

— Наверное, рассказывал.

— Так вот, слушай. Задумал, значит, Босяк дельце одно провернуть. А он из тех был, кто завсегда в завтра зырит, кумекает, где бы куш покрупнее отхватить. Ну, вот, начали мы раз бастовать. По-настоящему, не то что эта грошовая заваруха. Три или четыре месяца бастовали. До ручки дошли, чуть с голоду не подыхали. Ирмовцы похлебку в котле варили, коммунисты тоже, да разве всех накормишь? Боевой дух, натурально, падать начал, и вот тут-то Босяк Макмаон и изменил делу измученного пролетариата.

Вычитал, видать, в каком-нибудь журнальчике, что нетрудно выучиться наподобие Гудини представлять — наручники сбрасывать, из запертого чемодана вылезать, ну, всякие такие номера выкидывать. Наскреб полдоллара, руководство выписал. Прочел страничку — и пропал мужик. По городу с флагом таскался день и ночь, деньгу собирал — вроде как для забастовщиков, а на самом деле чтоб полный фокусный курс получить. Вдобавок принадлежности разные требуются. Потом ассистента себе нанял, который на подхвате из публики работает. Зрителя, значит, изображает, лезет цепью его обвязать или наручники надеть. Босяк все ему чин чином растолковал, что и как делать. Чтобы во время представления цепи сами по себе спадали, как лапша вареная.

Подготовился, стало быть, Босяк к первому представлению. На другой день утречком притопали они на пустырь на Двадцать третьей — тогда там еще пустырь был,— и наш Босяк давай народ зазывать. Так, мол, и так, второй Гудини сейчас продемонстрирует искусство освобождения, спешите видеть! Мало-помалу собирается толпа, и он приглашает из почтеннейшей публики желающего — пусть наденет на него наручники, цепью опутает да еще на ключик запрет. Тут ассистент, натурально, вылезает, железки на него вешает и замочки — щелк! щелк! Босяк пыхтит, корячится вовсю, будто на самом деле цепи сбросить старается, а сам комедию ломает, чтоб народ побойчее раскошеливался.

Тем временем какой-то фараон с дежурства идет и, натурально, интересуется, с какой такой стати сборище.

— Поглазели — и хватит! — говорит фараон.— Давай проходи, проходи. А ты, видать, уже принял? Снимай свой доспех и проваливай.

Босяк и так и эдак, точно птаха в сетях, бьется, а она не поддается, цепь-то. Народ ни с места: не каждый день такую потеху увидишь.

— Ты чего? — удивляется фараон и легонько его по уху дубинкой тюкает, так, больше для острастки.

А Босяк уже голос от боли подал и потом весь пошел. И все головой вертит, ассистента своего высматривает, а тот небось уже до Десятой добег. От греха подальше.

А народ все подваливает.

— Ты что, глухой? — заводится фараон и стукает его еще разок, покрепче.

Тут Босяк прямо-таки взвыл:

— Да не могу я!

— Знаем, как ты не можешь. Видали мы таких,— говорит фараон. И еще несколько раз Босяка дубинкой.— А ну сбрасывай железки сей момент! В участок захотел?

Босяк уже на ногах едва-едва стоит, кричит дурным голосом, напарника матюгает, а фараон понял, будто он на него орет,— и давай молотить его дубинкой. Молотит и кроет его, кроет. Босяк тоже благим матом вопит, а народ, натурально, со смеху покатывается.

Одним словом, еще немного — и сделал бы фараон из бедняги Босяка котлету, да хорошо сообразил в конце концов — не может

мужик сам из цепей освободиться. Тогда он толпу разогнал, а Макмаона под ручки и повел потихонечку, с остановками в слесарную мастерскую на Десятой авеню. Там на нем часа три цепи ножовками пилили.

После такого палочного массажа Босяк вечером приперся в профсоюз со своим профессиональным снаряжением.

— Принес,— говорит и сбрасывает железки на пол.— После революции устроим музей орудий, которыми проклятая буржуазия простой народ угнетала. Карл Маркс что говорил? Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Вот они, мои цепи, пропади они пропадом!

— Вот что вышло из одного замечательного плана,— закончил Конн-Пароход.— У тебя еще на кружку мелочишка найдется? Порядок. Зови-ка этого задрыгу-официанта.

Вторник, 7.30 вечера

Уже сгустились сумерки, когда Блэки Кармоди добрался до дому. С улицы он увидел, что в гостиной нет света, и с облегчением подумал, что мать спит, но, притворив за собой дверь, услышал, что она зовет его из глубины квартиры, и прошел в гостиную. Она лежала в темноте на кушетке, прикрыв глаза рукой — точно так же, как вчера вечером. Его словно ножом резнуло от неожиданного прилива любви и чувства виноватости перед ней.

— Все гладко прошло? — спросила мать.

— Само собой. Был я у Келли. Договорились о работе.

Договориться — договорились, но думать об этом совсем не хотелось. За печкой на своем обычном месте сидел Манта.

— Добрый вечер, Джон! Извини, не сразу тебя заметил.

Манта отозвался на приветствие односложно, коротко, мертвым голосом и не глядя на него.

— Слава те господи! — шумно вздохнула миссис Кармоди, словно присев отдохнуть первый раз посреди долгого и тяжелого дня. Потом она что-то сказала Манте, и между ними возобновился разговор. Блэки подошел к окну.

На улице темень и тени; разбросанные то тут, то там пятна света похожи на пучки выцветшей желтой пряжи. Блэки видел ее такой тысячу раз, но что-то изменилось сейчас в ней. Знакомая вроде бы вывеска: МЯСО и БАКАЛЕЯ ГАРУНЯНА. Через несколько подъездов — кондитерская, которую он помнит с детства. По другую руку, поближе к Восьмой авеню,— газетный киоск и вход в подземку. Все знакомо до боли и все другое. Что произошло? Это со мной что-то произошло, удивленно сообразил он, не улица переменилась, а я сам.

Мысли против его воли лезли в голову. Вчерашняя сцена с матерью, сегодняшняя малоприятная встреча с Келли снова вырывались наружу из темных углов сознания. И вдруг ему почудилось, что улица внизу наполняется — не людьми, нет, а им самим: вот он — мальчишка, бегущий в школу; вот — подросток, болтающийся возле кондитерской; парень, уходящий на войну, и другой парень, вернувшийся с нее; вот человек, которым он был вчера, до ссоры с матерью, и совсем другой — после разговора с Келли, в результате которого он получил работу. Улица была полна им самим, только разным, и эти разные Блэки Кармоди уходили и возвращались, встречались и расходились, проходили мимо и обгоняли друг друга. Но я-то где, в ужасе подумал он, где я настоящий?

— Мы назвали его Фрэнсисом Зевиром Кармоди, в честь моего отца,— рассказывала миссис Кармоди Манте, но Блэки не слышал ее. Его целиком захватила внезапно открывшаяся перед ним картина улицы, которая кишмя кишит его умершими «я», и она казалась теперь странным символом его измены, его предательства, словно он сам, по своей воле принимал все те личины и обличья, которые, как тени, мечутся сейчас внизу под окном. Чем же это все кончится? —

мучительно и растерянно спрашивал он себя. Я же продался и предал ее и себя.

Он увидел идущего по улице Джо Хантера. Из лавки вышел Гарунян и принялся задвигать металлические шторы на витрине.

Фрэнсис Зевир Кармоди. А что, если он обречен из года в год менять облик, снова и снова надевать личины, задавался вопросом Блэки, и теперь, когда он сдался и поплыл по течению,— есть ли вообще предел этим изменениям? *Фрэнсис Зевир Кармоди.* Что ж, надо иметь какой-то опознавательный знак, чтобы тебя узнавали на улице, которая совсем не похожа на ту, вчерашнюю, когда и ты был другим, тем, кого звали Блэки и кого ты вроде бы так хорошо знал.

Он был так занят своими мыслями, что не слышал, как к нему обращается Манта.

— Блэки, послушай... Блэки...

— Хватит блэкать! Что, у меня имени настоящего нет? — вскипел он.— Слышал же, что она сказала: Фрэнсис Зевир Кармоди.

Он вышел из комнаты, не желая знать, что хотел сказать Манта. На ступеньках парадного он остановился и оглядел улицу, которая тянулась, как конвейер, заставленный частями его прежнего «я». Они тянулись, расплывались, исчезали в темноте, а он тупо смотрел на них и тоскливо, тревожно спрашивал: куда же подевался Блэки Кармоди?

Вторник, 8.30 вечера

С трудом волоча ногу, Крип поднялся по ступенькам к дверям своего дома и остановился отдохнуть на площадке. Он охотился за этим человеком целый день, и после ужина опять придется отправиться на розыски. Он весь вымотался, очень хотелось прилечь на часок перед едой, против воли подумалось, что вот и старость скоро, но он тут же спохватился и, чертыхаясь, отбросил неприятную мысль.

Он открыл парадное, прошаркал по стершемуся коврику и начал карабкаться по лестнице. Нога — единственное, что его не устраивало в нем самом, потому что она постоянно напоминала о себе. Пока он шарил по карманам перед дверью, его вдруг обдало ветерком предчувствия, и он замер, держа ключ в руке, прислушиваясь. Ему послышалось в комнате какое-то движение.

Света из-под двери не было видно, и Крип знал, что, если кто-то пришел к нему, значит, он хочет его убить: за многие годы, что он прожил в этом доме, никто не заглядывал сюда. Но ему и в голову не пришло задаться вопросом, кто он, поскольку по его представлениям убийство одного человека другим — абсолютно обезличенный акт, имеющий как бы даже самостоятельное существование и воплощающийся в звонкой монете, которой оплачено это убийство и которая есть единственно мыслимая связь между убийцей и жертвой. Человек, спрятавшийся в комнате, был для Крипа не человеком, а всего лишь средством, инструментом, механизмом. Этот инструмент пустили в ход после сделки, заключенной неизвестно когда, неизвестно какими людьми, которые сочли, что он должен умереть. Он приложил ухо к двери, тихонько нажал на нее. Дверь была не заперта.

Он машинально достал револьвер, оперся на здоровую ногу и, толчком распахнув дверь, прыгнул внутрь.

На стуле возле стола спал человек. От шума он мгновенно проснулся и, резко обернувшись, начал сползать на пол. Лица его не было видно. Крип ударил его револьвером по голове, задев ее ребром ладони, отдернул руку, хотел ударить еще раз, но услышал испуганный хнычущий голос.

— Ты чего, это ж я, Джейк...— бормотал тот, не вставая с пола. Ругаясь последними словами, Крип отошел к стене, зажег свет.

— Сукин ты сын, скажи спасибо, что жив остался. Я уж подумал, кто-то пришить меня хочет.

— Да нет, пришел вот и, видать, задремал,— простонал Джейк. Он поднялся с пола, присел на край кровати и начал вытирать расквашенный нос, испуганно и брезгливо морщась от пятен крови.

— У тебя там все в порядке? — окликнула снизу хозяйка.— Мне послышалось, упал кто.

— Не-е, все в порядке,— отозвался Крип, стоя у двери.— Чего вылезла?

— Твой гость еще тут или ушел?

— Тут он, тут.

— Я впустила его подождать, ничего?

Сука ты паршивая, брешешь ты все, подумал он.

— Ничего.

Он ждал, когда внизу захлопнется дверь, но напрасно, и закрыл свою, так же чертыхаясь про себя.

— Зачем приперся? Я же тебе говорил, где меня найти,— сказал он.— Терпеть не могу, когда лишний шухер поднимают...— Ладно, выкладывай, чего нужно, и выкатывайся.

— Мужик послал, на которого я работаю.— Джейк наконец пришел в себя. Кровь у него перестала течь, он сунул платок в карман.— Торопит он. Я тебя еще вчера искал.

— Какого черта, торопит. Сколько времени у меня было? Всего ничего.

— Главный желает, чтоб кончал ты это дело. Вот я...

— Мало ли кто чего желает. А кто он такой вообще, этот главный?

— Не знаю я. Я ведь только связной. Мужик, на которого я работаю, говорит, что главный недоволен, чего, мол, там канителятся.

— Никто не канителится. Сделаю, когда получится.

— Я — что? Мне велели передать.

— Передал и проваливай.

— Иду-иду.

Джейк ушел, а Крип еще долго сидел за столом. Ему надо было отойти, успокоиться, перебороть бессильную, беспредметную ненависть — он нес и нежил эту ненависть долгие годы, она была самым глубоким его чувством. Питалось оно обидой, обманутостью, обездоленностью, которые не покидали его с тех пор, как он стащил пустой отцовский револьвер, а может быть, и раньше.

Он раздраженно думал о том, что теперь придется съехать с этой квартиры и искать другую. Оставаться здесь больше нельзя. Он не любил, когда следят за ним, лучше самому выслеживать других. У него появилось такое ощущение, будто он находится в освещенном кругу, а кто-то снаружи, из темноты подталкивает его палкой. Оно пришло, это ощущение, из прошлого, из тех времен, когда он попадал в полицию и там у него, словно клещами, вырывали признание. Он встал, подошел к шкафу и достал оттуда помятый чемодан из искусственной кожи.

Один ремень почти перетерся, и он чертыхнулся, ставя раскрытый чемодан на кровать. Безо всякого стука, чтобы не услышала хозяйка, он выдвинул по очереди все четыре ящика в комоде. Четыре рубашки, носки, белье, бритвенный прибор — он уложил вещи за две-три минуты. Костюм у него был один-единственный, что на нем, и ботинки тоже. В шкафу висело старенькое пальтецо, он свернул его и сунул в чемодан. Книг он не держал, хотя и был большой охотник до чтения. Чемодан наполнился только наполовину. Он оглядел комнату — не забыл ли чего. Еще одна принадлежащая ему вещь — календарь на стене. Он хотел было взять и его, но махнул рукой: пусть хозяйка попользуется или новый жилец.

Открыв дверь, он вышел на площадку и прислушался. Убедившись, что в парадном никого нет, он вернулся в комнату и взял чемодан. На пороге он, однако, остановился в нерешительности, потом, поставив чемодан, снял со стены календарь и разорвал его пополам.

Среда, 11 утра

— Ты, говорят, хотел меня видеть, Эл? — сказал Ландерс, усаживаясь в кабинке.

— Хотел.— Не глядя на Ландерса, Хаск поманил пальцем официанта.— То же самое два раза,— сказал он. Ему даже в голову не пришло спросить Ландерса, что тот будет пить.

Принесли виски, он отхлебнул половину. Ландерс снял очки, аккуратно протер стекла.

— О чем задумался? — спросил он.

— А ты как думаешь — о чем? — раздраженно ответил Хаск.— О забастовке, будь она неладна.

Ландерс отпил глоток и отодвинул стакан.

— Похоже, ничего из нее не получится,— сказал он.

— Это ты так думаешь.— В голосе Хаска зазвучало презрение.— О том, что собрание готовится, знаешь?

— Что-то слышал.

— «Что-то слышал»,— передразнил Хаск.— Уж что-что, а знать, что происходит, ты обязан. Или хочешь собственную линию гнуть? И вообще — что там, в Католической ассоциации делается?

— Так, ничего особенного,— ответил Ландерс.— А что?

— Я так и думал, что ничего особенного. Кое-кому из законников в этой шараге не терпится спихнуть Келли и запустить руку в профсоюзный котел. Ничего у них не выйдет. Это тебе урок большой политики.

— Очень признателен,— натянуто ответил Ландерс.— Если это все, то я, пожалуй, пойду.

— Сиди! Мне надо кое-что тебе сказать.— Хаск допил виски и перелил в свой стакан то, что оставалось в ландерсовом.— Это собрание, которое готовят коммунисты,— опасная штука,— заговорил он быстро и решительно.— Если им удастся создать комитет, все страшно усложнится. Выборный орган — это тебе не самодеятельность, люди чувствуют ответственность. Они наверняка предложат несколько заметных кандидатур и кое-кого из своих. Может, Ласта, может, этого Джо Хантера, он опять на поверхность выплыл. Или того итальяшку-недомерка из Бруклина. Тогда забастовка затянется и неизвестно чем кончится.

— Ты хочешь, чтобы докеры вышли на работу?

— Нет. Я хочу, чтобы ты и твои люди были на этом собрании. Не будут же там каждого проверять. Пройдете за милую душу. Предупреждаю: вести себя осторожно. Но сделать так, чтобы Ласт в комитет не прошел. И давать отводы всем мало-мальски активным.

— Но это может боком выйти.

— Не выйдет, если по-умному действовать. Совсем не обязательно кричать, что такого-то и такого-то выбирать нельзя, потому что он коммунист. Народ на собрании сам знает, кто красный, а кто — нет. Поэтому никаких ярлыков. Просто намекнуть, что комитету будет легче работать без красных. Любую опасную кандидатуру можно отвести под предлогом, что парень-де чересчур симпатизирует Ласту и его компании и может нанести вред общему делу.

— Тебе, значит, нужен маломощный комитет?

— Да, и ты в нем, если сможешь попасть туда. Ты и люди, которым ты доверяешь. Ясно?

— Неясно одно: ты-то сам на что рассчитываешь?

— Может быть, мы в конце концов станем настоящими рабочими вожаками,— улыбнулся Хаск.— Может, нам удастся протолкнуть новый договор с нанимателями.

— Ну, а потом?

— Потом... У нас ведь уйма других профсоюзов...— Хаск начал развивать перед Ландерсом свою теорию перемен в профсоюзном руководстве.

— Да, но это же рабочий фронт, как в Италии при Муссолини и в Германии при Гитлере,— возразил Ландерс.

— Не совсем.

— В сущности то же самое...

— Зачем спорить о сущностях? — усмехнулся Хаск.— Это будет чисто американская форма рабочего движения, на все сто процентов американская.

— Что мне мешает пойти к Келли и рассказать о нашем разговоре?

— Ничего не мешает. Только он тебе не поверит, вот и все. А я напущу на тебя условников-уголовников. У Келли их пруд пруди, если он прикажет, они и маму родную удавят.

— Ты мне угрожаешь? — Ландерс старался говорить как можно спокойнее.

— И не думаю. Да и какой тебе резон идти к Келли? Мы же в одной лодке, черт побери!

— Нет, не в одной.

— В одной — вот это я и пытаюсь тебе втолковать. Ты же не новоиспеченный Дон Кихот, как некоторые твои друзья. Давай рассуждать здраво. В мире сейчас две силы — рабочие и капиталисты, Россия и Америка, красные и демократы или республиканцы — в разных странах их по-разному называют. Ты и полдюжины твоих единомышленников — вы утверждаете, что занимаете промежуточную позицию и боретесь и с теми, и с другими. Но посередине нельзя удержаться, лучше решить, к кому примкнуть. Лично я так и поступил. Одно время я ведь тоже был с вами и понял, что это глупо. Само собой, иногда полезно придумать какую-нибудь вывеску, поставить ширму, но это вопрос тактики, и только. Никакая третья сила ничего не значит. Ну, заполучите еще пару перебежчиков, ну, поставите еще пару дымовых шашек — вот и все, на что вы способны.

— Я никогда не соглашусь с тобой,— сказал Ландерс, сознавая, что ему нужно встать и уйти, но что-то удерживало его.

— Конечно, не согласишься. Но это в тебе эго говорит, то есть гордыня по-старому, а голова совсем другое подсказывает.

— Тобой, разумеется, не эго движет? — Ландерсу хотелось сказать что-нибудь убийственно-язвительное, но сказанные им слова прозвучали всего лишь, как выкрик непослушного школьника.

— Нет, уже не эго,— спокойно ответил Хаск.— Когда-нибудь я тебе расскажу о себе. А пока — посмотрим на вещи с другой стороны. Мы оба хотим бороться с красными. Тут мы сходимся. Сегодняшний американский рабочий настроен против коммунизма, потому что он распропагандирован — мною, тобою, прессой, радио, церковью, всеми, кому не лень. Но его антикоммунизм — одни эмоции и сантименты. И это замечательно, потому что на чувствах легче играть. Легче каждый день подбрасывать новую фальшивку, чем доказывать преимущества капитализма... Так обстоят дела сейчас. А завтра? Что будет, когда Американская мечта опять обернется Американским кошмаром? Что будет, когда разразится очередной кризис? Пока у нашего Трудяги Джо набито брюхо и баба под боком, никакая правда не устоит перед красивым враньем. Но когда ему хочется есть, он начинает чесать в затылке: на самом ли деле капиталистическая система — большая мамкина сиська, как о том талдычут газеты? Вот почему именно сейчас развертывается большое наступление на коммунизм. И это только начало, смею тебя заверить. А чем заняты наши с позволения сказать рабочие лидеры? Ну да, они стараются попасть в струю, в том числе и в профсоюзах, которые организовали коммунисты. Хлопочут почище президента Торговой палаты, пристраиваются к предпринимателю вместе с газетчиками и гангстерами, с церковниками и прочей публикой. Точь-в-точь, как наш Келли.

Но вот когда по-настоящему будет жарко, тогда работяга призадумается, хотя ему нож острый — шевелить извилиной. И если к тому времени у нас не будет надежного и боевого с виду руководства, он переметнется к красным. Бог ты мой, до чего же они топорно работают! Никак не хотят усвоить, что американский рабочий класс еще молод и анархичен. Но коммунисты скоро наберутся ума-разума, и трудящемуся человеку, судя по всему, останется один-единственный выбор: либо красные, либо собственные мерзавцы — нынешние рабочие вожаки.

— И ты хочешь устроить что-то вроде короткого замыкания? Взять власть?

— Именно! И ты этого хочешь... Понимаешь, это даже не фашизм будет. Что-то совершенно новое... Но вообще-то...— голос у Хаска зазвучал беззаботно и весело.— Не исключено, что мы проиграемся в пух и прах.

— Ты так говоришь, будто тебе безразлично,— удивился Ландерс.

— Мне и в самом деле безразлично,— ответил Хаск таким тоном, словно разыграл хороший спектакль.— Левые или правые, победа или поражение — все одно и то же.

— Зачем же тогда стараешься?

— Как тебе сказать...— Хаск пожал плечами.— Может, от скуки, не знаю. Люблю, когда каша заваривается.

— А не потому, что ты как-никак наследник богатого лесопромышленника?

— Может быть,— равнодушно отозвался Хаск.— Какая разница? — Он иронически усмехнулся.— Нет, я тебе все-таки объясню. Это вытекает из моей философии. Философии Активизма — так бы я ее назвал. Я хочу участвовать в сотворении нового человека. Такого, который не знает, кто он и зачем. Ему неважно, что он делает, поскольку ни смысла, ни цели в жизни нет.

— Ну, это уже нигилизм,— растерянно произнес Ландерс.— Не морочь мне голову.

— Я не признаю этого понятия — «нигилизм»,— рассмеялся Хаск.— Нет, правда, когда копнешь поглубже, понимаешь, что мотивы человеческого поведения ровным счетом ничего не значат. О человеке судят по его поступкам, а не мотивам. К сожалению, настоящих-то людей в мире мало. Они не хотят меняться. А для того, чтобы жить по-настоящему, надо каждый день создавать самого себя заново. Нужны поступки. Чем произвольнее поступок, тем лучше. Сделай что-нибудь невообразимое, оторвись от этого стада, человечества,— будешь бессмертным.

— Оторваться от человечества — иными словами предать его? — тихо спросил Ландерс.

— Если предашь человечество, оно обоготворит тебя,— заявил Хаск.— Но это невозможно. Люди тупы, их существование ничего не значит. Адам и Ева предали будущие поколения, но только потому, что был бог. Без бога нет предательства. А бог, как известно, умер.

— Нет, я решительно с тобой не согласен. И идеи твои не разделяю. Но на собрании я буду,— сказал, помолчав, Ландерс.

— Вот и хорошо,— сказал Хаск.— А соглашаться со мной не обязательно — пока не обязательно. Я потом призову тебя, будешь моим первым апостолом.

Ландерс выдавил жалкую улыбку, протянул руку и вышел из бара Хаск не спешил встать из-за стола — он размышлял. Отлично: его план начал действовать. Он чувствовал, как в нем прибывают жизненные силы, происходит обновление, как он становится другим, не похожим на себя человеком.

Среда, 9 вечера

К девяти вечера все мы сделались, как тени в тумане. Незаметным образом собрание соскользнуло в другое измерение, в область сновидений, в новые, непривычные нам условия бытия. Мы словно попали в зазеркалье, где все не как в жизни: здесь противоречия не приводят к переменам, здесь совсем другие, невидимые законы движения, и сам ты медленно расплываешься мелким подводным течением.

Я не знаю, почему собрание пошло так, а не иначе. Начали мы ровно в восемь, как и условились, но еще целых полчаса люди тянулись в зал — возбужденные, сияющие, как пригоршни новеньких десятицентовиков. Все шло по плану, и я нисколько не обеспокоился, когда Барни, перегнувшись ко мне, сказал:

— Смотри, кто пожаловал!

— Кто?

— Троцкист Ландерс, небезызвестная фигура, и его клика — профсоюзники из Католической ассоциации.

Я повернулся. Они рассаживались согласно правилам их парламентской деятельности — ромбом: несколько человек в передних рядах, несколько — в задних, двое-трое по краям — в средних. Когда один поднимается и вносит какое-нибудь предложение, они разом подают голос, и создается впечатление, будто вся аудитория поддерживает говорящего.

— Неплохо придумано, а? — сказал Барни.

Я был спокоен. Мы хорошо поработали с народом и в Манхэттене, и в Бруклине, нам удалось привлечь двоих из Джерси, и мы даже надеялись, что кое-кто оттуда войдет в комитет.

Зал был не из лучших — тесный, плохо освещенный, и от табачного дыма в нем стало мрачно и убого. Окна растворили настежь, и все равно духота стояла, как под чайным колпаком.

— Чего они тянут, пора начинать,— сказал я. Часы показывали половину десятого.

— Не гони,— улыбнулся Барни и добавил, кивнув в сторону бокового прохода: — Вон Тони уже на трибуну топает.

На сцену взошел невысокий итальянец, который выступал в ячейке. Его избрали председателем подготовительного комитета, объяснил он и рассказал, зачем созвано собрание и чего мы добиваемся.

— Теперь комитет слагает свои полномочия,— закончил он.— Давайте изберем председателя собрания. Какие будут кандидатуры?

Кто-то позади меня выкликнул имя Брайана Мансона. Я даже не заметил, когда он пришел, начал искать его глазами — он сидел сзади, через несколько рядов, почти у самой стены. В этот момент поднялся Ландерс и толкнул эффектную речугу, смысл которой сводился к тому, что Брайан Мансон — замечательный человек, однако не слишком ли он симпатизирует коммунистам и не бросит ли это тень на будущий комитет. В задних рядах непонятно почему завязалась драка. В конце концов Тони кое-как утихомирил собравшихся. Я удивился, что Брайан не взял самоотвод. Были и другие предложения, потом подвели черту, началось голосование. Почти единогласно прошел Брайан Мансон. Шагая к сцене, он подмигнул мне. В нем трудно было узнать того человека, который позавчера кормил на крыше голубей.

Тони спустился в зал и сел рядом со мной. От бедняги несло потом.

— Господи Иисусе,— зашептал он мне.— Ну, разошлись, никакого сладу. Поберегли бы лучше силенки для пикетов.

— Понял народ, что здесь можно говорить что хочешь,— сказал Барни.— Ты что, не видел, как в некоторых отделениях собрания проводят? Как по нотам разыгрывают.

— Видеть-то я видел,— шепотом возражал Тони.— Но если каждый будет разглагольствовать, сколько ему захочется, мы и через месяц комитет не изберем.

Мансон с трудом сдерживал желающих выступить. Получив слово, люди говорили о чем угодно, только не о деле. Чего мы только не услышали! Автобиографии, сетования на трудную жизнь, краткие истории массового рабочего движения, анализ причин забастовки и ее прогнозы, моленья ниспослать Келли семь черных лет, сальные анекдоты, сообщения о ценах на предметы первой необходимости, потешные байки, доморощенные теории мирового экономического развития, рассуждения об очередных президентских выборах, информацию из якобы достоверных источников о том, что происходит на Уолл-стрите, воспоминания о старом добром времени.

Мне казалось, что нас понемногу уносит в страну Фантазию. Даже зал постепенно терял реальные очертания. В спертом воздухе висел табачный туман, расплывались лица; те, кто вставал с мест в дальних концах зала, колыхались, словно подводные растения.

— Мне вот что хотелось бы знать,— донесся до меня голос Конна-Парохода.— Кто же они, эти волшебники и чародеи? — Он обозревал деяния профсоюзных лидеров, выдающих себя за подлинных рабочих вожаков, но говорил о них в выражениях, заимствованных из черной магии. Его личико постаревшего ребенка возникло над трибуной совершенно неожиданно, и он заговорил густым трубным голосом, который не очень отличался от потусторонних, загробных голосов на спиритических сеансах.

Останови же его, ради бога, останови! — молил я про себя.

— Слово предоставляется Джиму Кейсу,— объявил Мансон, и я немного успокоился, вспомнив, как хорошо отзывался он о Кейсе. Если тот действительно порядочный парень, нам повезло: его только что избрали в комитет.

— Здесь, в этом зале, я буду говорить о погибших,— начал он. Это был худощавый, чрезвычайно серьезный человек со сверкающими глазами. Едва он заговорил, как перед моим мысленным взором почему-то возник образ человека, которого нашли на джерсийском берегу в бочке с бетоном. Неторопливо сеет дождь и не собирается кончаться.

О чем это он? — спрашивал я себя. А Кейс уже говорил о другом, о чьем-то детстве, и его рассказ, вбирая в себя коллективный опыт, вырастал до масштабов мифа: игрушечная тележка, которую не купили мальчугану, девчонка, в которую он влюбился в старшем классе, голоса взрослеющих людей. За окнами хлестал ветер, а здесь в зале стояла мертвая, напряженная тишина.

Я больше не слышал Кейса, не слышал, что он говорит, а только чувствовал, что чувствует он сам. Его голос отдавался у меня в ушах, как звук чего-то такого, что находится вдали или глубоко под водой, как что-то далекое и в то же время близкое, отчетливо слышимое. Сквозь пелену дыма я видел, как поворачиваются к Кейсу лица людей, точно выброшенный на отмель топляк во время отлива. Как стягивает их течение, и сливает в шепотки одобрения, и разводит потом в каком-то полусонном, подводном танце, а голос Кейса продолжает звучать, словно фонограмма сновидения, и когда в этом звуковом потоке мне удавалось различить слово или образ, я чувствовал, что речь его становится все бессвязнее и сумбурнее, теряет логическую форму под напором фантазии, и вот уже казалось, будто весь зал, задернутый пеленой дыма, закружился под тусклыми огнями, а снаружи пронзительно, как одинокая чайка на топком берегу, плакал ветер, и откуда-то издали, из темени, вроде бы донеслись крики.

Я так и не разобрался до конца, что же говорил Кейс — скорее всего это была наша общая, собирательная биография, такая же запутанная и изломанная, как человеческая жизнь, рассказываемая

усталым хрипловатым голосом и уснащенная дерзкими и непривычными образами. Ему не дали закончить ее. Послышавшиеся мне крики вдруг раздались совсем рядом. Кричали люди, которые заблокировали выход на одной стороне зала и теперь растекались по нему — кто направо, кто налево. У некоторых в руках были дубинки.

Народ оцепенел от неожиданности, а налетчики тем временем завладели сценой и опоясали дугой задние ряды. Повскакивали с мест и те, кто пробрался в зал заранее, а через двери продолжало прибывать подкрепление. Кто-то из сидевших с краю кинулся к выходу, стараясь прорваться на лестницу, за ним другие, началась давка. Через минуту все перепуталось, перемешалось, и в общей свалке уже нельзя было разобрать, кто свой, кто чужой.

Я изо всех сил старался продраться вперед на подмогу Мансону. Отступая к стене, он отбивался от двоих. Перевалившись через помост, я дернул одного за ноги. Он грохнулся на пол, попытался встать, но я ударил его, и он затих. Я видел, как упал Барни Ласт и как прошмыгнул мимо Ландерс, но в этот момент кто-то стукнул меня пониже затылка, и я повернулся, почти оглушенный, чтобы дать сдачи. Несколько человек теснили меня, а я старался держаться спиной к стене, защищаясь от ударов. Меня прижали к окну, я услышал, как хрустнуло стекло, посыпались осколки, и почувствовал теплый ручеек крови за воротом. Увертываясь от кулаков, я откинулся назад, осколки снизу впились мне в спину, вот-вот разрежут пополам. Казалось, на меня что-то давит со всех сторон, как тогда, в танке. Крышка захлопнулась, и я заорал истошным голосом, ожидая, что вот-вот просочится внутрь пламя, забился, как сумасшедший, и, полуобернувшись, отплевывая кровь, увидел восемнадцатиметровый провал улицы и островерхую железную ограду внизу, точно ряд выставленных штыков. Я чувствовал, как меня холодным огнем обливает пот и во рту жжет противный, жестяной ужас. Еще секунда, и я полечу вниз. Я уже физически ощущал кошмар падения и ожидания того страшного мгновения, когда пики на ограде вонзятся мне в тело. Меня всего скрутило внутри, словно кто-то направил мне в самый пах пламя газовой горелки. В долгом, как падение с восемнадцатиметровой высоты, забытьи, я слышал, что опять кричу, и тут же напор внезапно ослаб, я распрямился, не понимая, как остался в живых, и увидел, что один из тех, кто выталкивал меня в окно, лежит на полу, а другого исступленно колошматит бледный как смерть Блэки Кармоди. Толпа растащила нас в разные стороны и понесла меня из зала — вместе с этим, вторым, и я бил его, бил, не переставая, ничего не соображая, пока он не потерял сознание, но не упал, потому что нас зажало со всех сторон,— из зала и вниз по грохочущим ступеням сквозь пыль и гам, и вышвырнула на метущий по улице осенний завывающий ветер, пронизанный сиренами приближающихся полицейских машин.

(Окончание следует)

ЗЛОБИН ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ (род. в 1927 г.)

Литературный критик, публицист, переводчик. Автор книг «Современная драматургия США. Критический очерк» (1965, 1968), «По ту сторону мечты. Страницы американской литературы XX в.» (1985) и многих статей по проблемам зарубежной литературы. В его переводе публиковались произведения Э. По, Дж. Лондона, Дж. Голсуорси, Т. Уильямса, Дж. Джонса (роман «Только позови», «ИЛ», 1982, № 7—9) и др. англоязычных писателей. С 1961 года — ответственный редактор критико-библиографического сборника «Современная художественная литература за рубежом». Заслуженный работник культуры РСФСР.

ЖАН-ПОЛЬ САРТР

Стена

РАССКАЗ

Перевод с французского Л. ГРИГОРЬЯНА

Нас втолкнули в просторную белую комнату. По глазам резанул яркий свет, я зажмурился. Через мгновение я увидел стол, за ним четырех субъектов в штатском, листающих какие-то бумаги. Прочие арестанты теснились в отдалении. Мы пересекли комнату и присоединились к ним. Многих я знал, остальные были, по-видимому, иностранцы. Передо мной стояли два круглоголовых похожих друг на друга блондина, я подумал: наверно, французы. Тот, что пониже, то и дело подтягивал брюки — явно нервничал.

Все это тянулось уже около трех часов, и я совершенно отупел, в голове звенело, но в комнате было тепло, и я чувствовал себя вполне сносно: целые сутки мы тряслись от холода. Конвойные подводили арестантов поодиночке к столу. Четыре типа в штатском спрашивали у каждого фамилию и профессию. Дальше они в основном не шли, но иногда задавали вопрос: «Участвовал в краже боеприпасов?» или: «Где был и что делал десятого утром?» Ответов они даже не слушали или делали вид, что не слушают, молчали, глядя в пространство, потом начинали писать. У Тома спросили, действительно ли он служил в интернациональной бригаде. Отпираться было бессмысленно — они уже изъяли документы из его куртки. У Хуана не спросили ничего, но как только он назвал свое имя, торопливо принялись что-то записывать.

— Вы же знаете,— сказал Хуан,— это мой брат Хозе — анархист. Но его тут нет. А я политикой не занимаюсь и ни в какой партии не состою.

Они молча продолжали писать. Хуан не унимался:

— Я ни в чем не виноват. Не хочу расплачиваться за других.— Губы его дрожали. Конвойный приказал ему замолчать и отвел в сторону. Настала моя очередь.

ЖАН-ПОЛЬ САРТР — JEAN-PAUL SARTRE (1905—1980)

Французский писатель, философ, публицист, драматург. Автор романа «Тошнота» («La nausée», 1938), трилогии «Дороги свободы», куда вошли романы «Зрелый возраст» («L'âge de raison», 1945), «Отсрочка» («Le sursis», 1945), «Смерть в душе» («La mort dans l'âme», 1949), автобиографической повести «Слова» («Les mots», 1964), сборника рассказов «Стена» («Le mur», 1939), ряда пьес, философских трудов «Бытие и ничто» («L'être et le néant», 1943), «Критика диалектического разума» («Critique de la raison dialectique», 1960), книг «Бодлер» («Baudelaire», 1947), «В семье не без урода. Гюстав Флобер с 1821 по 1837 год» («L'Idiot de la famille. Gustave Flaubert», 1971), книги критических и публицистических статей «Ситуации» («Situations», v. 1—7, 1947—1965) и др. произведений. В «Иностранной литературе» напечатаны его пьесы «Лиззи» (1955, № 1), «Дьявол и господь бог» (1966, № 1), статьи и выступления.

Рассказ «Стена» взят из одноименного сборника («Le mur». Paris, Editions Gallimard, 1939).

— Ваше имя Пабло Иббиета?

Я сказал, что да. Субъект заглянул в бумаги и спросил:

— Где скрывается Рамон Грис?

— Не знаю.

— Вы прятали его у себя с шестого по девятнадцатое.

— Это не так.

Они стали что-то записывать, потом конвойные вывели меня из комнаты. В коридоре между двумя охранниками стояли Том и Хуан. Нас повели. Том спросил у одного из конвоиров:

— А дальше что?

— В каком смысле? — отозвался тот.

— Что это было — допрос или суд?

— Суд.

— Ясно. И что с нами будет?

Конвойный сухо ответил:

— Приговор вам сообщат в камере.

То, что они называли камерой, на самом деле было больничным подвалом. Там было дьявольски холодно и вовсю гуляли сквозняки. Ночь напролет зубы стучали от стужи, днем было ничуть не лучше. Предыдущие пять дней я провел в карцере одного архиепископства — что-то вроде одиночки, каменный мешок времен средневековья. Арестованных была такая прорва, что их совали куда придется. Я не сожалел об этом чулане: там я не коченел от стужи, хотя был один, а это порядком выматывает. В подвале у меня по крайней мере была компания. Правда, Хуан почти не раскрывал рта: он страшно трусил, да и был слишком молод, ему нечего было рассказывать. Зато Том любил поговорить и к тому же знал испанский отменно.

В подвале были скамья и четыре циновки. Когда за нами закрылась дверь, мы уселись и несколько минут молчали. Затем Том сказал:

— Ну все. Теперь нам крышка.

— Наверняка,— согласился я.— Но малыша-то они, надеюсь, не тронут.

— Хоть брат его и боевик, сам-то он ни при чем.

Я взглянул на Хуана: казалось, он нас не слышит. Том продолжал:

— Знаешь, что они вытворяют в Сарагосе? Укладывают людей на мостовую и утюжат их грузовиками. Нам один марокканец рассказывал, дезертир. Да еще говорят, что таким образом они экономят боеприпасы.

— А как же с экономией бензина?

Том меня раздражал: к чему он все это рассказывает?

— А офицеры прогуливаются вдоль обочины, руки в карманах, сигаретки в зубах. Думаешь, они сразу приканчивают этих бедолаг? Черта с два! Те криком кричат часами. Марокканец говорил, что сначала он и вскрикнуть-то не мог от боли.

— Уверен, что тут они этого делать не станут,— сказал я,— чего-чего, а боеприпасов у них хватает.

Свет проникал в подвал через четыре отдушины и круглое отверстие в потолке слева, выходящее прямо в небо. Это был люк, через который раньше сбрасывали в подвал уголь. Как раз под ним на полу громоздилась куча мелкого угля. Видимо, он предназначался для отопления лазарета. Потом началась война, больных эвакуировали, а уголь так и остался. Люк, наверно, забыли захлопнуть, и сверху временами накрапывал дождь. Внезапно Том затрясся:

— Проклятье! — пробормотал он.— Меня всего колотит. Этого еще не хватало!

Он встал и начал разминаться. При каждом движении рубашка приоткрывала его белую мохнатую грудь. Потом он растянулся на

спине, поднял ноги и стал делать ножницы: я видел, как подрагивает его толстый зад. Вообще-то Том был крепыш и все-таки жирноват. Я невольно представил, как пули и штыки легко, как в масло, входят в эту массивную и нежную плоть. Будь он худощав, я бы, вероятно, об этом не подумал. Я не озяб и все же не чувствовал ни рук, ни ног. Временами возникало ощущение какой-то пропажи, и я озирался, разыскивая свою куртку, хотя тут же вспоминал, что мне ее не вернули. Это меня огорчило. Они забрали нашу одежду и выдали полотняные штаны, в которых здешние больные ходили в самый разгар лета. Том поднялся с пола и уселся напротив.

— Ну что, согрелся?

— Нет, черт побери. Только запыхался.

Около восьми часов в камеру вошли комендант и два фалангиста. У коменданта в руках был список. Он спросил у охранника:

— Фамилии этих трех?

Тот ответил:

— Стейнбок, Иббиета, Мирбаль.

Комендант надел очки и поглядел в список.

— Стейнбок... Стейнбок... Ага, вот он. Вы приговорены к расстрелу. Приговор будет приведен в исполнение завтра утром.

Он поглядел в список еще раз:

— Оба других тоже.

— Но это невозможно,— пролепетал Хуан.— Это ошибка.

Комендант удивленно взглянул на него:

— Фамилия?

— Хуан Мирбаль.

— Все правильно. Расстрел.

— Но я же ничего не сделал,— настаивал Хуан.

Комендант пожал плечами и повернулся к нам:

— Вы баски?

— Нет.

Комендант был явно не в духе.

— Но мне сказали, что тут трое басков. Будто мне больше делать нечего, кроме как их разыскивать. Священник вам, конечно, не нужен?

Мы промолчали. Комендант сказал:

— Сейчас к вам придет врач, бельгиец. Он побудет с вами до утра.

Козырнув, он вышел.

— Ну, что я тебе говорил,— сказал Том.— Не поскупились.

— Это уж точно,— ответил я.— Но мальчика-то за что? Подонки!

Я сказал это из чувства справедливости, хотя, по правде говоря, паренек не вызывал у меня ни малейшей симпатии. У него было слишком тонкое лицо, и страх смерти исковеркал его черты до неузнаваемости. Еще три дня назад это был хрупкий мальчуган — такой мог бы и понравиться, но сейчас он казался старой развалиной, и я подумал, что, если б даже его отпустили, он таким бы и остался на всю жизнь. Вообще-то мальчишку следовало пожалеть, но жалость внушала мне отвращение, да и парень был мне почти противен.

Хуан не проронил больше ни слова, он сделался землисто-серым: серыми стали руки, лицо. Он снова сел и уставился округлившимися глазами в пол. Том был добряк, он попытался взять мальчика за руку, но тот яростно вырвался, лицо его исказила гримаса.

— Оставь его,— сказал я Тому.— Ты же видишь, он сейчас разревется.

Том послушался с неохотой: ему хотелось как-то приласкать парнишку — это отвлекло бы его от мыслей о собственной участи. Меня раздражали оба. Раньше я никогда не думал о смерти — не

было случая, но теперь мне ничего не оставалось, как задуматься о том, что меня ожидает.

— Послушай,— спросил Том,— ты хоть кого-нибудь из них ухлопал?

Я промолчал. Том принялся расписывать, как он подстрелил с начала августа шестерых. Он определенно не отдавал себе отчета в сложившемся положении, и я прекрасно видел, что он этого *не хочет*. Да и сам я покуда толком не осознавал случившегося, однако я уже думал о том, больно ли умирать, и чувствовал, как град жгучих пуль проходит сквозь мое тело. И все же эти ощущения явно не касались сути. Но тут я мог не волноваться: для ее уяснения впереди была целая ночь. И вдруг Том замолчал. Я искоса взглянул на него и увидел, что и он посерел. Он был жалок, и я подумал: «Ну вот, начинается!» А ночь подступала, тусклый свет сочился сквозь отдушины, через люк, растекался на куче угольной пыли, застывал бесформенными пятнами на полу. Над люком я заприметил звезду: ночь была морозной и ясной.

Дверь отворилась, в подвал вошли два охранника. За ними — белокурый человек в бельгийской военной форме. Поздоровавшись с нами, он произнес:

— Я врач. В этих прискорбных обстоятельствах я побуду с вами.

Голос у него был приятный, интеллигентный. Я спросил у него:

— А собственно, зачем?

— Я весь к вашим услугам. Постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы облегчить вам последние часы.

— Но почему вы пришли к нам? В госпитале полно других.

— Меня послали именно сюда,— ответил он неопределенно. И тут же торопливо добавил: — Хотите покурить? У меня есть сигареты и даже сигары. Он протянул нам английские сигареты и гаванские сигары, мы отказались. Я пристально посмотрел на него, он явно смутился. Я сказал ему:

— Вы явились сюда отнюдь не из милосердия. Я вас узнал. В тот день, когда меня взяли, я видел вас во дворе казармы. Вы были с фалангистами.

Я собирался выложить ему все, но, к своему удивлению, не стал этого делать: бельгиец внезапно перестал меня интересовать. Раньше если уж я к кому-нибудь цеплялся, то не оставлял его в покое так просто. А тут желание говорить бесследно исчезло. Я пожал плечами и отвел глаза. Через несколько минут поднял голову и увидел, что бельгиец с любопытством наблюдает за мной. Охранники уселись на циновки. Долговязый Педро не знал, куда себя деть от скуки, другой то и дело вертел головой, чтобы не уснуть.

— Принести лампу? — неожиданно спросил Педро.

Бельгиец кивнул головой, и я подумал, что интеллигентности в нем не больше, чем в деревянном чурбане, но на злодея он похож все-таки не был. Взглянув в его холодные голубые глаза, я решил, что он подличает от недостатка воображения. Педро вышел и вскоре вернулся с керосиновой лампой и поставил ее на край скамьи. Она светила скудно, но все же это было лучше, чем ничего. Накануне мы сидели в потемках. Я долго вглядывался в световой круг на потолке. Вглядывался как завороженный. Вдруг все это исчезло, круг света погас. Я очнулся и вздрогнул, как под невыносимо тяжелой ношей. Нет, это был не страх, не мысль о смерти. Этому просто не было названия. Скулы мои горели, череп раскалывался от боли.

Я поежился и взглянул на своих товарищей. Том сидел, упрятав лицо в ладони, я видел только его белый тучный загривок. Маленькому Хуану становилось все хуже: рот его был полуоткрыт, ноздри вздрагивали. Бельгиец подошел и положил ему руку на плечо: казалось, он хотел мальчугана подбодрить, но глаза его оставались

такими же ледяными. Его рука украдкой скользнула вниз и замерла у кисти. Хуан не шевельнулся. Бельгиец сжал ему запястье тремя пальцами, вид у него был отрешенный, но при этом он слегка отступил, чтобы повернуться ко мне спиной. Я подался вперед и увидел, что он вынул часы и, не отпуская руки, с минуту глядел на них. Потом он отстранился, и рука Хуана безвольно упала. Бельгиец прислонился к стене, затем, как если бы он вспомнил о чем-то важном, вынул блокнот и что-то в нем записал. «Сволочь! — в бешенстве подумал я.— Пусть только попробует щупать у меня пульс, я ему тут же харю разворочу». Он так и не подошел ко мне, но когда я поднял голову, то поймал на себе его взгляд. Я не отвел глаз. Каким-то безынтонационным голосом он сказал мне:

— Вы не находите, что тут прохладно?

Ему и в самом деле было зябко: физиономия его стала фиолетовой.

— Нет, мне не холодно,— ответил я.

Но он не сводил с меня своего жесткого взгляда. И вдруг я понял, в чем дело. Я провел рукой по лицу: его покрывала испарина. В этом промозглом подвале, в самый разгар зимы, на ледяных сквозняках я буквально истекал потом. Я потрогал волосы: они были совершенно мокрые. Я почувствовал, что рубашку мою хоть выжимай, она плотно прилипла к телу. Вот уже не меньше часа меня заливало потом, а я этого не замечал. Зато скотина-бельгиец все прекрасно видел. Он наблюдал, как капли стекают по моему лицу, и наверняка думал: вот свидетельство страха, и страха почти патологического. Он чувствовал себя нормальным человеком и гордился, что ему сейчас холодно, как всякому нормальному человеку. Мне захотелось подойти и дать ему в морду. Но при первом же движении мой стыд и ярость исчезли, и я в полном равнодушии опустился на скамью. Я ограничился тем, что снова вынул платок и стал вытирать им шею. Теперь я явственно ощущал, как пот стекает с волос, и это было неприятно. Впрочем, вскоре я перестал утираться: платок промок насквозь, а пот все не иссякал. Мокрым был даже зад, и штаны мои прилипали к скамейке. И вдруг заговорил маленький Хуан:

— Вы врач?

— Врач,— ответил бельгиец.

— Скажите... а это больно и... долго?

— Ах, это... когда... Нет, довольно быстро,— ответил бельгиец отеческим тоном. У него был вид доктора, который успокаивает своего платного пациента.

— Но я слышал... мне говорили... что иногда... с первого залпа не выходит.

Бельгиец покачал головой:

— Так бывает, если первый залп не поражает жизненно важных органов.

— И тогда перезаряжают ружья и целятся снова?

Он помедлил и добавил охрипшим голосом:

— И на это нужно время?

Его терзал страх перед физическим страданием: в его возрасте это естественно. Я же о подобных вещах не думал и обливался по́том вовсе не из страха перед болью. Я встал и направился к угольной куче. Том вздрогнул и взглянул на меня с ненавистью: мои башмаки скрипели, это раздражало. Я подумал: неужели мое лицо стало таким же серым?

Небо было великолепно, свет не проникал в мой угол, стоило мне взглянуть вверх, как я увидел созвездие Большой Медведицы. Но теперь все было по-другому: раньше, когда я сидел в карцере архиепископства, я мог видеть клочок неба в любую минуту, и каждый раз оно пробуждало во мне различные воспоминания. Утром, когда небеса были пронзительно-голубыми и невесомыми, я представ-

лял атлантические пляжи. В полдень, когда солнце было в зените, мне вспоминался севильский бар, где я когда-то попивал мансанилью, закусывая анчоусами и оливками. После полудня, когда я оказывался в тени, припоминалась глубокая тень, покрывающая половину арены, в то время как другая половина была залита солнцем; и мне грустно было видеть таким способом землю, отраженную в крохотном клочке неба. Но теперь я глядел в небо так, как хотел: оно не вызывало в памяти решительно ничего. Мне это больше нравилось. Я вернулся на место и сел рядом с Томом. Помолчали.

Через некоторое время он вполголоса заговорил. Молчать он просто не мог: только произнося слова вслух, он осознавал себя. По-видимому, он обращался ко мне, хотя и смотрел куда-то в сторону. Он, несомненно, боялся увидеть меня таким, каким я стал — потным и пепельно-серым: теперь мы были похожи друг на друга, и каждый из нас стал для другого зеркалом. Он смотрел на бельгийца, на живого.

— Ты в состоянии это понять? — спросил он.— Я нет.

Я тоже заговорил вполголоса. И тоже поглядел на бельгийца.

— О чем ты?

— О том, что вскоре с нами произойдет такое, что не поддается пониманию.— Я почувствовал, что от Тома странно пахнет. Кажется, я стал ощущать запахи острее, чем обычно. Я съязвил:

— Ничего, скоро поймешь.

Но он продолжал в том же духе:

— Нет, это непостижимо. Я хочу сохранить мужество до конца, но я должен по крайней мере знать... Значит, так, скоро нас выведут во двор. Эти гады выстроятся против нас. Как по-твоему, сколько их будет?

— Не знаю, может, пять, а может, восемь. Не больше.

— Ладно. Пусть восемь. Им крикнут: «На прицел!» — и я увижу восемь винтовок, направленных на меня. Мне захочется отступить к стене, я прислонюсь к ней спиной, изо всех сил попытаюсь в нее втиснуться, а она будет отталкивать меня, как в каком-то ночном кошмаре. Все это я могу представить. И знал бы ты, до чего ярко!

— Знаю,— ответил я.— Я представляю это не хуже тебя.

— Это, наверно, чертовски больно. Ведь они метят в глаза и рот, чтобы изуродовать лицо,— голос его стал злобным.— Я ощущаю свои раны, вот уже час, как у меня болит голова, болит шея. И это не настоящая боль, а хуже: это боль, которую я почувствую завтра утром. А что будет потом?

Я прекрасно понимал, что он хочет сказать, но мне не хотелось, чтобы он об этом догадался. Я ощущал такую же боль во всем теле, я носил ее в себе, как маленькие рубцы и шрамы. Я не мог к ним привыкнуть, но так же, как он, не придавал им особого значения.

— Потом? — сказал я сурово.— Потом тебя будут жрать черви.

Дальше он говорил как бы с самим собой, но при этом не сводил глаз с бельгийца. Тот, казалось, ничего не слышал. Я понимал, почему он здесь: наши мысли его не интересовали: он пришел наблюдать за нашими телами, еще полными жизни, но уже агонизирующими.

— Это как в ночном кошмаре,— продолжал Том.— Пытаешься о чем-то думать, и тебе кажется, что у тебя выходит, что еще минута — и ты что-то поймешь, а потом все это ускользает, испаряется, исчезает. Я говорю себе: «Потом? Потом ничего не будет». Но я не понимаю, что это значит. Порой мне кажется, что я почти понял... но тут все снова ускользает, и я начинаю думать о боли, о пулях, о залпе. Я материалист, могу тебе в этом поклясться, и, поверь, я в своем уме и все же что-то у меня не сходится. Я вижу свой труп: это не так уж трудно, но вижу его все-таки Я, и глаза, взирающие на этот труп, МОИ глаза. Я пытаюсь убедить себя в том, что боль-

ше ничего не увижу и не услышу, а жизнь будет продолжаться — для других. Но мы не созданы для подобных мыслей. Знаешь, мне уже случалось бодрствовать ночи напролет, ожидая чего-то. Но то, что нас ожидает, Пабло, совсем другое. Оно наваливается сзади, и быть к этому готовым попросту невозможно.

— Заткнись,— сказал я ему.— Может, позвать к тебе исповедника?

Он промолчал. Я уже заметил, что он любит пророчествовать, называть меня по имени и говорить глухим голосом. Всего этого я не выносил, но что поделаешь: ирландцы все таковы. Мне показалось, что от него разит мочой. По правде говоря, я не испытывал к Тому особой симпатии и не собирался менять своего отношения только потому, что нам предстояло умереть вместе,— мне этого было недостаточно. Я знал людей, с которыми все было бы иначе. К примеру, Рамона Гриса. Но рядом с Хуаном и Томом я чувствовал себя одиноким. Впрочем, меня это устраивало: будь тут Рамон, я бы, вероятно, раскис. А так я был тверд и рассчитывал остаться таким до конца. Том продолжал рассеянно жевать слова. Было совершенно очевидно: он говорил только для того, чтобы помешать себе думать. Теперь от него несло мочой, как от старого простатика. Но вообще-то я был с ним вполне согласен, все, что он сказал, наверняка мог бы сказать и я: умирать противоестественно. С той минуты, как я понял, что мне предстоит умереть, все вокруг стало мне казаться противоестественным: и гора угольной крошки, и скамья, и паскудная рожа Педро. Тем не менее я не хотел об этом думать, хотя прекрасно понимал, что всю эту ночь мы будем думать об одном и том же, вместе дрожать и вместе истекать потом. Я искоса взглянул на него, и впервые он показался мне странным: лицо его было отмечено смертью. Гордость моя была уязвлена: двадцать четыре часа я провел рядом с Томом, я его слушал, я с ним говорил и все это время был уверен, что мы с ним совершенно разные люди. А теперь мы стали похожи друг на друга, как близнецы, и только потому, что нам предстояло вместе подохнуть. Том взял меня за руку и сказал, глядя куда-то мимо:

— Я спрашиваю себя, Пабло... я спрашиваю себя ежеминутно: неужели мы исчезнем бесследно?

Я высвободил руку и сказал ему:

— Погляди себе под ноги, свинья.

У ног его была лужа, капли стекали по штанине.

— Что это? — пробормотал он растерянно.

— Ты напустил в штаны,— ответил я.

— Вранье! — прокричал он в бешенстве.— Вранье! Я ничего не чувствую.

Подошел бельгиец, лицемерно изображая сочувствие.

— Вам плохо?

Том не ответил. Бельгиец молча смотрел на лужу.

— Не знаю, как это вышло,— голос Тома стал яростным.— Но я не боюсь. Клянусь чем угодно, не боюсь!

Бельгиец молчал. Том встал и отправился мочиться в угол. Потом он вернулся, застегивая ширинку, снова сел на скамью и больше не проронил ни звука. Бельгиец принялся за свои записи.

Мы смотрели на него. Все трое. Ведь он был живой! У него были жесты живого, заботы живого: он дрожал от холода в этом подвале, как и подобает живому, его откормленное тело повиновалось ему беспрекословно. Мы же почти не чувствовали наших тел, а если и чувствовали, то не так, как он. Мне захотелось пощупать свои штаны ниже ширинки, но я не решался это сделать. Я смотрел на бельгийца, хозяина своих мышц, прочно стоящего на своих гибких ногах, на человека, которому ничто не мешает думать о завтрашнем дне. Мы были по другую сторону — три обескровленных призрака,

мы глядели на него и высасывали его кровь, как вампиры. Тут он подошел к маленькому Хуану. Трудно сказать, отчего ему вздумалось погладить мальчика по голове: возможно, из каких-то профессиональных соображений, а может, в нем проснулась инстинктивная жалость. Если так, то это случилось единственный раз за ночь. Он потрепал Хуана по голове и шее, мальчик не противился, не сводя с него глаз, но внезапно схватил его руку и уставился на нее с диким видом. Он зажал руку бельгийца между ладонями, и в этом зрелище не было ничего забавного: пара серых щипцов, а между ними холеная розоватая рука. Я сразу понял, что должно произойти, и Том, очевидно, тоже, но бельгиец видел в этом лишь порыв благодарности и продолжал отечески улыбаться. И вдруг мальчик поднес эту пухлую розовую руку к губам и попытался укусить ее. Бельгиец резко вырвал руку и, споткнувшись, отскочил к стене. С минуту он глядел на нас глазами, полными ужаса: наконец-то до него дошло, что мы не такие люди, как он. Я расхохотался, один из охранников так и подскочил от неожиданности. Другой продолжал спать, через полузакрытые веки поблескивали белки. Я чувствовал себя усталым и перевозбужденным. Мне больше не хотелось думать о том, что произойдет на рассвете, не хотелось думать о смерти. Все равно ее нельзя было соотнести ни с чем, а слова были пусты и ничего не значили. Но как только я попытался думать о чем-то стороннем, я отчетливо увидел нацеленные на меня ружейные дула. Не менее двадцати раз я мысленно пережил свой расстрел, а один раз мне даже почудилось, что это происходит наяву: видимо, я слегка прикорнул. Меня тащили к стене, я отбивался и молил о пощаде. Тут я разом проснулся и взглянул на бельгийца: я испугался, что мог во сне закричать. Но бельгиец спокойно поглаживал свои усики, он явно ничего не заметил. Если бы я захотел, то мог бы малость вздремнуть: я не смыкал глаз двое суток и был на пределе. Но мне не хотелось терять два часа жизни: они растолкают меня на рассвете, выведут обалдевшего от сна во двор и прихлопнут так быстро, что я не успею даже пикнуть. Этого я не хотел, я не хотел, чтоб меня прикончили как животное, сначала я должен уяснить, в чем суть. И потом — я боялся кошмаров. Я встал, прошелся взад-вперед, чтобы переменить мысли, попытался припомнить прошлое. И тут меня беспорядочно обступили воспоминания. Они были всякие: и хорошие и дурные. Во всяком случае такими они мне казались ДО. Мне припомнились разные случаи, промелькнули знакомые лица. Я снова увидел лицо молоденького новильеро, которого вскинул на рога бык во время воскресной ярмарки в Валенсии, я увидел лицо одного из своих дядюшек, лицо Рамона Гриса. Я вспомнил, как три месяца шатался без работы в двадцать шестом году, как буквально подыхал с голоду. Я вспомнил скамейку в Гранаде, на которой однажды переночевал: три дня у меня не было ни крохи во рту, я бесился, я не хотел умирать. Припомнив все это, я улыбнулся. С какой ненасытной жадностью охотился я за счастьем, за женщинами, за свободой. К чему? Я хотел быть освободителем Испании, преклонялся перед Пи-и-Маргалем, я примкнул к анархистам, выступал на митингах; все это я принимал всерьез, как будто смерти не существовало. В эти минуты у меня было такое ощущение, как будто вся моя жизнь была передо мной как на ладони, и я подумал: какая гнусная ложь! Моя жизнь не стоила ни гроша, ибо она была заранее обречена. Я спрашивал себя: как я мог слоняться по улицам, волочиться за женщинами, если б я только мог предположить, что сгину подобным образом, я не шевельнул бы и мизинцем. Теперь жизнь была закрыта, завязана, как мешок, но все в ней было не закончено, не завершено. Я уже готов был сказать: и все же это была прекрасная жизнь. Но как можно оценивать набросок, черновик — ведь я ничего не понял, я выписывал векселя под залог вечности. Я ни о чем не

сокрушался, хотя было множество вещей, о которых я мог бы пожалеть: к примеру, мансанилья или купанье в крохотной бухточке неподалеку от Кадиса, но смерть лишила все это былого очарования.

Внезапно бельгийцу пришла в голову блестящая мысль.

— Друзья мои,— сказал он,— я готов взять на себя обязательство — если, конечно, военная администрация будет не против — передать несколько слов людям, которые вам дороги...

Том пробурчал:

— У меня никого нет.

Я промолчал. Том выждал мгновение, потом с любопытством спросил:

— Как, ты ничего не хочешь передать Конче?

— Нет.

Я не выносил подобных разговоров. Но тут, кроме себя, мне некого было винить: я говорил ему о Конче накануне, хотя обязан был сдержаться. Я пробыл с ней год. Еще вчера я положил бы руку под топор ради пятиминутного свидания с ней. Потому-то я и заговорил о ней с Томом: это было сильнее меня. Но сейчас я уже не хотел ее видеть, мне было бы нечего ей сказать. Я не хотел бы даже обнять ее: мое тело внушало мне отвращение, потому что оно было землисто-серым и липким, и я не уверен, что такое же отвращение мне не внушило бы и ее тело. Узнав о моей смерти, Конча заплачет, на несколько месяцев она утратит вкус к жизни. И все же умереть должен именно Я. Я вспомнил ее прекрасные нежные глаза: когда она смотрела на меня, что-то переходило от нее ко мне. Но с этим было покончено: если бы она взглянула на меня теперь, ее взгляд остался бы при ней, до меня он бы просто не дошел. Я был одинок.

Том тоже был одинок, но совсем по-другому. Он присел на корточки и с какой-то удивленной полуулыбкой стал разглядывать скамью. Он прикоснулся к ней рукой так осторожно, как будто боялся что-то разрушить, потом отдернул руку и вздрогнул. На месте Тома я не стал бы развлекаться разглядыванием скамьи, скорее всего это была все та же ирландская комедия. Но я тоже заметил, что предметы стали выглядеть как-то странно: они были более размытыми, менее плотными, чем обычно. Стоило мне посмотреть на скамью, на лампу, на кучу угольной крошки, как становилось ясно: меня не будет. Разумеется, я не мог четко представить свою смерть, но я видел ее повсюду, особенно в вещах, в их стремлении отдалиться от меня и держаться на расстоянии — они это делали неприметно, тишком, как люди, говорящие шепотом у постели умирающего. И я понимал, что Том только что нащупал на скамье СВОЮ смерть. Если бы в ту минуту мне даже объявили, что меня не убьют и я могу преспокойно отправиться восвояси, это не нарушило бы моего безразличия: ты утратил надежду на бессмертие, какая разница, сколько тебе осталось ждать — несколько часов или несколько лет. Теперь меня ничто не привлекало, ничто не нарушало моего спокойствия. Но это было ужасное спокойствие, и виной тому было мое тело: глаза мои видели, уши слышали, но это был не я — тело мое одиноко дрожало и обливалось потом, я больше не узнавал его. Оно было уже не мое, а чье-то, и мне приходилось его ощупывать, чтобы узнать, чем оно стало. Временами я его все же ощущал: меня охватывало такое чувство, будто я куда-то соскальзываю, падаю, как пикирующий самолет, я чувствовал, как бешено колотится мое сердце. Это меня отнюдь не утешало: все, что было связано с жизнью моего тела, казалось мне каким-то липким, мерзким, двусмысленным. Но в основном оно вело себя смирно, и я ощущал только странную тяжесть, как будто к груди моей прижалась какая-то странная гадина, мне казалось, что меня обвивает гигантский червяк. Я пощупал

штаны и убедился, что они сырые: я так и не понял, пот это или моча, но на всякий случай помочился на угольную кучу.

Бельгиец вынул из кармана часы и взглянул на них. Он сказал:

— Половина четвертого.

Сволочь, он сделал это специально! Том так и подпрыгнул — мы как-то забыли, что время идет: ночь обволакивала нас своим зыбким сумраком, и я никак не мог вспомнить, когда она началась.

Маленький Хуан начал голосить. Он заламывал руки и кричал:

— Я не хочу умирать, не хочу умирать!

Простирая руки, он бегом пересек подвал, рухнул на циновку и зарыдал. Том взглянул на него помутневшими глазами: чувствовалось, что у него нет ни малейшего желания утешать. Да это было и ни к чему: хотя мальчик шумел больше нас, его страдание было менее тяжким. Он вел себя как больной, который спасается от смертельной болезни лихорадкой. С нами было куда хуже.

Он плакал, я видел, как ему было жалко себя, а о самой смерти он, в сущности, не думал. На мгновение, на одно короткое мгновение мне показалось, что я заплачу тоже, и тоже от жалости к себе. Но случилось обратное: я взглянул на мальчика, увидел его худые вздрагивающие плечи и почувствовал, что стал бесчеловечным — я был уже не в состоянии пожалеть ни себя, ни другого. Я сказал себе: ты должен умереть достойно.

Том поднялся, стал как раз под открытым люком и начал всматриваться в светлеющее небо. Я же продолжал твердить: умереть достойно, умереть достойно — больше я ни о чем не думал. Но с того момента, как бельгиец напомнил нам о времени, я невольно ощущал, как оно течет, течет и утекает капля за каплей. Было еще темно, когда Том сказал:

— Ты слышишь?

— Да.

Со двора доносились звуки шагов.

— Какого черта они там шатаются! Ведь не станут же они расстреливать нас в потемках.

Через минуту все стихло. Я сказал Тому:

— Светает.

Педро, позевывая, поднялся, задул лампу и обернулся к своему приятелю:

— Продрог как собака.

Подвал погрузился в сероватый полумрак. Мы услышали отдаленные выстрелы.

— Начинается,— сказал я Тому.— По-моему, они это делают на заднем дворе.

Том попросил у бельгийца сигарету. Я воздержался: не хотелось ни курева, ни спиртного. С этой минуты они стреляли беспрерывно.

— Понял? — сказал Том.

Он хотел что-то добавить, но замолк и посмотрел на дверь. Дверь отворилась, и вошел лейтенант с четырьмя солдатами. Том выронил сигарету.

— Стейнбок?

Том не ответил. Педро кивнул в его сторону.

— Хуан Мирбаль?

— Тот, что на циновке.

— Встать! — выкрикнул лейтенант.

Хуан не шелохнулся. Двое солдат схватили его под мышки и поставили на ноги. Но как только они его отпустили, Хуан снова упал. Солдаты стояли в нерешительности.

— Это уже не первый в таком виде,— сказал лейтенант.— Придется его нести, ничего, все будет в порядке.

Он повернулся к Тому:

— Выходи.

Том вышел, два солдата по бокам. Два других взяли Хуана за плечи и лодыжки и вышли вслед за ними. Хуан был в сознании, глаза широко раскрыты, по щекам текли слезы. Когда я шагнул к двери, лейтенант остановил меня:

— Это вы — Иббиета?

— Да.

— Придется подождать. За вами скоро придут.

Он вышел. Бельгиец и два охранника последовали за ним. Я остался один. Мне было неясно, что происходит, я предпочел бы, чтоб они покончили со всем этим сразу. До меня доносились залпы, промежутки между ними были почти одинаковы. И каждый раз я вздрагивал. Хотелось выть и рвать на себе волосы. Но я стиснул зубы и сунул руки в карманы: надо держаться. Через час за мной пришли и провели на первый этаж в маленькую комнату, где пахло сигарами и было так душно, что я едва не задохся. Два офицера покуривали, развалясь в креслах, на коленях у них были разложены бумаги.

— Твоя фамилия Иббиета?

— Да.

— Где скрывается Рамон Грис?

— Не знаю.

Тот, что меня спрашивал, был толстенький коротышка. Глаза его жестко всматривались в меня из-под очков. Он сказал:

— Подойди.

Я подошел. Он поднялся и посмотрел на меня так свирепо, будто хотел, чтоб я провалился в преисподнюю, и начал выкручивать мне руки. Он делал это вовсе не потому, что желал причинить мне боль, он просто играл: ему было необходимо ощущать себя властелином. Он приблизил свое лицо и обдавал меня гнилостным дыханием. Это продолжалось с минуту, и я едва удерживался от смеха. Для того, чтобы испугать человека, который сейчас умрет, нужно что-нибудь посильнее, так что тут он сыграл довольно слабо. Потом он резко оттолкнул меня и снова сел. Он сказал:

— Или ты, или он. Если скажешь, где он, будешь жить.

И все же этим типам в их галстуках и сапожищах тоже предстояло помереть. Правда, позже, чем мне, но в сущности не намного. Они выуживали из своих бумаг какие-то имена, они гонялись за людьми, чтобы посадить их или расстрелять: у них были свои взгляды на будущее Испании и на многое другое. Их деловитая прыть коробила меня и казалась комичной, они выглядели спятившими, и я не хотел бы оказаться на их месте.

Смехотворный толстяк-коротышка неотрывно смотрел на меня, похлопывая хлыстом по сапогу. Все его движения были точно рассчитаны: ему хотелось производить впечатление лютого зверя.

— Ну что, ты понял?

— Мне неизвестно, где сейчас Грис,— ответил я.— Может, в Мадриде.

Другой офицер вяло поднял руку. И эта вялость тоже была рассчитанной. Я отлично видел все их загодя продуманные приемы и поражался, что находятся люди, которым все это доставляет удовольствие.

— Мы даем вам четверть часа на размышление,— сказал он,— отведите его в бельевую, через четверть часа приведите обратно. Если будет запираться, расстреляйте немедленно.

Сволочи, они знали, что делают: я провел в ожидании ночь, потом меня заставили просидеть еще час в подвале, пока расстреливали Хуана и Тома, а теперь они намеревались запереть меня в бельевой — несомненно они подготовили эту штуку еще вчера. Они решили, что нервы мои не выдержат всех этих проволочек и я сломаюсь. Но тут они дали маху. Разумеется, я знал, где скрывается Грис. Он прятался у своих двоюродных братьев, в четырех километрах от города. Так же

хорошо я знал, что не выдам его убежище, если только они не начнут меня пытать (но, кажется, они об этом не помышляли). Все это было для меня стопроцентно ясно, не вызывало сомнений и, в общем, нисколько не интересовало. И все же мне хотелось понять, почему я веду себя так, а не иначе. Почему я предпочитаю сдохнуть, но не выдать Рамона Гриса? Почему? Ведь я больше не любил Рамона. Моя дружба к нему умерла на исходе ночи: тогда же, когда умерли моя любовь к Конче и мое желание жить. Конечно, я всегда его уважал: это был человек стойкий. И все-таки вовсе не потому я согласился умереть вместо него: его жизнь стоила не дороже моей — любая жизнь не стоит ни гроша. Когда человека толкают к стене и палят по нему, пока он не издохнет: кто бы это ни был — я, или Рамон Грис, или кто-то третий — все в принципе равноценно. Я прекрасно знал, что он был нужнее Испании, но теперь мне было начхать и на Испанию, и на анархизм: ничто больше не имело значения. И все-таки я здесь, я могу спасти свою шкуру, выдав Рамона Гриса, но я этого не делаю. Мое ослиное упрямство казалось мне почти забавным. Я подумал: «Ну можно ли быть таким болваном!» Я даже как-то развеселился. За мной снова пришли и повели в ту же комнату. У ног моих прошмыгнула крыса, это меня тоже позабавило. Я обернулся к одному из фалангистов:

— Гляди, крыса.

Конвойный не ответил. Он был мрачен, он все принимал всерьез. Мной овладело желание расхохотаться, но я сдержался: побоялся, что если начну, то не смогу остановиться. Фалангист был усат. Я сказал ему:

— Сбрей усы, кретин.

Мне показалось смешным, что человек допускает еще при жизни, чтоб лицо его обрастало шерстью. Он лениво дал мне пинка, я замолчал.

— Ну что,— спросил толстяк,— ты надумал?

Я взглянул на него с любопытством, как смотрят на редкостное насекомое, и ответил:

— Да, я знаю, где он. Он прячется на кладбище. В склепе или в домике сторожа.

Мне захотелось напоследок разыграть их. Я хотел поглядеть, как они вскочат, нацепят свои портупеи и станут с деловым видом сыпать приказами. Они действительно повскакали с мест.

— Пошли. Молес, возьмите пятнадцать человек у лейтенанта Лопеса.

— Если это правда,— сказал коротышка,— я сдержу свое слово. Но если ты нас водишь за нос, тебе не поздоровится.

Они с грохотом выскочили из комнаты, а я остался мирно сидеть под охраной фалангистов. Время от времени я ухмылялся: забавно было представлять, как они мчатся во весь опор к кладбищу. Мне казалось, что я поступил очень остроумно. Я живо представлял, как они распахивают двери склепов, приподнимают могильные камни. Я видел все это сторонним взглядом: упрямый арестант, вздумавший корчить из себя героя, солидные усатые фалангисты и люди в военной форме, шныряющие среди могил,— поистине уморительная картина. Через полчаса толстяк вернулся. Я подумал: сейчас он прикажет меня расстрелять. Остальные, очевидно, остались на кладбище. Но офицер внимательно поглядел на меня. Он вовсе не выглядел одураченным.

— Отведите его на главный двор, к остальным,— сказал он.— После окончания боевых действий его судьбу решит трибунал.

Я подумал, что не так его понял. Я спросил:

— Как, разве меня не расстреляют?

— Во всяком случае не сейчас. И потом это уже не по моей части.

Я все еще не понимал.

— Но почему?

Он молча передернул плечами, солдаты увели меня. На общем дворе толпилось около сотни арестованных: старики, дети. В полном недоумении я принялся бродить вокруг центральной клумбы. В полдень нас повели в столовую. Двое или трое пытались со мной заговорить. Очевидно, мы были знакомы, но я им не отвечал: я больше не понимал, где я и что. К вечеру во двор втолкнули дюжину новых арестантов. Среди них я узнал булочника Гарсиа. Он крикнул мне:

— А ты везучий! Вот уж не думал увидеть тебя живым.

— Они приговорили меня к расстрелу,— отозвался я,— а потом передумали. Не могу понять почему.

— Меня взяли в два часа,— сказал Гарсиа.

— За что?

Гарсиа политикой не занимался.

— Понятия не имею,— ответил Гарсиа,— они хватают каждого, кто думает не так, как они.

Он понизил голос:

— Грис попался.

Я вздрогнул.

— Когда?

— Сегодня утром. Он свалял дурака. В среду вдрызг разругался с братцем и ушел от него. Желающих его приютить было хоть отбавляй, но он никого не захотел ставить под удар. Он сказал мне: «Я бы спрятался у Иббиеты, но раз его арестовали, спрячусь на кладбище».

— На кладбище?

— Да. Нелепая затея. А сегодня утром они туда нагрянули. Накрыли его в домике сторожа. Грис отстреливался, и они его прихлопнули.

— На кладбище!

Перед глазами у меня все поплыло, я рухнул на землю. Я хохотал так неудержимо, что из глаз моих хлынули слезы.

Мы хорошо знаем драматургию Сартра, его пьесы 40—50-х годов, рожденные в осмыслении событий второй мировой войны, написанные человеком, решительно вставшим на сторону Сопротивления. Выходила у нас и автобиография Сартра «Слова» (1964) — блистательный по ясности образа и мысли образец своего жанра. Но наш читатель до сих пор не имел возможности познакомиться с «классической» прозой Сартра конца 30-х годов, которая, собственно, и сделала в глазах западного читателя Сартра — Сартром. Рассказ «Стена», давший название сборнику рассказов, вышедших в 1939 году, принес автору широкую известность.

Сказать, что Жан-Поль Сартр (1905—1980) был противоречивой фигурой, что, несмотря на свои заблуждения, он действительно крупный писатель — это, право же, общее место. Кого ни возьми, у нас все крупные западные писатели XX века — противоречивые фигуры. Нашими литературоведческими стараниями мы, можно сказать, создали международный клуб противоречивых писателей, своего рода элитарное заведение, куда случайных посетителей не пускают. В подробностях разработав методологию обнаружения противоречий (мы прибегаем к ней не без лукавства: противоречивый — значит отнюдь не пропащий), мы редко занимались анализом действительных противоречий целостной системы: человек — гражданин — художник.

Как бы то ни было, если подчиниться знакомой методологии, Сартр может занять одно из председательских мест в вышеназванном клубе: он был чемпионом всевозможных противоречий: философских, эстетических, политических — каких угодно. Он создал теорию «ангажированной литературы», призванной быть социально активной, и одновременно утверждал, что человек — «бесполезная страсть». Буржуа по происхождению, он люто ненавидел буржуазию, выставляя ее сословием «мерзавцев». В последние годы жизни Сартр был яростным «гошистом», распространял на улицах «подрывные» издания, но до конца дней остался «мандарином» французской словесности, увенчанным Нобелевской премией, от которой, как от кошмара, в ужасе отказался. Мечта стать про́клятым писателем не осуществилась. Де Голль мудро заметил: «Вольтера не арестовывают». Сартр явно недооценил про́клятый им класс.

В 30-е годы он искренне верил в то, что литература способна избавить писателя от «абсурда» жизни. Этот тезис лег в основу его романа «Тошнота» (1938). В 60-е го-

ды от этой уверенности ничего не осталось. Многие начинания Сартра не нашли продолжения. Он оборвал на полуслове большой роман «Дороги свободы», писавшийся с середины 40-х годов, и больше к нему не возвращался. «Слова» также не получили своего развития. Он ушел от экзистенциализма, но куда? В туманность эклектического бунта, «странного» коктейля марксизма и фрейдизма...

«История жизни человека, какой бы жизнь ни была, есть история неудачи»,— писал Сартр в философском трактате «Бытие и ничто» (1943). Вот хороший пример мысли-бумеранга, которая, описав широкий круг над головами озадаченных читателей, бьет неожиданно в висок своему творцу.

В чем сущность «неудачи» самого Сартра?

Конечно, эта «неудача» стоит иных удач, ибо выходит из берегов индивидуального творчества, затопляя довольно обширные пространства умозрительного пейзажа, именуемого современной западной культурой.

Противоречия Сартра — парадоксальный плод его стремления быть предельно последовательным и цельным. Серьезнее, чем кто бы то ни было, молодой, одаренный философ Сартр воспринял ницшеанскую мысль о том, что «бог умер». Бог-то умер, а литература, философия, культура делали вид, что ничего не случилось. Сартр взялся произвести философскую ревизию ценностей, развенчать скопившиеся иллюзии.

Так родился атеистический вариант экзистенциализма, основным понятием которого стал «абсурд»: глобальное противоречие между стремлением человека найти смысл жизни и «объективной» ее бессмыслицей. В холоде бытия, погруженного в абсурд, бунт оказался единственным спасением, ибо он согревает теплом разрушения. Жарко пылают корабли, подожженные Сартром, ко дну идут все традиционные идеалы.

Для того чтобы определить «человеческий удел», Сартр в середине 30-х годов обратился к литературе. В духе французских писателей-просветителей он превратил свою прозу и отчасти драму в испытательный полигон. Герои его произведений совмещают в себе субъект и объект эксперимента.

Позднее Сартр признавался: «В тридцать лет я с успехом проделал лихой фокус: описал в «Тошноте»— и, поверьте мне, совершенно искренне — горечь бесцельного, неоправданного существования... Конечно, я с а м был Рокантеном, и без всякого снисхождения я показывал через него ткань моей жизни, но в то же время я был «я», избранник, летописец ада...»

Все это спорно. Конечно, писатель не был похож на главного героя «Тошноты». Сартр нашел «тошноту» как единственно «подлинную» реакцию человека на жизнь в процессе философской рефлексии, тогда как «тошнота» (предварительно открытая Сартром) сама «нашла» Рокантена. Различие принципиально. Рокантен обнаруживал абсурдный мир, но сперва требовалось доказать абсурдность мира. В прозе Сартра эту миссию взял на себя герой рассказа «Стена».

Говоря об этом рассказе, необходимо подчеркнуть «чистоту» эксперимента, который в нем производится. Все постороннее эксперименту отсечено. Герой лишен социальной обусловленности, он просто «индивид». Правда, этот индивид является испанским анархистом и оказывает содействие республиканцам (во времена гражданской войны), однако участие героя в войне — скорее форма осуществления «пограничной ситуации». Разумеется, Сартр — убежденный противник франкизма, как и любой другой формы фашизма. Это чувствуется и в «Стене», хотя политические проблемы автор ставит на второй план. Тем не менее сам факт обращения к антифашистскому материалу говорит о многом, как бы даже предопределяет путь Сартра в Сопротивление.

Сартр предложил свой вариант решения вековечной темы литературы: человек перед лицом смерти. Он поместил своего героя Пабло в камеру смертников, которых расстреляют на следующее утро, и предоставил ему описать свои ощущения. Реакции духа тесно связаны с реакциями плоти — Сартр не боится грубого натурализма, призванного обеспечить реальность переживанию и оттенить экстремальность положения.

Второй смертник, ирландец Том, антифашист из Интернациональной бригады, живо представляет себе картину своей казни, видит, как пули входят в его тело, но он не может вообразить мир, продолжающий существовать без него, для других. Пабло согласен с ним, для него тоже смерть есть нечто «неестественное». Однако обратим внимание на то, что вслед за этим мысль Пабло делает весьма ответственный поворот. С тех пор как он приготовился умереть, ничто больше не кажется ему естественным. Предметы изменили свою фактуру, стали «жиже», пропитались смертью, и вместе с ними преобразился облик всей прошлой жизни героя. Перед лицом смерти она утратила свою привлекательность. Жизнь как бы сравнялась со смертью по своей «неестественности», и на глазах читателя совершается стремительная метаморфоза: от неприятия смерти герой приходит к неприятию жизни.

Так происходит обесценивание жизни, а этой ценою снимается вековечный жизненный трагизм. Страх смерти сводится к сугубо физиологической боязни боли и агонии, и сама жизнь раскрывается как абсурдный фарс. Претендовать на сколько-нибудь серьезную роль в ней — значит, по сути дела, противоречить жанру, выставлять себя в трагикомическом свете. Как видим, Сартр находит возможность развязать целый узел «проклятых вопросов», жертвуя для этого «всего-навсего»... жизнью.

На рассвете Пабло волнует только одно: умереть «достойно». Между тем ему предлагают выдать республиканского вожака в обмен на спасение. Почему же Пабло не выдает Гриса?

На первый взгляд отказ героя обладает определенным этическим значением, это отказ от предательства, и потому, согласно традиционному «иллюзорному» (по Сартру) сознанию, ориентированному на жизнь, его можно представить как инерцию порядочности. Здесь можно было бы вспомнить о совести и неисповедимости путей ее выражения, однако подобное толкование не согласуется с жесткими законами сартровского рассказа. Если Пабло предаст Гриса, то тем самым покажет, что дорожит жизнью (ему «придется» к ней вернуться), а, следовательно, его размышления в камере смертников не более чем самообман.

Таким образом, отказавшись от предательства, Пабло не только сохранил верность сартровскому тезису, но и своим решением упрочил его. Затем, в ясном соответствии с требованиями абсурда, герой позволил себе подшутить над франкистами: разыграл мнимое предательство. И опять-таки шутка пошла на пользу тезису. Мнимое предательство случайно оказалось подлинным. Торжество абсурда еще более упрочилось.

Пабло интересен для Сартра не как личность, обладающая «частным» взглядом на мир (такой личности просто не существует в рассказе), а как некая обобщенная модель смертника. Подлинной же героиней рассказа выступает сама «пограничная ситуация». Все остальное вторично по отношению к ней. Но достоверна ли героиня?

Чисто механистически отождествив ценность жизни с ее метафизическим смыслом, который Сартр отрицает, писатель совершает в рассказе изысканную подмену: кабинетные рассуждения потенциального смертника, то есть самого автора передаются «реальному» смертнику Пабло.

Сартр-художник в 30-е годы настороженно, недоверчиво относился к жизни, словно опасаясь, что она, как смазливая потаскушка, соблазнит его своими запретными прелестями. Стремясь отгородиться от ее чар, Сартр как в «Тошноте»», так и в рассказах сборника «Стена» направлял свои усилия на то, чтобы поймать жизнь «с поличным» на каком-нибудь отталкивающем, отвратительном моменте, а затем призвать читателя в свидетели ее непотребства.

Борьба с «иллюзиями» жизни, их отражениями в культуре велась молодым Сартром и на уровне языка. Сартр обнажает язык, борется со стилем как самозначащей ценностью. Текст составляется из лаконичных, четких, холодно-беспристрастных фраз, отшлифованных и ровных, как морская галька. Сартр сторонится пространных введений, описаний, пейзажей, портретов. Он переходит сразу к делу, ставит персонажей под беспощадно яркий свет, словно не замечая, что такое искусственное освещение часто не помогает выявить человеческий облик, а, напротив, искажает его игрою контрастных светотеней.

Сартровский герой лишен возможности выбора, ибо его поведение обусловливается не противоречивостью характера, а цельностью тезиса. Пабло вобрал в себя тезис о нелепости мира. Последовательно, он должен разочароваться в любимой женщине. Это предвиденное разочарование. Непредвиденной была бы его дальнейшая любовь к Конче. Но такая непредвиденность — табу в художественном мире Сартра. Она была бы равносильна бунту творения против творца. Творец же предусмотрительно гарантировал себе неприкосновенность. Как бы Сартр того ни скрывал, он — «бог» своих героев. Причем «бог» закона (абсурда), а не благодати. Можно ли говорить в таком случае о свободе?

Но можно ли вообще говорить о свободе героя в тезисной философической прозе? В ней не встретишь «клейких листочков» Ивана Карамазова, любящего жизнь вопреки логике, этот жанр не терпит психологичности. Своеобразие Сартра в другом. Он приковывает внимание читателя к болезненной проблеме, заставив его пройти весь путь логического постижения ее. В суете жизни современный человек редко задумывается над смыслом своего существования. Ему некогда. Он спешит производить, потреблять, развлекаться. Сартр в своей прозе по-своему обратился к темам великой литературы. Его ответы в конечном счете не удовлетворили его самого — тем более других. Однако вопросы были поставлены с такой обнаженностью, что мы не вправе не задумываться над ними.

ВИК. ЕРОФЕЕВ

■

Публицистика

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ

АНГЛИЧАНЕ И СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

Лоренс Оливье, наверное, лучший английский актер нашего века, недавно отметил свое восьмидесятилетие. Его юбилей был отпразднован на широкую ногу. Театральные критики, коллеги-актеры и другие знаменитости не скупились на похвалы, в прессе и прочих средствах массовой информации довольно подробно описывались его триумфы не только как актера, но и как режиссера, руководителя театра. Показывались старые фильмы с его участием, и два из них представили бы особый интерес для советских зрителей.

Первый — это снятый на пленку спектакль Национального театра «Дядя Ваня» в постановке Оливье с Майклом Редгрейвом, другим нашим знаменитым актером, в заглавной роли. Сам Оливье сыграл в этом фильме-спектакле роль доктора Астрова. Второй — довольно-таки старая лента под названием «Полурай». Оливье исполнил в этом фильме роль молодого советского инженера, приехавшего в Англию проследить за установкой изобретенного им гребного винта на корабле, который рабочие английского судостроительного завода строят для Советского Союза.

Надо ли говорить, что фильм этот создан во время войны, когда Советский Союз и Великобритания были союзниками. Оливье сыграл советского инженера с подлинным мастерством. Даже его акцент был безупречен, а сама роль давала простор для интересной и дружественной трактовки. Герой Оливье вызывал восхищение, корабль, который англичане строили для Советского Союза, носил название «Дружба», и чувство дружбы пронизывало весь фильм.

Но то — в военные годы, когда такие фильмы и такие чувства были возможны, популярны и широко распространены. Тогда в наших отношениях царила дружба, и советских людей можно было изображать с пониманием и сочувствием. Война рассеяла некоторые предубеждения, развенчала некоторые мифы и заставила пересмотреть ту ужасающую картину «большевистской России» после Октября 1917 года, которая создавалась стараниями нашей прессы.

Впрочем, и до войны в Англии существовал глубокий политический интерес к Советскому Союзу: многие у нас заинтересованно следили за происходящим в вашей стране, видя в ней величайший эксперимент, первое социалистическое государство, надежду на будущее. Именно таким представлялся Советский Союз миллионам английских трудящихся, пусть издалека и сквозь пелену предубеждений и лжи. Тот период 20-х и 30-х годов был также временем, когда капитализм только

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — JAMES ALDRIDGE (род. в 1918 г.)

Английский писатель, публицист, общественный деятель. Лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». На русский язык переведены многие его произведения, в том числе романы «Дело чести», «Морской орел», «Охотник», «Дипломат» (отмечен Золотой медалью Мира, 1958), «Герои пустынных горизонтов», «Последний изгнанник», новеллы. «Иностранная литература» опубликовала романы «Не хочу, чтобы он умирал» (1957, № 11), «Сын земли чужой» (1968, № 3—5), «Горы и оружие» (1975, № 1—3), «Правдивая история Лилли Стьюбек» (1985, № 12), повесть «Последний взгляд» (1978, № 12), рассказы, эссе, статьи. Публикуемая статья получена редакцией в рукописи.

что пережил самый большой кризис в своей истории и когда социализм являл собой альтернативу бесчеловечности капитализма с его нищетой, безработицей и лишениями. А когда в довершение всего на свет явился фашизм в качестве этакого последнего усовершенствования капитализма, Советский Союз оказался тем единственным обществом, которое ясно и недвусмысленно выступило против фашизма и исторически противостояло ему, тогда как все западные страны «умиротворяли» фашистов. Это коренное различие между социализмом и фашизмом стало одним из центральных вопросов внутриполитической борьбы в Великобритании и определило чувства многих англичан по отношению к Советскому Союзу.

Спору нет, в советской действительности было немало такого, что создавало проблемы для западной интеллигенции. Перегибы коллективизации, судебные процессы 30-х годов, германо-советский пакт — эти спорные моменты отпугнули многих английских интеллигентов. Даже в том грозном историческом контексте подобные события заставили многих наших деятелей культуры уйти в кусты. Но те, кто в противоречиях и трудностях рождающегося социалистического общества видел не одни только «ошибки», сохранили свою веру в новую общественную систему. Многие англичане надеялись, что именно Советский Союз, при всех его «ошибках», спасет нас от фашизма, более того, были убеждены в этом.

Итак, в позиции англичан по отношению к Советскому Союзу всегда коренился глубокий политический смысл. От многих английских солдат, воевавших в песках Египта, часто можно было услышать, что у них больше веры в Красную Армию, чем в своих командиров. Они знали, что Советский Союз будет сражаться с нацистской Германией не на живот, а на смерть до полной победы, однако не всегда были уверены в такой же бескомпромиссности своих собственных политиков и генералов.

Война открыла новую эру в отношении англичан к Советскому Союзу. Наше союзничество военных лет создало совершенно иную атмосферу, растопив льды недоверия и ненависти и окрылив тех, кто воочию убедился: новый общественный строй наконец показал, на что он способен. Не подлежит сомнению, что крутой поворот влево английских избирателей на выборах 1945 года, приведший к поражению Черчилля в зените его популярности, был обусловлен не только страданиями, перенесенными английским народом до и во время войны, и испытаниями, выпавшими на долю его солдат, но также и осознанием того, что Англия нуждается в чем-то близком социализму, в чем-то таком, что получило широкое признание в той, другой общественной системе, которая, по выражению самого Черчилля, «наголову разбила» нацистские полчища.

Отношение англичан к Советскому Союзу в послевоенные годы в значительной мере зависело от того, устоят ли они против новой волны антисоветизма. Героическая Красная Армия завоевала сердца миллионов и миллионов англичан. Но кое-кто вознамерился покончить с этим неожиданным признанием замечательного нового мира, что возник на нашем горизонте. Нет надобности вдаваться в историю «холодной войны», достаточно лишь сказать, что массированные усилия политических махинаторов в обеих главных партиях Англии, антисоветская кампания в прессе и несостоятельность наших интеллигентов, снова попрятавшихся в кусты,— все это сделало почти невозможным для простых людей преодолеть ту враждебность и страх, которые питали «холодную войну». Хотя чего, собственно, нам было бояться?

После Октябрьской революции Советский Союз неизменно изображался на страницах враждебной прессы, на карикатурах в виде звероподобного бородатого русского мужика с бомбой за спиной и надписью «Большевик» на груди. Настоящее чудовище! После второй мировой войны этот образ несколько усложнился, но идея оставалась прежней. Русские идут! Красные под кроватью! Всякий, кто «левее фонарного столба»,— подрывной элемент. Такова была атмосфера, породившая новую волну антисоветских заблуждений, которая только в последнее время пошла на убыль. «Холодная война» отравила сознание миллионов страхом перед «подрывной деятельностью». Совершенно независимо от политики, проводившейся Советским Союзом, губительное воздействие «холодной войны», маккартизма как в Америке, так и в Европе оставило глубокий-глубокий след в сознании многих англичан, сказалось на их политических убеждениях.

Каковы бы ни были ошибки, допущенные Советским Союзом в те годы, лично мне больше всего помнится его весомая и позитивная политика, связанная еще с первыми попытками запретить атомную бомбу. Советская политика с самого начала была направлена на запрет этого вида оружия. Но когда «холодная война» нагнала страху на наших деятелей культуры, мы стали свидетелями таких, например, случаев: писатель Дж. Б. Пристли, старый социалист, пишет статью для американского журнала «Кольерс» о том, какие великолепные возможности открыло бы перед советским театром гипотетическое ядерное нападение Америки на Советский Союз. Мол, наконец-то он получил бы свободу и смог поставить в условиях американской оккупации мюзикл «Парни и куколки». Это было типично для тогдашнего интеллектуального климата.

Оглядываясь назад, мы видим, что после революции молодое Советское государство пользовалось широкой поддержкой нашей интеллигенции: почти все видные английские писатели и деятели культуры были дружественно настроены по отношению к Советскому Союзу. Начальный период истории английского Общества культурных связей с СССР свидетельствует о том, что лучшие наши писатели: Шоу, Уэллс, Форстер, Вирджиния Вулф, Моэм и другие поддерживали его. Едва ли нашлась бы область культурной жизни, которая не была бы представлена в Обществе деятелями, сочувствующими новому строю, и даже прямыми его сторонниками. В известной мере это положение сохранялось

вплоть до конца войны, когда в Общество все еще входило немало выдающихся деятелей культуры. Но ветры «холодной войны» повыметали их оттуда. Сегодня в Обществе осталось лишь двое-трое таких деятелей.

Этот ущерб причинили, главным образом, пережитки европейского варианта маккартистского периода «холодной войны»; это из-за них столь многие английские интеллигенты запуганы и занимают выжидательную позицию. Те представители творческих профессий, которые дружественно относятся в наше время к Советскому Союзу, не связывая это ни с какой определенной политической концепцией, по-прежнему должны доказывать, что они не «коммунисты» и не «подрывные элементы». Вот почему они не торопятся вступать в общества дружбы, хотя были бы не прочь посетить Советский Союз и побеседовать с советскими писателями, художниками и другими деятелями культуры. Но для такой поездки они, даже при доброжелательно-критическом отношении к Советскому Союзу, как правило, нуждаются в официальном покровительстве — разрешении или, во всяком случае, молчаливом одобрении властей.

Это не столько критика, сколько простая констатация факта, притом я нисколько не хочу преуменьшить готовность многих наших видных деятелей культуры посещать Советский Союз, беседовать с советскими творческими деятелями, завязывать контакты с различными советскими общественными организациями, дискутировать, спорить, принимать участие в работе форумов — собственно, в наши дни трудно требовать от них большего. Но если посмотреть на вещи в исторической перспективе, то, по сравнению с широкой поддержкой, которую оказала английская творческая интеллигенция Советскому Союзу первых послереволюционных лет, нынешняя ситуация весьма нелестно характеризует наш интеллектуальный климат. Особенно это касается писателей. И виноват в этом отнюдь не Советский Союз: ведь в те далекие дни «большевиков» изображали такими же страшными и опасными людьми, как и в годы «холодной войны». Виноват английский интеллектуальный климат.

Хотя порожденная «холодной войной» враждебность проникла во все поры нашего общества, организаторы «холодной войны» так и не смогли достичь главной своей цели — привить английскому народу чувство ненависти к Советскому Союзу. Если позиции творческой интеллигенции определялись воздействием страха, то простые люди, сколько им ни внушали, что за «железным занавесом» простирается «империя зла», до конца в это так и не поверили. Сотни шпионских книжек (некоторые из них принадлежали перу выдающихся английских писателей) сыграли не последнюю роль в этой попытке запугать наш народ, заставить его уверовать, будто Советский Союз — беспощадная держава, засылающая повсюду шпионов. Пожалуй, авторы подобных книжонок нанесли — и по сей день продолжают наносить — ужасный вред.

Итак, предубеждения, пропаганда сделали свое дело. Тем не менее истина гласит, что, сколько ни дави на людей, они поддаются нажиму лишь до определенного предела. Тред-юнионы и лейбористская партия также были заражены духом «холодной войны», однако некоторые парламентарии-лейбористы, профсоюзные деятели и рядовые труженики просто-напросто не пожелали отказываться от своих симпатий, несмотря на давление и политические угрозы, которые сплошь и рядом доставляли им немало неприятностей. Кое-кто терял из-за своих политических симпатий друзей, многие терпели всяческие беспокойства; иной раз от того, как вы относитесь к Советскому Союзу, зависело, сохраните ли вы свою работу. Противнику СССР ничто не грозило, сторонник же часто подвергал себя серьезному риску.

Последовательная советская политика в области ядерного разоружения всегда выбивала почву из-под ног недоброжелателей Советского Союза. Еще десять лет назад голос миролюбивой советской политики почти не был слышен в Англии. Хотя эта политика проводилась и тогда, ее с такой легкостью извращали или же замалчивали, что долгие годы только те, кто считал своим долгом поддерживать мирные усилия Советского Союза, имели верное представление об этих усилиях. На первых порах Движение за ядерное разоружение отказывалось поддерживать советскую политику. Оно занимало позицию равного осуждения США и СССР, какие бы предложения об избавлении человечества от ядерного оружия СССР ни выдвигал.

Однако по мере того, как английский народ все больше осознавал уязвимость своего положения, вопрос о ядерном оружии, размещенном на британской земле, превратился в насущную политическую проблему, и настойчивость советских мирных инициатив сказалась на отношении простых англичан к Советскому Союзу. Лейбористская партия в конце концов пришла к своей антиядерной политике, опираясь на укоренявшееся в массах англичан понимание того, что без ядерного оружия мы будем в лучшем положении, так как Советский Союз в действительности нам не угрожает. Но и при этом руководству лейбористской партии часто недоставало энтузиазма или убежденности, чтобы подхватить советские предложения.

Последствия встречи в Рейкьявике и многократные изъявления доброй воли со стороны Михаила Горбачева, выраженная им готовность идти на уступки на любых уровнях решения проблем ядерного оружия и европейских оборонительных систем — все это привело в последнее время к сдвигу в общественном мнении. Надо сказать, что благодаря этой открытой политике мира отношение англичан к Советскому Союзу претерпело за минувший год разительную перемену. Эту политику невозможно замолчать. Наша пресса по-прежнему пытается напустить туману, но рано или поздно правда о советских предложениях, ясных и недвусмысленных, дойдет до каждого.

В силу того, что Советский Союз выдви-

гает четкие предложения и при каждой возможности делает их достоянием мировой печати, советская внешняя политика наконец-то стала открытой книгой для большинства англичан, и это в корне меняет дело.

Разумеется, невозможно отделить познания англичан о Советском Союзе от чувств, которые они питают к Советскому Союзу. Поэтому в их отношении к вашей стране дружелюбие всегда смешано с неведением, восхищение — с замешательством. Советские достижения в исследовании космоса становятся известны, несмотря на все «железные занавесы», воздвигаемые нашей прессой, несмотря на все ее старания преуменьшить успехи СССР по сравнению с любым, пусть самым незначительным, достижением США в этой области. А успехи Советского Союза в космосе лишили злопыхателей возможности повторять многие старые домыслы о пресловутом научно-техническом отставании социалистического общества от капиталистического. Ведь часть нашей прессы до сих пор твердила, будто оно застряло еще на этапе лошади и телеги, и, что самое печальное, находились те, кто этому верил.

Ныне воцарилась совершенно иная атмосфера: Англия откликается на новую политику гласности и перестройки, которую уверенно проводит Советский Союз. Не будет преувеличением сказать, что сегодня Англия восхищена тем, что происходит в Советском Союзе. Мы изо дня в день читаем сообщения о переменах, совершаемых в ходе претворения в жизнь гласности и перестройки — оба эти емкие слова по праву вошли в английский язык.

Открытое обсуждение в условиях гласности трудных проблем подчас используется у нас как повод для возобновления старых критических выпадов против Советского Союза. Но теперь это вряд ли имеет значение. Результатом широкого отклика в Англии на ваши ошеломляющие новые подходы стало открытие некоторых истин о Советском Союзе, истин, способных выдержать проверку и критику и внушить восхищение. Наступила новая эра открытий, и то, чему мы являемся свидетелями, служит залогом невозможности поворота вспять. Предубеждения прежних лет рассеиваются, старые взгляды изживаются, и даже г-жа Тэтчер, побывавшая в Советском Союзе, заявила в июле в ответ на вопрос американских журналистов: в СССР совершаются «исторические и смелые преобразования». А после более подробного ознакомления с речами Михаила Горбачева г-жа Тэтчер подчеркнула, что, читая их, получаешь представление об «огромной решимости и смелости, о грандиозности происходящих перемен».

Конечно, гласность не изменила враждебной Советскому Союзу ядерной политики г-жи Тэтчер, не умерила ненависти британского премьера к социализму у нас в стране или где бы то ни было, но во всяком случае открыла ей глаза на необходимость сосуществования с динамичным и исполненным надежд Советским Союзом. Уже одно это — немалое достижение. В сущности, к пониманию того же приходят, каждый по-своему, рядовые англичане; в процессе перестройки и расширения гласности они видят залог грядущих перемен. Ну, а если послушать представителя интеллигенции, вот что, к примеру, писал в апреле на страницах «Таймс» Джеймс Эберл, директор Королевского института международных отношений, после своей поездки в СССР: «Ныне перед нами открываются огромные возможности. У нас есть теперь основания считать себя достаточно сильными для того, чтобы постепенно и осмотрительно переходить от политики сдерживания к политике соревнования и от конфронтации к сотрудничеству».

Таково начало этой новой эры, широко открывающей дверь для дружественных отношений. Сегодня мы можем наблюдать, как новый дух проникает во все слои английского общества. Наши политические лидеры по сей день верят в безумную концепцию ядерного сдерживания, но в конечном счете у нас произойдет переоценка политических ценностей, которая изменит это. Советская политика наносит сокрушительные удары по некоторым застарелым предубеждениям, связанным не только с ядерным оружием, но и с сопутствующим ему агрессивным типом мышления.

Маловероятно, чтобы к нашей творческой интеллигенции, в особенности к писателям, вернулось былое мужество, но во всяком случае они будут вести диалог, посещать Советский Союз, участвовать в переговорах о сохранении мира. В этой связи было бы интересно проследить, имейся у нас такая возможность, за тем, как менялась позиция, скажем, того же Лоренса Оливье с тех пор, когда он снимался в том чрезвычайно дружественном фильме военных лет, выяснить, каковы были его чувства и мысли в пору «холодной войны» и каковы они в наши дни, что думает он о нынешней ситуации. Мы этого не знаем и вряд ли узнаем. Но при всем почтении к восьмидесятилетнему актеру придется согласиться, что будущее все же не за ним. Будущее за молодыми — вот кто наша надежда. Они не настолько запуганы обвинениями в «подрывных действиях», чтобы отказаться от глубокой веры в мир без ядерного оружия. А она побуждает их ближе знакомиться с Советским Союзом. И в конце концов именно это будет определять отношение Англии к Советскому Союзу по мере того, как мы приближаемся к концу нашего трудного и опасного двадцатого столетия.

Перевод с английского В. ВОРОНИНА

◆

АНДРАШ МЕЗЕИ

РАССТАВАЯСЬ СО СТЕРЕОТИПАМИ

Позвольте вручить Вам — в качестве документа — эту статью, написанную без малого год назад и не опубликованную ни одним из наших печатных органов. «Ты это серьезно? Наивная ты душа, старина!»— так прозвучал тогда один из отказов, смысл которого я до сих пор не могу понять. Что имел в виду мой друг-редактор? Что скрывается за сопротивлением тех, кто, я уверен, в принципе рад тому же, чему и я, но полагает (хотя и не высказывается открыто): по поводу сказанного год назад Михаилом Горбачевым я радуюсь «неоправданно» и преждевременно. Вот я и предлагаю эту рукопись для публикации в качестве документа: действительно ли я был наивен? Что отражает сегодня вчерашний мой образ мыслей? В чем я был (или не был) недостаточно осмотрителен?..

В чем суть вопроса?

Разными, непохожими друг на друга лицами глядит на нас с телеэкранов этот съезд (писал я в марте 1986-го), «съездовских» лиц почти не видно. В первый же день рассеялась пелена безжизненности, мучительно ощущавшейся нами в течение долгих, бесконечно долгих лет. Ее словно выдуло в некую «форточку». Но не просочится ли она обратно? Не попытается ли замаскироваться под жизнь? Не подстроится ли под «новый стиль»? Главное, что понимаешь, глядя на лица: пелена безжизненности нескончаемого, как казалось, периода улетучилась.

Мы с чем-то расстались, что-то переломилось в нас, пусть и не окончательно. Но перелом, говоря по-научному, «манифестировался». Все прозвучавшее теперь кажется столь же простым и естественным, как выход из затяжной депрессии или избавление от головной боли. Разумеется, объективные противоречия не отпали, утихла субъективная, ничем не оправданная боль, которую мы испытывали, усматривая ересь и грех в своих же по сути благих устремлениях. Вот это-то в некотором роде шизофреническое состояние и ушло в прошлое.

Сидя у телевизора, мы ловим себя на том, что губы наши шевелятся, мы подхватываем, дополняем выступления московских ораторов: ведь и у нас есть изделия, которые после покупки целесообразно разобрать, отремонтировать и собрать заново, а уж потом использовать

© «Élet és Irodalom»

АНДРАШ МЕЗЕИ — MEZEI ANDRÁS (род. в 1930 г.)

Венгерский писатель и публицист, лауреат премии имени Аттилы Йожефа. Дебютировал в 1961 г. сборником стихов «Стесненное время» («Torlódó idö»). С тех пор опубликованы многие книги его поэзии и прозы. В последние годы, работая в еженедельнике «Элет эш иродалом», А. Мезеи выступал инициатором дискуссий по актуальным вопросам общественной и экономической жизни Венгрии. В его публицистических книгах «Неужели мы так богаты?» («Ilyen gazdagok vagyunk?»), «Венгерский Кубик» («Magyar Kocka») и др. рассказывается о судьбах научных открытий и изобретений, поднимаются проблемы «инновации», раскрытия творческого потенциала человека в социалистическом обществе.

Статья «Расставаясь со стереотипами» печатается с небольшими сокращениями по тексту «Элет эш иродалом» от 3 апреля 1987 г.

по назначению. Ведь все мы, хотя и на разных языках, говорим об одном и том же — о незаинтересованности труженика, о расточительстве. Давно уже не ощущал я ничего подобного: всех нас — от Хедешхалома до Владивостока объединяют сегодня не средства массовой информации, а нечто более сущностное. Глубинная общность. Если **у них** разбирают и вновь собирают грузовики, то **у нас** неделями стачивают припуск с болванок, отлитых в Озде с двойным запасом. Осознавая ее, эту глубинную общность, мы постигаем природу друг друга. Наша общность — и в том, что мы отрицаем, и в том, что хотели бы утвердить. Когда советский колхозник горит о своем, наболевшем, он говорит и о нашем. Подобные примеры есть и у нас, мы тоже настрадались. Так что же, неужто и я, и все мы перестанем их обсуждать, потому что это теперь обсуждается в Москве? И это в тот момент, когда утверждения вроде: «так ведь то в Советском Союзе!» или: «так ведь то в Венгрии!» — теряют силу. Когда растет сознание общности. Ибо люди, стремящиеся поправить дела в Узбекистане ли, Киеве, Москве, Будапеште или же в Диошдере, страдают практически от одного и того же.

Чему у нас несть числа?

«Но где гарантия,— слышу я опасения,— что масса «подстраивающихся» не переиначит на свой лад принципиально новое звучание XXVII съезда?» Не знаю. Знаю лишь, что XXVII съезд КПСС пошатнул позиции и наших отечественных псевдореформистов. Тех, кто всегда был готов перенять любую фразеологию, только бы ничего не менять по существу, не лишиться бюрократического всевластия. Первыми восторгаются они и по поводу выступления Горбачева. Что до меня, я настроен менее оптимистически.

Помню, с какой решительностью взялись мы в свое время за реформу, какие задержки были на этом пути, отступления и новые вспышки активности; помню, как директора неповоротливых и убыточных крупных заводов, оправившись от первого «испуга», говорили друг другу: «Не волнуйся, старик, ликвидировать нас так же трудно, как ликвидировать море». И, увы, «море» не раз побеждало. «Мертвое море». Инерция бездействия. Коллективная безответственность, берущая верх над отдельными самостоятельными и ответственными руководителями.

Недостатка в словах у нас нет.

Несть числа добрым намерениям и заверениям «улучшить дело», пускающим под откос планы поистине коренных преобразований; в основе таких намерений и заверений сплошь и рядом — нежелание реальных перемен. Несть числа ссылкам на «объективные факторы», в то время как в огромной массе своей это факторы субъективные, порожденные незаинтересованностью в обновлении.

И экономистам у нас несть числа, и юристам, множащим всевозможные положения, и так называемым писателям, обличающим действительность, а вот осуществить генеральную реконструкцию этой самой действительности никто не берется. Незыблем закон пренебрежения упрямыми фактами. Шумит ярмарка добрых намерений. По-прежнему в силе законы «гуманизма» — «отчего не проявить доброту за счет государства», «лежачего не бьют». Есть и другие законы, скажем, закон циркуляции непригодных кадров. Или закон покровительства, превращающий убыточное в доходное, а доходное, наоборот, в убыточное. Продолжает действовать, сколько бы о нем ни писали, и закон ссылок друг на друга обрабатывающих и сырьевых отраслей. И всюду, везде и во всем — закон наибольшего благоприятствования по признаку связей.

Перечисление можно продолжить: закон непротивления вышестоящему, закон подгонки фактов под принимаемые решения... Все это лишь иллюстрации и дополнительные штрихи к тому, что говорил Горбачев об инерции бездействия, о застойности, преодолеть которые необходимо и «у нас».

На кого же теперь ссылаться?

Что же теперь (писал я 11 марта 1986 года)? На кого будут ссылаться те, кто прежде, кивая в сторону Москвы, утешал нас: мол, радуйтесь и полумерам? Что изменилось от одного-единственного съездовского доклада? Не пришлось ли нам распрощаться с иллюзией «лидерства»? В какой ситуации мы оказались? Побудит ли нас эта новая ситуация к действию, перейдем ли мы от разговоров о реформе к ее осуществлению?

Думаю, общее положение о том, что половинчатое решение не решение, можно было бы уточнить, исходя из венгерского опыта, который свидетельствует: даже решение проблемы на девяносто девять процентов не является решением, если судьба произведенных ценностей зависит от последнего одного процента, например, от пассивности торговой сети, где фактор личной заинтересованности не играет никакой роли. Несмотря на принимаемые с 1978 года меры, низка и заинтересованность изобретателей. Не растет отдача от научных исследований. Дан отбой капиталовложениям в промышленности: «закрома» рентабельных предприятий опустошаются в интересах поддержания убыточных. Устарел станочный парк. Наша продукция теряет позиции на рынках не только развитых, но и развивающихся стран. Ценные сельхозпродукты мы сбываем в виде сырья с ничтожной для себя выгодой. Наш внешторговский колосс не заинтересован в успехе дела. Словом, нет «подъемной силы». Тот политический капитал, который был «авансирован» нам на международной арене, наша страна не смогла использовать с выгодой для своей экономики. И не по вине высшего руководства, а из-за тех препон, которые создаются не заинтересованной в переменах управленческой системой и на преодоление которых наши зарубежные партнеры не имеют ни времени, ни желания. Между тем люди, уставшие от бесконечных разговоров о реформе, видят, что за

частоколом слов о новом хозяйственном механизме беспрепятственно продолжает работать механизм старый, патерналистский...

Способны ли вникнуть в суть нового этапа в развитии нашей экономики все те, кто, хотя и «подстраиваются» под новые лозунги, тем не менее не желают ничего выпускать из рук? Те, кто по-прежнему хотели бы знать все, но именно поэтому, в сущности, не знают ничего. Те, кто по-прежнему хотели бы непосредственно вмешиваться всегда и во все вопросы, пусть это и нецелесообразно.

На какие только ухищрения не идут они, чтобы, принимая решения, заблаговременно убедиться, что все их действия отвечают «ожиданиям» вышестоящих руководителей. В оправдание этих людей, которые не могут, не смеют, да и не желают воспользоваться самостоятельностью, можно, однако, сказать: непосредственно материальный, личный интерес до сих пор не побуждал их брать на себя ответственность.

Московский «поворот» напоминает нам о том, что мы упустили из виду — необходимость самостоятельности в решениях и действиях. Не рыночная экономика создает анархию, а практикуемое сплошь и рядом насильственное административное вмешательство в объективные законы.

Венгерская промышленность и сельское хозяйство по сей день не используют достижения отечественной науки. Понимаю, что следовало бы оговориться: «не используют в должной мере». Но ведь это же факт, что в незавидной судьбе изобретателей, причем не только «изобретателей-одиночек», но и тех, кто занимается этим по долгу службы, изменений не наблюдается. Продолжается утечка идей в виде лицензий, и не только идей, которые мы не в состоянии использовать сами (в этом случае продажу лицензий можно приветствовать), а и тех, которые могла бы реализовать наша собственная промышленность.

Виноват ли Карл Маркс?

Структура упряма. Центральные органы управления экономикой вроде бы расстаются с властью и правом контроля за каждой мелочью, но это только с виду. Единый центр распадается на ряд центров, «воспроизводясь» на ином, более низком уровне. Спору нет, ликвидировать хронически убыточные предприятия было бы прекрасно, но кто же в сегодняшней Венгрии сможет отличить хронически убыточное предприятие от стабильно рентабельного? Кто сумеет (или посмеет) внести ясность в запутанную систему дотаций? Кто возьмется вымести сор за ворота уважаемого и авторитетного, насквозь «передового» завода?

Как-то один молодой экономист рискнул подсчитать, какой колоссальный доход получила бы наша страна, если бы мы отказали в энергии и сырье нескольким крупным предприятиям, «производящим» убытки, продолжая при этом выплачивать зарплату рабочим — только за то, чтобы они не работали и не производили бы продукцию, которая не нужна ни у нас, ни за рубежом. Не думаю, чтобы это немыслимое расточительство было секретом для наших руководителей.

В чем же наша вина? И чем виноват Карл Маркс, если весь тот вред, из-за которого он хотел исключить конкуренцию в экономике, в современных условиях не идет ни в какое сравнение с тем ущербом, который наносит нам отсутствие конкуренции. Какие «благочестивые» предрассудки рушатся на глазах, какие рассеиваются суеверия! Зато, кто знает, может, будет наконец низвержен тот субъективизм, что игнорировал объективные законы хозяйствования, правил экономикой (не говоря уже о культуре), руководствуясь принципом «тем хуже для фактов».

Еще вчера мне могло крепко достаться за то, что в своей книге «Венгерский Кубик» я осмелился выступить с критикой псевдоторговли, которая в рамках СЭВ не смогла добиться, чтобы кубик Рубика, покоривший в начале 80-х годов весь мир, был доступен рядовому покупателю в Советском Союзе. А ведь какой огромный внутрисэвовский рынок мы могли бы создать! Можно наладить процветающую прямую кооперацию, множество смешанных предприятий для разработки новых технологий и производства высококачественных товаров, рынки сбыта которых вовсе не обязательно искать на Западе — найдутся и здесь. Тогда-то и возникнет «подъемная сила». Собственно, она есть. Существует. И проявится тотчас же, как только будет заявлено во весь голос о преступности расточительства, о безнравственности той лжи, которая воплощается в завышенных ценах на сырье и товары, компенсирующих «издержки производства». Она, эта сила, проявится, если мы откажемся от насильственного изменения русла, в коем течет объективный экономический процесс. Если коммерческие отношения между хозяйственниками не будут восприниматься как «недостойные». Если никакая «идеология» не сможет заставить нас производить экономически невыгодную продукцию. Если мы не будем любой ценой защищать крупные и средние предприятия от болезней роста,— переборов их, они не только окрепнут сами, но и помогут выйти из кризиса всей национальной экономике. Если не будет позором остановить завод. Подвергнуть его санации, то есть оздоровлению. Если энергия и сырье будут расходоваться по-хозяйски. Если будут перекрыты каналы потерь. Если даже банкротство будет восприниматься не как трагедия, а как отправной момент для поисков выхода... Конечно, мы все это знали и до XXVII съезда, но теперь нам не нужно оправдываться и доказывать, что мы вовсе не собираемся «протаскивать капитализм с черного хода». Не нужно растрачивать творческую энергию в бессмысленных и унизительных псевдодискуссиях.

Все имеет начало и конец. Ожидание тягостно, но кто помнит об этом, дождавшись?

Перевод с венгерского В. СЕРЕДЫ

КЛАУС МЕНЕРТ (ФРГ)

О РУССКИХ СЕГОДНЯ. ЧТО ОНИ ЧИТАЮТ, КАКОВЫ ОНИ

Фрагменты книги

Предисловие и перевод с немецкого
АЛЕКСЕЯ ГРИГОРЬЕВА

Приоткрытое окно

«...Последнюю часть вступления я адресую русским, которые возьмут в руки мое исследование. Им я хотел бы сказать: цель книги — познакомить немцев с тем аспектом жизни вашей страны, который я считаю весьма положительным, а именно — с вашими читателями и их любимыми книгами. Как и многие русские, я родился на берегах Москвы-реки и люблю вашу литературу — от Пушкина и Лермонтова до Распутина и Айтматова. Но я отнюдь не поклонник системы, в условиях которой вы живете...»

Ну что же, откровенность лучше, чем неискренность. Тем более что в дальнейшем автор, многословно оправдывая последнюю фразу, то и дело воюет с созданными им же самим ветряными мельницами («я подразделяю людей не на классы и коллективы, а на народы и индивидуальности», «я склоняюсь к тому, чтобы видеть общее у народов, живущих при различных социальных системах, а также последовательность в развитии русских, не прерванную 1917 годом»).

В книге Клауса Менерта вообще немало откровенных признаний, в которых видишь стремление оправдаться. Перед кем? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит сначала рассказать об авторе.

В ноябре 1983 года в редакцию «Иностранной литературы» пришло письмо как бы с того света:

«Дорогие друзья! Тридцать лет назад один индийский прорицатель предсказал мне в Дели, что я проживу до 84 лет, то есть до 1990 года. Но он оказался плохим пророком. К тому времени, когда вы прочтете эти строки, меня уже не будет. Летом 1983 года врачи установили, что у меня рак печени и что конец мой близок. Вместо того чтобы предаться безделью в больнице, что могло бы добавить несколько недель к отпущенной мне жизни, я решил завершить ее тем же, чем жил, будучи здоровым: я закончил свою книгу о русских, ездил по всей Западной Германии и читал лекции в книжных магазинах с целью популяризации этой книги, писал статьи, выступал с комментариями по радио и телевидению, нередко испытывая ощущение, что у меня просто нет времени на то, чтобы умирать. Но сейчас конец приближается... Я благодарю всех вас — близких людей, друзей коллег. Прежде всего я обязан вам тем, что был счастлив. Я желаю вам всего наилучшего. И да благословит вас бог. Клаус Менерт».

Это письмо, написанное по-английски, было разослано Менертом в разные страны. На конверте, пришедшем в редакцию «Иностранной литературы», адрес был написан по-русски и на старинный манер: «г. Москва (Замоскворечье). Пятницкая улица, 41». Здесь, в Замоскворечье, в семье немца-фабриканта, и родился в 1906 году Клаус Менерт. Его деду принадлежала известная кондитерская фабрика, которая после революции получила название «Красный Октябрь». В 1914 году семья уехала в Германию, но знание русского языка, любовь к России и ее культуре Клаус Менерт сохранил на всю жизнь (разговаривая с русскими, он всегда просил, чтобы его звали по имени-отчеству: Николай Германович).

В 30-е годы Менерт был корреспондентом ряда немецких газет в Москве, а затем получил «гостевую профессуру» (политические науки) в США и Китае. После

© 1983, Deutsche Verlags-Anstalt GmbH. Stuttgart.
Klaus Mehnert. Über die Russen heute. Was sie lesen, wie sie sind. Deutsche Verlags-Anstalt.

войны, в 1949—1954 годах, он редактировал газету «Крист унд вельт», близкую к партии ХДС, в которой он состоял. Еще в 1932 году Менерт выпустил книгу «Молодежь в Советской России», в 1958 году вышел из печати его «Советский человек»; надо сказать, значительная часть опубликованных им двадцати книг посвящена нашей стране.

В 1955 году он в качестве эксперта по Советскому Союзу вошел в делегацию, прибывшую в СССР во главе с тогдашним канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром. Менерт и позднее был консультантом Бонна по различным аспектам советско-западногерманских отношений. В последний раз он побывал на своей родине летом 1983 года в составе группы журналистов, сопровождавших федерального канцлера Гельмута Коля. Итогом поездок Менерта в нашу страну в 1981—1983 годах стала его последняя книга «О русских сегодня. Что они читают, каковы они», выпущенная осенью 1983 года штутгартским издательством «Дойче ферлагс-анштальт». Она-то и послужила поводом для знакомства автора этих строк с Клаусом Менертом.

Шесть с лишним лет я работал корреспондентом ТАСС в ФРГ и, разумеется, не раз слышал о Менерте. Однажды мне попался на глаза опубликованный в газете «Крист унд вельт» большой репортаж Менерта о его очередной поездке в СССР. Сразу же поразили две вещи. Не было обязательного почти для всех западногерманских журналистов костяка нудных антисоветских штампов, прикрытого «доказующими» фактами — реальными, сомнительными, а чаще и вовсе высосанными из пальца. Было спокойное изложение личных наблюдений, были осторожные оценки (зачастую негативные, но не злобные) и был главный вывод: немцам в ФРГ необходимо кардинально пересматривать и расширять свои представления о жизни в Советском Союзе, изживать предрассудки и предубеждения против народа этой великой страны, искать с ним не только примирения, но и взаимопонимания.

Репортаж в «Крист унд вельт» побудил меня прочесть несколько книг Менерта об СССР. Конечно же, каждая из них несла на себе отпечаток своего времени, в каждой автор словно заклинание (или же молитву об «отпущении грехов») повторял, что он «против социализма», но так или иначе этот политический негативизм не выходил за определенные рамки; более того, Менерт предлагал читателям в ФРГ немало такого фактического материала о Советской стране, который был не только настоящим открытием для людей, живущих в «открытом» западном обществе, но и расшатывал политические оценки самого автора. Особенно показательна в этом плане, на мой взгляд, книга «О русских сегодня...».

Прочитав ее, я попытался созвониться из Бонна с Менертом, но в штутгартском издательстве мне вежливо и твердо отказались дать номер его телефона. Пришлось писать «до востребования». Через несколько дней все объяснил телефонный звонок Менерта: он лежал в больнице швабского городка Фройденштадт.

— Знаете, сударь мой,— говорил он своим старомодным русским языком, помосковски «а́кая»,— по причине нездоровья я принужден был сузить круг своих знакомств, но вас прошу пожаловать в любое удобное время. О многом надо бы потолковать, пока не поздно...

Менерт не сказал мне тогда о серьезности своего нездоровья; я и понятия не имел о том, что он уже разослал свое предсмертное письмо. Мы часто и подолгу беседовали по телефону и о его книге, и о нашей литературе, спорили, соглашались друг с другом, а суматошная работа корреспондента-тассовца все никак не позволяла отлучиться из Бонна на юг, в Швабию. Перед рождественскими праздниками я вновь позвонил ему. Менерт рассказал о теплом, дружеском письме из советского посольства по поводу его книги. Мы уговорились, что я приеду к нему на рождество, когда политическая жизнь в столице ФРГ замрет, но потом мне пришлось срочно вылететь в Москву по служебным делам, и мы перенесли встречу на начало нового — 1984 года.

Вернувшись в Бонн 2 января, я увидел на телетайпе агентства ДПА в тассовском бюро сообщение, начинавшееся словами: «Сегодня во Фройденштадте (Баден-Вюртемберг) в возрасте 77 лет скончался Клаус Менерт — известный публицист и политолог, большой знаток Советского Союза, Китая и США...»

Я столь подробно рассказываю о нашей несостоявшейся встрече, потому что убежден: Менерт собирался говорить о том, что́ он пережил и перечувствовал в последние годы жизни; о том, что, сохранив ностальгическую любовь к своей родине, он отказался от некоторых конъюнктурных и расхожих политических суждений и поспешных идеологических оценок, не найдя, правда, им замены (свидетельство тому — книга «О русских сегодня...»). В последнем нашем разговоре он обронил примечательную фразу: «Я — не блудный сын, но кто-то вроде него...»

О замысле самой книги Менерт рассказывает в приводимом ниже вступлении. Начав в 1981 году работу над ней, он сам выбрал населенные пункты СССР, которые решил посетить, намереваясь провести среди работников библиотек и книжных магазинов опрос о читательских симпатиях и предпочтениях. В итоге своих поездок он составил следующий список из двух десятков имен: Ф. Абрамов, В. Астафьев, Ч. Айтматов, В. Белов, Ю. Бондарев, В. Быков, А. и Г. Вайнеры, Б. Васильев, Н. Думбадзе, И. Ефремов, А. Иванов, В. Липатов, Г. Марков, Ю. Нагибин, В. Пикуль, П. Проскурин, В. Распутин, Ю. Семенов, К. Симонов, В. Солоухин, А. и Б. Стругацкие, Ю. Трифонов, А. Чаковский, В. Шукшин. За списком «лидеров» — список «преследователей»: А. Адамов, М. Алексеев, А. Алексин, А. Ананьев, В. Богомолов, Ю. Герман, О. Гончар, Д. Гранин, И. Грекова, В. Закруткин, С. Залыгин, Ф. Искандер, В. Каверин, Ю. Казаков, В. Кетлинская, А. Коптяева, А. Крон, П. Нилин, А. Рыбаков, С. Сартаков, И. Стад-

нюк, В. Тендряков, Г. Троепольский. Стоит упомянуть и оговорку Менерта, что свое исследование он посвятил лишь современной прозе на русском языке, не касаясь ни поэзии, ни драматургии. По той же причине он не включил в подробный обзор и советскую классику, равно как и зарубежную литературу.

Конечно же, есть в его перечнях нечто от торопливости и прямолинейности спортивных таблиц, но надо учитывать, что читатель, которому адресована книга, в подавляющем большинстве своем и произведений этих авторов не читал, и имен-то их не слышал. И потому Менерт, обозначив рамки своего исследования, с немецкой обстоятельностью повествует о каждом из двадцати четырех «своих» авторов, классифицируя их книги по тематике, месту и времени действия, а также рассказывает о своих беседах и переписке с ними.

Мюнхенская газета «Зюддойче цайтунг» как-то писала о Менерте, что «его сила заключалась в честном отборе фактов и нежелании поспешно их истолковывать». Он и впрямь скрупулезен в освещении фактической стороны нашего литературного, книгоиздательского, библиотечного и книготоргового дела, его работа изобилует достоверными сведениями о том, «что́ читают русские».

Что же касается «истолкования» фактов, то он «не задавался целью оценивать советскую литературу как таковую, ибо это дело специалистов». «Не уровень современной советской литературы занимал меня, а тот отсвет, который бросает она на своих читателей»,— пишет Менерт.

Нет, без истолкования фактов, без оценок и выводов Менерт, безусловно, обойтись не мог: ведь не справочник же он писал. И вот здесь нельзя не обратить внимание на то, что, открывая, вернее, приоткрывая западногерманскому читателю окно в советскую прозу наших дней, Менерт — сам изумляясь этому обстоятельству — делает немало открытий и для самого себя.

«В начале моего исследования,— пишет он в главе «Неизменная тема — война»,— когда опрашиваемые один за другим называли среди своих любимых книг военные романы, я был встревожен. Но когда я прочел эти книги, мои опасения исчезли. Они не прославляли советское вторжение в зарубежные страны и не призывали распространять коммунизм за границей. Они описывали прежде всего участие русских в оборонительной войне и призывали их к аналогичным действиям в случае нового нападения на матушку Россию... Я решусь даже назвать представленные в этой книге военные романы скорее романами антивоенными... Ни одна страна не пострадала от политики Гитлера так, как Советский Союз. Поэтому можно было бы ожидать, что авторы книг о войне станут содействовать увековечению царивших тогда антинемецких чувств. Однако от немцев, составляющих самый крупный контингент посетителей СССР с Запада (туристы, деловые люди, строители, ученые, студенты), редко слышишь о каких-либо проявлениях недружелюбия... Самые популярные русские романы о войне, на мой взгляд, способствовали в минувшие десятилетия успокоению, но отнюдь не разжиганию антинемецких чувств».

Право, не часто услышишь в ФРГ подобные высказывания о нашей литературе — такое требует немалого мужества. Книга Менерта вышла за полтора года до 40-летней годовщины разгрома фашизма, когда с небывалой силой был раскручен маховик пропагандистской машины Бонна, когда населению буквально вколачивали, ввинчивали, впихивали в головы ложь о том, «как пострадали немцы от русских, поляков, чехов, югославов», о «милитаризации духовной жизни в СССР», о «партийной обработке советской молодежи в духе ненависти» к Западу вообще и к ФРГ в частности.

И вот на этом фоне появляется книга, автор которой (разумеется, добрый христианин, гордящийся, как он подчеркивает, «своим немецким происхождением и гражданством», да еще вдобавок полуофициальный советолог, что не только у нас, но иногда и на Западе тождественно слову «антисоветчик») преспокойно пишет следующее:

«Бондарев принадлежит к поколению тех советских писателей, которые почти детьми оказались на войне и провели годы на полях сражений, в постоянной близости к смерти. В юные годы они несли на своих плечах тяжкую ответственность и потому много размышляли о самих себе и об окружающем мире. По возвращении домой они испытывали желание написать о пережитом и передуманном, дабы уберечь его от забвения...»;

«Вскоре после начала в 1941 году войны между Германией и Советским Союзом среди тысяч русских эмигрантов в китайском портовом городе Шанхае, где я тогда жил, по рукам стало ходить одно стихотворение. Оно было таким простым и далеким от политики, что быстро завоевало сердца не только тех относительно немногих русских, которые были настроены просоветски, но и куда более многочисленной эмиграции, настроенной антисоветски (а тогда это значило: прогермански). Первая строка, которая звучит рефреном в стихотворении, состоит лишь из двух слов: «Жди меня». Для миллионов русских женщин, к которым прежде всего было обращено это стихотворение, непритязательные строки выражали самое главное чувство той поры: мы будем ждать друг друга, пока не кончится война, сколько бы ни пришлось нам ждать. Имя поэта — Константин Симонов...»;

«Если бы меня спросили, кого из названных 24 писателей я считаю самым русским, ответ был бы дан незамедлительно: Василия Шукшина. Его рассказы я ценю столь же высоко, как и рассказы Антона Чехова, одного из самых моих любимых авторов...»;

«Тот факт, что Чингиз Айтматов, сын небольшого народа, живущего у китайской границы, стал одним из крупнейших писателей в СССР, может показаться иному европейцу странным, как если бы произведения какого-нибудь лапландца в течение долгих лет удерживались в списках бестселлеров на Западе (интерес к Айтматову и у нас настолько велик, что его роман «И дольше века длится день...» менее чем через год после публикации в одном московском журнале был издан отдельной книгой в ФРГ). Это, безусловно, связано с тем, что среднеазиатские советские республики за минувшие десятилетия пережили стремительное духовное развитие, а их народы обрели национальное самосознание, какого они не имели в прошлом, когда ощущали себя скорее «мусульманами», нежели киргизами, таджиками и т. д. Это национальное чувство проявляется теперь и в литературе. Человеку столь широких взглядов уже недостаточно чисто киргизского патриотизма, каким бы высоким он ни был. И потому его переполняет — если можно так сказать — патриотизм глобальный, чувство ответственности за все человечество...»

Эти и иные открытия Менерта тем более разительны, что при всей своей любви к русской культуре, при всем уважении к нашей стране он до конца дней своих оставался повязанным путами ортодоксального буржуазного мышления, которое прямо-таки требует примитивного, искаженного, приспособленного к уровню «познаний» об СССР на Западе изложения нашей истории, событий современной политической, экономической, культурной жизни. К примеру, в той же главе о литературе, посвященной Великой Отечественной войне, у Менерта можно встретить и такие сентенции: «Вряд ли кого удивит, что в Советском Союзе эту победу записывают на счет не столько русских, сколько коммунистов-русских... Русский солдат во второй мировой войне прежде всего воодушевлялся своим собственным патриотизмом, своей решимостью защищать матушку Россию от захватчиков, а вовсе не желанием навязать всему миру блага государственной экономики и коллективизированной деревни».

Можно ли не увидеть в нашей литературе отражения руководящей и организующей роли партии в спасении отечества от фашистского порабощения — и вот попытка наивным, бездоказательным приемом опровергнуть сей непреложный факт. Это — тоже Менерт. Можно ли не увидеть в нашей литературе отображения общенародного подъема в битве против гитлеровских захватчиков — и вот стремление разъять нерасторжимое единство, противопоставить «русский» патриотизм «советскому» с помощью расхожего пропагандистского штампа («навязать всему миру блага...» и т. д.). И это — тоже Менерт.

Вообще речевых оборотов, а следовательно, и оборотов мысли, которые целыми сериями выпускает пропагандистский конвейер на Западе, у Менерта немало. «Вскоре на моих полках уже громоздились советские книги, в том числе и несколько новых романов, которые, естественно, в первую очередь рассказывали о войне. Все они были написаны в строго сталинистском духе. Партия всегда была права» — это из рассуждений о литературе военного времени. «Здесь нет ничего, что хотя бы отдаленно имело отношение к классовой борьбе, к достославному сражению коллектива с индивидуальностью, к диалектическому материализму» — это из комментария к стихотворению из «Восхождения на Фудзияму» Чингиза Айтматова:

...Кто навязал нам этот спор,
Кто ниспослал нам вечный спор —
Как человеку человеком быть?..

Никак не могу избавиться от мысли, что нередко Менерт просто платит дань за свои объективные наблюдения и выводы, оправдывается за то, что приоткрыл окошко. Это особенно заметно в его ответах на некоторые попросту анекдотически звучащие вопросы: «Никто не принуждает их читать книги о войне»; русские читают «не потому, что это от них требуется, а из интереса»; «и, наконец, может быть задан еще один вопрос: не было ли устроено специально для меня в последние годы грандиозное шоу, чтобы побудить к высказанным здесь соображениям? Думаю, что нет. Книги, о которых я пишу, изданы миллионными тиражами, они не были написаны или изданы с целью меня дезинформировать. И короли бестселлеров, которые посещали меня в гостинице или принимали у себя дома,— это реально существующие люди. Чтобы человека, который говорит по-русски, свободно передвигается, может обратиться к любому собеседнику, появиться в любом книжном магазине и любой библиотеке со множеством вопросов,— чтобы этого человека сбить с толку заранее разработанной схемой читательских вкусов русских, КГБ пришлось бы отправить в командировку от Пскова на западе до Братска в Восточной Сибири сотни подготовленных сотрудников в возрасте от 18 до 80 лет, что маловероятно...»

До чего же «свободны», «независимы», «надпартийны», «открыты для всех мнений» средства массовой информации в ФРГ, коль скоро авторитетный исследователь вынужден уверять своих читателей в эдаком!

Однако гораздо чаще получается так, что честно отобранные факты не укладываются в окостенелые рамки привычного мышления,— и Менерт решается на столь же честное их истолкование. А если не решается, то просто отступает перед ними, признаваясь: «Того, что думает Кремль по поводу этих авторов, мы не знаем, но мы видим, что он считает такое направление правильным и награждает многих его представителей орденами и премиями». или: «Советскую действительность не всегда легко понять: в то время как на Западе были озабочены тем, какие последствия будут иметь для писателя его пессимизм, его ностальгия по далекому прошлому, в Советском Союзе появились первые — причем положительные — рецензии

на роман («И дольше века длится день...» Ч. Айтматова.— А. Г.), и важнейшая из них — в «Правде» за 14 января 1981 года, где она занимала почти полполосы. Рецензент не упрекал автора ни за мифологические вставки в романе, ни за упоминание сталинских времен. Единственное, притом умеренно критическое замечание по адресу писателя касалось того, что в космических главах он как бы уравнивает СССР и США, что видно уже из самого названия космической станции — «Паритет»...

Я сознательно прибегаю к обильному цитированию, чтобы дать более полное представление о книге Клауса Менерта. Перенести центр тяжести на само это исследование не оказалось возможным, поскольку основная его часть представляет собою изложение биографий 24 советских писателей и подробный пересказ их произведений. Потому и публикуются лишь фрагменты книги.

Но есть в таком цитировании — «за Менерта» и «против Менерта» — еще одна необходимость. Дело в том, что его книга вызвала некоторые отклики в нашей литературной критике, причем оценки были даны не всегда справедливо и объективно, а подкрепления их в виде цитат и вовсе не приводилось.

В статье «Будущее начинается вчера» («Литературная газета» от 15 мая 1985 года), например, говорилось: «Клаус Менерт не первый на Западе, кто удивляется тому, что память о Великой Отечественной войне не меркнет ни в сердцах советских людей, ни в советском искусстве. Объяснения, которые он дает, весьма поверхностны и проходят мимо сути дела. Менерт даже предполагает (фантастические по недомыслию предположения для человека, который долгое время считался «специалистом по русскому вопросу», «советологом»), будто советские люди потому так любят читать книги о войне, что война завершилась для них победой, и они знают, что, о чем бы ни повествовала книга, в конце концов все кончится хорошо...».

Ну, а почему, собственно, нельзя видеть в том, что страшная война, стоившая нашему народу неисчислимых жертв, завершилась победой над фашизмом, одну из причин неизменного глубокого интереса советских читателей, в особенности молодых, к военной литературе? Не представляю себе, кто и что читал бы у нас, если бы «в конце концов все не кончилось хорошо».

Всегда нелишне попытаться понять того, кто искренне пытается понять нас. Для этого необходимо вслушаться в то, что он говорит, вчитаться в то, что он пишет, а не браниться, едва он произнесет что-либо для нас неприятное.

«В разделе книги «Всегда еще война» К. Менерт, повторяя избитые, шаблонные слова о русском, а не советском патриотизме, спасшем Россию, привносит и нечто новое. Логике вопреки он стремится доказать, что русские жили во время войны лучше, чем после нее, поскольку были свободны от «бюрократических оков». Ссылаясь на произведения Ф. Абрамова («Пряслины», «Дом»), Ч. Айтматова («Прощай, Гульсары!»), К. Менерт утверждает, что герои этих произведений якобы постоянно испытывали ностальгию по военному времени. Получается, что война при всех ее «издержках» является благом для народа...» — эта оценка на страницах пятого номера журнала «Дружба народов» за 1985 год представляется наглядным образцом поспешности и в чтении и в суждениях.

Простим ее автору Вл. Борщукову школярски-буквальный перевод названия одного из разделов в книге — «Всегда еще (!?) война». Хуже то, что критик, ухватив некоторые, привычные глазу слова в рассуждениях западногерманского публициста и не дав себе труда задуматься над ходом его мысли, торопливо строит свои «разоблачительные» конструкции.

Да не «стремится Менерт доказать...» и не «утверждает, что...»! Просто читает немец, хоть и родившийся в Москве, и часто бывавший в СССР, и слывущий дома «знатоком русской души», но немец, проживший всю жизнь за пределами нашей страны, не видевший горя нашего народа в военные и первые послевоенные годы,— читает он роман Федора Абрамова «Дом» и не может никак понять:

«Не приведи бог еще раз пережить голод, который они пережили в войну и после войны, не приведи бог, чтобы еще раз вернулись те страшные времена, когда ребята всю зиму, сбившись в кучу, отсиживались на печи. И все-таки, все-таки... Никогда у них, у Пряслиных, не было столько счастья и радости, как в те далекие незабываемые дни...».

Вот этого «все-таки» он и не может взять в толк! «Ностальгия по тяжким военным и послевоенным годам, по временам страданий и голода — и все это в одном из самых популярных романов, который читают миллионы людей, по которому делают театральную постановку и инсценировку для телевидения? Странно»,— недоумевает Клаус Менерт.

Чтобы закрыть тему, приведу мнение непредубежденного и внимательного читателя книги Менерта: «...западные энциклопедисты могут помочь своему читателю всего лишь большим уважением к фактам. Таким, например, как у западногерманского публициста Клауса Менерта, далеко не все понявшего и принявшего в нашей стране, но тем не менее с добросовестностью исследователя отметившего в своей книге «О русских сегодня. Что они читают и какие они» (1983) масштабность советских романов, особый интерес к человеческой личности, свойственный им, «мощный гуманизм» советской литературы. И давшего литературно-критические портреты 24 современных советских писателей — Айтматова, Быкова, Астафьева, Распутина, Маркова, Бондарева, Нагибина, Проскурина и других, охарактеризовав их всех как писателей «международного ранга». Это из рецензии кандидата филологических наук Г. Якушевой на страницах «Правды» (31 января 1987 года).

Подведем итоги. Бесспорно, феномен, именуемый в западногерманских средствах массовой информации «ножницами в голове», не обошел своим влиянием и Клауса Менерта. Но есть в его книге и многое другое.

Есть глубокий, искренний и закономерный интерес к нашей стране. Есть редкое для буржуазного исследователя советской литературы качество — отсутствие предвзятости, отказ от стереотипов враждебности и одновременно — призыв к согражданам отказаться от такой предвзятости и враждебности. «От нас зависит, сделаем ли мы русских своими друзьями, проявляя уважение к их культурным достижениям, или же, заодно с их режимом, который мы отвергаем, огульно осудим русских и вынудим их занять позиции, от которых нам не будет ровно никакой пользы» — эти слова написаны Клаусом Менертом в заключительной главе книги.

Как жаль, что диалог с Николаем Германовичем уже нельзя продолжить...

Из авторского вступления к книге

Тысячи специалистов на Западе изучают Советский Союз со всех возможных точек зрения и по вполне понятной причине: СССР являет собой один из важнейших факторов, определяющих будущее человечества. И все же мы знаем слишком мало о советском руководстве... А могли бы мы узнать больше о русском народе? Стоит попытаться.

В течение нескольких десятилетий изучаю я людей в Советском Союзе, прежде всего — собственно русских. О русском характере написано много. Но как без помощи массовых опросов и анкет западного типа, которых не существует в СССР, познакомиться с настроениями русских именно сейчас, в 80-е годы, отмеченные столь опасной напряженностью?

Опираясь на старую поговорку «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто — ты», я тоже задался вопросом: что читают русские люди сегодня? О любви русских к книге я знал по многочисленным предыдущим поездкам в СССР, но в том, сколь велика она на самом деле, удостоверился лишь в процессе настоящего исследования. Русские люди — вплоть до Восточной Сибири — знакомы с произведениями Томаса Манна и Генриха Бёлля почти так же хорошо, как жители Шварцвальда или Гамбурга; Джека Лондона и Эрнеста Хемингуэя они читают как американцы, Александра Дюма и Жюля Верна — как французы, причем не потому, что это от них требуется, а из интереса. Конечно, читают они, как большинство людей, ради развлечения (употребляю это слово не в уничижительном смысле, поскольку равно отношу его к чтению и «Анны Карениной» и «Трех мушкетеров»). Необыкновенное пристрастие русских к чтению налицо и сейчас, несмотря на телевидение. Поэтому их читательские вкусы сегодня говорят о них самих куда больше — по сравнению с теми нациями, которые в наши дни уделяют чтению не так много времени.

Списков бестселлеров в Советском Союзе не существует, да и польза от них была бы невелика — ведь проблема там заключается не в том, чтобы книгу продать, а в том, чтобы книгу достать: слишком много людей охотятся за слишком малым количеством книг. На Западе издатель, будучи деловым человеком, сообразуясь с законом спроса и предложения, выпускает столько печатной продукции, сколько он может продать. Это, конечно, не означает, что романы, возглавляющие списки бестселлеров на Западе, сплошь — литературные шедевры и что немцы предпочтут «Будденброков» какой-нибудь «Долине кукол». Но если у нас списки бестселлеров отражают вкусы публики, то о популярности более десяти тысяч членов Союза писателей СССР нельзя судить, исходя из тиража их книг, ибо здесь ее определяет не только рынок: между количеством проданных книг и книг, на которые есть спрос, нет отчетливо видимой связи; некоторые авторы по той или иной причине «ближе к типографской бумаге», чем другие. Поэтому я задавал вопросы не о «книгах, которые успешнее всего продаются», а о «книгах, на которые самый большой спрос», о «наиболее популярных книгах».

«Нам малоизвестны склонности советских читателей», — написал недавно англичанин Рональд Хингли в книге, посвященной литературной и общественной жизни в СССР. На последующих страницах своего исследования я — по-моему, впервые на Западе — предпринимаю попытку охарактеризовать склонности советских читателей. Иными словами, я спрашивал их о том, какие книги они хотели бы прочесть, а не о том, что предлагают магазины. Вместо того чтобы справляться у издателей: «Что вы печатаете?», я задавал вопрос публике: «Что вы хотите читать?»

Когда три года назад я отправился в СССР приступая к работе над этой книгой, я не знал, смогу ли осуществить задуманное беспрепятственно проводить опрос библиотекарей, книгопродавцов, отдельных граждан. Мой скепсис оказался неоправданным. Я сам решал, куда поехать (мне было предложено около ста мест на выбор), сам решал, в какие библиотеки и книжные магазины идти и какие вопросы задавать. Каждого, с кем я — чаще всего наугад — вступал в разговор, я расспрашивал о его читательских пристрастиях и интересах, и, за одним-единственным исключением, мне всегда с большой охотой давали ответы, нередко весьма подробные — русские любят поговорить о книгах, пусть даже и с ино-

странцем с Запада. Облегчало дело и то, что мне не требовался переводчик.

Меня могут спросить: есть ли гарантия, что опрошенные мною люди ни разу не сболтнули о книгах, которых в жизни не читали,— лишь бы произвести приятное впечатление на любознательного немца? Такой гарантии быть не может. Но когда позволяло время (то есть почти всегда), я старался подольше пообщаться с собеседниками, узнать их мнение о названных ими книгах, о героях и событиях, описанных в данном произведении, и даже просил пересказывать мне содержание книг, которые я сам еще не читал...

С детских лет я питаю теплое чувство к русскому народу, хотя и не приемлю советскую систему. Тем не менее я предпринял свое исследование с открытой душой, без предвзятого мнения и без намерения использовать эту работу для подкрепления той или иной заранее сложившейся гипотезы.

Хотя я стремился собирать свой материал и излагать его как можно объективнее, книга моя, естественно, субъективна, и я, конечно же, не рассчитываю дать правильные ответы на все возникающие вопросы; со многим иные мои читатели не согласятся. Имена 24 писателей, о которых прежде всего пойдет речь в этой книге, я отобрал не по своему собственному вкусу: они были названы мне собеседниками, и об этом я еще расскажу. Лишь этими — «нашими» или «моими» авторами, как я их называю для простоты,— и ограничивается настоящее исследование...

Центральная библиотека СССР, носящая имя Ленина, выпустила ряд публикаций, преимущественно небольшими тиражами, в которых на основе нескольких тысяч цифровых данных представлен анализ читательской аудитории в стране (средний читатель, городской, сельский, молодой и т. д.). Поскольку я хотел провести свое исследование самостоятельно, этими публикациями я не пользовался, однако я их рекомендую тем, кто захочет познакомиться с подробными сведениями на сей счет из советских источников. То же самое относится и к публикациям Академии наук СССР, посвященным досугу населения.

Со всей настойчивостью хочу подчеркнуть: я не задавался целью оценивать советскую литературу как таковую, ибо это — дело специалистов. Мои собственные суждения о 24 писателях и их творчестве не претендуют на профессиональный анализ, хотя какой-то интерес, возможно, и представляют. Не уровень современной советской литературы занимал меня, а тот отсвет, который бросает она на своих читателей.

При чтении произведений «наших» авторов я поражался тому, насколько они отличаются от советской литературы 20-х, 30-х и 40-х годов. То была литература внутренних и внешних войн, то есть в буквальном смысле слова полемическая литература (от слова «полемос» — война).

Вторым сюрпризом была несхожесть отдельных авторов. Во многом можно упрекать советскую литературу, но только не в том, что она знает одну-единственную мелодию. Впрочем, в одном произведения избранных 24 авторов сходны: все они почти без исключения касаются внутренних проблем и противоречий советского общества. Заграница, за исключением событий второй мировой войны (или других войн), там мало представлена...

Иные читатели этих книг истолковали бы их содержание иначе. В штутгартской гимназии имени Эберхарда Людвига был учитель немецкого, который иногда давал нам, учащимся, задание написать изложение новеллы Теодора Шторма или Конрада Фердинанда Майера, и, конечно, работы всех нас, тридцати, отличались друг от друга. Русский ученый Н. А. Рубакин даже говаривал: сколько книг — столько и читателей. Поэтому хотелось бы, чтобы никто из 24 авторов не был ко мне в претензии, если я его неправильно понял: я никого не хотел обидеть. При всем знании России я остаюсь немцем, а у русского народа иное отношение к литературе, нежели у моего. О русском философе и литературном критике прошлого столетия — Белинском — рассказывают, что после долгих и жарких споров в кругу литераторов он гневно возразил на предложение хозяина перейти к столу: «Мы еще не выяснили, существует ли бог, а нас зовут обедать!» Так заявить не мог бы ни один американский современник Белинского, да, пожалуй, и ни один немецкий. Именно в духовной сфере заметнее всего различаются народы, и более или менее хорошо каждый знает лишь свой собственный народ...

Последнюю часть вступления я адресую русским, которые возьмут в руки мое исследование. Им я хотел бы сказать: цель книги — познакомить немцев с тем аспектом жизни вашей страны, который я считаю весьма положительным, а именно — с вашими читателями и их любимыми книгами. Как и многие русские, я родился на берегах Москвы-реки и люблю вашу литературу — от Пушкина и Лермонтова до Распутина и Айтматова. Но я отнюдь не поклонник системы, в условиях которой вы живете. «Менерт — это вам не комсомолец!» — говорят мои русские друзья, и они правы. В самом деле, я отвергаю советскую идеологию, радуясь своему немецкому происхождению и гражданству. Более всего нравятся мне книги, которые отличаются максимумом реализма и минимумом пропаганды. К тому же я подразделяю людей не на классы и коллективы, а на народы и индивидуальности. Поэтому я склоняюсь к тому, чтобы видеть общее у народов, живущих при различных социальных системах, а также последовательность в развитии русских, не прерванную 1917 годом. Конечно же, русские с тех пор изменились. Их изменили революция и коллективизация, урбанизация и механизация, тяжкие события 30-х годов, вторая мировая война, а также ликвидация былой неграмотности, что сделало их читающим народом, но по сути своей,

мне думается, русские остались русскими...

Нет сомнения, что советский автор написал бы эту книгу иначе, но ведь и немец имеет право размышлять и высказываться о советских читателях и писателях. В отличие от других явлений жизни СССР, скажем Советов или колхозов, ваша литература имеет отношение не только к вам одним: вы и сами хотите, чтобы она принадлежала всему миру. Поэтому ваша литература — это законный предмет исследования для иностранца, серьезно относящегося и к ней и к русским людям.

Патетические призывы к примирению народов и разрядке не моя стихия. Но я думаю, что опасность конфликтов между двумя соседями будет тем меньше, чем лучше каждый из них сможет представить себя на месте другого, уяснить себе его настроения и мотивы его поступков.

Как рождалась книга

Стояла ледяная стужа, когда в феврале 1981 года я приехал в Москву. На улицах лежал снег. Но в такси, которое в тот же вечер доставило меня к русским друзьям, было тепло.

Садясь рядом с водителем, я заметил между сиденьями книгу. Ну, что же, можно и начать, подумал я и сказал: «Я прервал ваше чтение... Что это за книга?»

«Проскурин, «Имя твое»,— ответил он.— Взял у товарища. Через два дня надо вернуть, поэтому спешу».

«Я еще этого не читал,— заметил я.— Про что там?»

В следующие пять минут водитель изложил мне сюжет первой половины романа, а потом сказал: «Я только досюда дочитал».

Из-за гололеда движение было медленным. У меня хватило времени, чтобы узнать мнение таксиста о полудюжине других писателей. Особенно ему нравились Симонов (он с гордостью сообщил, что однажды вез в своей машине этого писателя) и Абрамов. Оба они вошли потом в мой список популярных авторов.

В доме у друзей я продолжил опрос. Пришло еще несколько их знакомых, и вскоре все склонились над списками, которые я привез из дому в качестве основы для дискуссии,— списками советских авторов, русских классиков и иностранных писателей. Имена вычеркивались, вставлялись новые. Когда я вернулся в гостиницу, первые результаты уже были у меня в кармане. Так все и началось.

Каждый день в Советском Союзе (имеются в виду поездки по месяцу в 1981, 1982, 1983 годах) я использовал для того, чтобы бомбардировать вопросами собеседников. Кроме Москвы я посетил четыре областных города в европейской части России (Псков, Калинин, Ярославль, Волгоград), затем Братск в Восточной Сибири, расположенный почти за пять тысяч километров от Москвы, и деревни вокруг этих городов.

На отказ я не наталкивался нигде. У меня сложилось впечатление, что для большинства людей опрос был чем-то вроде игры. Однажды утром в публичной библиотеке Братска моими списками занимались сразу четыре посетителя; они совещались друг с другом, и внезапно какая-то женщина, сдававшая книги, спросила обиженно и достаточно громко: «А м о е мнение о м о и х любимых книгах никого не интересует?» Я дал ей листок, она склонилась над ним и принялась ставить крестики.

Два слова о крестиках. Вначале я просил собеседников вычеркивать имена писателей, которые им нравятся меньше, и заменять их любимыми авторами. Но вскоре я заметил, что многие не решаются простым росчерком карандаша убрать имя писателя: ведь писатели в России — высокоуважаемая и почитаемая категория людей. И мне пришла в голову мысль: «Пожалуйста, ставьте крестик возле имени автора, которого вы любите больше других!» Так и стали делать. А дня два спустя одна женщина спросила: «А можно ставить два крестика против фамилий тех, кто мне особенно нравится?» Я согласился.

В конце концов возникла система — один, два и три крестика. Предпочтение того или иного автора становилось наглядным; разумеется, в список включались и новые имена, также помеченные крестиками. Вечерами я сидел в номере гостиницы, подсчитывал крестики и следил, как поднимались и опускались писатели по лестнице популярности.

На пути в Восточную Сибирь наш самолет совершил промежуточную посадку в Омске. Когда мы готовились к выходу, я услышал громкий женский голос у трапа: «Здесь на борту должен быть иностранец. Где он?»

Сибиряки — веселый народ, и со всех концов понеслось: «Здесь! Это я — иностранец!» Женский голос звучал уже сердито: «Вы не иностранцы, а сибирские нахалы!— заявила дама.— Где м о й иностранец?» Она на секунду заколебалась, когда я протиснулся к ней,— по-видимому, я показался ей не очень иностранным в своем тяжелом пальто и большой меховой шапке. Поверила она после того, как я показал паспорт. Мы вышли из самолета в морозную (30 градусов ниже нуля), но тихую и ясную сибирскую ночь, и женщина повела меня через поле в зал ожидания для высокопоставленных лиц. Звали ее Надей, и работала она в отделении «Интуриста» в омском аэропорту.

Было три часа утра по местному времени, и я оказался там единственным высокопоставленным лицом. Заспанная официантка принесла чай и печенье, а я тем временем болтал с такой же сонной Надей.

«Что это вы летите в Сибирь посреди зимы?»— задала она первый же пришедший ей в голову вопрос. Когда я объяснил ей, в чем дело, она заинтересовалась, захотела взглянуть на мои

списки, и тут же принялась ставить крестики. Официантка тоже оживилась и тоже захотела получить такой листок. Обе наполовину завершили свою работу, когда было объявлено о посадке в самолет.

«Надеюсь, я буду дежурить, когда вы полетите назад,— сказала Надя, пока мы шли к самолету.— Мне бы хотелось закончить».

На обратном пути оказалось, что Надя в тот день не работает, но ее сослуживица, которая встречала меня на этот раз, уже знала про мои списки. Она быстро провела меня в зал ожидания, и теперь анкета была заполнена вовремя.

Мы с опозданием прилетели в московский аэропорт Внуково, и до гостиницы я добрался далеко за полночь. Как и в прежние времена, в советских гостиницах на каждом этаже сидит дежурная. У нее хранятся ключи от номеров, и вообще она следит за порядком. Молодая женщина, которая дежурила на моем этаже в ту ночь, казалось, была рада моему появлению — я разогнал ее скуку. Пока она провожала меня до номера, я спросил, как она борется со сном.

«Читаю»,— ответила она. Тема для разговора возникла тут же. Я рассказал о своем занятии, и она попросила дать ей списки. Когда утром я шел завтракать, она еще сидела на своем месте (новая смена заступает лишь в девять часов), причем вид у нее был сокрушенный. «Тысячу извинений!— сказала она.— Посмотрите, во что превратились ваши аккуратные списки... Когда я все закончила, дежурная с другого этажа тоже захотела поставить свои крестики. Мне так неудобно!»

И в самом деле, в списках царил беспорядок: множество разных крестиков, кое-где даже с комментариями. Но ведь это как раз то, что мне нужно, успокоил я женщину. Девушка же с другого этажа оказалась большой охотницей до чтения. Среди ее любимых зарубежных авторов я обнаружил Томаса Манна, а среди любимых книг — «Будденброков», которых она, впрочем, назвала «Буттенброками».

Особенно подходят для завязывания бесед поездки по железной дороге. Однажды вечером на пути в Волгоград я задержался в вагоне-ресторане после закрытия, чтобы потолковать с поварами и официантами. Они спрашивали меня о том о сем, о Рональде Рейгане («Будет война?») и о Гельмуте Шмидте, а затем я предложил им свою анкету.

У отставного полковника, с которым мы ехали в одном купе, в поезде нашлась знакомая, она заглянула к нам, и вскоре после беседы о мировой политике мы углубились в «мою» проблему.

Как-то я сидел в московском ресторане, построенном еще в дореволюционные времена (некогда, еще в начале нынешнего века в этих роскошных декорациях появлялся мой дед вместе с женой и кое-кем из детей, а их у него было двенадцать). Как обычно, почти все столики были заняты. Я очутился за столиком с двумя девушками, по-видимому студентками. Представился, сообщил о своем занятии. Одна студентка (учившаяся на математическом факультете) особенно любила Пушкина и Лермонтова, другая (изучавшая химию) была поклонницей зарубежной беллетристики, в первую очередь — динамичных романов Артура Хейли. К сожалению, сказали они, такую книгу нигде не купишь, приходится брать у друзей или в библиотеке. А как с этим обстоит на Западе? Наверное, я выглядел в их глазах сказочником — ведь я говорил, что у нас, даже в маленьком городке, в Шварцвальде, где я живу, можно получить любую немецкую книгу сразу же либо через два-три дня и сравнительно быстро — книги из других европейских стран. В наших книжных магазинах редко услышишь: «Нет!». Когда мы расстались, у меня появилась еще пара списков.

Иной раз мне просто везло. Однажды вечером я пошел в театр Сатиры на новую пьесу Розова. Знакомая, которую я пригласил на спектакль, заболела, и у меня был лишний билет. Перед театром стояли десятка два людей, спрашивавших каждого прохожего, нет ли у него лишнего билета (как обычно, в кассе все уже было продано). Я отдал второй билет женщине, которая умоляющим голосом повторяла, что приехала в Москву в командировку всего на два дня и лишь сегодня вечером может пойти в театр. Она рассыпалась перед мной в благодарностях, а когда я спросил о ее профессии, сказала: «Библиотекарь». Ну, вот и награда за доброе дело, подумалось мне. Мы с ней наполовину проштудировали мой список еще до того, как поднялся занавес, а остальную работу доделали в антракте.

Приобретать в СССР художественную литературу довольно трудно, и тем не менее у людей есть весьма солидные личные библиотеки. В одном городе я присутствовал вечером на собрании книголюбов, которое проходило в книжном магазине. Меня познакомили с инженером, человеком средних лет, про которого говорили, что у него сказочная библиотека. Я выразил желание ознакомиться с ней, и он пригласил меня в гости. Стены его двух небольших комнат были до потолка закрыты книжными полками,— думаю, они вмещали не менее двух тысяч томов. С гордостью коллекционера он сообщил, что в первую очередь собирает романы и поэтические сборники советского периода, но есть у него и русская классика, и переводы зарубежной беллетристики, а также книги по искусству и технические издания.

Хозяин знал место буквально каждой книги в своей библиотеке. Пока его дочь, тоже инженер по специальности, сервировала чай, мы беседовали о литературе. Время от времени он, почти не глядя на полки, брал в руки том, о котором заходила речь. Отдельные романы, которые печатались в нескольких номерах журналов, он сам аккуратно переплел. На каждой книге был его собственный экслибрис...

В другом городе в гости к двум книголюбам меня водила директор местного книжного магазина. Первый визит принес

разочарование: у молодого инженера и впрямь была большая библиотека, более тысячи томов, но его книги, главным образом собрания сочинений, которые он приобрел по подписке, стояли девственно-нетронутыми.

Совсем иным было впечатление от посещения квартиры мастера, работавшего на машиностроительном заводе: было видно, что в этом доме книги читают. Хозяин, как я заметил, очень обрадовался приходу гостя-иностранца, во всяком случае он несколько раз поблагодарил за это мою спутницу. Он продемонстрировал мне свои сокровища, занимавшие даже часть спальни, говорил увлеченно и со знанием дела о любимых книгах (преимущественно — исторических романах), а когда я попросил рассказать, от кого он узнает об интересных новинках, он ответил: от товарищей по работе и от членов общества книголюбов. А как насчет литературных рецензий в газетах? Собеседник махнул рукой: «Я сам себе рецензент!»

Маргарита Константиновна и ее коллеги

Куда бы я ни приезжал, прежде всего я направлялся в библиотеку. В стране, где нелегко купить нужные книги, роль библиотек значительно больше, нежели на Западе. Согласно официальному статистическому журналу «Народное хозяйство СССР», в Советском Союзе 132 тысячи публичных библиотек (не считая академических, университетских, институтских) с общим фондом около двух миллиардов томов.

Подавляющая часть библиотек (96 тысяч) находится на селе. Когда я вваливался в какую-нибудь из них словно снежный сугроб, молодая библиотекарша (чаще всего — единственная сотрудница) приходила поначалу в состояние полнейшего изумления от визита «настоящего» иностранца. Но, преодолев оторопь, она, по-видимому, испытывала удовольствие от возможности показать свои владения и книжные богатства. Как правило, это были маленькие помещения, заполненные читателями. Случалось, кого-нибудь посылали за печеньем, а сама библиотекарша, отложив все дела (на это никто не сердился по случаю столь исключительного события), готовила мне чай.

Самая комфортабельная сельская библиотека, которую я повидал, принадлежала одному совхозу в плодородных краях между Доном и Волгой. Ей был отведен верхний этаж Дома культуры — настоящий зал с большими окнами на юго-запад, удобными стульями, легко доступными книжными полками и даже пальмами в кадках.

Однако более всего мне запомнилась сельская библиотека, находившаяся в деревне примерно в двухстах километрах к северу от Москвы и в 35 километрах от областного центра. Собственно, выбора у меня и не было. Всюду лежал глубокий снег, и до многих деревень было трудно добраться, а к этой вела хорошая дорога. Я оставил такси на деревенской улице и заковылял по глубокому снегу, почти при двадцати градусах ниже нуля, мимо крестьянских изб к одинокому, сложенному из бревен домику, который мне указали. На крыльце лежал веник, им посетители должны были сметать снег с обуви и одежды. Внутри было тепло и светло.

Маргарита Константиновна, которая уже четверть века заведует этой библиотекой, оказалась доброй, приветливой женщиной, знавшей всех своих читателей еще с тех пор, когда они были детьми. Сначала она дала мне четверть часа на то, чтобы осмотреться. Бегло проглядев картотеку (в общей сложности 9 тысяч книг), я удостоверился, что все «мои 24» в ней представлены, впрочем, лишь на карточках, ибо сами книги выданы. Особо ходовые книжки стояли на самых ближних полках и были разделены по группам, среди которых мне бросилась в глаза одна с маленькой табличкой «Про индейцев»: прямо на полу перед ней сидели несколько мальчишек.

Затем Маргарита Константиновна ответила на мои вопросы. В деревне 950 жителей, из них 420 — постоянные посетители библиотеки, прочитавшие в минувшем году 10 500 книг. Она познакомила меня со своей системой учета — ежедневной, недельной и годовой. Все выданные книги распределялись по соответствующим разделам. В 1982 году и раньше на первом месте была беллетристика (50%). Если принять в расчет толстые журналы, которые читают тоже преимущественно из-за рассказов и романов (10%), и детские книги (10%), то на остальную литературу, то есть научно-техническую, включая сельскохозяйственную, политико-экономическую, книги по искусству, спорту и иные, в том числе под рубрикой «религия/атеизм», приходилось 30%.

Прощаясь, Маргарита Константиновна попросила прислать ей экземпляр моей будущей книги /«У нас есть преподавательница немецкого языка — она и переведет»/. Я обещал выполнить просьбу и направился к машине. Уже опустились ранние сумерки, и снегу навалило еще больше.

Научные библиотеки я не посещал, за исключением московской Библиотеки имени Ленина, куда приходил работать. Если войти в нее через главный вход, расположенный близ западной стены Кремля, то увидишь такие очереди в гардероб, что невольно задаешься вопросом: найдется ли тут хоть одно свободное местечко? Однако один из многих читальных залов отведен для научных работников — иностранцев и русских, а персонал библиотеки очень быстро выполняет заказ на любое издание, доступное для общественного пользования.

Помимо сельских меня интересовали областные библиотеки, городские, заводские, то есть те, что предназначены для «человека с улицы». Появляясь в такой библиотеке, я прежде всего пред-

ставлялся директору, объясняя цель моего прихода, и просил разрешения осмотреть книгохранилище. Разрешение следовало незамедлительно, причем зачастую, как я отмечал, с определенной гордостью по поводу визита иностранца.

Крупные библиотеки располагают фондами в сотни тысяч томов, просторными помещениями и персоналом из нескольких десятков сотрудников, работающих посменно. Библиотеки на предприятиях чаще всего располагают одним-двумя помещениями в здании заводоуправления и фондами в несколько тысяч единиц, среди которых — и ведущие литературные журналы.

В одном библиотеки города и села едва ли отличны друг от друга. Всюду, как свидетельствуют ежемесячные и ежегодные статистические данные, примерно половина выдаваемых книг приходится на художественную литературу, прежде всего — прозу. Другая половина в городах распределяется в общем так же, как и в деревнях, с той разницей, что горожане чаще читают политическую литературу и реже — сельскохозяйственную. И везде произведения 24 писателей, которые, по моим подсчетам, наиболее популярны, оказывались «na rukach».

Никто не возражал против того, чтобы я вступал в беседу с посетителями библиотек. Это было нетрудно, поскольку им приходилось какое-то время стоять в очереди, пока производились выдача и прием книг. Но и тот, кто уже освободился, не отказывался отвечать на мои вопросы. Лишь раз за все мои многочисленные посещения библиотек я натолкнулся на отказ. В Москве я обратился к немолодой женщине с просьбой показать мне книги, которые она сдавала. Она бросила на меня взгляд, говоривший: «А вам какое дело?», однако протянула мне книги. Я тут же вернул их ей, не просмотрев даже названий. Совершенно очевидно, что вопрос мой показался ей бестактным...

Аналогичным образом я знакомился и с книжными магазинами: беседовал с продавщицами и покупателями, перебирал карточки заказов. В этом смысле особенно удачным было долгое путешествие в Братск. В тех краях «настоящие» иностранцы появляются сравнительно редко, и мне было уделено много времени. Долгие часы проводил я в книжных магазинах Братска «Эврика» и «Прометей». Удивительным было уже то, что на месте, где двадцать лет назад стояла тайга, теперь находились два отличных книжных магазина, носивших древнегреческие названия. И столь же удивительным казалось то, что именно под вывесками, напоминавшими о теплой южной стране, я встречал покупательниц в таких огромных меховых шапках, каких мне в жизни не приходилось видеть. Вообще весь Братск был похож на выставку меховых изделий.

Две специальности в СССР интересовали меня с давних пор — библиотекари и книгопродавцы. Это преимущественно женское занятие, причем многие просто счастливы иметь такую профессию. Наблюдая за работой библиотекарей и продавцов, я заметил, что, как правило, они хорошо знакомы со своими посетителями — и не только с их читательскими вкусами, но даже с домашними обстоятельствами. Обе профессии причисляются в СССР к наименее престижным в общественном плане, но для многих женщин работа в библиотеке или книжном магазине представляет собой тихую гавань, где царит приятная трудовая атмосфера и где целыми днями приходится иметь дело с людьми, столь же увлеченными книгой. Усердие этих тружениц так велико, что нередко они делают куда больше, чем от них требуется. В одной крупной провинциальной библиотеке я обнаружил обширную картотеку с указанием важнейших рецензий на самые популярные книги; эти карточки, составленные библиотекарями-энтузиастами, оказали большую услугу и мне.

После поездки в СССР в 1981 году в моем списке было дюжины четыре писательских имен. В следующем году я решил сократить это число вдвое. И вновь я беседовал с людьми, вновь посещал библиотеки, вновь распространял свой пока еще предварительный список. Сотрудниц библиотек я просил отрешиться от своего личного мнения о том или ином писателе, той или иной книге и сосредоточиться на том, кто более популярен среди читателей. Они вполголоса произносили известные имена, а я делал свои пометки. Были тут и варианты, но все же это звучало примерно так: «Абрамов — да; Айтматов — да, правильно; Алексеев — гм; Ананьев — да (с легким сомнением в голосе); Астафьев — да; Белов — да; Беляев — да, но он уже умер; Богомолов — да, читают; Бондарев — да, да, все книги на руках...» — и так по всему списку до конца.

Спору нет, это не соответствует демоскопическим методам, скажем, Гэллапа, но я считаю такую спонтанную и, конечно, субъективную реакцию профессионалов книжного мира не менее интересной и, быть может, даже более верной, чем результаты моего опроса обычных собеседников. Во всяком случае, такие нюансы, как «да!», «да-а-а...», «гм...», при этом утвердительный кивок либо сердитое покачивание головой, а иной раз и удивленный взгляд («почему он?») помогли мне постепенно дифференцировать просто популярных и очень популярных писателей.

При всем различии мест, где я побывал, итоги анкеты оказались довольно-таки схожими. Были, естественно, особенности — в Сибири, к примеру, некоторое предпочтение отдавалось сибирским писателям и темам, — но все же круг самых читаемых авторов сложился быстро, и дальнейшее анкетирование лишь подтвердило это.

Читательский бум

Со времен летописей и «Слова о полку Игореве» письменное слово имело для русских особое, почти магическое

значение. Тот, кто знает пушкинского «Бориса Годунова» или видел одноименную оперу Мусоргского, не забудет сцену, в которой старый монах заканчивает летопись своего «смутного времени» и сам становится частицей истории.

Именно потому, что лишь немногие умели читать, книги воспринимались с удивлением и почтением. В царской России XIX столетия литература приняла на себя роль не существовавшего в стране парламента. Поэзия и проза воспевали свободу духа, требовали справедливости к униженным, высмеивали тупость и взяточничество, призывали к реформам.

Роль литературы как выразительницы народных чаяний представляется мне сегодня столь же важной, как и сто лет назад. «В начале было Слово...» — эта удивительная первая строка Евангелия от Иоанна имеет, таким образом, для русских особое значение. И хотя сегодня практически каждый советский гражданин благодаря ликвидации безграмотности (сокращенно «ликбез») умеет читать, глубокое уважение к книге и писателю сохранилось...

Иллюстрацией этого может послужить такая история. Два русских писателя удили рыбу. Один писатель наловил много, а другому на удочку ничего не попалось, и деревенские мальчишки приходят к выводу, что он никакой не писатель: как же можно быть писателем и не поймать ни единой рыбешки?

Константин Паустовский, один из классиков советской литературы, описывает эту историю в своем рассказе «Воронежское лето» и заключает: «Тогда я наконец понял. В представлении Феди настоящий писатель был существом легендарным, безусловно талантливым во всех областях жизни, был своего рода волшебным мастером «золотые руки». Он должен был все знать, все видеть, все понимать и все великолепно делать».

Я не рыбак, да к тому же еще иностранец, но я могу лишь подтвердить то, о чем рассказывает Паустовский. Раньше, много лет назад, на вопрос о своем роде занятий я обычно отвечал: «Профессор филологии». Русские воспринимали это без каких-либо комментариев. Но когда я однажды сказал: «Писатель», реакция была совершенно иной. «Писатель!» — восхищенно воскликнули мои собеседники. С тех пор у меня вошло в привычку представляться писателем, благодаря чему я вызывал к себе немалое уважение, которое, впрочем, уменьшалось, когда я признавался, что пишу не стихи и не романы, а публицистические книги. Но все-таки писатель.

Что такое для русских людей «настоящий» писатель, то есть романист, я осознал, когда в 1981 году прилетел в Братск. Я ровным счетом никого не знал в тех краях. В качестве дорожного чтения я прихватил с собой три романа Юлиана Семенова — все с дарственными надписями. Книги произвели такую сенсацию, что я подарил их директору крупнейшего книжного магазина и заведующим двумя библиотеками, — и в мгновение ока передо мною открылись все двери. Казалось, окружающие были убеждены в том, что человек, у которого в чемодане лежат книги с дарственными надписями автора, не может быть плохим человеком. Открылись бы у нас все двери перед русским по той лишь причине, что ему лично подарили свои романы Бёлль или Зиммель[1]? Весьма сомневаюсь в этом, поскольку у нас писатель — отнюдь не какое-то существо высшего порядка.

Одна из причин читательского бума в СССР — быстрый рост числа образованных людей. В первые тридцать лет после революции более 7,5 миллиона человек в Советском Союзе окончили среднюю школу; за второе тридцатилетие (1950—1980 гг.) их число выросло вдесятеро и достигло 80 миллионов. Одновременно повысился уровень знаний выпускников, поскольку продолжительность школьного обучения увеличилась с семи до десяти лет. Согласно официальной статистике, в 1980 году в стране насчитывалось свыше 40 миллионов человек, «занимавшихся преимущественно умственным трудом»; в 1939 году их было 13 миллионов...

Что касается средней школы, то вполне очевидно: она стремится основательно познакомить юношество с классической русской литературой, предоставляя родителям и друзьям пробуждать у молодежи интерес к современной беллетристике. Разумеется, не следует абсолютизировать влияние школьного преподавания литературы на позднейшие читательские пристрастия: кого-то из выпускников оно побуждает к дальнейшему чтению, кто-то чувствует себя пресыщенным. Предполагаю, однако, что необычайно глубокий интерес русских к литературе частично объясняется тем, что их с ней столь сблизила именно школа. Упор, который делается на изучение литературы в русских школах, еще заметнее, если взглянуть на положение дел у нас в ФРГ. Нашему преподавателю немецкого языка, как правило, не вменяется в обязанность изучать в классе те или иные литературные произведения. Его программа сформулирована примерно так: немецкая классика, писатели-натуралисты и т. д.

Итак, повышение образовательных стандартов СССР — одна из причин читательского бума, а вторая — это, без сомнения, огромный прирост городского населения. За последние четыре десятилетия оно увеличилось с 64 до 170 миллионов: в минувшие 30 лет построено 60 миллионов квартир средней площадью в 45 кв. метров. Можно относиться скептически к официальной статистике, но если смотреть из окошка самолета на советские города, то явственно отличишь сравнительно небольшое старое городское ядро от растущих во все стороны

[1] Иоганнес Марио Зиммель (род. в 1924 году в Вене, в настоящее время живет в ФРГ) — автор многочисленных популярных книг приключенческого жанра. *(Здесь и далее прим. перев.)*

новых кварталов. Для людей, любящих читать, конечно же, серьезное значение имеет то, живут ли они в общей квартире с другими соседями, имея одну-единственную комнату (как это было у нас с женой в 30-е годы в Москве), или же у них отдельная квартира, пусть и скромная по западным стандартам. Короче говоря, больше жилая площадь — это значит и больше места для книг, и лучше условия для чтения.

Деревни, деревни... А где же фабрики?

Размышляя над результатами своего исследования, я удивился ряду обстоятельств. Из двух тем, которые чаще всего разрабатываются в любимых произведениях русских читателей, одна, а именно деревня, полностью отсутствует в западных бестселлерах, а другая — вторая мировая война — возникает там лишь изредка. Это поразительно. Советский Союз — одна из самых индустриальных стран мира; как же получается, что завод, фабрика и заводские рабочие не фигурируют в популярнейшей прозе? И разве вторая мировая война не отошла для русских столь же далеко в историю, как и для других народов?

Еще сюрпризы: лишь у одного из «наших» 24 писателей действие книг развертывается в Москве, для остальных столица — только фон, а многие вообще не упоминают ее. Вместо этого в значительной части популярных произведений место действия — Сибирь. Примечательно и то, что в этих произведениях ученые, авангард научно-технической революции, лишь изредка оказываются на главных ролях.

Со многих точек зрения сегодня в деревне жить лучше, чем до революции. В большинстве деревень проведено электричество, есть магазины, у крестьян — радиоприемники и телевизоры, там имеются школы и больницы, а кино и библиотеки тоже находятся поблизости, улучшились дороги, легче попасть в районный или областной центр и даже в Москву. И все-таки призывы к сельской молодежи оставаться жить в деревне уже несколько десятилетий неизменно звучат не только в эфире и на страницах периодической печати, но и в литературе...

Крупные фермы на американском Среднем Западе, которые никогда не сливались в деревни, с самого начала представляли собой маленькие, управлявшиеся одной семьей королевства, прекрасно приспособленные к поэтапной модернизации. Иное дело — русская деревня, которая еще несколько десятков лет тому назад находилась на уровне средневековья. Начавшаяся в 30-е годы модернизация сделала из многих сел, как говорят в народе, «ни рыбу ни мясо», соединив примитивные земледельческие орудия и современные тракторы, продуваемые ветром избы и многоэтажные дома,— все рядышком, да еще и фабрика в придачу. Сегодняшняя деревня зачастую — неудобное место для жилья, она теряет работоспособных и не привлекает новых жителей. Почему же литературное, а нередко и кинематографическое изображение деревни столь притягательно для русских, которые, как правило, ищут себе работу в городе?

Объяснений тому много. Первое, почти само собой разумеющееся: лишь у немногих взрослых горожан деды тоже жили в городе; большинство в первом или втором поколениях — это «переселенцы» из деревни, часть которых до сих пор никак не привыкнет к темпу городской и заводской жизни, разрываясь между соблазнительными удобствами города и его утомительными требованиями. Вот почему русские, которые десятилетиями живут в городах и рабочих поселках, в душе по-прежнему мечтают о жизни в деревне, подобно предкам, среди берез и цветущих лугов, о внутреннем покое, которым те наслаждались (было ли так в действительности — другой вопрос) под сенью скромной церквушки, вызывающей и сегодня у многих русских сентиментальные чувства, в том числе и у тех, для кого крест — символ не столько общины верующих, сколько душевного успокоения в неспокойном окружающем мире.

Каждому западному читателю классической русской литературы известно понятие «дача»: это загородный дом, в котором состоятельные городские семьи проводили отпуск. В течение всего года люди заранее радовались лету, хотя жизнь на даче была почти столь же примитивной, как и в избах соседей-крестьян с чадящими керосиновыми лампами и водой из деревенского колодца. Иметь дачу и проводить лето на лоне природы и сегодня для многих русских — лучший вид отдыха. Таким образом и получается, что даже люди, из поколения в поколение живущие в городе, при всей суматошности его будней испытывают чувство привязанности к деревне.

Ностальгия по нелегкой, но простой жизни русского крестьянина представляется мне поэтому главной притягательной силой деревенской прозы. Но если спросить ее почитателей, хотели бы они сами жить в старой деревне, с ее бедностью и неграмотностью, под властью жестоких управляющих, которые выколачивали деньги для помещиков, жить безо всяких современных удобств, то они, разумеется, запротестовали бы. Так что не доброе старое время вызывает у них ностальгию. Скорее это романтический отблеск деревни — места покоя, уединения и уюта, скорее это мечта о надежном крове и патриархальной семье: бабушка и дедушка у самовара, отец в поле или в хлеву, мать за прялкой или в саду, дети играют в березовой роще у прозрачного ручья, летние вечера, полные звуков гармоники, смеха, пения и любовных забав, а затем церковные праздники, прежде всего — пасха, являющие собою торжественные кульминации года. Эта деревня, которая в действительности отнюдь не была такой идиллической, жива в воспоминаниях многих русских, как, впрочем, и в моих собственных, ибо дет-

ство мое прошло в России накануне первой мировой войны.

Читатель заметит, что в разбираемых мною деревенских романах действие развертывается не на богатых черноземах юга России и Украины, где имеются огромные, годные для сельскохозяйственной модернизации площади, не на обширных хлопковых плантациях Средней Азии, но почти исключительно на севере России либо в Сибири, то есть там, где сравнительно мало посевных площадей и где простираются гигантские леса. В этих книгах можно встретить и таких русских, которые высказывают мнение, что куда разумнее было бы вовсе не осваивать эти непригодные для сельского хозяйства области и превратить их в национальные парки, поскольку даже увеличение капиталовложений не превратит их в рентабельные аграрные регионы. И все же именно они ностальгически притягивают к себе, становятся местом действия любимой читателями деревенской прозы.

Человеку свойственно чувствовать себя частью какой-то общности; так многие русские не мыслят себя вне коллектива, в котором трудятся, а также всевозможных организаций и кружков, в которых они состоят, — спортивных, театральных, шахматных, клубов книголюбов и т. д. Но и сегодня им куда легче ощущать свое родство с деревней, откуда родом их предки (впрочем, и с московским Кремлем, и с городом Петра Великого — обеими столицами тогдашней, преимущественно крестьянской России), чем с вытянувшимися на километры новыми жилыми кварталами в городах или с трубами прославленных индустриальных гигантов. Так же, как и люди на Западе, русские все чаще убеждаются, что человеческие ценности приносятся в жертву на алтарь прогресса, что старомодные деревни не столь уж однозначно проигрывают по сравнению с современными городами и что, следовательно, доиндустриальная эпоха имела и некоторые преимущества. Прогресс разрушает природу — так говорят здесь сегодня.

Неизменная тема — война

Лишь немногие из ныне здравствующих русских лично помнят вторую мировую войну. Сталинградская битва, окончательно повернувшая ход войны в пользу Советского Союза, произошла четыре десятилетия тому назад. Однако военная тема — и это тоже неожиданность — по-прежнему занимает прочное место в чтении русских, тогда как на Западе она уже давно вытеснена иными темами.

Из 24 авторов пятеро создали себе литературное имя преимущественно военными романами — Бондарев, Быков, Васильев, Симонов и Чаковский, а восемь других отвели войне значительное место в своих произведениях, показав ее воздействие и на области, не затронутые непосредственно военными операциями, — Абрамов, Айтматов, Думбадзе, Иванов, Пикуль, Проскурин, Распутин и Ю. Семенов.

Интерес многих писателей к войне, доходящий до одержимости, понятен. Почти все они сами пережили войну, большинство — в особо восприимчивом возрасте, оказавшись молодыми людьми на фронте или детьми и подростками в тылу. Астафьев, который занимался в основном проблемами молодежи в Сибири, также называет войну «величайшим событием в жизни людей моего поколения» и «священной темой». Конечно же, тема войны неотделима от понятия о патриотизме, и потому она близка сердцам людей, любящих свою родину — Россию.

Таким образом, для писателей изображение войны — это естественный клапан, открывающий выход чувствам и — большей частью печальным, а зачастую и страшным — воспоминаниям. Но зато поразительной является увлеченность военной литературой читателями, в том числе и молодыми. Никто не принуждает их читать книги о войне, к тому же бесконечное повторение военной темы в стихах и рассказах должно было бы на первый взгляд вызывать пресыщение.

Это противоречие необходимо понять. Вспомним поэтому прежде всего, о чем же говорится в книгах на военную тему. В своей совокупности они освещают пять аспектов, которые война имела для русских. Во-первых, эти книги рассказывают о страшных поражениях, отступлениях, окружениях 1941—1942 годов, когда немцы рвались к Ленинграду и Москве, сражались на улицах Сталинграда и даже достигли вершин Кавказа; в пользу и авторов, и их читателей говорит то, что они не закрывают глаза на эти угнетающие факты. Во-вторых, книги изображают трагедию оккупированных областей, включая и борьбу партизан в немецком тылу, — тема тяжелая и одновременно драматичная. В-третьих, они рассказывают о пленных в немецких лагерях и зачастую — об удачных побегах узников. В-четвертых, и это, разумеется, авторы подчеркивают, книги повествуют о мощном контрнаступлении, которое привело к окончательной победе. В-пятых, речь идет о жизни на неоккупированных территориях страны.

Писатели, направленные на фронт в качестве военных корреспондентов, были приравнены к старшему командному составу. Те же молодые офицеры, которые находились в действующей армии, с особой силой описывали затем в своих романах воинов, как и они сами сражавшихся и погибавших в жару и в холод. В отличие от романов первого послевоенного времени, наиболее популярные из сегодняшних книг подчеркивают трагическую, страшную сторону войны. Да, они говорят и о героизме, без которого не может быть войны, но героизм этот носит более трагический, нежели апофеозный характер.

Издавна в мировой литературе существовали ура-патриотические книги о войне, в которых сражения преподносились преимущественно как волнующие и героические приключения. Однако среди военных романов, на которые чаще всего ссылались мои собеседники, нет

ни одного, где война изображалась бы в эдаком приподнято-безмятежном духе. Я решусь даже назвать представленные в этой книге военные романы скорее романами антивоенными: ужасы войны значительно перевешивают в них романтику...

С того самого момента, когда я обратил внимание на удивительную популярность военных романов даже среди женщин, я начал расспрашивать своих собеседников о причине этого явления. Многие, казалось, не вполне понимали, почему вообще задается такой вопрос: их увлечение подобной тематикой казалось им самим столь естественным, что они его не анализировали. Уяснив, что я задаю этот вопрос всерьез, они прежде всего приводили причины личного свойства: «Мой отец погиб», «Мой муж пропал без вести». Другие говорили, что считают книги о войне самым волнующим чтением, ибо речь идет не о вымышленных, а о реальных событиях, которые происходили при их собственной жизни или при жизни их родителей и которые просто-напросто необходимо знать. Некоторые высказывали мнение, что на войне человек оказывается в экстремальных ситуациях и способен на такие движения чувств, которые невозможны в иное время. Наконец, те, кто вырос на чтении «Войны и мира» Толстого, называли этот шедевр стартовой площадкой современного военного романа. Кое-кто из моих русских друзей придерживается того взгляда, что притягательность военной литературы заключается также в ясных и четких этических установках, характерных для подобных произведений.

Я приемлю все эти объяснения. Но их недостаточно, если сравнивать русских с другими народами, которые тоже воевали, но которых военная литература сегодня мало интересует. Конечно же, война не всех затронула в одинаковой степени. Для англичан и американцев вторая мировая война была войной экспедиционной, морской; она не коснулась их собственных территорий и гражданского населения, если не говорить о бомбежках Англии и Пёрл-Харбора. Союзники Германии — Италия, Румыния, Болгария, Венгрия — были поневоле втянуты в войну, которая не была их войной, и понесли значительно меньшие потери; раньше или позже они перешли в другой лагерь и закончили войну на стороне победителей, что делает двойственнее их представление о минувшей войне. Народы, подвергшиеся нападению немцев, воевали на фронтах лишь короткое время, максимум — несколько недель (за исключением Югославии, где действовала армия Тито), а потом уже была не война, а Сопротивление либо коллаборационизм. Нейтральные государства не были непосредственно затронуты войной, в Китае же шла гражданская война[1].

Остаются советский народ, немцы и японцы; они до конца познали вторую мировую войну и, хотя и в разной последовательности, пережили крупные победы и поражения, а также страшные разрушения своих городов и деревень. Поскольку японская литература мне мало знакома, я ограничусь русскими и немцами[2].

В противоположность Советскому Союзу, немцы в своей литературе повернулись к войне спиной, и не только потому, что они ее проиграли (поражение в первой мировой войне не помешало им в 20 — 30-е годы создать обширную военную литературу), но главным образом потому, что вторая мировая катастрофа, наряду с военным, имела для них и страшный моральный аспект. Их чудовищно мучила совесть — не столько из-за самой войны, сколько из-за злодеяний, совершенных немцами по приказу германского правительства. Раскрытие этих чудовищных преступлений так потрясло их, что многие и по сей день не избавились от чувства морального отвращения. Немецкие авторы не могли писать о подвигах на фронте, ибо они знали, что одновременно миллионы людей погибали в газовых камерах. За исключением раннего Бёлля, Грасса и Бухгейма, выпустившего недавно книгу «Подводная лодка», ведущие писатели, как правило, оставались в стороне от военной тематики, а если уж и обращались к ней, то избегали описывать военные действия как таковые. Таким образом, остается СССР — страна читателей военной литературы.

Для русских победа над Гитлером, над самой мощной в ту пору военной машиной,— это сама славная история Советского Союза. В принципе они знают, что другие события предшествовавших десятилетий, как бы они сами к этому ни относились (революция и гражданская война, коллективизация деревни и «чистки» 30-х годов), у очень многих на Западе вызывают негативное отношение и что индустриализация, урбанизация, космические исследования СССР рассматриваются западной общественностью как составные части всемирного процесса модернизации, но отнюдь не как особое достижение советского социализма.

Однако тот же самый Запад единодушно расценил как огромный успех Советского Союза то, что после первоначальных катастрофических поражений во второй мировой войне он собрался с силами и что его солдаты немногим более чем за два года проделали путь от Ста-

[1] Имеется в виду национально-освободительная война против японских захватчиков.

[2] Говоря «немцы», «немецкие писатели», Менерт безапелляционно ставит знак равенства между этими понятиями и выражениями «западные немцы», «писатели ФРГ»: характерный и печальный пример того, как политические взгляды оборачиваются исследовательской слепотой. Менерт не только полностью игнорирует мужественную и искреннюю литературу ГДР, посвященную минувшей войне, но и низводит до минимума ту же богатую тематику в беллетристике ФРГ. Упомянув Бёлля и Грасса, он забывает Кёппена, Ленца, Андерша, Хоххута, Вайса и многих других.

линграда до Берлина и одержали величайшую в истории страны победу.

Вклад, внесенный США и Великобританией в эту победу, не произвел на русских большого впечатления. Конечно, американцы посылали продовольствие и оружие, грузовики и джипы, но русские считают, что оба названных государства сделали минимум того, что могли, ибо месяц за месяцем оттягивали свое наступление против немцев с запада. В глазах русских победа над Гитлером, как в свое время и над Наполеоном, была русской победой, в которой проявились все их достоинства и в которой участвовали все русские, включая детей,— единственная победа в советской истории, которую не оспаривает даже самый недружелюбный западный критик.

Вряд ли кого удивит, что в Советском Союзе эту победу записывают на счет не столько русских, сколько коммунистов-русских. Что же касается лично меня, я думаю, основываясь на множестве бесед и чтении множества русских книг о войне, что русский солдат во второй мировой войне прежде всего воодушевлялся своим собственным патриотизмом, своей решимостью защищать матушку Россию от захватчиков, а вовсе не желанием навязать всему миру блага государственной экономики и коллективизированной деревни. Русский патриотизм — древний и надежный, он не зависит то того, какой в стране режим. Стоит напомнить, что Наполеон, воплощавший в себе современную Европу того периода, был разбит русскими армиями, состоявшими из подданных феодального абсолютизма...

Не следует также забывать и о том, что русские вели эту — оборонительную — войну против врага, который незадолго до того подписал с их правительством пакт о ненападении, который ранее получал от Советского Союза важные сырьевые материалы, который вторгся в СССР без всякой провокации со стороны последнего и который, как вскоре стало очевидно, безжалостно обращался с русскими пленными и с населением оккупированных областей. Куда легче поэтому было разгореться боевому духу в войне против Гитлера, нежели против Наполеона. За двадцать четыре года, что пролегли между революцией и войной, русские пережили немало столкновений, когда русские противостояли русским же. И тем возвышеннее было овладевшее ими чувство того, что теперь они совместно ведут борьбу против страшного внешнего врага, тем более что война эта завершилась победой.

В начале моего исследования, когда опрашиваемые один за другим называли среди своих любимых книг военные романы, я был встревожен. Но когда я прочел эти книги, мои опасения исчезли. Они не прославляли советское вторжение в зарубежные страны и не призывали распространять коммунизм за границей. Они описывали прежде всего участие русских в оборонительной войне и призывали их к аналогичным действиям в случае нового нападения на матушку Россию.

Как немец я хотел бы закончить следующим замечанием. Ни одна страна не пострадала от политики Гитлера так, как Советский Союз. Поэтому можно было бы ожидать, что авторы книг о войне станут содействовать увековечению царивших тогда антинемецких чувств. Однако от немцев, составляющих самый крупный контингент посетителей СССР с Запада (туристы, деловые люди, строители, ученые, студенты), редко слышишь о каких-либо проявлениях недружелюбия... Самые популярные русские романы о войне, на мой взгляд, способствовали в минувшие десятилетия успокоению, но отнюдь не разжиганию антинемецких чувств.

Заключение

Что же остается в памяти после прочтения этого множества книг? У каждого свой ответ. Для меня — это незабываемые характеры, живущие в книгах русских писателей, причем незабываемые, пожалуй, по той именно причине, что их не ожидаешь встретить в коммунистической литературе: у Распутина — и умирающая старая крестьянка, и молодая жена дезертира, и муж Марии, которому надо собрать тысячу рублей; у Семенова — размышляющий разведчик, столь непохожий на Дон Жуана 007; у Абрамова — Пряслины; у Айтматова — хозяин благородного иноходца Гульсары и путевой обходчик Едигей; в «Обмене» Трифонова — больная раком мать, и ее сын, и невестка; у Васильева — защитник лебедей; у Шукшина — неудачник Брониславл Пупков, и многие другие. Даже в коротких повествованиях современные русские люди предстают в бесконечном многообразии поколений, профессий, душевных коллизий. Мозаика человеческих образов здесь исключительно пестра.

Существенная черта в изображении действующих лиц в русской литературе, пожалуй, поразит западного читателя: они, как правило, показаны весьма серьезно, без облегченности. Поскольку мы на Западе считаем, что жизнь русских тяжела и полна лишений, мы ожидаем, что их любимые романы населены счастливыми, улыбающимися, удачливыми и уверенными людьми. Но это не так. Многие столь характерные для бестселлеров западного мира сюжетные линии отсутствуют в здешних романах и рассказах — беззаботная любовь, экзотические путешествия, соблазнительный секс, успешная карьера, хэппи-энд. Мы обнаруживаем здесь полную противоположность: большинство людей в русских романах живут трудной жизнью и ведут изматывающие битвы в душах своих. Лишь немногие произведения завершаются счастливым концом, некоторые же не дают читателю даже намека на «свет в конце туннеля».

Вспоминая о своих беседах в СССР, я прихожу к выводу, что читателей увлекают не столько выдвинутые в романе проблемы, и еще меньше отдельные события, скажем, на поле боя или в жизни

колхоза, сколько то, каким образом герои книг решают поставленные перед ними задачи. Разумеется, они охотно читают про веселые приключения отчаянных мушкетеров, однако собственный жизненный опыт влечет их к проблемным образам даже в развлекательном чтении. Готовность к состраданию — исконно русская черта. Люди на Западе относятся к страдающим более практично: достаточно вспомнить о таких мерах помощи инвалидам, как специальные наклонные въезды и выезды для колясок, специальные автобусы, автостоянки и даже специальные туалеты. Ничего подобного я в СССР не видел. Но у русских есть то, что редко встречается на Западе: чувство сострадания, ощущение того, что в страдании человека есть нечто мистическое, даже достойное почитания — чувство, которое, видимо, восходит к временам, когда страдание считалось ниспосланным от бога...

О том, что я люблю русских, но решительно отвергаю коммунистическую систему, я уже сказал в начале книги, и это, очевидно, повлияло на мои суждения. Однако в конце XX столетия наша Земля предстала такой маленькой, а существование ее обитателей подверглось столь большой угрозе, что для предупреждения катастрофы требуется трезвое мышление. В ситуации, которая в подлинном смысле слова взрывоопасна, мы принципиально не можем себе позволить — и это касается обеих сторон — ни шельмования идеологического противника, ни преуменьшения его опасности. Напротив, мы должны знать о нем и его образе мышления как можно больше. На Западе свободные исследования считаются само собою разумеющимся делом; как известно, Ленин также советовал русским изучать противника. Что же смог я, немецкий патриот, европеец, житель планеты, находящейся под угрозой, узнать о русских в ходе работы над настоящей книгой в 1979 — 1983 годах? Я ограничусь выводами, которые особенно актуальны для народов, живущих за пределами СССР, в первую очередь для нас, немцев.

Предсказываются ли в книгах названных авторов кардинальные перемены в Советском Союзе? Нет, реформистской литературой эти произведения назвать нельзя. Ни писатели, ни их герои нигде не выступают за изменение системы, даже за такой курс, который сегодня с успехом проводится в Венгрии. Но тот зачастую озадачивающий нас реализм, с которым изображается жизнь в СССР — как вчерашняя, так и сегодняшняя,— можно считать призывом к реформам. Этот реализм по существу своему неизменно критичен. Того, что думает Кремль по поводу этих авторов, мы не знаем, но мы видим, что он считает такое направление правильным и награждает многих его представителей орденами и премиями.

Можно ли почувствовать в названных книгах настоятельное стремление к свержению общественной системы в остальном мире? Ответ тоже отрицателен... Тематика названных романов — преимущественно внутрисоветская, даже внутрирусская. Почти во всех книгах речь идет об отношении героев друг к другу; тема человеческих взаимоотношений здесь тем более наглядна, что действие чаще всего развертывается внутри легко обозримых групп — семьи, деревни, батальона и пр., то есть групп, где все знают всех и проявляют живой интерес к тому, что делают или говорят другие. В этих довольно тесных рамках беседы ведутся не о большой политике, зачастую даже не о малой, а о личном — любви, браке, беременности, детях, квартирных затруднениях, отпусках, семейных разладах, тещах, алкоголе, то есть поднимаются вечные вопросы, как это присуще и мировой беллетристике — классической и современной.

Разумеется, есть романы и с другим содержанием, но не их называли мне в первую очередь. Более того, когда в разбираемых произведениях речь заходит об общественных, не узколичных проблемах, то и тогда дело касается прежде всего проблематики собственной страны в ее движении вперед, а не, скажем, Польши или Кубы.

Среди не носящих сугубо личного характера эмоций «наших» авторов и их героев наиболее ярко выражен патриотизм. Мы должны принимать его всерьез. Но должны ли мы его опасаться? Если видеть взаимосвязь этого патриотизма с традициями русско-советской экспансии — от государства Московии до мировой державы СССР, простирающейся сегодня на огромной территории Евразии,— то опасаться следует. Но он, как мы видели, проявляется весьма наглядно и в мирных достижениях, являющихся важным вкладом в мировую культуру: в литературе и фольклоре, в музыке, народных песнях и танцах, в архитектуре и науке.

И потому от нас зависит, сделаем ли мы русских своими друзьями, проявляя уважение к их культурным достижениям, или же заодно с их режимом, который мы отвергаем, огульно осудим русских и вынудим их занять позиции, от которых нам не будет ровно никакой пользы...

Удивительно, как часто «наши» авторы вспоминают в своих книгах известное изречение из Ветхого завета. В заключение и я хочу последовать их примеру и процитировать его: „...время войне, и время миру". Да простят мне, коль скоро я не могу согласиться с этой библейской мудростью. В давние времена, впрочем, даже в ту пору, когда жил мой дед, короли и правители еще могли в решающий час сделать последний выбор. Сегодня война — это конец. В наше время возможен лишь мир.

◆

РОССИЯ ПОБЕДОНОСНАЯ

Беседа с Исааком Макбрайдом

Публикация и вступление
кандидата исторических наук И. М. КРАСНОВА

Впервые предлагаемая вниманию читателей запись беседы с Исааком Макбрайдом о Советской России 1919 года[1] была опубликована в январе 1920 года в американском левосоциалистическом журнале «Либерейтор». Макбрайд был в то время корреспондентом влиятельной бостонской газеты «Крисчен сайенс монитор», которая, уделяя основное внимание проблемам религии, освещала также вопросы внутренней и международной политики. Нашли отражение на страницах этой газеты и революционные события в России.

Американский народ жаждал знать правду об Октябрьской революции, о действительном положении в Советской России. И он узнавал ее от таких замечательных журналистов, как Джон Рид, Альберт Рис Вильямс, Луиза Брайант. Они были очевидцами пролетарской революции и первых шагов социалистического строительства; более того, всем сердцем приняв эту революцию и ее великие социально-политические преобразования, они встали на их защиту. Среди тех, кто открыл американскому читателю правду о Советской России, был и Макбрайд. Он тоже оказался не из робких журналистов. В обстановке, когда войска США вместе с войсками Англии, Франции, Японии и других стран заодно с российской контрреволюцией пытались удушить Советскую власть, этот корреспондент с зонтиком, к которому был привязан носовой платок вместо белого флага, перебирается через фронтовые позиции, намереваясь достичь Москвы. Макбрайду повезло. Во-первых, потому, что он остался в живых при переходе линии фронта, где шли бои. Во-вторых, без малого полтора часа уделил В. И. Ленин в Кремле беседе с ним.

О своей встрече с Лениным Макбрайд рассказал на страницах газеты «Крисчен сайенс монитор» от 17 декабря 1919 года. (Точная дата этого интервью не установлена.) Известно лишь, что В. И. Ленин принял его не позднее 23 сентября 1919 года. Впервые на русском языке текст интервью опубликовал журнал «Дружба народов» в 1959 году[2], затем оно вошло в книгу «Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине»[3].

Публикация в США интервью Ленина Макбрайду имела для того времени большое значение. Не утратило оно своей значимости и по сей день. Особенно важен ответ Ленина на вопрос Макбрайда: «Что вы скажете о мире и об иностранных концессиях?»

«Меня часто спрашивают,— ответил он (В. И. Ленин.— **И. К.**),— правы ли те представители американской буржуазии, противники войны с Россией, которые ждут от нас после заключения мира не только расширения торговых связей, но и предоставления концессий. Я повторяю еще раз, что они правы. Прочный мир был бы таким облегчением для трудящихся масс нашей страны, что массы эти несомненно пошли бы ради него на некоторые уступки. Предоставление концессий на разумных началах в условиях сосуществования социалистического государства с государствами капиталистическими желательно и для нас, как один из способов получения технической помощи от стран, экономически более развитых».

---

[1] Печатается с незначительными сокращениями.
[2] № 4, с. 178—179.
[3] Том пятый. Воспоминания зарубежных современников. М., 1969, с. 246—249.

В. И. Ленин произвел на Макбрайда огромное впечатление, о чем тот рассказал своим американским читателям.

В 1920 году в Нью-Йорке вышла книга И. Макбрайда «Варварская Советская Россия» («Barbarous Soviet Russia»). Это название автор взял в кавычки. Он на фактах доказал, что заявления всех тех, кто клевещет на Советскую Россию и ее народ, не имеют ничего общего с истиной. На русский язык книга Макбрайда переведена не была.

Исаак Макбрайд привез с собой в США фотографию, на которой снят В. И. Ленин по выздоровлении после ранения — во время прогулки во дворе Кремля. Эта фотография была впервые помещена в январском номере журнала «Либерейтор» за 1920 год, то есть одновременно с записью беседы с Макбрайдом «Россия победоносная», вместившей впечатления непосредственные и живые — пусть местами несколько наивные и восторженные — свидетеля тех незабываемых дней.

Макбрайд: Я добрался до Риги в конце августа и обратился в генштаб Латвии за разрешением на переход линии фронта. Мне посоветовали этого не делать, потому что на фронте шли бои, но в конце концов я добился разрешения и отправился на фронт.

Поезд остановился в шестнадцати верстах от линии фронта, и дальше можно было либо идти пешком, либо ехать на подводе. Я нанял подводу. Большевики обстреливали этот участок, латыши им отвечали. И те и другие стреляли шрапнелью. Мы с русским возницей поехали по дороге, он сидел впереди, я сзади.

Вопрос: Вы были совсем один?

Макбрайд: Да. Ногами я упирался в борта телеги, чтобы не отбить себе все внутренности на ухабах (у телег нет рессор, а дороги — сплошные ухабы). Не успели мы проехать и пяти верст, как снаряды стали ложиться очень густо, и я до смерти перепугался. Вдруг снаряд разорвался футах в пятидесяти от нас, и осколок шрапнели величиной с два моих кулака грохнулся у меня между ног, пробив телегу; при этом большой кусок доски от телеги ударил меня по ноге, так что к Москве она стала у меня сине-черной. Я чуть было не велел вознице повернуть назад, но затем подумал, что раз уж мы столько проехали, возвращаться стыдно.

Возница остановил лошадь и повернулся ко мне. Лицо у него было белое как мел, но я велел ему ехать дальше, и мы поехали. Примерно через полверсты мы увидели под деревьями у пушки группу латышских офицеров. Они отвечали на огонь большевиков. Я спросил у них, можно ли ехать дальше; они рассмеялись и сказали: «Валяйте». Им было наплевать, убьют нас или нет. Так я в конце концов добрался до фронтовых позиций и отправился к командующему, чтобы показать ему разрешение на переход линии фронта. Было это днем, около 4 часов. Он говорит: «Сейчас идти нельзя; вон там идет бой». Ну а ночи были очень холодные. Если бы я остался, мне пришлось бы заночевать под открытым небом, а на той стороне, подумал я, возможно, удастся поспать в тепле. Поэтому я настоял на том, чтобы идти.

Прямо за нейтральной зоной были видны окопы большевиков, вырытые перпендикулярно к железной дороге, вдоль которой по обе стороны тянулась колючая проволока — препятствие для товарных составов. Командующий сказал: «Через окопы вы не пройдете, туда никто не допускается, кроме военных, но вы можете перелезть через колючую проволоку и пойти прямо по железнодорожному полотну». Это было самое разумное решение, и один офицер повел меня в обход проволочного заграждения к откосу железной дороги и показал, где влезть на полотно. Я кое-как вскарабкался (подъем около 25 футов) и пошел по шпалам, в теплом пальто, с большим чемоданом в одной руке и с зонтиком, к которому был привязан белый носовой платок,— в другой. День был очень жаркий, а идти мне надо было по нейтральной зоне около двух миль.

Вопрос: Две мили по шпалам?

Макбрайд: Прямо по шпалам. Вдали виднелись большевистские окопы. Вскоре началась перестрелка. Около меня пули пока не свистели, и я решил: наверное, латышские солдаты высовывают из окопов головы, чтобы посмотреть, что это за идиот там шагает, а большевики стреляют по ним как по мишеням.

Латышский офицер сказал мне: «Если они начнут в вас стрелять, скатывайтесь с полотна и ползите к нам обратно». Катиться мне бы пришлось футов 25, а ползти с милю. Поэтому я шел дальше. Вдруг что-то просвистело у меня над ухом, и я понял; кто-то меня засек. На этот раз, вместо того чтобы испугаться, я рассвирепел.

Вопрос: Выстрел был со стороны большевиков?

Макбрайд: Ну да. Латыши же были сзади.

Вопрос: А до этого вы были под защитой латышей?

Макбрайд: Да. Я продолжал идти по шпалам — очень быстро, пригнув голову, но больше в меня не стреляли. Когда я подошел к окопам ярдов на сто, мне сделали знак сойти с полотна и пересечь поле, указав на лаз в колючей проволоке, которым они сами пользуются, когда взбираются на железную дорогу. Я так и сделал и в конце концов добрался до окопов большевиков. К этому времени я уже был вымотан и взвинчен от страха и усталости — я же тащил чемодан. Помню, первое, что я сказал одному из красных солдат, было: «Какого черта вы в меня стреляли?» Тот подозвал с другого конца окопа парня, говорившего по-английски.

«Солдат выстрелил в вас по ошибке,— сказал он.— Ему не надо было стрелять, но вы сами виноваты. Вы должны были нести красный флажок, а не белый!»

Вопрос: А что было потом?

Макбрайд: Меня начали проверять. Не важно, кто вы, не важно, какой у вас паспорт, они не хотят рисковать. У них было много неприятностей со шпионами, поэтому они установили правило, чтобы всякий переходящий на их сторону передавался вверх по инстанциям и всюду допрашивался. Я добрался в Москву только на девятый день. Из роты меня переправили в полк, из полка — в бригаду, из бригады — в дивизию, из дивизии — командованию армии, а оттуда — верховному командованию.

Вопрос: И вас всюду допрашивали?

Макбрайд: Конечно, и каждый раз допрос вел пользующийся доверием коммунист, человек, хорошо разбирающийся в вопросах мирового революционного движения, человек, который знал, какие задавать вопросы, и умевший определять по ответам, можно ли вас допускать в страну или нет. И на протяжении всего пути вас сопровождает красноармеец. Ночью вы спите в казармах, а красноармеец сидит всю ночь у двери с ружьем на коленях. Пока вас окончательно не проверят, рисковать не хотят.

Вопрос: Вас спросили, когда вы пришли, социалист ли вы?

Макбрайд: Нет, это не спрашивают, это они сами определяют. Если бы вас спросили, вы бы наверняка ответили «да», и они это знают. Они не такие дураки, как рядовые правительственные чиновники. Ну, мой красноармеец в конце концов доставил меня, как тюк с товаром, в Наркоминдел в Москве, получил расписку от секретаря Чичерина и оставил меня там. После этого за меня взялись наркоминделовцы, и, скажу вам, они знают свое дело. У большевиков самая эффективная система выявления шпионов, какую я когда-либо видел.

Я прошел через руки Литвинова, затем Красина, еще двух сотрудников Наркоминдела и только тогда попал к Чичерину.

Вопрос: Чичерин хорошо говорит по-английски?

Макбрайд: Очень. Когда вас признают своим, вам предоставляется полная свобода действий, вы можете делать что угодно. Вам говорят: «Делайте, что считаете нужным» — и обеспечивают вас жильем.

Вопрос: А питанием обеспечивают?

Макбрайд: Да, самым лучшим питанием, которое есть в России. На завтрак мне давали черный хлеб, кофе и кусочек масла, в час или два — щи и маленький кусочек рыбы, и это весь обед; вечером, часов в семь-восемь,— чай, черный хлеб без масла и яйцо. И так всю неделю, без изменений.

Вопрос: Кофе натуральный?

Макбрайд: Нет, пшеничный.

Вопрос: Все получают одно и то же?

Макбрайд: Нет. Люди, занятые на самой тяжелой физической работе, получают самый большой паек; люди, занятые на сидячей работе, получают очень маленький паек, и, как выяснилось, благодаря этому служащие обретают очень хорошую форму. Перед тем как я приехал в Москву, несколько дней в городе не было ни крошки хлеба. Люди жили на чае с яблоками. Очень трудно представить себе страну с населением в 96 миллионов, которое питается черным хлебом и чаем и для разнообразия — щами. Иногда в это трудно поверить, но это так.

Вопрос: Правда ли, будто крестьяне придерживают продовольствие? У нас ходят такие слухи.

Макбрайд: Да, у Советской власти возникают трудности с частью крестьянства, потому что они не хотят сдавать свою продукцию. Они прячут продукты, поскольку им нужны машины, нужна обувь, нужна одежда.

Вопрос: Крестьяне прячут продукты из-за недовольства центральным правительством?

Макбрайд: Нет, по-моему, основное недовольство направлено на силы вне России, чьи действия вызывают у них возмущение. Не забудьте, что крестьяне в России живут очень обособленно, и, хотя большевики стараются наладить с ними контакт, тысячи и тысячи крестьян не имеют представления о том чего же добивается Советская Россия. Но в целом крестьяне Советскую власть поддерживают.

Главная же причина нехватки продовольствия заключается в том, что 60% мужчин, то есть рабочей силы, в настоящее время или воюют сами, или помогают действующей армии в борьбе с интервенцией. Железные дороги, например, полностью переданы военным; там одно гражданское лицо приходится более чем на 3 тысячи военных.

Вторым важным фактором является транспорт. В некоторых районах страны собран неплохой урожай пшеницы, предпринимаются отчаянные усилия вывезти его в центры с большим населением, но подвижной состав разбит, большей частью разбит совсем, а восстановить его невозможно из-за поголовной мобилизации.

Вопрос: И сырья ведь тоже нет?

Макбрайд: Если бы людей отпустили с фронтов, заработали бы шахты. Как добывать сырье, в России знают, да и как превращать его в готовую продукцию — тоже.

Вопрос: У них есть все естественные ресурсы?

Макбрайд: Да, но, конечно, если бы они могли приобрести хоть какое-то готовое оборудование, паровозы, рельсы и вагоны, это бы облегчило сложившееся положение с продовольствием больше, чем что-либо другое.

Вопрос: Расскажите нам о Москве.

Макбрайд: Сначала я хочу рассказать вам о том, что видел на фронтах. Я проехал по фронтам тысячу миль. Дважды я был очевидцем боевых действий на западном фронте — сначала против латышей, а затем против литовцев. Больше всего меня поразила в Красной Армии необыкновенная самодисциплина. Случалось, я приезжал в штаб на фронте, штаб высокого командования, и заставал командира играющим за столом в карты или шашки с рядовы-

ми. А то вдруг распахивается дверь и вваливается ватага солдат и офицеров, которые усядутся все вместе и примутся разговаривать. Внезапно зазвонит телефон — донесение с боевых позиций,— командир отдает приказ, солдаты сразу же становятся по стойке «смирно», карты отбрасываются, солдаты пулей исчезают за дверью. Все слаженно, четко. Видите ли, они отлично понимают: одно дело — приятельские отношения в свободное время, а другое дело — подчиняться боевому приказу.

Вопрос: А в других отношениях Красная Армия похожа на другие армии — я имею в виду военно-полевые суды, расстрелы и т. д.?

Макбрайд: У них есть смертная казнь, но к ней прибегают очень редко. Дело в том, что красные солдаты душой и телом преданы Советской России. Даже раненные и искалеченные они не хотят ложиться в госпиталь, а хотят вернуться на фронт, и, более того, они могут толково объяснить вам, почему они хотят вернуться. Это не желание драться, это желание защитить то, что они обрели.

Вопрос: Как обращаются с военнопленными?

Макбрайд: О, у них великолепная система. Я был на латышском фронте несколько раз, когда брали пленных. Вот что они делают. Пленных ведут прямо в казармы, усаживают на полу, затем приходит один красноармеец с корзиной хлеба, а второй — с самоваром. Они наливают чай, режут и раздают хлеб. Пока пленные едят, еще один красноармеец вносит охапку литературы. Если среди пленных есть немецкий солдат, ему дают литературу на немецком языке, литовцу дают на литовском, а если это француз — что ж, литература имеется на всех языках. Пока пленные находятся в части, их кормят три раза в день, иногда хлебом с чаем, иногда щами и заставляют все время читать. Когда пленные не читают, с ними беседуют комиссары, рассказывают им о международном положении, о причинах войны и о том, зачем их пригнали в Россию. Эта методика отработана настолько, что буквально через пять минут после взятия в плен пленным дают поесть, и не пройдет еще пяти минут, как им дают литературу.

Вопрос: Вы встречали пленных англичан или американцев?

Макбрайд: Да, я встретил в Москве 30 пленных англичан. Некоторые из них работают сейчас на Советскую власть. Однажды я подошел к грем англичанам на улице и сказал:

«Как выбраться из этой страны? Я здесь уже шесть месяцев, и меня никак не выпускают».

«А почему вы хотите уехать»? — спросил один из них.

«Мне здесь не нравится. Есть нечего, личную свободу ограничивают и вообще погано»,— сказал я, чтобы посмотреть, что же они ответят.

«Ну,— сказал он.— Мы здесь в плену шесть месяцев. Единственная наша претензия к Советской власти — это то, что голодновато. Нам выдают такой же паек, как и всем, но ведь в России никому не дают большой паек. Как видите, мы ходим по улицам без сопровождения и можем пойти куда захотим. Три раза в неделю вечером нас отправляют в театр. Мы смотрим драмы Шиллера, пьесы Горького и Толстого, ходим в оперу и на балет. И это относится ко всем пленным».

«Где вас взяли в плен?» — спросил я.

«В Архангельске. Нас было 90 в роте, и нам приказали атаковать позицию большевиков. Отдавая приказ, генерал велел нам всем перед боем положить в карман по гранате, потому что, если попадешь в плен, большевики отрежут тебе сначала палец, потом ухо, потом кончик носа и будут резать и мучить до тех пор, пока ты через 21 день не умрешь. Мы подумали: а что, если это на самом деле так? — и взяли гранаты».

Вопрос: Они взяли гранаты, чтобы с их помощью покончить жизнь самоубийством?

Макбрайд: Да, чтобы подорваться на них. «Так вот,— продолжал англичанин,— мы пошли в наступление против большевиков и оказались в мешке. Когда они окружили нас, нам оставалось только бросить оружие и поднять руки, и мы решили, что все кончено. Однако ни у кого из нас не хватило духу пустить в ход гранату. Нас взяли в плен и отвели за две версты в казармы, там нас усадили на пол, и три солдата принесли большие буханки хлеба, самовары, дали нам чаю с хлебом, а еще два солдата принесли большущие связки литературы, напечатанной по-английски, чтобы мы могли ее читать. В казармах нас продержали два дня, а затем привезли в Москву, и если хотите,— продолжал он,— я возьму вас с собой и покажу, где мы живем — мы живем в очень славном месте — и где несколько моих товарищей работают на Советы».

Я спросил у него: «И что, это обычная практика?» — на что он ответил: «Да, так они обращаются с теми, кто к ним попадает. Вас не убивают, вас попросту потчуют, как говорят за пределами России, «ядовитой пропагандой». Вам говорят: «Почитайте вот это с неделю», и вы читаете и верите тому, что читаете,— не можете не верить».

Так что, как видите, в России очень любят брать в плен. Единственное препятствие — нехватка продовольствия, а пленных русские морить голодом не хотят. Они сами говорили мне, что с удовольствием брали бы по миллиону пленных в день, будь у них достаточно продовольствия и бумаги. Ведь самая большая битва, которая ведется в России,— это битва за просвещение. По всей линии фронта стоят транспаранты, рассказывающие противнику, за что идет война, их видно за сто метров.

Вопрос: Что это за транспаранты?

Макбрайд: В землю втыкают два шеста и между ними натягивают транспарант. Не успеет взойти солнце, а он уже стоит.

Вопрос: А что там написано?

Макбрайд: Разное. Например, на одном транспаранте, который мне перевели с латышского, когда я выезжал на фронт, говорилось: «Немцы идут на Ригу! Немецкие

солдаты помогают вам задушить республику рабочего класса в России! Если хотите защитить Латвию, вернитесь и прогоните немцев от Риги!» Так вот и разложили латышскую армию.

Вопрос: Это ведь получше шрапнели, а?

Макбрайд: Да, почему я и беседовал на обратном пути с латышскими солдатами. Они хотели одного: перестать драться с большевиками и вернуться домой. Как армия они больше не существовали.

Но советские войска отличаются и в боевых действиях тоже. Помните, как три недели назад Юденич двинулся на Петроград? Прежде всего я должен вам сказать, что для большевиков самая опасная — это армия Деникина. У него казаки, Англия снабжает его продовольствием и обмундированием, англичане посылают ему танки. Русские солдаты никогда не видели танка и поэтому когда эти чудовища поползли на них, не устояли; отступление было беспорядочным и потери очень велики. Чтобы остановить Деникина, большевикам пришлось практически оголить западный фронт, особенно петроградский фронт. Пришлось даже мобилизовать и отправить на фронт комиссаров из различных учреждений Петрограда и других городов. В этот момент Юденич и двинулся на Петроград. Зная о разрухе на транспорте, он, естественно, думал взять город до того, как удастся перебросить подкрепления с юга. Но смотрите, что получилось. За два дня большевики перекинули на защиту Петрограда три полка. И где сейчас Юденич?

Вопрос: Есть ли в русской армии крупные стратеги, направляющие ее действия?

Макбрайд: В настоящее время в ней служит немало офицеров царской армии. Это не значит, что все они сторонники Советской России, просто они болеют за Россию. Раздаются и голоса тех, кто считает, что они предадут на фронте солдат, отдадут их в руки врага, но руководство сказало: или опытным офицерам разрешат обучать солдат строевой подготовке и военной тактике, или Красная Армия будет разбита... В каждой воинской части, будь то рота, бригада, полк или дивизия, кадровому офицеру придан комиссар, знающий о каждом шаге офицера. Но я думаю, что надобность в этом скоро отпадет. Когда я был в Москве, 167 бывших царских офицеров обратились с призывом (я его читал) к своим товарищам-офицерам, воевавшим в деникинской армии, уходить от Деникина и перестать воевать с Советской Россией, потому что русский народ стоит за Советскую власть.

Вопрос: Какова сейчас численность Красной Армии?

Макбрайд: Два миллиона человек. Один миллион — на западном и украинском фронтах, где действуют Деникин и Юденич. Она похожа на любую другую большую высокодисциплинированную армию, но это еще не все. В ней царит по-настоящему революционный дух. Это видишь даже по выражению солдатских лиц. А когда узнаешь, что в вещевом мешке у солдата маленький железный чайник, кружка, буханка хлеба — и все и что воюет он в основном на чае с хлебом, тогда понимаешь, до чего же эта армия великолепна. Солдаты поют «Интернационал» так, будто он льется из глубины души.

Если у вас сохранилась еще совесть, сохранилась честь, порядочность — вне зависимости от того, «за» вы или «против» большевизма,— то когда вы приезжаете в Россию и видите, как этот народ борется за свободу, за свободу, как он ее понимает,— если у вас в сердце есть хоть чуточку доброты, вы не можете остаться равнодушным и со всей энергией, на которую способны, начинаете протестовать против дальнейшей интервенции в России.

Вопрос: Теперь понятно, почему все порядочные люди, побывавшие в России, считают по возвращении своим долгом посвятить себя делу снятия блокады и прекращения интервенции.

Макбрайд: Именно. Я чувствую то же. Трудно представить себе, что такое страдание, пока не побываешь в теперешней России. Я обычно ем немного, но в России я чуть не умер с голоду, а ведь мне давали лучшее, что там есть.

Вопрос: Я хочу вернуться к вопросу о том, есть ли в России крупные стратеги... Не поговаривают там о новом Наполеоне, новом военном гении?

Макбрайд: Нет, «всаднику на коне» в России больше не бывать. Видите ли, большевики продержались у власти два года, у них было время просветить рядовых бойцов, а когда рядовые достаточно просвещены, пресловутый «всадник на коне» к власти прийти не может.

...В Советской России выдающимся руководителям не разрешают лезть под пули; там просто не могут этого позволить. Там все коммунисты готовы пожертвовать собой и умереть за свое дело, но, как люди разумные, они требуют, чтобы видные руководители, от Ленина и ниже, не участвовали в боях, иначе их убьют.

Вопрос: Вы видели Ленина?

Макбрайд: Видел. Я говорил с Лениным час двадцать минут.

Вопрос: Что было самым важным из того, что он сказал?

Макбрайд: Я расскажу об этом в своей статье, которую пишу.

Вопрос: Ну, а какое он на вас произвел впечатление?

Макбрайд: Ленин? Вот бы иметь такого брата! Знаете, до того как Ленина ранили, он запросто ездил по всей России, у него и охраны-то не было. Теперь приходится предъявлять пропуск по четыре раза, пока до него дойдешь.

Вопрос: Он оправился после ранения?

Макбрайд: Он чувствует себя прилично, но пулю из тела ему еще не извлекли. Шесть недель он был между жизнью и смертью, и врачи боялись извлекать пулю, чтобы не убить его операцией.

Вопрос: Меня интересует система распределения. Каковы магазины? Есть ли еще частные лавки?

Макбрайд: Естественно, крупные универсальные магазины в Москве и Петрограде стали советскими учреждениями, правительство забрало также крупные обувные магазины и магазины готового платья, но тут и там встречаются мелкие лавочки, где еще окопалась бывшая мелкая буржуазия. В Москве есть улица спекулянтов. Пойдите туда в любой день и встретите тысячи и тысячи людей, и все — в пределах семи кварталов. Там старорежимные буржуа, мужчины и женщины, продают с рук поношенные костюмы, платья, дамскую обувь, драгоценности, цилиндры и тому подобное, чтобы выручить деньги на покупку продуктов питания.

Дело в том, что им приходится платить спекулянтам по 75 рублей за фунт черного хлеба, а если бы они работали на Советскую власть, то могли бы купить его за десять рублей. Но эти люди не хотят сотрудничать с Советской властью. Они все еще надеются, что интервенты восстановят старые порядки.

Вопрос: Эти люди получают какие-нибудь продукты от Советской власти?

Макбрайд: Те, кто не работает? Нет, таких совершенно не признают. В России сейчас надо работать. Это не важно, сколько у вас там упрятано в кубышку,— вы не можете войти в советский магазин и купить продукты без карточки, на которой указано, что вы заняты полезным трудом. Другое дело, если вы не в состоянии работать, тогда вам тоже выдается карточка.

Вопрос: Значит, все же существуют спекулянты которые продают непримиримым противникам Советской власти продовольствие и предметы первой необходимости по чудовищным ценам?

Макбрайд: Да, их немного, но они есть.

Вопрос: Почему же эти немногие сохранились?

Макбрайд: Потому что 60% мужского населения в России мобилизовано. Они заняты более важным делом. Но спекуляцию понемногу ликвидируют. Советский рабочий обычно все покупает в советском магазине; но может покупать где хочет. Это не противоречит закону.

Вопрос: Зарплата рабочему выдается в рублях?

Макбрайд: Да, средняя заработная плата рабочего в Москве на сегодняшний день составляет 3 тысячи рублей в месяц.

Вопрос: А как котируется сейчас рубль?

Макбрайд: Рубль сейчас примерно равен 4 центам. Простой солдат получает в России 400 рублей в месяц, но ему выдают обмундирование, обувь и полтора фунта хлеба в день. Ленин, Чичерин и другие наркомы получают по 4500 рублей в месяц, то есть около 180 долларов. Зато они платят за квартиру, покупают себе одежду и продукты. Чичерин живет впроголодь, от него одна тень осталась. Он питается на работе: щи и кусочек рыбы днем, а около полуночи — все еще на работе — стакан чая с кусочком черного хлеба.

Вопрос: Разве наркомы относятся к той категории служащих, которые получают не самый большой паек?

Макбрайд: Совершенно верно. Им выдается столько же продуктов, сколько и любому другому служащему, занятому на сидячей работе.

Вопрос: Кто устанавливает зарплату?

Макбрайд: Высший Совет Народного Хозяйства каждые два месяца совместно с профсоюзами устанавливает в каждом городе заработную плату в зависимости от создавшихся условий.

Вопрос: Крестьяне принимают эти большевистские деньги?

Макбрайд: Неохотно; да сказать по правде, деньги им и ни к чему — им нужна обувь. Но что может поделать правительство? Оно не может дать крестьянам одежду, не может дать им обувь, не может дать машины, даже соли не может им дать. Если вам в России надо проехать полмили, вы садитесь на извозчика, и он заламывает 300 рублей, но если вы ему скажете: «Я дам тебе соли», он будет возить вас шесть часов подряд.

Вопрос: Вы говорили, что все еще существуют мелкие торговцы. А разве не существует крупных концессий, предоставленных солидным частным капиталистическим фирмам? Левые у нас то и дело обвиняют правительство Ленина в том, что оно все больше и больше идет на компромисс с частными корпорациями. Это правда?

Макбрайд: В самой России?

Вопрос: Да.

Макбрайд: Абсолютная ложь. Единственной корпорацией, с которой в настоящее время имеет дело Советское правительство, является издательство «Всемирная литература», возглавляемое Максимом Горьким. Там работают лучшие литераторы и ученые России, они переводят великие произведения литературы на все языки страны, чтобы распространить их в миллионах экземпляров среди крестьян,— дело только за бумагой. Уже подготовлены 500 томов. Это частное предприятие под контролем Советского правительства и субсидируемое им.

Вопрос: А концессия на лес норвежцам?

Макбрайд: Да, Советское правительство хотело предоставить норвежцам концессию. Оно охотно предоставит концессии шведам, датчанам, любому заграничному концерну при условии, если он согласится с тем, что рабочие, занятые у него, будут подчиняться законам Советской Республики. Он не может ввести для них более продолжительный рабочий день, чем тот, который принят в Советской России, он должен будет платить им столько, сколько платят в Советской России, независимо от получаемых им доходов.

Вопрос: То есть концерны могут эксплуатировать леса и шахты, но не рабочих, они не могут превратить рабочих в рабов?

Макбрайд: Именно. Чичерин сказал мне: «Передайте народу Соединенных Штатов, что у нас в России есть лен, есть лес, у нас

много чего есть. Мы предоставим им концессию на 49 лет при условии, что эксплуатация будет происходить под контролем и в соответствии с законами Советской власти».

Вопрос: Но внутри страны концессии никому не предоставляются? Что, в России не осталось крупных богатых корпораций?

Макбрайд: Ни одной. А иностранцам русские предоставляют концессии только потому, что нужна техническая помощь.

Вопрос: Какова же философия этой революции? Никаких компромиссов до того, как революция произойдет, а после?..

Макбрайд: А после того как она произойдет, компромиссы для сохранения революции.

Вопрос: И тем не менее вы бы назвали людей, подобных Ленину, бескомпромиссными?

Макбрайд: Безусловно. Ленин и Чичерин говорят тебе: «Теперь возвращайтесь в Америку. Скажите там, чтобы Америка отозвала свои войска. Мы предоставим ей концессии, дадим ей все, что она захочет... Только оставьте нас в покое и дайте возможность восстановить производство. Мы знаем, что идем на компромисс, но это компромисс в интересах революции».

Вопрос: А Коммунистическая партия поддерживает их в этом?

Макбрайд: Да, и Исполнительный Комитет[1], состоящий из 200 человек, и съезд Советов. В то время, когда эти концессии предлагались, существовали разногласия, но теперь почти все члены партии единодушны.

Вопрос: Левая оппозиция целиком состоит из анархистов?

Макбрайд: Нет, в нее входят и крайне левые большевики тоже. Хотя разница между ними и анархистами едва уловима. Они возражают против централизованного контроля и против ограничения свобод в России.

Вопрос: А сами руководители не боятся иногда, что власть в стране слишком централизована?

Макбрайд: Да, вот особенно этого постоянно опасается Ленин; но они считают, что в настоящее время централизация абсолютно необходима, и только дурак может думать иначе. Нельзя предоставить абсолютную местную автономию, когда враг берет тебя в кольцо. Тут необходима сплоченная организация, где все подчинено революционной дисциплине, и к этому-то они и стремятся.

Вопрос: К кому примыкает Горький?

Макбрайд: Горький — чистейшей воды пацифист. Он литератор и никогда ни с какого боку не вмешивался в политику страны. В революции, как я понимаю, ему претили убийства с обеих сторон.

Горький сказал мне (я записал его слова и прочту их вам): «Когда вернетесь в Америку, скажите американцам, чтобы они человеколюбия ради оставили Россию в покое. Я прекрасно понимаю, что в Америке есть много, много людей, которые не видят, которые не могут осознать, что такое Россия, но ведь есть же в Америке и просвещенные люди, так вы скажите им, пожалуйста, что Россия — это не Центральная Африка, не знающая искусства управления государством и не имеющая гениальных руководителей.

Россия вполне в состоянии сама о себе позаботиться. В ближайшее время будет опубликовано заявление от имени лучших умов русской науки и литературы, адресованное всему миру и рассказывающее об успехах, достигнутых при Советской власти».

Кстати, именно Горький сообщил мне о фабрике под Петроградом, где опилки превращают в сахар.

Вопрос: Это новое открытие?

Макбрайд: Да, оно было сделано рабочими фабрики. Еще один рабочий изобрел новый способ вязки рыболовных сетей: раньше сети служили два года, а теперь с ними не будет хлопот лет восемь. Горький говорит: менее чем за два года Советской власти открытий было сделано больше, чем за два предыдущих царствования.

Горький — замечательный человек. Вот какая работа проводится под его руководством: готовится серия пьес и сценариев, иллюстрированных с научной точностью, где прослеживается история человека от каменного века через средние века до Французской революции. Уже подготовлено 25 сценариев.

Вопрос: Теперь я хочу задать вам вопрос о свободе личности. Предположим, я — из тех буржуек, что торгуют на улице драгоценностями, дабы иметь возможность купить продукты, и что я устала от этого, хочу все это бросить и пойти на работу в советское учреждение. Что мне надо сделать и какую работу я получу? Мне что, просто прикажут идти работать в определенное место, хочу я этого или нет?

Макбрайд: Нет, вы подадите заявление в соответствующее учреждение, вас спросят, что вы умеете делать, вы расскажете, какая у вас профессия, вас направят в учреждение этого профиля, и если там есть вакансия, вам ее предоставят. Или же вам могут сказать: «В этом учреждении вакансий нет. Хотите заняться вот этим?» — и назовут некую работу. Вы скажете: «Пожалуй, это мне не подходит», тогда вам ответят: «Нам бы очень хотелось предоставить вам работу, о которой вы просите, но то, что мы вам предлагаем, самое близкое к ней и очень нужное дело. Работа эта не трудная, и мы просим вас пойти и ознакомиться с ней». Если вы действительно заинтересованы и хотите работать, вы пойдете и возьметесь за дело. Само собой, если предприятие, на котором вы работаете, закрывается из-за нехватки топлива или еще чего-нибудь в этом роде, вам выдается карточка безработного и в конце месяца выплачивается ваша обычная зарплата, как если бы вы работали.

[1] Центральный Комитет. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

Единственное серьезное ограничение свободы личности в России связано с контрреволюцией. Вам не позволяется злоумышлять против Советской власти. Например, когда я был в Москве, были расстреляны 60 мужчин и 7 женщин, и хорошо, что их вовремя схватили. Они распространяли среди красноармейцев на деникинском фронте листовки, в которых говорилось, будто Москва и Петроград пали, а еще у них имелись в разных местах тайные склады оружия. Это были храбрые люди — русские вообще не боятся умирать. Они признались, что хотели свергнуть правительство, поэтому их арестовали и расстреляли.

Десять дней спустя в Москве заседал Исполнительный Комитет большевиков [1]. Через 10 минут после начала заседания под полом взорвались две бомбы, 15 человек были убиты, 65 ранены... Секретарь Московского комитета партии (я забыл его фамилию, очень умный человек) сидел за столом и писал — от него ничего не осталось. Это была месть анархистов за казненных.

Большевики находятся в отчаяннейшем положении: они окружены внешними врагами и имеют врагов внутренних. Они знают, что, если вражеские силы продвинутся в глубь страны, все коммунисты будут уничтожены, как это делается у Деникина, который убивает каждого обнаруженного коммуниста.

Вопрос: Вы бывали на каком-нибудь судебном заседании?

Макбрайд: Да, на заседании народного суда.

Вопрос: Судьи — профессионалы?

Макбрайд: Нет, это и рабочий, и крестьянин, художник, солдат — представители от каждой группы населения, а юристов — никаких. В том народном суде, где я был, председательствовал крестьянин. Власти дают подсудимому право выбрать любого защитника. Он может привести в качестве защитника и своего друга. А власти выбирают рабочего, или крестьянина, или другое должностное лицо в качестве государственного обвинителя, и судебное разбирательство начинается. После дачи всех показаний суд решает, виновен ли подсудимый или нет,— решает большинством голосов.

Вопрос: Эти судьи работают постоянно?

Макбрайд: Их могут отозвать в любой момент. В России могут отозвать любое должностное лицо.

Вопрос: Расскажите нам о художниках. Как такие в общем-то непроизводительные работники получают право участвовать в управлении государством?

Макбрайд: Они выступают как организация и представлены в Центральном Исполнительном Комитете. Там представлены художники, извозчики, официанты, гостиничный персонал, врачи — словом, все профессии. Актеры тоже представлены.

Вопрос: Художникам платят как и другим трудящимся?

Макбрайд: Да, некоторые из них служат в государственных учреждениях, кроме того, существует фонд для поддержки художников-одиночек, что открывает им возможность свободы творчества.

Вопрос: Вы были в театрах, когда жили в Москве?

Макбрайд: Да, я ходил в Большой театр, ходил на балеты. Видел «Разбойников» Шиллера, «На дне» Горького. Вы не представляете, что творится в театрах, до того они переполнены.

Вопрос: Билеты дешевые?

Макбрайд: Они стоят от трех до четырехсот рублей. Первые четыре спектакля на неделе даются специально для советских рабочих. Потом, в России сотни скульпторов. Идешь в Москве по улице и видишь, как какой-то парень долбит зачем-то стену здания; а на следующий день в нише уже работает скульптор. По всей Москве, вокруг Театральной площади, Красной площади, вверх по Тверской до Советской площади, в старых зданиях выбивают ниши и устанавливают статуи.

Вопрос: Хорошие?

Макбрайд: Некоторые просто скверные.

Вопрос: С какой точки зрения? С академической?

Макбрайд: Скверные с точки зрения их художественных достоинств; от иных вы бы просто пришли в ужас. Перед Смольным институтом установлен памятник Марксу. Спереди он вполне хорош, а когда обойдешь его кругом, оказывается, Маркс держит в руке большой цилиндр. Это просто не вяжется: Маркс стоит в Советской России с цилиндром в руке!

Вопрос: Вы сказали, что женщины никогда еще не обладали такой экономической и политической свободой, как в России. Чем отличается их положение от положения женщин в других странах?

Макбрайд: А вот чем. В России нельзя жениться на женщине, а потом запереть ее дома, чтобы она только тем и занималась, что тебя обслуживала. Женщина может обратиться к советским властям с просьбой о трудоустройстве, она выходит на работу, а обедает с мужем в столовой, где этот обед готовят другие советские работники. Таким образом, женщина может совершенно свободно сама зарабатывать на жизнь, и благодаря ее независимости чувство между мужчиной и женщиной еще более крепнет.

Вопрос: Если у нее рождаются дети, Советская власть платит ей, пока она сидит дома и ухаживает за ними?

Макбрайд: Да, ведь она занята производительным трудом — воспитание ребенка в России считается таким же производительным трудом, как прокат стали. С детьми связываются большие надежды — они должны сохранить завоевания революции, сохранить в будущем новую Россию. Это для большевиков самое главное.

Перевод с английского З. РАХЛИНОЙ

[1] Имеется в виду Московский комитет РСДРП(б).

А. СТАРЦЕВ

О ДЖОНЕ РИДЕ

Несколько новых страниц

К 100-летию со дня рождения

Совпадая по времени с 70-летием Великого Октября, исполняется сто лет со дня рождения автора «Десяти дней, которые потрясли мир», всемирно известной книги о большевистской революции в России — книги, о которой Ленин в своем предисловии сказал, что желал бы видеть ее «распространенной в миллионах экземпляров и переведенной на все языки».

Выдающиеся нравственные черты личности Рида, беззаветно служившего революционному делу, высоко ценились В. И. Лениным и Н. К. Крупской. Они поражали воображение современников и продолжают вызывать восхищение потомков.

В сентябре 1920 года приехавшая в Россию, чтобы сделать скульптурное изображение Ленина, англичанка Клер Шеридан, встретив Рида в Москве, записала в своем дневнике: «Красивый, богатырского сложения молодой человек. Все бросил на родине и отдает здесь свое сердце и жизнь. Я готова понять порыв русских, но какая странная сила завладела этим находящимся в здравом разуме американцем?..» [1]

В конце октября того же 1920 года, узнав о кончине Рида и погребении его у Кремлевской стены, американский писатель Флойд Делл напечатал в «Нью-Йорк колл», газете Социалистической партии США, статью-некролог, озаглавив ее «Джон Рид — революционер»:

«Джон был одной из тех эпических личностей, которые возникают в переходное время, когда законы и традиции рушатся под ударами экономических сил и людям приходится формулировать новый закон и уповать в борьбе на себя. У нас здесь, в Америке, где эти, охватившие весь мир перемены ощущаются слабее, чем в прочих странах, Джон Рид казался романтическим персонажем, героем из сказки. У нас пока нет героических дел по плечу этим людям, и когда они, к нашему ужасу, появляются среди нас, мы обычно стараемся поскорее посадить их в тюрьму».

Двадцатью годами позже Айда Тарбел, ветеран американской прогрессивной журналистики девятисотых годов, близко знавшая Рида еще со времен его первых литературных успехов, написала в своих мемуарах, отдавая дань его памяти:

«Джон Рид словно красной чертой прочертил карту нашей эпохи» [1].

С разработкой архива Рида и других исторических материалов, связанных с его жизнью и деятельностью, добавляются новые факты, документируются некоторые важные стороны его биографии. Так, например, в большинстве книг о Риде сообщается, что, когда он пытался выехать весной 1920 года из Советской России нелегальным путем через Финляндию в США и, выданный провокатором, оказался в финской тюрьме, Советское правительство приняло меры, чтобы освободить его в порядке обмена. До последнего времени этот рассказ основывался лишь на изустных источниках. Сейчас же в числе выявленных ленинских документов имеется письмо наркома иностранных дел Г. В. Чичерина Ленину о возможности освободить Рида путем обмена с Финляндией. На письме резолюция рукой секретаря Ленина: «Ленин согласен» [2].

Ниже я предлагаю несколько новых страниц для биографии Рида, почерпнутых из различных ридовских материалов.

[1] Mayfair to Moscow. Clare Sheridan's Diary. N. Y., 1921, p. 81 *(Здесь и далее — примечания автора публикации).*

[1] Ida Tarbell. All in the Day's Work, N.Y., 1939, p. 266.

[2] В. И. Ленин. Биографическая хроника, 1977, т. 8, с. 478.

1. В декабре 1917-го

Работая над дополнениями к своей книге «Русские блокноты Джона Рида» и еще раз просматривая петроградские записи Рида за последние месяцы 1917 года, я с недоумением останавливался перед незаполненной блокнотной страницей, в левом углу которой стояло: «18 декабря. Замятин».

Карандашная запись Рида была обведена позднее чернилами. Это значило, что он позаботился, чтобы запись не стерлась; намерен был к ней вернуться, рассказать что-то в этой связи. Между тем никаких других сведений о встрече Рида с Е. И. Замятиным в 1917 году в Петрограде мне не встречалось.

Разгадка нашлась в книге Бесси Битти «Красное сердце России». Джон Рид, его жена Луиза Брайант, Альберт Рис Вильямс и калифорнийская журналистка Бесси Битти прибыли в Петроград летом 1917 года из США и в дальнейшем стали для Запада первыми литературными вестниками большевистской революции в России. В Петрограде они были почти неразлучны, и книги, написанные Луизой Брайант, Бесси Битти и Вильямсом, как бы являются спутниками «Десяти дней, которые потрясли мир».

В память об их тесном содружестве Бесси Битти посвятила свою, вышедшую годом позже в Нью-Йорке книгу «четырем, которым дано было увидеть рассвет».

Замятин, как выясняется, дружил с молодыми американскими журналистами (он был всего на несколько лет старше Рида) и посещал их в «Астории», где жила Бесси Битти, а к концу года поселились и Джон Рид с Луизой Брайант Замятин знал английский язык (как инженер-кораблестроитель, он некоторое время жил в Англии) и мог участвовать в их политических беседах и спорах.

В декабре 1917 года революция переживала напряженные дни. Вслед за принятием в ночь с 8 на 9 ноября II Всероссийским съездом Советов ленинского Декрета о мире, Советская Россия обратилась к правительствам и народам воюющих стран с призывом прекратить военные действия и начать переговоры о справедливом демократическом мире. После отказа держав Антанты Советское правительство во имя спасения пролетарского государства было вынуждено пойти на сепаратные переговоры с германо-австрийским блоком.

В этот исключительно трудный момент в холодном и темном номере петроградской гостиницы и разгорелся политический спор, оставшийся в памяти Рида и попавший на страницы «Красного сердца России».

Послушаем Бесси Битти (эта глава ее книги называется «Послание на Марс») [1]:

«Этим вечером нас было пятеро в маленьком синем номере «Военной гостиницы» (так называлась тогда «Астория».— **А. С.**). То был один из последних моих вечеров в Петрограде. Электричество, давно уже работавшее с перебоями, отказало совсем. Крохотное колеблющееся пламя свечи отражалось в глазах Замятина.

Замятин принадлежал к молодому поколению русских писателей. Поглощенный своими мыслями, задумчивый человек с сильным воображением, он предпочитал объясняться притчами, прерываемыми долгим молчанием.

Спор шел о большевиках. Мы спорили неистово, яростно, как спорила вся страна, ночи и дни в течение этого Красного русского года.

Отставив свой стакан чая, Замятин стал что-то чертить указательным пальцем на алой ковровой скатерти».

Бесси Битти передает вкратце «притчу», рассказанную Замятиным своим собеседникам.

«Когда я был мальчишкой,— сказал Замятин,— я как-то прочитал книжку о Марсе... о том, что там живут разумные существа, подобные людям... Я поделился с друзьями и заразил их своим увлечением. В темном небе над нами плыла планета под именем Марс, и там была жизнь...

Мы решили вступить в общение с Марсом. Было обсуждено и отвергнуто множество планов. Наконец мы решили сложить из бревен заглавное «А», первую букву нашего алфавита, и поджечь ее так, чтобы было видно на Марсе.

Марсиане увидят. Поймут. Мы продолжим наш алфавит, найдем общий язык. Это может стать подлинной революцией во Вселенной... Захваченные нашей идеей, мы нарубили деревьев и соорудили гигантское «А». Настала великая ночь. Мы подожгли наше «А» и стояли вокруг, затаив дыхание, не отрывая глаз от черного неба.

Мы ждали и ждали, но все оставалось по-прежнему. Марс не ответил...»

Замятин оторвал палец от скатерти и откинулся в кресле. С минуту мы все молчали, взволнованные, притихшие, как та ватага мальчишек лет двадцать тому назад на опушке русского леса».

«Не так ли они построили свою букву «А» здесь, сейчас, в Петрограде,— делится Бесси Битти своими размышлениями, навеянными «притчей» Замятина,— построили и зажгли с открытой душой, надеясь и ожидая ответа.

Марс не ответил.

Занятый планами военных захватов и создания новых империй, он отвел глаза в сторону.

«Всеобщий мир», «мир без аннексий и контрибуций», «самоопределение народов» — эту азбуку Марс был не способен усвоить. Эта вера и красота оставались для него непостижимыми. Ведь даже и мы постигали тогда их всего лишь наполовину».

«Замятин не был большевиком,— пишет далее Бесси Битти.— Он принадлежал к кругу русской intelligentzia. Как и некоторые другие, он был готов принять революцию в теории, но некоторые жесткие факты пугали его. Однако воображением художника он воссоздал свою букву «А» и дал нам почувствовать трагизм и величие этой мечты — начертать пылающий призыв для Вселенной...»

«Не увидеть надежду в русских революционных событиях — значило быть слепцом, не способным узреть восход солнца,— такими словами завершает автор эту заклю-

[1] Bessie Bitty. The Red Heart of Russia. N.Y., 1919, p. 475-480.

чительную главу «Красного сердца России».— Я покидала город Петра в глубокой тревоге, но была в то же время исполнена радости. Я присутствовала при великих событиях и понимала, сколь они велики».

2. «Старое» предисловие к «Десяти дням»

На пути домой из Советской России — это было в феврале 1918 года — Рид на целых два месяца был задержан в Норвегии. По сигналу Д. Р. Френсиса, американского посла в Петрограде, госдепартамент предписал своему консулу в Христиании (Осло) не выдавать Риду въездной визы на родину. Рид заявил резкий протест.

Досадуя на непредвиденную задержку — он торжественно обещал III съезду Советов рассказать американскому народу обо всем, что видел в революционной России,— Рид не стал терять драгоценного времени. Он принялся за работу над книгой, которой суждено было стать через год «Десятью днями, которые потрясли мир». В бумагах Рида, в рукописном отделе Гарвардского университета (США), хранится первый вариант предисловия, помеченный: «Христиания. 18 марта, 1918».

Это «старое» предисловие сильно отличается от окончательного, всем ныне известного, открывающегося словами, которые следовало бы выбить на памятнике Риду, политическому писателю и автору «Десяти дней».

«Эта книга — сгусток истории, истории в том виде, в каком я ее наблюдал».

«Старое» предисловие еще фрагментарно и, вероятно, не доработано Ридом, но притом весьма примечательно и хранит неповторимый отпечаток переживаемого политического момента.

Оно начинается раздумьем автора о недавних событиях, которые ему пришлось наблюдать.

«Если меня спросят, что самое характерное в Русской революции, я отвечу — ее необыкновенная простота. Как русская жизнь в книгах Толстого и Чехова, как весь поступательный ход русской истории, эта революция наделена непреоборимой, неспешной силой, подобной подъему древесного сока весной или морскому приливу. Французская революция всегда мне казалась и в истоках своих, и во внешних чертах в высшей степени делом рук человеческих, плодом интеллекта с элементами театральности. Русская же революция подобна самой природе...»

В этих сильных, поэтичных строках Рид стремится передать свое глубокое ощущение закономерности и бесповоротности революционных событий, которые он наблюдал. Но это лишь часть задачи, которую Рид решает. Он намерен активно отстаивать политику и идеи большевистской России.

Некоторые из приводимых далее строк публикуются здесь впервые.

Для начала Рид дает место «негодующему воплю» своих оппонентов:

«...Он так говорит, как если бы весь русский народ был на стороне большевиков! Да весь мир знает, что власть захватило незначительное меньшинство и утвердилось у власти силой штыков!..»

«Почтенный читатель,— вступает в спор Рид,— ты только поддерживаешь мою точку зрения, когда говоришь, что большевики утвердились у власти силой штыков. Я спрошу в свою очередь: «Кто эти штыки?» И отвечу: «Русские рабочие и крестьяне в солдатских шинелях, действовавшие под руководством своих комитетов и избранных ими же командиров...»

Рид выехал из Петрограда в самом начале февраля, когда вопрос о подписании Брестского мира еще не был решен окончательно. Но вот мир заключен, и Россия вышла из империалистической бойни. Рид целиком поддерживает позицию Ленина. Он знает теперь из европейских газет, какую бешеную кампанию развязали страны Антанты против большевистского правительства в Петрограде. Он бросается в схватку.

«Сейчас, разумеется, та часть человечества, которая облечена правом выражать свое мнение, в основном враждебна революционным массам России. Их клеймят как «изменников», потому что они не хотят жертвовать жизнью и своими надеждами на потребу западной буржуазии. Они — «трусы», потому что, спасая свою свободу, пошли на «позорный мир» с немцами, а ведь могли бы доживать век в богадельне Антанты. Они «безнравственны», потому что верят рабочим в других странах более, чем капиталистам у себя дома. Они «грабители», потому что экспроприировали имущество русской буржуазии, десятикратно оплаченное их собственным потом, а еще потому, что аннулировали иностранные займы, на которые их угнетатели покупали оковы и пушки, чтобы их же усмирять и расстреливать...»

Все эти обвинения пусты, отвечает Рид, ибо в России формируется общество, неподвластное политическим критериям прошлого и буржуазной морали.

«Решительно не под силу буржуазии, а тем более иностранной буржуазии постичь те идеи, которыми руководствуются русские массы,— развивает Рид свою мысль.— Разумеется, проще простого сказать, что они не патриоты, лишены чувства долга и чести, не желают знать дисциплины, короче говоря, не созрели для управления собой.

Отвечаю: они *патриоты*, но их патриотизм — это верность интернациональному долгу рабочего класса. У них есть *чувство долга* — и во имя его они отдают свою жизнь,— но это чувство революционного долга. У них есть *чувство чести*, но это новое чувство, исполненное уважения к человеческой жизни и счастью, а не то, которое аристократы родовой крови и денег считают подобающим для «джентльмена». И русские массы уже доказали, что они не только способны к управлению собой, но способны к созданию невиданной новой цивилизации — что я и надеюсь показать на дальнейших страницах книги».

Когда через два с половиной месяца Рид вступил на американскую землю, все его бумаги были отобраны. Лишь после долгой борьбы он получил их обратно и смог продолжить начатую в Христиании работу над «Десятью днями, которые потрясли мир».

3. «Сердце мое в Петрограде»

Весной 1919 года, когда левые внутри Социалистической партии США еще только вынашивали планы создания компартии и правительственные репрессии в стране против рабочих организаций с каждым днем нарастали, бесстрашный Джон Рид стал выпускать в Нью-Йорке журнал под названием «Нью-Йорк комьюнист». Первый номер вышел 19 апреля 1919 года. Это был еженедельник, целиком посвященный пропаганде революционного марксизма, защите Советской России и разъяснению задач, стоящих перед американским рабочим классом. Журнал выходил до июля. Сейчас комплект этого ридовского журнала трудно найти даже в крупнейших американских книгохранилищах.

Перед нами первомайский номер журнала «Нью-Йорк комьюнист». Обложка выполнена как боевой революционный плакат — русский рабочий с винтовкой в руках встает на защиту своего государства. В передовой, принадлежащей скорее всего перу Рида, говорится, что год назад Советская Россия переживала свой самый опасный и трудный период. Кайзеровские войска оккупировали обширные территории на западе, а державы Антанты в то же время высаживали военные контингенты в Архангельске и Владивостоке.

«Но, невзирая на эти угрозы, Москва была в алых знаменах, прошел парад молодой Красной Армии, состоялось открытие памятников великим предшественникам социализма и правительство объявило, что в знак достижений рабоче-крестьянской власти Первое мая станет отныне государственным праздником».

«Сегодня,— читаем мы в той же передовой,— можно смело сказать, что русский рабочий класс победил. Пролетарская диктатура вооружает одну армию за другой и бросает их в бой против вражеских полчищ на всех фронтах. В то же время в стране, истощенной разрухой, терзаемой гражданской войной, обреченной на голод из-за проводимой Антантой блокады... рабоче-крестьянская власть налаживает промышленность, строит железнодорожные линии, проездные дороги, каналы, восстанавливает шахты и рудники, открывает тысячи школ, планирует гигантскую энергетическую программу».

Однако и сам Рид, и читатели журнала «Нью-Йорк комьюнист» отдают себе отчет в том, что молодому Советскому государству все еще угрожают его смертельные враги.

Весной 1919 года сформированный в Эстонии на деньги Антанты корпус генерала Юденича, поддерживаемый с моря английской эскадрой адмирала Коуэна, двинулся к Петрограду. В мае белогвардейцы вышли на подступы к Гатчине и Красному селу. Мировая капиталистическая печать стала распространять сенсационные слухи об ожидаемом якобы со дня на день падении «красного Петрограда». Советское правительство ответило срочными военными мерами и всеобщей мобилизацией петроградских рабочих. Джон Рид и Луиза Брайант, как и все друзья и сторонники Октябрьской революции, с глубокой тревогой следили за ходом петроградской обороны в далекой России.

В очередном номере «Нью-Йорк комьюнист» от 7 мая Рид помещает стихи Луизы Брайант «В изгнании»:

Весь день я брожу как во сне,
И ночь не несет мне забвенья.
И вся моя мирная жизнь — нестерпимая мука.

Ибо если противник теснит их ряды,
Он теснит и меня.
И с каждым товарищем, что сражен в том бою,
И я умираю.

Я гляжу в непроглядную тьму, я терзаюсь
безвестностью,
бесконечно тянется время...

О, насколько мне стало бы легче, когда бы
мне было дано
Стать с друзьями плечом к плечу
На баррикаде!

Так за что мне такое мучение —
Длить жизнь в тишине и покое,
Когда Петроград — в огне,
А сердце мое в Петрограде.

Нельзя не вспомнить, что той же весной 1919 года, даря свои «Десять дней» представителю Российской Социалистической Федеративной Советской Республики в США Людвигу Карловичу Мартенсу, Рид надписал книгу так: «Товарищу Мартенсу, представителю страны моего сердца». В привязанности обоих, Рида и Луизы Брайант, к Советской России участвовал не только политический разум, но и горячее сердце.

4. «От Корнилова до Брест-Литовска»

Сразу по завершении «Десяти дней, которые потрясли мир» Рид намерен был взяться за вторую книгу о Советской России, также основанную на материалах и сведениях, полученных им лично, на месте событий. Он был настолько уверен, что напишет и издаст эту книгу, что считает возможным в предисловии к «Десяти дням» прямо назвать ее.

«Перед читателем, естественно, встанут многие вопросы,— говорит Рид.— Что такое большевизм? Какого рода политический строй создан большевиками? Если до Ноябрьской революции большевики боролись за Учредительное собрание, то почему впоследствии они разогнали его силой оружия? И если до того момента, как большевистская опасность стала явной, буржуазия выступала против Учредительного собрания, то почему же впоследствии она стала его поборницей?

На этот и многие другие вопросы здесь не может быть дан ответ. Ход революции вплоть до заключения мира с Германией я прослеживаю в другой книге — «От Корнилова до Брест-Литовска».

В ней Рид обещает читателю показать «структуру Советского государства», «развитие и смену народных настроений», «ход и результаты Брестских переговоров».

Книга «От Корнилова до Брест-Литовска» не вышла. Была ли она написана? Или Рид, поглощенный агитационной и пропагандистской деятельностью, не смог найти для нее достаточно времени, запереться на два-

три месяца для усидчивой литературной работы, как он сделал, когда писал «Десять дней»?

Американские биографы Рида не отвечают на этот вопрос. Но в рукописном отделе «Тенемент лайбрери» (специального собрания по истории рабочего движения в составе библиотеки Нью-Йоркского университета) мне удалось найти письмо Рида от 22 января 1919 года, прямо касающееся его второй книги.

«Только что завершив мою первую книгу о России, я сейчас целиком занят второй (hard at my second)»,— пишет Джон Рид.

Письмо адресовано в Спрингфилд, штат Массачусетс, «Д-ру Дж. М. Корнеллу», неизвестному нам пока что корреспонденту и, как видно, знакомому Рида. По обращению Рида в письме «товарищ Корнелл» — заключаем, что его адресат был участником левого социалистического движения, одним из наиболее видных лидеров которого являлся в то время Джон Рид. Рид отвечает на просьбу Корнелла приехать к ним, в Спрингфилд. Речь идет, надо думать, об очередном выступлении-докладе Рида о Советской России, с которыми он и Луиза Брайант объехали в 1919 году многие американские города. Рид придавал большое значение своим агитационным поездкам и, говоря, что не может сейчас приехать, поскольку так занят книгой, обещает дать знать о своем согласии, как только будет более свободен.

Письмо Рида — на бланке гостиницы «Лоренс» в городке Эри (на южном берегу озера Эри, штат Пенсильвания). Очевидно, это была одна из «берлог» Рида, где он уединялся для литературной работы.

Таким образом, нам известно теперь, что в конце января 1919 года Рид был полностью поглощен уже названной им в «Десяти днях» второй книгой о Советской России. Удалось ли ему довести рукопись до конца? Сохранилась ли рукопись? Счастливая архивная находка может ответить на эти вопросы.

5. «Дым революции»

По словам американского биографа Рида Гренвила Хикса — его сведения, вероятно, исходят от Луизы Брайант,— Рид намеревался написать еще и третью книгу о Советской России, названную им предварительно «Дым революции». В этой книге должны были, видимо, отразиться второстепенные, но тем не менее характерные и существенные русские встречи, беседы, для которых не осталось места в первых двух произведениях, посвященных центральным событиям Октябрьской революции и важнейшим вопросам политической тактики большевиков.

Что Рид-журналист за годы в России накопил достаточно материала для этой книги, не подлежит никакому сомнению. К подобным страницам, надо думать, относятся и оставленные Ридом «на после» встречи и беседы с Замятиным.

Известно, что его живо интересовали и настроения привилегированных классов русского общества, выбитых из седла ходом революционных событий. Примечательна в этом смысле сохранившаяся зарисовка-портрет в блокнотах 1919—1920 годов (во второй приезд Рида в Россию) «молодого человека в пенсне», из «бывших», который пытается приспособиться к непривычным новым условиям и делится с Ридом своими планами и прогнозами.

Вот эти строки из русских блокнотов Рида:

«Учтивый молодой человек в золотом пенсне (складка на брюках, белый воротничок, меховой воротник на шубе). Состоит при Реввоенсовете Республики в качестве переводчика и составляет обзоры по материалам иностранной капиталистической прессы.

Типичный образчик русской интеллигенции. Говорит мне «monsieur», не «camarade». Служил в Министерстве иностранных дел при царском режиме, потом при Керенском («Какое же это правительство? Кучка невежественных дилетантов»). Когда Керенского свергли, в министерство явился Троцкий и выступил с речью. Чиновники смеялись в ответ и демонстративно подавали в отставку. В их числе и этот мальчик, который как раз собирался ехать в русское посольство в Париже.

Не без важности показал мне подписанную Троцким бумагу с разрешением всем чиновникам министерства покинуть службу, когда они того захотят.

Уехал в Москву, поступил там в Археологический институт, надеясь и уповая на быстрые перемены. Честолюбив. Всегда имел в виду дипломатическую карьеру. До того учился в Институте восточных языков, прожил год в Турции и в Средней Азии, чтобы практически овладеть языком. Признается, что даже сейчас его заветнейшее желание — «представлять Россию за рубежом».

Ни в коем случае не коммунист. Анализируя международную обстановку, сам не понимая того, сбрасывает со счетов ход революционных событий. «Социальная революция,— сообщает он мне доверительно,— вещь ненадежная». Советскую власть он не жалует — это ясно. Но говорит (причем искренно): «В России после царя и Керенского ничего не могло получиться, кроме развала. Советская власть удержала Россию от краха и заложила основу «великой русской державы» (здесь он вспоминает Наполеона, вышедшего из рядов французской революционной армии). Идеи советского правительства (большевистские) сыграют огромную роль «в *формировании нового века*».

— И для борьбы пролетариата за социализм?

Пожимает плечами. Проводит параллель с Французской революцией. Большевики — это якобинцы. Не то же самое, разумеется. Более научный подход и так далее.

— Каково же, по-вашему, будущее Советской власти?

Отвечает осторожно, тщательно подбирает слова:

— Что же, когда война кончится, власть тоже несколько переменится. Так оно и должно быть. Народ привык к власти в военном мундире. Но когда война кончится, она снимет военную форму, будет выглядеть совершенно иначе.

На самом деле он, конечно, имеет в виду перемену в политике. То, на что уповает буржуазия. Подобные чувства к Советской власти соединяются в нем с неприторным патриотизмом, с гордостью за Красную Армию. Но и с империалистическими идеями. Хотел бы, чтобы русская армия одолела Европу и положила конец европейскому пренебрежению к России».

Рид, как видно, вполне проникает в антисоциалистическую суть мечтаний и планов «молодого человека в пенсне». В них уже можно увидеть зачатки взглядов будущих «сменовеховцев» в эмиграции и в Советской России, делавших ставку на перерождение Советской власти и частичную реставрацию буржуазных порядков.

Не все из русских блокнотов Рида дошли до нас полностью. Некоторые вовсе утеряны, и мы можем только гадать, сколько таких «заготовок» успел сделать Рид. Но подобные встречи, впечатления, беседы Рида за 1917 и 1919—1920 годы исчисляются десятками, а возможно, и сотнями.

Последние месяцы

Последней литературной работой Рида была статья для американской рабочей печати о II конгрессе Коммунистического Интернационала. Он принимал в нем, как известно, большое участие и был избран в Исполнительный Комитет. Помимо отчета о деловой, политической стороне заседаний Рид пишет о торжествах, которыми был встречен конгресс, о гостеприимстве московских и петроградских трудящихся.

«Мы никогда не забудем,— говорит он в статье,— те почести, любовь, уважение, которыми нас окружили русские рабочие и крестьяне... Я не имею возможности описать здесь грандиозную демонстрацию в Петрограде, где бессчетные массы заполонили улицы; рассказать, как мы шли из Таврического дворца на Площадь Жертв Революции, охраняемые с обеих сторон живой цепью рабочих, взявшихся за руки».

Далее Рид вспоминает красочное вечернее зрелище, когда «на старых ступенях Биржи (там ныне Матросский клуб) более пяти тысяч изумительно костюмированных участников представления показали нам в серии живых картин всю историю рабочего революционного движения, начиная с Парижской Коммуны».

Луи Фрейна, другой делегат из США на конгрессе, в письме к американскому биографу Рида Гренвилу Хиксу тоже рассказывает о вечерних торжествах в Петрограде. «Эти живые картины были поистине великолепны,— пишет он, отвечая на просьбу Хикса поделиться воспоминаниями.— Я сидел возле Рида и помню, как он вскочил с места вне себя от восторга. Весь Джон Рид сказался в этом движении. Революционер в нем неразрывно сочетался с художником» [1].

(В связи со словами Фрейна следует вспомнить, что летом 1913 года, после забастовки текстильщиков в Паттерсоне (в которой он сам активно участвовал как журналист), Рид организовал и поставил в нью-йоркском Мэдисон-Сквер-Гардене театрализованное представление на темы важнейших событий стачки с участием самих забастовщиков — в фонд их взаимной помощи.)

Тот же Фрейна рассказывает о последних днях Рида, уже смертельно больного, в Мариинской больнице в Москве. «В эти последние дни,— пишет Фрейна,— проявились замечательные черты его личности... Рид до конца оставался Ридом. Он был отважен, голова была ясной, он боролся за каждый час, отделяющий его от кончины. Почти до последней минуты он жил интересами и идеями революции». Уже не в силах взять в руки перо, Рид просит Фрейна через находившуюся неотлучно при нем Луизу Брайант выправить для печати английский текст его речи в Баку на съезде Народов Востока. Это было последнее его публичное выступление.

Клер Шеридан, как видно, подружилась с Ридом в Москве, и в ее дневнике мы находим запись о его похоронах.

«Воскресенье, 24 октября. Мы глубоко опечалены смертью от тифа Джона Рида, американского коммуниста. Все любили его и его жену Луизу Брайант. Было сделано все возможное, чтобы его спасти, но здесь большая нехватка медикаментов и больничного оборудования...

Кто знает, думаю, в первые дни и можно было как-то бороться с болезнью, но он был из тех молодых и крепких людей, которые не обращают внимания на свое нездоровье... Я была на похоронах. Первые похороны без религиозного обряда, которые мне пришлось видеть... Через площадь Революции мы прошли на Красную площадь. Его погребли у Кремлевской стены рядом с могилами других революционеров Были надгробные речи по-русски, по-английски, по-французски и по-немецки. Шел дождь пополам с мокрым снегом...»[2]

---

[1] Луи Фрейна—Гренвилу Хиксу 30.10.1935. Архив Хикса и его материалы для книги о Джоне Риде хранятся в рукописном отделе библиотеки Сиракьюсского университета (в штате Нью-Йорк).

[2] Mayfair to Moscow. Цит. изд., p. 160-162.

◆

Критика

Слово, язык, общение

Писатели мира отвечают на анкету*

1. Решение каких общечеловеческих проблем представляется Вам самым неотложным?

2. Какова связь между этими проблемами и Вашим творчеством?

3. Над чем Вы сейчас работаете и каковы Ваши творческие планы?

С такими вопросами журналы «Иностранная литература» и «Советская литература» (на иностранных языках) обратились к литераторам зарубежных стран.

В этом номере:

ПАТРИК ДЭВИС СМИТ — американский прозаик и публицист.

ЮЛИАН КАВАЛЕЦ — польский прозаик.

МИРЧА ДИНЕСКУ — румынский поэт.

КЭНДЗАБУРО ОЭ — японский писатель, автор многих романов и повестей, отмеченных литературными премиями.

УИНСТОН ОРРИЛЬО — перуанский поэт, профессор университетов Сан-Маркос и Сан-Мартин де Поррес в Лиме.

РУБЕН МЕЛИК — французский поэт и переводчик, участник движения Сопротивления в годы второй мировой войны.

«Остановиться и вспомнить...»

Мир, понимание и дружба между людьми — конечно же проблема всеобщая, и каждого писателя она должна волновать. Все мы обязаны совместно трудиться для достижения этой универсальной цели.

Но не менее насущна, по-моему, и другая проблема — разрушение человеком окружающей природной среды. Мы медленно отравляем землю, на которой живем. Это наших рук дело — кислотные дожди. Это мы загрязнили некогда прекрасные озера и реки промышленными отходами; это мы пропитали почву гербицидами и пестицидами; это мы стерли с лица земли чудесные леса, а саму землю заливаем бетоном, лишая диких зверей последнего убежища.

Человек должен остановиться и вспомнить: все, от чего зависит жизнь на планете, исходит от живой природы: воздуха, воды, леса, земли. Как только мы окончательно угробим природу, мы погибнем и сами.

* Продолжение. Начало см. «ИЛ», 1987, № 5, 6, 7, 10.

Никакой самой современной технологии недоступно чудо рождения дерева, животного, чудо сотворения чистого воздуха и родниковой воды. Все это — дар природы человеку.

Всем писателям нужно постоянно следить за индустриальными и правительственными проектами, осуществление которых грозит опустошением планеты и гибелью человечества, и выносить их на суд общественности. Нам следует стать «сторожевыми псами» природы.

Я написал три романа о разрушении природы человеком и о последствиях такого разрушения: «Навеки остров», «Аллапатта» и «Земля, которую помнят». В них я показываю, как бессмысленно губят природу во имя «прогресса». Какой же это «прогресс», если земле наносится непоправимый ущерб?!

Романы получили горячий отклик у публики, у многих вызвали тревогу и заставили включиться в движение за защиту земли и природы. А когда такое происходит — писателю не нужно лучшей награды,— ведь это значит, что ему удалось подвигнуть людей сделать нечто необходимое для всего человечества.

Хочу еще раз подчеркнуть: разрушение природной среды — это проблема не Соединенных Штатов и не Советского Союза, не Франции и не Австралии; это мировая проблема, и от того, как она будет в конце концов решена, зависит судьба каждого живого существа на земле. Вот почему все писатели мира должны серьезно думать о ней. Нет ничего важнее.

Недавно я закончил книгу-исследование о творчестве одной американской писательницы, Марджори Киннан Роллингс, которая в 1939 году была удостоена Пулицеровской премии за роман «Сверстники». Ныне покойная, она известна и многими другими книгами, в частности «Мостом через ручеек».

Сейчас работаю над романом, который носит рабочее название «Пеликанье место». Это тоже будет книга о разрушении природы человеком и о последствиях, которыми оно грозит и человеку и природе. Вынашиваю замысел еще трех романов, которые надеюсь впоследствии написать.

ПАТРИК СМИТ
(Соединенные Штаты Америки)
Май, 1987 г.

«Сегодняшнему миру требуется воинствующий гуманизм»

1. Что же иное, как не спасение жизни на земле, может быть самой важной проблемой человечества? «Проблема» — это звучит слишком обобщенно, скажем лучше: право человека жить на спокойной и плодородной земле, право на мир. Право и одновременно обязанность, моральный императив, побуждающий к действию во имя спасения.

Грозящие нашей планете опасности столь многочисленны и разнообразны, что сегодня уже нельзя ограничиться воззваниями, склонением слова «мир» в десятках сотен речей, звучащих иногда очень красиво, однако остающихся как бы вне главных течений современности. Наступило такое время, когда «мир» не может быть только лозунгом, призывом, громким словом или темой ораторского выступления, а должен стать и уже становится идеологией, должен вторгнуться в основные сферы человеческого существования.

Наступило время, чреватое такими опасностями, что мировая общественность не может сказать: мы отдаем судьбы планеты в руки политиков, а сами спим спокойно; это было бы удобно, но легкомысленно. Народы мира требуют от своих руководителей и политиков, чтобы их деятельность была гарантией мира и прогресса, и потому добиваются установления качественно новых международных отношений — запугивание войной уже не может служить орудием дипломатии, в случае атомной войны теряет смысл как понятие «победа», так и понятие «поражение», в абсолютной тишине смерти и уничтожения всякое различие между ними стирается.

Поэтому только смешны спесь и самомнение сильных — способность уничтожать не может служить основанием для гордости, скорее должна вызывать чувство стыда.

В атмосфере нависших над миром угроз высокое значение приобретают слова «взаимопонимание, диалог»; иного пути нет.

Гуманизм и культура обязаны расширять круг своих задач, внедряться в новые пласты, энергичнее влиять на экономику, на политику, противодействовать жестокости, глубже проникать в те области, где господствует бездушный рационализм и холодный расчет, где стремление к материальному преуспеянию замораживает сердца людей. Сегодняшнему миру требуется активный, смелый, можно сказать, воинствующий гуманизм.

Мир — это значит жизнь, порядок, движение вперед, справедливость. Мир без справедливости — воздушный замок, дом на песке, не имеющая значения теоретическая конструкция. Мир и справедливость, справедливость и мир как неразрывное целое, как двуединство — вот что я считаю самым главным сегодня.

2. Я — писатель, и потому совершенно естественно возникает очевидная связь между тем, в чем я вижу основную проблему современности, и моей работой.

Вообще труд писателя, художника по своей природе обращен в сторону жизни. Можно сказать, жизнь со всем, что в ней есть благополучного и драматического,— питательная среда для создаваемых художником произведений, а мир — гарантия их сохранности. Войны убивают не только людей, они убивают и их творения, музы умолкают, когда звучат пушки.

Я ощущаю это особенно остро, потому что пишу о деревне, о судьбах сельских жителей, производящих хлеб. Своими книгами я вношу посильный вклад в дело сохранения зеленого покрова планеты, хлебородной земли, беру под защиту листок и травинку, которые являются символами вечного могущества жизни.

3. Сейчас я работаю над сборником рассказов, в которых описываю незаметных скромных людей, безо всякой шумихи делающих свое дело и страдающих от сознания того, как жесток мир; я показываю душевную красоту этих людей, их моральное превосходство над теми, кто относится к ним с пренебрежением.

В заключение хочу поделиться еще одним общим соображением. Характеризуя выдающееся художественное произведение, иногда говорят, что оно учит, волнует, что оно прекрасно. Стоит добавить: прекрасно оно, в частности, потому, что приносит пользу, что художник, создавая его, не побоялся обременить себя обязанностями по отношению к людям; можно также сказать, что сегодня, в мире, полном опасностей, в мире, где идет нелегкая борьба за спасение жизни и культуры, художника не должно отпугивать слово «долг».

ЮЛИАН КАВАЛЕЦ
(Польская Народная Республика)
Май, 1987 г.

«Святая наивность — верить, что поэзия спасет мир»

Замечательному румынскому поэту начала века Джордже Баковии дано было услышать, «как материя плачет». Никто из современников не придал особого значения этим его словам. Столичный критик поспешил даже причислить Баковию к сонму усопших, потеряв из виду самого писателя, уединившегося в провинциальной глуши. Мало кого волновало тогда — жив ли поэт. Триумфальное шествие новой цивилизации вскружило людям головы. Человек стал властелином Природы. На цепочке с брелоками болталась целая связка ключей и отмычек, отпиравших любую из тайн, миллионы, миллиарды лет таившихся в глубинах воздуха, камня, воды. Чудеса стали изменять старому Богу. Ангелов сменили самолеты, автомобили помчались быстрее рысаков, люди стали разговаривать друг с другом по проволоке, уран умилительно агукал, прикидываясь невинным младенцем, а Большая Берта, любимая тетушка семейства Крупп, с приличного расстояния — как того требовал прусский этикет — поплевывала на Париж... чтоб не сглазить его, душку.

Ну, а поэта, что слышал плач материи, на пир новых богов, естественно, не пригласили. Не до стонов им было, не до нытья. Спешно требовалось разобрать последние неразгаданные глаголы Бытия. Таблица Менделеева все прибавляла в весе. Химия, физика, математика казались несравненно выше поэзии, музыки, театра. История мчалась на всех парах, и простой и очевидной представлялась истина, что век скоростей принадлежит им, новым богам, тем, кто жмет на педаль газа, — политикам, ученым и технократам. И вот слово Бытия прочли наконец до конца, точнее — поставили первую точку: ядерный взрыв над Хиросимой.

С древнейших времен повелось, и в девятнадцатом веке считалось еще приличным, чтобы полководцы брали с собой в поход писца, хрониста, придворного летописца с остро отточенным гусиным пером и чернильницей на поясе: картину достославных побоищ следовало запечатлеть в стихах — для потомков. То История играла в войну.

Но пробил час, час Хиросимы, и роли поменялись. Война стала играть с Историей. Писцу, хронисту, придворному летописцу запечатлевать больше нечего. Нет, в кабину бомбардировщика, рядом с пилотом, сбросившим первый ядерный заряд, не посадили поэта, дабы воспел он «чудо». В тот час Гомер, отец военных репортеров, воистину бы ослеп.

Мы начали уже обратный отсчет тысячелетия. Политики, ученые и технократы уверили свой оптимизм. Цветной широкоформатный фильм нашей цивилизации порядком потускнел: пленка местами засвечена, местами покоробилась от кислотных дождей, рака и голода, загрязнения среды и коллективных неврозов, от СПИДа, от язвы междоусобиц в арабском мире, брешей в озоновом щите над полюсами, наркотиков, нехватки энергии, от одиночества людей в больших городах...

Чингизу Айтматову, писателю или пророку двадцатого века, умеющему толковать волчий вой и крик чайки, в наши дни дано услышать плач материи. Похоже, что на этот раз боги не прочь допустить певца на свой пир. О материи следует как-никак позаботиться... Но сумеет ли горстка певцов восстановить плавность и гармонию глагола, оборванного взрывом над Хиросимой почти полвека тому назад?

Святая наивность — верить, что поэзия спасет мир.

Это все равно что надеяться, будто тигр, получив кусочек сахара, примется в углу своей клетки читать Шекспира.

Что ж, наверное, это действительно очень наивно, однако я чувствую рядом плечо Чингиза Айтматова — я вместе с теми, кто, собравшись на берегу Иссык-Куля, узрели, говорят, как светлый над водами носился дух разума.

МИРЧА ДИНЕСКУ (Румыния)
Март, 1987 г.

«Нарисовать картину «человечности будущего»

1. Мне кажется, что наиболее важной общечеловеческой задачей, требующей немедленного разрешения, является поиск ответа на вопрос, как выйти из ядерного кризиса. Томас Манн писал, что литература призвана создать модель «человечности будущего». Приходится признать, что в сегодняшнем мире, над которым нависла угроза ядерной войны, трудно верить в «человечность будущего».

Если бы всем нам удалось начать активные действия по уничтожению ядерного оружия, тем самым мы сделали бы первый шаг на пути к сиянию этой «человечности будущего».

2. Я — японский писатель и немало писал о страданиях моих соотечественников, ставших жертвами ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, о необходимости возродить утраченные человеческие ценности. У меня есть статьи и репортажи, непосредственно касающиеся пережитой японцами трагедии, но и в романах, действие которых, казалось бы, никак не связано с Хиросимой и Нагасаки, главной темой остается выживание человечества в ядерную эпоху.

Как писал Гастон Башлар, воображение — это способность творчески перерабатывать заданные образы. От образа, заданного ядерной эпохой, исходит запах мертвечины; мы должны переработать его, чтобы получить светлый образ «человечности будущего». В этом и состоит наша писательская работа.

3. Уже двадцать лет я живу с сыном, страдающим тяжелым заболеванием мозга. Такая жизнь была бы невозможна для меня без веры в человека, этот мотив звучит в целом ряде моих книг. В мире поэтического воображения Уильяма Блейка я нашел эпическую мудрость, открывшую мне в нелегком сосуществовании с больным сыном великий смысл. Центральное произведение, посвященное этой теме, называется «Воспрянь, о юность Нового Века!». Я и в дальнейшем буду прилагать все усилия, чтобы нарисовать картину «человечности будущего» Нового Века, который наступит после преодоления ядерного кризиса.

КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония)
Февраль, 1987 г.

«Перед лицом ядерной угрозы»

1. Проблема защиты человеческой жизни и цивилизации перед лицом ядерной угрозы, той апокалипсической силы, которая против воли и желания человека может уничтожить следы его существования на земле.

Проблема грубой дезинформации, которая по международным каналам проникает во все уголки планеты и деформирует сознание народов.

2. Именно эти проблемы волнуют меня и как писателя. Я стремлюсь к тому, чтобы мои книги помогали разоблачению политики войны и неофашизма, который, как ядовитый гриб, произрастает в некоторых регионах планеты. Моя родина, страна тысячелетней культуры, увы, не составляет здесь исключения.

3. Сейчас работаю над двумя сборниками рассказов, поэтическим сборником и книгой об интеллектуальных связях Хосе Карлоса Мариатеги, одного из первых популяризаторов марксизма в Латинской Америке, с деятелями культуры — его современниками.

УИНСТОН ОРРИЛЬО (Перу)
Март, 1987 г.

«Свет написанного слова»

Стоит лишь начертать слово на белом поле чистого листа бумаги — и на странице несозданной еще книги робко оживает никогда не иссякающая человеческая память, она черпает силу в надежде, питаемой воображением.

И в тот самый миг, когда слово, написанное, увековечивается, обретая способность непрерывно передавать от человека к человеку — будь то мужчина, женщина или ребенок — ощущение бесценности бытия, в тот самый миг поднимается в тебе тревога за будущее, которое может быть разом уничтожено во всемирной катастрофе, — тогда все сущее на земле будет навеки в земле же погребено.

И что уж говорить тогда о писательском творении — стихах или прозе,— оно обречено безысходно. Как вычленить **его** небытие из того всеобщего вакуума, который воцарится в беспредельности могильной тишины? Что вообще будет с миром, если забота о сохранении самой жизни не станет нашей безотлагательной заботой, если на кратком отрезке дня сегодняшнего мы навечно не отстоим день завтрашний, исполненный безмерной радости?

Однако, вспыхивая то тут, то там еще слабым проблеском света, а где-то разгораясь уже ярким пламенем, возникает и перебрасывается от одной части света к другой призыв к Миру. И умолкают, растворяясь в нем, голоса отчаяния и обреченности, и звучит в нем воля миллионов людей к всеобщему счастью.

Стоит лишь начертать слово на черной поверхности классной доски — и перед нами развертывается запечатленная в памяти тысячелетняя история человечества в непрерывном ее становлении.

РУБЕН МЕЛИК (Франция)
Март, 1987 г.

◆

Критика

Писатели Запада о советской прозе

Вступление и составление М. ЛАНДОРА

Уже в первые годы после революции наша проза стала восприниматься как часть мировой. И прежде всего, быть может, большими писателями Запада, чуткими к ее новизне. «Изумительная книга»,— отозвался Франц Кафка о повести «Ташкент — город хлебный» А. Неверова. Он оспорил расхожее мнение, что это скорее документ, чем искусство: для него тут правда, выходящая далеко за пределы исторического момента повести, переданного обнаженно и сильно. Кафка говорил: «Всякое подлинное искусство — документ, свидетельство. Народ, у которого такие мальчики, как в этой книге,— такой народ нельзя победить» [1].

Это характерный отзыв. И другие лучшие книги наших 20-х, с их смелым и непроцеженным реализмом, были приняты как творческие работы. Советская проза, вместе с поэзией и кино, открывала миру Россию революции — это и делало ее духовно насущной для стольких честных художников на Западе. Конечно, интерес к ней пробуждался в одних странах раньше, в других позже, он знал и приливы и отливы. Но в разные эпохи появлялось свежее ощущение, что эта проза — необходимая и неотъемлемая часть всемирной. Им проникнута та подборка писательских выступлений, которую мы публикуем.

Немало подобных отзывов, порою весьма значительных, у нас хорошо известно. Таково письмо Стефана Цвейга Горькому 10.III 1927: «Во всей современной литературе я не знаю ничего равного, например, Вашим портретам Ленина и Толстого. Это единственные достоверные портреты, единственные, которые останутся». Таков и сравнительно недавний (июнь 1986) восхищенный отзыв Жоржи Амаду о горьковской «эпопее-хронике», «Жизни Клима Самгина». На фоне известных тем более интересны приводимые ниже суждения: они не дублируют, а существенно дополняют то, что мы уже знаем.

Стоит сказать о каждом из этих выступлений — у него свой исторический контекст.

Роберт Музиль послал письма в Москву, отвечая на вопросы анкет, в 1930-м и 1932-м. Именно в эти годы мирового кризиса он выпустил первый том «Человека без свойств» и затем его продолжение. С острого автокомментария к ныне столь признанному роману-гиганту иронического строя, переведенному недавно и у нас, начато первое письмо. А дальше и в нем, и во втором останавливают продуманные суждения Музиля об Октябрьской революции, открывающие и собственный его символ веры. Мы слышим голос западного гуманиста, пережившего мировую бойню: «Я думаю, что революция — это большая духовная поддержка для всех нас, кто надеется, что из человека хоть в чем-то еще может выйти что-то хорошее». И голос эпического писателя, изображающего «Каканию» — обветшалую, идущую к краху империю Габсбургов, отчетливо зная, что капитализм в целом обветшал и лишен перспектив. «Я восхищаюсь вашей революцией как решающим шагом в будущее человечества». Музиль чувствует, что 1917 год осветил, как прошлое, и многое в настоящем.

А из наших писателей он называет Горького, добавляя: «которого, разумеется, высоко ценю». У него, однако, свой, очень широкий творческий контакт с Горьким, что вовсе не разумеется. Сильное впечатление на Музиля произвели повесть «В людях» и пьеса «На дне» в постановке Художественного театра. Он был внимателен к очеркам Горького о Толстом и Блоке, появившимся после революции: она определила тут самый склад прозы и угол зрения на русскую жизнь, оставшуюся за чертой. В подготовительных материалах Музиля к роману есть цитаты из очерка о Блоке, вошедшего в горьковскую книгу 1924 года — «Заметки из дневника. Воспоминания».

[1] См. «ИЛ», 1983, № 5, с. 180. *(Здесь и далее — прим. автора вступления.)*

О молодых наших писателях Музиль высказался благожелательно и критически. Он точно написал, что новая культура не может быть создана одним махом и без больших усилий. Справедливо напомнил и о русской классике с ее влиянием на умы. Неясно только, в каких книгах, которые были для него «весьма поучительны», он нашел «известную робость» перед лицом перевернувшейся жизни. У Неверова, например, ее совсем нет, и Кафка это уловил.

Ее незаметно и у Сейфуллиной в «Виринее», сочувственно встреченной Олдосом Хаксли, и в «Цементе» Гладкова, доныне памятном на Западе. Откликаясь на этот роман в 1927-м, Анна Зегерс, тогда дебютантка, увидела, что он закрепил важный момент революции — ее поворот от красных фронтов к трудным будням нэпа и строек. Захватывающе интересен для рецензентки весь взятый из жизни человеческий мир книги: «Гладков пишет не о завтрашних людях, а о сегодняшних, вчерашних и позавчерашних». Естественно, у Зегерс есть и эстетические претензии к роману, ценному своей правдивостью: новый быт описан традиционным пером, и ей особенно недостает тут «стального, ударного ритма».

Нашу прозу больше всего переводили в 20-е годы на немецкий и испанский. Начиная предисловие к кубинскому изданию «Конармии» Бабеля, Алехо Карпентьер оглянулся в 1965-м на время своей молодости: тогда на Кубу пришли изданные в Мадриде советские книги. Среди них и повесть Неверова, и поразивший молодежь «Бронепоезд» Всеволода Иванова. Восприятие нашей прозы в Латинской Америке имело особые черты: от нее получил творческий импульс будущий латиноамериканский роман.

Известный романист Мигель Отеро Сильва вспоминал, как попали в Венесуэлу, где под запретом было все русское, в тех же дешевых испанских изданиях, советские книги, проникнутые духом художественного поиска: вещи Л. Леонова, И. Бабеля, К. Федина, Б. Пильняка. Они становились, заключает Отеро Сильва, «своего рода глиной, ценным материалом в строительстве нашей прозы». А Карпентьер, захваченный «Конармией» в молодости, на всю жизнь сохранил к ней пристрастие. Это было пристрастие в революционный век одного писателя барокко (так он сам себя называл) к другому. Ведущий романист Латинской Америки точно написал о полных жизни страницах «Конармии», где великое соседствует с малым, ничтожное — с героическим, трагическое — с шутовским и из лаконичных фрагментов слагается гротескный современный эпос.

В предисловии затронут и вопрос об отношении «Конармии» к влиятельной школе реализма, выдвинувшейся между войнами в США. Карпентьер точно отметил, что в книге предвосхищен «жестокий стиль», который позже будет приписан этой школе (в первую очередь, разумеется, Хемингуэю). И совершенно прав, говоря, что Бабель, узнавший войну в походе Первой Конной, к этому стилю пришел сам — у него был свой путь к современной прозе. Именно поэтому, добавим, его проза и оказалась привлекательной для Хемингуэя: очевидно, родственная и очевидно, иная, на взгляд американца. Он писал Ивану Кашкину 12.I 1936: «Бабеля я знаю с тех пор, как стали переводить его рассказы на французский и вышла «Конармия». Мне очень нравится его проза. У него есть чудесные вещи, и он великолепно пишет».

Так на рубеже 30-х начинался заочный **творческий диалог** американцев с нашими мастерами, более всего их задевшими. Очень интересно и его продолжение. Рассказ Платонова «Третий сын» поразил Хемингуэя, и тот заговорил о нем с советскими журналистами много лет спустя. А Стейнбек с восторгом принял «Тихий Дон», вышедший по-английски двумя огромными томами; он давно хотел поделиться с автором своими впечатлениями от романа и смог это сделать лишь в 1957-м, беседуя с Шолоховым в Стокгольме. (Факт стал известен из вышедшей в 1984-м книги Дж. Бенсона о Стейнбеке.) Заметим, что этот диалог был двусторонним. Сильное впечатление от «Гроздьев гнева» осталось и у Шолохова и у Платонова, опубликовавшего проникновенный отклик на книгу. А искусство Хемингуэя восприняли остро и лично — каждый на свой лад — и Платонов и Бабель.

В этой встрече двух культур особая роль принадлежала нашему кино, прежде всего — фильмам Эйзенштейна: именно к ним проявили творческий интерес и Дос Пассос и Фолкнер, назвавший даже имя режиссера в тексте своего романа. И писателей Европы, живо воспринимавших нашу прозу и поэзию, как Камю, продолжала притягивать в эти годы работа Эйзенштейна. По сделанной Камю записи о «Дне поминовения усопших в Мехико» видно, как захватил его этот эпизод, снятый режиссером для незавершенной картины о Мексике. Кадры, предназначенные для эпилога картины, Камю смотрел в пору «странной войны».

Дальше в нашей подборке идут замечательные документы времени, посвященные «России в войне». Адресованное Алексею Толстому письмо Томаса Манна было послано летом 1943-го, и тогда же большая его часть появилась в вашингтонском журнале «Нью рипаблик». Военные статьи Ильи Эренбурга, к которым написал предисловие Дж. Б. Пристли, вышли в Лондоне в том же году. Оба признанных западных антифашиста чувствовали, какой резонанс в мире получило слово писателей, идущее из воюющей и выстоявшей России.

«Рассказы Ивана Сударева», так щедро оцененные Манном, были начаты непригязательно — с художественной обработки историй бывалых людей, с очерка и сказа. Но цикл, только складывающийся на наших глазах, появился в тяжкий момент — летом 42-го, до Сталинграда. И в нем были сильно пережиты не менее тяжкие времена отступления и боев под Москвой. Сам пейзаж тут — какого еще

не бывало: морозная первая зима в деревне «под немцем» недалеко от столицы. Автор стремился сохранить в повести живые голоса и ощущение подлинности солдатских историй; его сжатый рассказ-баллада «Нина» был основан на дневнике отступления. Мотивы мужества и милосердия, звучащие в повести, пришли в нее столько же из давних времен, сколько из наших дней. Манн справедливо усмотрел здесь черты дорогой ему «русской эпической традиции», возрождающейся в нашей прозе о войне.

Иначе подходит Дж. Б. Пристли к военным статьям Эренбурга. Для него это самое действенное слово во всей прессе объединенных наций. Тут сравнение в духе времени: каждый из этих маленьких очерков, стоящих романа, «вгрызается в свою тему, как успешный бросок отряда десантных войск». Слово писателя-профессионала обращено к воюющему народу, вот для Пристли урок, содержащийся в рекомендуемой им художественной публицистике. «А пока что Илья Эренбург, с его короткими, отрывистыми фразами, с его остроумием и презрением, с его установкой на значимую деталь, учит нас, как это делать».

В послевоенные годы самый живой и напряженный интерес у писателей Запада вызывала проза Бориса Пастернака. Два отобранных нами отклика на нее — Камю и Арагона — можно сказать, внутренне принадлежат нашей подборке.

Теплое письмо Камю написано 9.VI 1958 под впечатлением «Доктора Живаго». Именно там и тогда французский писатель сказал столь важные для себя слова: «Без русского девятнадцатого века я был бы никем, и в вас я снова встречаю Россию, которая вскормила и укрепила меня». Читая роман Пастернака, Камю заново ощущает живое присутствие русской классики в нашем веке. Образы Толстого и Достоевского преломляются в мире романа, их мысль отзывается в мысли нашего современника (это тем более заметно в его автобиографии «Люди и положения», тогда же переведенной на французский). Итак, роман, столько впитавший из русского XIX века,— вот восприятие Камю, который не может представить себя без «Бесов» и «Войны и мира».

И в то же время — книга поэта, которого выдвинул 1917 год. В лекции, прочитанной Камю в Упсальском университете (она и составила вместе с Нобелевской речью брошюру, посланную им поэту), автор «Чумы» поминает «прекрасные и трагические творения первых лет русской революции». И дальше слова, позволяющие судить, чем была для Камю подлинная советская культура. «То, что дала нам тогда Россия — с ее Блоком и великим Пастернаком, Маяковским и Есениным, Эйзенштейном и первыми романистами цемента и стали,— это великолепная лаборатория форм и тем, плодотворное беспокойство, страсть поисков». В лекции Камю этот почетный творческий ряд появляется по ходу справедливой полемики против «левого» академизма, отрезающего литературу от живой реальности. И тем любопытнее, что и «Цемент», и книга Н. Островского «Как закалялась сталь» помянуты здесь как живые романы нашего времени.

Нередко за последние десятилетия привлекали внимание и более ранние опыты Пастернака — его сгущенная метафорическая проза поэта. В 1966-м Арагон, редактор серии «Советские литературы» у Галлимара, включил в нее томик из четырех таких опытов. Во вступлении он выделил «Воздушные пути» — заглавную новеллу книги, в которой раскрывается драма времен революции. И так виден увлеченный революцией поэт-современник. Арагон привел слова из новеллы, относящиеся к ее столь необычному для прозы заголовку: «... воздушные пути, по которым, как поезда, ежедневно отходили прямолинейные мысли Либкнехта, Ленина и немногих умов их полета». И другие, не менее характерные,— о «небе Третьего Интернационала» [1]. Тут чувствуется сын века. А сквозной темой четырех вещей для Арагона оказывается трагедия поэта, к которой повернута уже ранняя его новелла — «Апеллесова черта» (1915). Что ж, и у нас высказывалась подобная мысль; уже в ней есть предвестье пастернаковского «Гамлета». Но по сборнику видно и то, что в 20-е поэт идет к роману и у него растет интерес к истории. «Повесть», напечатанная в 1929-м в «Новом мире», вполне дает это ощутить, недаром ее английский перевод в серии «Пенгвин» вышел под названием «Последнее лето» (то есть в 1914-м, перед мировой войной).

Заключают нашу подборку два писательских выступления, касающиеся малой и большой формы. Послевоенный советский рассказ в его лучших образцах представляют англичанам в 1961-м Чарльз Сноу и Памела Джонсон. А о романе Юрия Трифонова «Нетерпение», вышедшем в 1975-м в немецком переводе, пишет Генрих Бёлль в еженедельнике «Цайт».

В начале 60-х, после лет «холодной войны», советские рассказы были малоизвестны в Англии. (А во время общей войны с Гитлером их издавали охотно.) Друзья нашей литературы, Сноу и Джонсон, отобрали для своей антологии «Рассказы современной России» весьма непохожие вещи — от «Печников» А. Твардовского до «Ухабов» В. Тендрякова. Для первого знакомства им кажется важно, чтобы читатели ощутили наших рассказчиков как живых людей,— и они набрасывают, например, обаятельный портрет Твардовского. А его «Печники» или «Телеграмма» К. Паустовского, считают они, говорят сами за себя. Так и оказалось, и к концу 60-х того же К. Паустовского и упомянутые здесь его «Воспоминания» уже знали в Англии хорошо. Видный новеллист Виктор Притчетт, рецензируя «Бросок на Юг», отметил в этих

[1] Борис Пастернак. Воздушные пути. Проза ранних лет. М., «Советский писатель», 1982, с. 130—131.

писательских мемуарах цельность и искусство рассказа, ненавязчиво и точно открывающего пережитое автором в начале 20-х.

В «Нетерпении» изображена эпоха, приковывавшая воображение западных писателей со времен Уайльда. Интерес к ней обострила современная история, XX век, так насыщенный проблематикой Достоевского. И в то же время посреди этого века и Запад узнал героев, под стать народникам. В сильной статье 1954 года о прощальных письмах борцов европейского Сопротивления Т. Манн поражался, до чего эти молодые люди близки по облику осужденному на виселицу Светлогубу из позднего рассказа Толстого «Божеское и человеческое».

Статья Бёлля о «Нетерпении» весьма «населена», как и сам роман. Писателя увлек не один полный и яркий характер, достойный основного героя — Желябова. И Михайлов-Дворник, иной по натуре, иной по мысли. И по-человечески привязанный к нему Клеточников: небывалая стойкость гоголевского по виду чиновника, «означившего существование», пойдя в тайную полицию служить революционерам. И рядом — те в кругу «Народной воли», кто предавал, вольно или невольно,— такие несхожие по судьбам Гольденберг и Окладский. В статье выделен и предсмертный монолог Рысакова, услышан этот удивительно воссозданный голос слабости, голода, безрассудной надежды, что избавят от петли. Бёлля взволновал весь человеческий мир «Нетерпения».

И он оценил в этой книге о русских революционерах свободный роман, смело сочетающий разные линии: «Трифонов связал воедино такие разные жанровые формы, как исторический и психологический, любовный и детективный роман». Книга о подготовке 1 марта погружена в свое время (о чем говорят и газетные заголовки статьи: «Пора колебаний», «Царь и анархисты»). При этом в рамках хроники здесь ставятся вечные проблемы,— и один момент жизни романовской империи освещен всей ее дальнейшей историей, вплоть до краха в 1917 году. Бёлль пишет:

«Но секрет воздействия повести Трифонова в том и состоит, что она превращает общепризнанный исторический факт в предчувствие: сила художественности переносит нас в 1881 год и позволяет ощутить предчувствием то, что обычно мы только «знаем». Так Бёлль прочитывает эту книгу о революционной России и так вводит ее в современную мировую культуру.

РОБЕРТ МУЗИЛЬ

Ответы на вопросы журнала «Новый мир» и «Литературной газеты»[1]

В редакцию журнала «Новый мир» (1930)

Благодарю редакцию «Нового мира» за внимание и посылаю нижеследующие ответы, из-за спешки, правда, не вполне исчерпывающие.

1. Над чем Вы работаете в данный момент?

Сейчас я кончаю роман, изображающий события 1913 и 1914 годов. В нем я хочу показать некоторые ошибки европейской идеологии, до сих пор не исправленные. Исходя из того, что идеи хоть и определяют историю, однако новые идеи никак не осеняют людей, фабула и стиль этого романа носят иронично-фантастический характер. Кроме того, я пытаюсь описать приключения индивидуума, которого настолько пленяют преимущества научного мышления, что он не отказывается от этого мышления и тогда, когда по нравственным причинам обязан от него отказаться. Чем абстрактнее в конце концов становятся его идеи, тем необыкновеннее становится он сам.

Следующая моя большая работа будет, вероятно, сатирическо-утопической картиной современной европейской культуры.

2. Каково Ваше отношение к советской литературе?

Из вашей новейшей беллетристики я знаю, к сожалению, только Горького, которого, разумеется, высоко ценю. Надеюсь вскоре наверстать упущенное, но сейчас не могу ответить на ваш вопрос.

3. Чем отличается советская литература от прежней русской и современной европейской литературы?

И об этом я не могу поделиться своим мнением, потому что, как уже сказал, не знаю вашей литературы.

4. В чем, по-Вашему, состоит влияние Великой Октябрьской революции на западную культуру?

Я думаю, что революция — это большая духовная поддержка для всех нас, кто надеется, что из человека хоть в чем-то еще может выйти что-то хорошее. Я чувствую, что надо пройти вашу школу, чтобы постичь ваше новое мировоззрение. Я верю также, что оно будет развиваться все дальше. Что касается непосредственного воздействия русской политики на творчество европейских писателей, то мне кажется, что под этим влиянием у нас до сих пор возникала преимущественно тенденциозная литература, которая выше патриотически-почвенной лишь идейно, но не по художественной выразительности.

5. Считаете ли Вы желательным и необходимым, чтобы художественное творчество писателей развивалось вне зависимости от социально-экономических факторов?

Не уверен, что понял ваш вопрос верно, и поэтому даю два ответа:

а) считаю желательным, чтобы духовная, творческая деятельность была освобождена от всякой оценки на экономическом рынке;

[1] Robert Musil. Briefe 1901-1942, Hamburg, Rowohlt, 1981.

б) убежден, что экономический и общественный уклад оказывает сильное влияние на писательское творчество не только в материальном отношении, но и в идейном — как в постановке проблем, так и в подходе к ним. С другой стороны, в искусстве существуют проблемы содержания и формы, не переставшие обновляться с шестого тысячелетия до нашей эры. В своей зависимости от социального строя искусство находится где-то посредине.

Прошу снисходительно отнестись к поверхностности моих суждений.

С искренней преданностью
Роберт Музиль.

В редакцию «Литературной газеты»
Москва, Тверской бульвар, 25
(27.X.32)

Глубокоуважаемые господа,

Из-за отъезда я получил Ваше приглашение, увы, с опозданием и лишь сегодня могу попросить Вас принять в ответ нижеследующие замечания — в той последовательности, в какой поставлены вопросы в Вашем письме.

1. и 2. Я восхищаюсь вашей революцией как решающим шагом в будущее человечества. Не думаю, что в условиях капитализма еще возможна духовная организация, заслуживающая названия «культура». Но я не уверен и в том, что за политико-экономическими переменами культурная перемена последует сама собой. Ибо если неестественный образ жизни и может загубить дух, то естественный образ жизни еще не делает его способным к величайшим подвигам. Это потребует особых усилий и опыта.

3. О советской литературе могу судить лишь очень сдержанно, поскольку знаком с ней пока мало. Полагаю, что это очень трудное дело — найти в большом общественном движении верные отправные точки и линию для движения духовного, а оно-то, собственно, и должно исходить от литературы. Все ваши книги, с которыми я познакомился, были для меня весьма поучительны, но в общем у меня до сих пор остается впечатление известной робости, словно литература еще толком не знает, что ей делать с собой перед лицом больших политических событий. Жду, однако, что вскоре она по-новому обретет свое былое большое влияние.

От ответа на четвертый вопрос прошу избавить меня, потому что иногда мне бывает неприятно говорить о себе.

Спасибо за доверие
от почтительно преданного Вам
Роберта Музиля.

Перевод с немецкого С. АПТА

АННА ЗЕГЕРС

Революционные будни[1]

Этот тщательно переведенный роман опубликован в России уже несколько лет тому назад, и чтобы понять его, нужно хорошо представлять себе ту пору, когда он создавался.

Революция вступает в свою вторую стадию — революционные будни. Нэп заполняет витрины улиц, на которых стояли баррикады. Идет бескровное сражение: сумеет ли новое государство и его новый гражданин справиться с объективной реальностью, переиначить ее, воодушевить своим порывом — или же это она справится с ним, переиначит по-своему, погасит его порыв?

Революция возвращается с красных фронтов, она возвращается в контору, в каморки. Солдат Глеб пришел в свой дом. Революция, ради которой он покинул его однажды, опередила Глеба, остригла Дашины волосы, протянула по стенам плесень, отправила жену на партработу, а ребенка — в приют. Легче было умереть за революцию, чем увидеть, чем она обернулась для семьи или, например, физически — для его жены. Стоит разоренная и изуродованная гражданской войной фабрика, затихла каменоломня, недвижимы станки и краны, истосковавшиеся по рабочим рукам, как и люди истосковались по работе. Счастливы они или нет, сильны или слабы, хороши или плохи, но тяжелый труд преодолеет их душевное оцепенение. Революционные будни склоняются над станками, корпят над бухгалтерскими книгами. Но голова быстрее, чем сердце. Сердце еще тяжко и тупо стучит на опустевшей постели, а огромные краны цементного завода уже взмахнули своими стрелами.

Гладков изобразил как бы в разрезе трудный переходный период, полный мучительных сомнений, и на этом срезе оказываются характернейшие представители своей эпохи, тут обнажаются их типичнейшие душевные черты. Этот срез проходит по опаленной земле, по еще голодному, но уже засиявшему витринами городу, по людям этого города. На этом же человеческом срезе оказались и открывающая высокий Дашин лоб красная косынка, голова Сергея, тело Бадьина и ручонки Нюрки, роющиеся среди отбросов в поисках еды.

Для такого среза нужен верный глаз, и это — достоинство книги. Гладков пишет не о завтрашних людях, а о сегодняшних, вчерашних и позавчерашних. Он не поверяет их различными ситуациями в настоящем, а показывает, как в одной и той же ситуации проявляют себя разные люди. Гладков взял материал, достаточный по глубине и широте для эпохи, да что там — его хватило бы для целого поколения эпиков. Он пишет реалистически, но стилистическая острота оборачивается романтичностью. Самые злободневные и актуальные вещи описываются пером, которое сохранилось на столе писателя с прошлых времен; тут нет того стального, ударного ритма, который порой звучит у Бабеля или Ларисы Рейснер и которым настоящее останется памятным в грядущем.

И речь в этой книге идет все же больше о любви, чем о цементе.

Перевод с немецкого Б. ХЛЕБНИКОВА

[1] Anna Seghers. Aufsätze, Ansprachen, Essays. 1927-1953. Berlin und Weimar, Aufbau, 1980.

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР

К читателю «Конармии» И. Бабеля[1]

Советская литература стала распространяться на Кубе довольно рано. Первыми к нам пришли поэты Сергей Есенин и Владимир Маяковский — их мы прочли уже к 1924 году. Потом явились романисты первого революционного поколения, чьи произведения начали переводить в Мадриде. Знакомство же с прозой, отмеченной совершенно новыми чертами, произошло в 1926 году: в библиотеке «Ревиста де Оксиденте» был издан «Бронепоезд» Всеволода Иванова. Этот небольшой, сжатый, написанный словно бы второпях, без малейшей заботы о «красивости» рассказ привел нашу молодежь в восторг. «Бронепоезд» возвещал нечто необычное, нечто такое, что никоим образом нельзя было терять из поля зрения. Вот почему другие томики советских авторов, прибывавшие к нам из Испании (во Франции тогда еще мало переводили советскую литературу), привлекали самое пристальное внимание той части наших читателей, которой не терпелось поскорее познакомиться с Леоновым («Барсуки»), Лидией Сейфуллиной, Неверовым («Ташкент — город хлебный») и другими авторами.

Стоит отметить, между прочим, что кубинский читатель проявлял особый интерес к произведениям русских писателей уже с начала нашего века. В годы 1910—1920 барселонское издательство «Маусси» познакомило нас с «Войной и миром», «Анной Карениной», «Крейцеровой сонатой», «Преступлением и наказанием», «Братьями Карамазовыми»; в карманном издании, с весьма привлекательными обложками, можно было приобрести «Тараса Бульбу», Тургенева; в ту же пору у нас стала популярной и пьеса Максима Горького «На дне». Вскоре поднялась волна интереса к Андрееву и Мережковскому — правда, открытие Антона Чехова затмило блеск этих имен. Несколько томов рассказов Чехова, напечатанных в Мадриде, ходили у нас по рукам, их перепечатывали и наши крупные журналы.

Автор «Трех сестер» научил нас ценить краткость, строгую сдержанность, отсутствие выспренности, безошибочную верность тона — все это в итоге оказывалось куда более впечатляющим, чем любой литературный изыск. И вот тогда между Чеховым и новыми советскими прозаиками легко обнаружилась преемственная связь. Теперь открылось нам и подлинное лицо Мережковских, да и других, им подобных — как люди, они многое потеряли в наших глазах, ибо покинули родину.

В 1927 году мадридское издательство «Библос» выпустило в свет «Конармию» Исаака Бабеля. Для нас открытие этой книги было, пожалуй, событием более значительным, чем даже знакомство с «Бронепоездом». На этих кипящих жизнью страницах, словно бы выхваченных из самой гражданской войны, ее будней,— событий великих или малых, ничтожных или героических, трагических или почти фарсовых (при том, что некоторые эпизоды внушают ужас) — мы обнаруживали свежесть описаний, умение мигом схватить все взглядом и прежде всего мастерское владение образностью («Евреи в жилетах, с поднятыми плечами, стояли у своих порогов, как ободранные птицы» — «Иваны»). Все это изумляло: трех-, четырех-, шестистраничные рассказы, где нет ничего лишнего; предвосхищение «жестокого стиля», который позже будет приписан американским романистам и который Бабель, познавший и переживший войну вместе с настоящей конармией, легендарной «красной кавалерией», конечно ке, нашел сам, ведомый страстью все объять и постичь.

И вот сегодня «Народная библиотека» предлагает кубинцам «Конармию» Исаака Бабеля — шедевр не только советской, но и мировой литературы.

Перевод с испанского Г. ВЕРЖХОВСКОЙ

[1] Isaak Babel. Caballeria Roja. La Habana, 1965. Prólogo de Alejo Carpentier.

ТОМАС МАНН

Из письма Алексею Толстому

(лето 1943) [1]

Возможность посылать приветственные письма в Россию, предоставленная нам в Америке филиалом «Рашен уор рилиф»[2], появилась неожиданно, и я с благодарностью ею пользуюсь. Адресата я волен выбирать по своему усмотрению — так удивитесь ли Вы, что я пишу Вам? Вы носите имя того гиганта литературного творчества, которого, наряду с Гёте, я в мире духа люблю и чту больше всего и которому, как писатель, чувствую себя больше всего обязанным. Да вы и сами русский писатель, наделенный всей величавостью русской эпической традиции; совсем недавно я снова вспомнил о Вашем могучем и прекрасном таланте, прочитав Вашу сильную военную повесть «Рассказы Ивана Сударева» в московском журнале «Интернациональная литература».

Поэтому и пишу Вам, приветствуя в Вашем лице весь русский народ, перед чьими подвигами и страданиями последних двух лет я с глубоким благоговением и восхищением склоняю голову. Я шлю Вам привет из страны, сравнительная безопасность и отдаленность которой наполняют иных ее чувствительных штатских неловкостью и смущением при виде того, что вынуждена выносить и выносит за всех нас подвергшаяся вторжению Россия. Легко сказать: «Россия борется и страдает не ради нас, она не делает нам одолжения, ибо с западными демократиями у нее нет ничего общего, кроме врага, она истекает кровью и

[1] "The New Republic", Washington, vol. CVIII, 1943.

[2] Существовавшая в США в годы войны организация «Помощь России в войне».

побеждает, защищая только себя, матушку Русь, борясь за освобождение своей земли от этого врага, который случайно и наш враг». Случайно ли? Нет, не случайно! Ибо этот подлый враг — враг человечества, отрицающий все духовное и божественное в человеке, все его врожденное стремление к высшему, лучшему, к правде и справедливости, и несомненно, что в нынешней войне Россия сражается не только за себя, но одновременно и за всех нас, за всех людей и за их свободу — как ни отличается социалистическое понимание свободы от понимания западных демократий.

Я знаю, конечно,— мы все это знаем,— что в демократиях есть отдельные лица и группы, которые... не очень-то считаются со сходством по сравнению с несходством между политическим и экономическим укладом Советского Союза, с одной стороны, и Запада, с другой. Это группы и лица, которые боятся России, боятся социализма, потому что не хотят того развития, на которое мы, напротив, возлагаем все свои надежды: соединения социализма и демократии, создания нового равновесия между свободой и равенством, определяющего национальную и интернациональную жизнь народов, отдающего должное интересам личности и в то же время общественным интересам... Возможно, что они сейчас не желают победы нацистской Германии и не содействуют ей сознательно,— на это даже они уже не способны. И все-таки именно на их молчаливое сочувствие и тайную помощь рассчитывают Гитлер и Геббельс...

Не поймите меня превратно! Я говорю не об американском народе и его высших руководителях, а, подчеркиваю, об отдельных лицах и группах, о тех пособниках фашизма, которые нигде не лишены влияния вовсе, а такие пособники у фашизма есть, увы, во всем мире. Можете быть уверены, и ваши соотечественники могут быть уверены в том, что в американском народе, как и в английском, жива глубочайшая симпатия к России и к ее героической борьбе и что особенно американская интеллигенция... неустанно доказывает необходимость хороших отношений между Россией и Америкой и постоянного тесного сотрудничества обоих народов... Возможно, Вы ответите мне, что в наше время влияние интеллигенции на ход общественных событий сильно уменьшилось. Но как бы то ни было, все еще остается народ, остается англосаксонская демократия, сила которой достаточно внушительна, чтобы верить, что в конце концов великие решения будут приняты в соответствии с волей народов, а не в угоду интересам, которые определены страхом и ненавистью.

Позвольте, дорогой Алексей Толстой, кончить словами любви и восхищения, отнесенными к великой, святой, глубоко человечной культуре России, культуре, которой моя жизнь, мое становление стольким обязаны. Поздравляю Вас, Алексей Толстой, с огромной честью принадлежать к этой традиции и с почетным правом служить ей в атмосфере социального обновления и веры в будущее.

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния

Перевод с английского С. АПТА

ДЖОН БОЙНТОН ПРИСТЛИ

Предисловие к «России в войне» И. Эренбурга[1]

С тех пор как я впервые прочел в «Советских военных известиях»[2] военный очерк Ильи Эренбурга, я читаю их все, с растущим восхищением. Мне они кажутся лучшим из всего, что написано в этом жанре в прессе объединенных наций. И другие журналисты-фронтовики вольны выбирать аналогичные темы и обрабатывать их так же неистово, но работу Эренбурга отличает, поднимая ее неизмеримо выше среднего уровня военной пропаганды, то, как в ней использованы многозначительные детали — на которые у него острый, наметанный глаз,— а также горький и безжалостный юмор. Примеры того и другого можно здесь найти на любой странице.

«При нем (Гитлере) нельзя курить. Этот человек, который провел десять лет в накуренных пивнушках, не смущаясь говорит: «Никто никогда не курил в моем присутствии».

«До прихода Гитлера к власти берлинский суд отобрал у Геринга ребенка — отец был признан морфинистом и невменяемым. Честные немецкие судьи не хотели доверить этому спесивому убийце одного ребенка. Гитлер доверил ему сто миллионов покоренных людей».

«В Берлине прежде любили собачьи скачки: борзые гнались за электрическим зайцем: работал тотализатор — это были невинные забавы, до того как эсэсы начали грабить Европу. Неслись борзые, быстро неслись. Но еще быстрее несся электрический заяц. Собаки не понимали, что не могут его нагнать. Не так ли теперь гонятся немцы за победой?

И стучат, стучат деревянные подошвы женщин: ведут счет дням, ведут счет убитым, ведут счет горю».

«Еще недавно я ехал по Можайскому шоссе. Голубоглазая девочка пасла гусей и пела взрослую песню о чужой любви. Там теперь говорят орудия. Они говорят о ярости мирного народа, который защищает Москву».

«Еще недавно я писал в моей комнате. Над моим столом висел пейзаж Марке: Париж, Сена. В окно, золотая, розовая, виднелась Москва. Этой комнаты больше нет: ее снесла немецкая фугаска. Я пишу эти строки впопыхах: пишущая машинка на ящике».

«Гитлер приготовил к весне немало танков, самолетов, орудий. Но войну ведут люди, люди думают, люди жертвуют собой, и люди, только люди побеждают. Гитлеровцы — это рабы машин. Не немец ведет танк, танк ведет немца».

Здесь нет борьбы «для вида», каждый удар попадает в цель. Вы не можете не почувствовать, что он пишет в спешке, при-

[1] Ilya Ehrenburg. Russia at War. With an Introduction by J. B. Priestley. London, Hamish Hamilton, 1943.

[2] Газета, издававшаяся во время войны советским посольством в Лондоне.

строив машинку на ящик, а весь мир вокруг него — пылающие развалины; но что он добьется успеха там, где столько наших официальных пропагандистов терпят поражение, потому что ужасающую напряженность момента он передает живыми, остроумными фразами. Он пишет так, как говорят на фронте солдаты и матросы. Взрывы вокруг не мертвят его, а подстегивают. С другой стороны, он избегает небрежной, раздражающей манеры завзятого военного корреспондента, человека, который стремится внушить, что все происходящее имеет для него единственную цель: показать, на что он способен. Один из разделов этой книги, где Эренбург представлен в лучшей своей форме,— это раздел под названием «Наемники», здесь автор показывает нам всех шакалов и крыс, которые бежали по стопам нацистов:

«Дорио не привыкать «отодвигаться» — это ренегат по природе, изменник по призванию, предатель по вдохновению. Я видел его в Париже с немецкими офицерами. Он им ласково улыбался. Он их поил хорошим бургундским. Он их водил в публичные дома. Он им помогал арестовывать французских патриотов. Иуде когда-то выдали сребреники. Жак Дорио куда сговорчивее: он берет оккупационные марки».

Здесь перед нами автор объемистого романа о политическом крушении — «Падение Парижа». Но хотя в своем роде это хороший роман, я лично больше хотел бы быть автором этих восхитительных маленьких очерков, каждый из которых вгрызается в свою тему, как успешный бросок отряда десантных войск. Это — лучшее, что нам известно о команде, которой обеспечена победа, то есть о русских писателях-пропагандистах. Нам бы научиться так изничтожать противника, как эти русские! Мне могут возразить, что мы действуем по-своему, по обкатанной традиции официальных пропагандистов и джентльменов. Но с этой традицией пора распроститься, ведь она была создана узким правящим классом и никогда не станет своей для воюющего народа. А пока что Илья Эренбург, с его короткими, отрывистыми фразами, с его остроумием и презрением, с его установкой на значимую деталь, учит нас, как это делать.

Перевод с английского М. ЛОРИЕ

АЛЬБЕР КАМЮ

Письмо Б. Пастернаку[1]

9 июня 1958 г.

Дорогой Борис Пастернак,

Рене Шар, мой лучший друг, дал мне ваш адрес, потому что он знает, с каким давним дружеским восхищением отношусь я к вашему творчеству — и к человеку, которого чувствую в нем. Мне захотелось послать вам маленький текст, не имеющий никакого иного значения, кроме того, что он является далеким, но верным свидетельством моего уважения к вам. Во Франции нас небольшая горстка тех, кто вас знает и в некотором роде разделяет ваши жизненные устремления. Без русского девятнадцатого века я был бы ничем, и в вас я снова встречаю Россию, которая вскормила и укрепила меня. Было бы неверно говорить, что не существует границ. Они пока еще существуют. Но в то же самое время существует сила творчества и правды, которая объединяет нас всех — в смирении и в гордости одновременно. Лучше всего я это ощутил, когда вас читал, и поэтому мне хотелось бы выразить вам свою признательность и солидарность. Шлю искренние пожелания добра вам и вашей семье, вашему творчеству и вашей великой стране. Жму руку.

Альбер Камю

Перевод с французского МОРИСА ВАКСМАХЕРА

[1] «Canadian Slavonic Papers», vol. XXII, N 2, June 1980.

ЛУИ АРАГОН

«Воздушные пути» Пастернака[1]

Вряд ли требуется представлять Бориса Пастернака французской читающей публике. Однако она почти не знает его поэзии, тогда как именно в поэзии гений этого писателя заявил о себе с непререкаемой убедительностью. Несколько переводов, не слишком к тому же и точных, как, впрочем, всякие переводы, удачная строка здесь, удачная строка там — этого еще недостаточно, чтобы перед нами возник подлинный облик поэта.

И все же случилось так, что доступ в пастернаковскую вселенную открыли нам его четыре новеллы, столь же трудные для перевода, как и стихи. И может статься, что, перечитывая их сегодня, мы поймем их лучше, чем поняли бы в годы, когда они были написаны. Мы даем их здесь в том порядке, в каком собрал их сам Пастернак, который поместил в начале «Воздушные пути», датированные 1924 годом, следом, не заботясь о хронологии, дал «Детство Люверс», которое написано в 1918 году, и «Апеллесову черту», созданную в 1915-м. Публикацию завершает «Повесть», у которой не обозначена дата написания, но первая же страница которой относит изображаемые события к началу 1916 года; автор сразу сообщает об этом и добавляет: «Вот уже десять лет передо мною носятся разрозненные части этой повести, и в начале революции кое-что попало в печать». Таким образом, следует предположить, что «Повесть» писалась около 1916 или 1917 года и что автор посчитал ее завершенной в 1927 году.

Это странные рассказы о времени, и, читая их, мы ощущаем себя почти так же, как маленькая Женя Люверс, чей «долгий день был предан забвению среди форм passé и futur antérieur...» [2]. Что мне сказать здесь об этих четырех загадках? Ключ к ним лежит,

[1] «Les Lettres françaises», N 1131, du 12 au 18 mai 1966.

[2] Прошедшее и предшествующее будущее *(франц.)*, названия глагольных форм во французской грамматике. *(Прим. перев.)*

возможно, в первой новелле, единственной, где внутренняя драма вписывается в историю, поскольку первый эпизод этого повествования отделен промежутком в пятнадцать лет от второго и мичман Поливанов за время, прошедшее после 1905 года, успел стать «членом президиума губисполкома». Новелла называется «Воздушные пути», но речь здесь уже не о путях тех ветров, что в первой главе несут на своих крыльях множество бедствий, нет, это были, говорит автор, «воздушные пути, по которым, как поезда, ежедневно отходили прямолинейные мысли Либкнехта, Ленина и немногих умов их полета». Надо было бы полностью процитировать всю страницу, чтобы понять, почему я не могу удержаться от сравнения этого пассажа с тем местом в «Плеядах» у Гобино, где изображаются необычные связи, которые возникают между умами, отдаленными друг от друга, как в космосе звезды,— возникают, несмотря на все рубежи и границы. С той, конечно, поправкой, что «в небе Третьего Интернационала» сверкают уже не аристократы Гобино. Личная драма, которая разыгрывается здесь в 1920 году, немыслима ни в каком другом, кроме нашего, веке. Как и драма самого Пастернака, зреющая от его новелл к его стихам и поэмам. И если в «Апеллесовой черте» мы улавливаем в его манере повествования некоторое сходство с Андерсеном, Андерсеном итальянских сказок, то лишь у Пастернака, и только у него одного, можно встретиться с тем, чтобы автор использовал свою «Повесть» как счастливую возможность отослать нас к «роману в стихах под названием «Спекторский», начатому позднее...», и такое единство прозы и стихов отнюдь не случайно, в нем — сокровенный замысел поэта, и всюду, даже когда речь заходит о других каких-то вещах, он говорит нам лишь об одном — о своей глубокой трагедии.

Перевод с французского МОРИСА ВАКСМАХЕРА

ЧАРЛЬЗ ПЕРСИ СНОУ, ПАМЕЛА ХЭНСФОРД ДЖОНСОН

Рассказы современной России[1]

В настоящее время пять из этих шести писателей в Англии почти неизвестны. А между тем Александр Твардовский знаменит у себя на родине так широко и так своеобразно, как то было бы невозможно ни для кого из нас в нашей стране. Томики его стихов расходятся буквально миллионами. Его стихи поют и цитируют на всех перекрестках. Он — один из немногих русских, кого узнают на улице, и когда бываешь с ним, твои акции в глазах таксистов поднимаются. Он — эпический поэт советского солдата-фронтовика. Из миллионов солдат, которые не погибли в апокалипсическом котле гитлеровской войны, которые отступили до Волги и наступали до Берлина и несли такие потери, как ни одна армия в истории, каждый видел в его герое Василии Теркине самого себя. Последние десять лет он работал над другим циклом стихов, только что опубликованным, о русском опыте и русской земле. Ему пятьдесят один год, но выглядит он намного моложе— крупный мужчина с прядью волос, падающей на лоб, и бледным, полным, пластичным лицом, какое бывает только у русских. Он и есть русский, из самых русских. А кроме того, он лично — один из самых впечатляющих и обаятельных писателей и, конечно, из самых забавных, с чувством юмора, лукавым, психологически наблюдательным и острым, очень похожим на английский юмор, или нам так нравится думать. Родился он в крестьянской семье, которая жила даже не в большой деревне, а в крошечном поселке — горстке домов, в самой глухой глуши Смоленской области. Но серьезной ошибкой было бы воображать, будто писатель крестьянского происхождения, как Твардовский, проще или менее искушен, чем мы. Твардовский в высшей степени искушен, и в литературном смысле, и во многих других. Как один из самых читаемых писателей в Советском Союзе, он должен иметь и доход почти непревзойденный в этой стране, но он один из тех писателей, кто из чувства долга — как мы уже упоминали — занимается и редакторской работой, и он — главный редактор ежемесячника «Новый мир». Прозы он написал очень мало, и «Печники» — впервые изданные в 1958 году,— чуть ли не единственный его рассказ. Он не нуждается в объяснениях и достаточно говорит сам за себя.

То же можно сказать о «Телеграмме» Паустовского. Константин Паустовский, рождения 1892 года,— из того поколения советских писателей, которое пригрел и оберегал Горький в 1920-х годах, поколения Леонова, Федина, Всеволода Иванова, Катаева, старой гвардии романистов, так много сделавших для того, чтобы сохранилась преемственность в русской литературе. Родился он в семье мелкобуржуазного чиновника; его отец — странная вещь — был статистиком на старой южнорусской железной дороге и занимался тем, что представляется не особенно практичной формой исследований по эксплуатации дорог. Лучшая вещь Паустовского — это его «Воспоминания», которые сейчас выходят в Англии и в которых он изящной, красноречивой и чувственно богатой прозой повествует о своем детстве в Киеве, о годах скитаний и приходе в литературу и, наконец, о полном приятии революции. По манере и технике он очень близок к некоторым сугубо «литературным» нашим писателям. Это несгибаемый, гордый и благородный человек, уже давно ратующий за то, чтобы давать молодым свободу — пусть сами находят новые формы и сами совершают ошибки.

Прошло уже тридцать лет с тех пор, как Михаил Шолохов стал известен во всем мире, а ведь ему всего пятьдесят пять. Он небольшого роста, стройный, совсем не похож на тех донских казаков, о которых пишет и каких представляет себе англича-

[1] Winter's Tales. Stories from Modern Russia. Ed. by C. P. Snow and Pamela Hansford Johnson. London, Macmillan, 1961.

нин, хоть и является одним из них, и живет среди них, разводит лошадей, ловит рыбу, охотится, консультирует своих односельчан как председатель местного Совета. Язык у него устрашающе острый, всегда в запасе какой-нибудь соленый афоризм; по слухам, он иногда снабжает ими мистера Хрущева. Поскольку он — единственный советский писатель, которого целое поколение на Западе действительно знает, почти все русские уверяют, что мы теряем больше обычного, читая его в переводе. С Толстым, говорят они, мы теряем сравнительно мало; с Достоевским не теряем почти ничего; но с Шолоховым вся языковая изобретательность ускользает. Это не вина переводчика. В донских романах, безусловно, величайших своих творениях, он ставит любого переводчика перед непреодолимыми трудностями, вплетая казацкое просторечие не только в диалог, но и в авторский текст. Русские, от студентов до немолодых государственных деятелей, уверяют, что результат получается замечательный, но переводить его так же трудно, как Фолкнера, и по сходным причинам.

«Одна жизнь» (обычно заголовок переводится буквально — «Судьба человека», но это, на наш взгляд, звучит по-английски слишком высокопарно и напыщенно для Шолохова, который не грешит ни тем, ни другим) первоначально была военным рассказом, затем переделана в знаменитый фильм. Здесь не лишним будет упомянуть, что в значительной части того лучшего, что пишется сейчас в России, речь до сих пор идет о второй мировой войне.

Перевод с английского М. ЛОРИЕ

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ

Большой исторический роман о старой России: «Нетерпение» Ю. Трифонова[1]

В Париже цыганка нагадала Александру II, что он переживет семь «аттентатов». Предсказание сбывалось: для шестого покушения, состоявшегося в феврале 1880 года, столяр Степан Халтурин сумел протащить в Зимний дворец целых 150 килограммов динамита, однако царь пережил этот ужасный взрыв. Халтурину удалось уйти, пока горела запальная трубка; погибли солдаты охраны и другие люди. А 1 марта 1881 года вопреки дурным приметам (накануне вечером, играя в «ералаш», царь опрокинул свою фотографическую карточку) Александр II выехал на развод караула, после которого он хотел навестить свою любимую кузину. Мог ли он подозревать, что в седьмом покушении кроется и восьмое? (Собственно, покушение задумывалось даже не двойным, а тройным, ибо резервный вариант — девятый «аттентат» — предусматривал, что Желябов заколет царя кинжалом, но буквально перед самой операцией Желябова арестовали). Так, пережив седьмое покушение — взрыв бомбы, брошенной Рысаковым,— царь через несколько секунд погиб от бомбы Гриневицкого.

[1] «Die Zeit», 22, VIII, 1975.

Подготовка и осуществление этого покушения, а также нескольких других, неудавшихся, и образует сюжетную канву удивительной книги Юрия Трифонова под названием «Нетерпение». Трифонов следует русской литературной традиции обстоятельного и внутренне напряженного повествования, избегая при этом как общих мест, так и умозрительности. Если учесть еще и несомненную переводческую удачу Александра Кемпфе, поневоле задаешься вопросом: что же это за страна, что за народ, что за язык, дающие не только подобный материал для книг, но и такие книги? И последнее слово, по-моему, тут еще не сказано — например, тем же Трифоновым или Войновичем. Автор в этой повести не вершит ни суда, ни расправы; Трифонов далек от идеологических или иных канонов. Революционеры у него отнюдь не иконописны, да и сама повесть не укладывается в формальные рамки, привычные для литературных критиков. Он вновь обратился к поистине неисчерпаемой теме, «нигилисты и анархисты 19-го века», но, хотя историками изучено (и описано) немало подготовленных и осуществленных акций этой довольно разнородной группы, тем не менее в повести она раскрывается читателю скорее через сходки, споры, счастливые моменты единства, периоды раскола и новой сплоченности, достигнутой усилиями столь удивительных, но опять-таки отнюдь не иконописных личностей, как Андрей Желябов и Александр Михайлов (Дворник). Кстати, не только у царя, но и у них при всей планомерности, идейной убежденности свою роль играют и непостижимая «цыганка», и «судьба». В повести многое происходит, но в изображении событийной стороны писатель проявляет сдержанность; ему важнее показать, как распадалась эта группа под воздействием внешних и внутренних причин. Трифонов связал воедино такие разные жанровые формы, как исторический и психологический, любовный и детективный роман.

Бесконечные теоретические дискуссии, столкновение амбиций, честолюбий, уколы ревности, ошибки или взаимные любезности — в конце концов все это отступает на задний план перед серьезностью совместного решения убить царя. Однако цареубийство, призванное послужить сигналом восстания и началом освобождения, ознаменовало собою лишь новый политический сдвиг: на место Лорис-Меликова с его хотя бы частичными проблесками либерализма приходит к власти с Александром III махровейший из реакционеров Константин Победоносцев, и уже вскоре после покушения «на улицах хватали подозрительных, очкастых, длинноволосых».

По обе стороны — агенты и предатели. Невзрачный чиновник Николай Клеточников — одна из важнейших фигур повести. Революционеры внедряют его в тайную полицию, где он становится верным соратником заговорщиков и хранит эту верность до самого конца; но его побудительные мотивы ясны не вполне. Во всяком случае этот маленький чиновник оказывается гораздо стойче блестящего и честолюбивого Гришки Гольденберга, террориста, убившего генерал-губернатора Кропоткина и под-

давшегося на нехитрую уловку прокурора, который подсадил провокатора в камеру Гольденберга. Но пока его невольное предательство еще окончательно не свершилось, группа сплачивается напоследок для убийства царя, общей и утопической цели: «Последнее убийство — какой великий соблазн! И затем наступает царство разума. Торжество справедливости!»

Нетерпению заговорщиков противостоит «необоримое, почти мистической силы» колебание царя и его советников, которые вновь и вновь откладывают давно назревшие реформы. Лишь в самый канун своей смерти царь подписывает указ о «выборных людях». А тем временем длится пора колебаний — эта странная смесь жестокости, полицейского произвола, хаоса и безалаберности. «Страх становится такой же обыкновенностью Петербурга, как сырой климат». Халтурин так рассказывает о Зимнем: «Вообще, неряшливость и бестолочь во дворце страшные. Это, конечно, нам на руку, но все ж таки удивляешься вчуже: до чего безмозглый народ поставлен руководить!»

Уныние гнетет царскую семью. Даже любовные интрижки безрадостны. Чахнет царица, некогда юная и милая гессенская принцесса, а тут еще приезд родни! Эта столь ненавистная царю «гессенская кислятина» на лицах чопорных гостей. И все время предчувствие: надвигается беда, катастрофа, догорает запал.

По сравнению с царской семьей настроение у заговорщиков едва ли не радостное. За их спинами ни цыганок, ни хаоса, ни бестолочи, ни предчувствий; они точно знают, что их ожидает. Фроленко рассказывает, что Желябов «спокойно говорил о том, как его будут вешать, даже описывал казнь».

Они веселятся на вечеринках, пьют вино, танцуют, их словесные поединки не лишены ораторского мастерства, язык листовок блистателен, их вновь и вновь ликвидируемые типографии вскоре начинают работать опять. Их конспиративные сходки легко превращаются в пикники. Тема любви между «дочкой генерала, совсем молоденькой» Соней Перовской, страстной революционеркой, и Андреем Желябовым звучит в повести приглушенно и сдержанно. После поэтичной сцены — в комнатушке, где происходит свидание, следуют слова: «И в этой комнате была любовь, не имевшая ни прошлого, ни будущего, ни надежд, ни рассвета. Очищенная от всего, она упала, как снег, и ее судьба была судьбой снега: исчезнуть».

Догорают запалы, надвигается беда, катастрофа, однако зреет и предательство, совершенное тщеславным Гришкой Гольденбергом, который сначала попросту проболтался, но потом дал и развернутые письменные показания. Беда надвигается не только на царя, ибо близится 1 марта 1881 года, но и на заговорщиков, которым Клеточников помочь уже не может. Запалы сгорают как бы параллельно, и царь погибает от взрыва лишь немногим раньше. После арестов еще один из заговорщиков становится предателем; он опознает бывших друзей через глазок и выдает их. Это небезызвестный Иван (Ваничка) Окладский, неунывающий парень, всеобщий любимец, специалист по изготовлению бомб и мальчик на побегушках, который официально был приговорен к смертной казни, однако с 1881 года по февраль 1917 года, то есть в течение тридцати семи лет, получал жалованье от департамента полиции, и лишь в 1925 году его разоблачили как «главного свидетеля обвинения»; неунывающий Ваничка превратился в старика с пустыми, холодными глазами. И наконец, третья разновидность «главных свидетелей» — девятнадцатилетний Николай Рысаков, голос которого по воле автора доносится до нас: «Но что я мог рассказать, какие тайны раскрыть? Одно я знал основательно, одну тайну постиг: тайну голода. Я голодал, если можно так выразиться, по всем статьям. Меня терзал обыкновенный голод по куску мяса, и голод по лишнему рублю, чтобы зайти в лавку и купить башмаки, и голод по людям, голод по женщинам... Даже за пять минут до казни Доброржинский (тот самый прокурор, который обманул Гришку Г.) из меня что-то выпытывал. А я все верил. И уж саван надели, петлю накинули, а я еще верю, что мне сейчас будет пощада объявлена; палач из-под меня скамейку вышибает, а я за скамейку ногами цепляюсь, он ругается, а я цепляюсь, цепляюсь, цепляюсь, цепляюсь, потому что надеюсь до последней секундочки...»

А дальше — суд, и на нем Желябов заявляет, что признает «сущность учения Иисуса Христа». «Эта сущность занимает почетное место среди моих нравственных основ». Вряд ли такое признание соответствует канонизированному и идеологически-выдержанному образу революционера. Для Желябова суд, то есть выступление перед публикой и прессой, является составной частью революционной борьбы; он пользуется любой возможностью для пропаганды и для того, чтобы пугать своих противников огромным (фиктивно) размахом заговора.

Все кончается тем, что известно и без особых исторических познаний: запалы еще будут тлеть, ощущение надвигающейся катастрофы еще будет томить меланхоличного и также вечно колеблющегося «Ники» вплоть до злополучного финала самой империи. Но секрет воздействия повести Трифонова в том и состоит, что она превращает общепризнанный исторический факт в предчувствие: сила художественности переносит нас в 1881 год и позволяет ощутить предчувствием то, что обычно мы только «знаем». Исторический факт растворяется в слиянии различных жанров, исторический же роман служит лишь как бы обрамлением для вневременных проблем. И еще, поучительный список действующих лиц дает возможность сделать любопытное наблюдение: революционерки, избежавшие виселицы, доживают до глубокой старости — так, Якимова дожила до 86 лет, а Вера Фигнер, также фигурирующая в книге, до 90 лет.

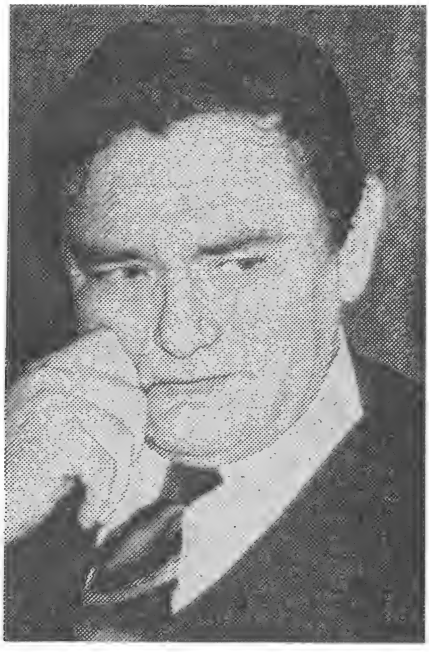
Перевод с немецкого Б. ХЛЕБНИКОВА

◆

Из бесед в редакции

ВЛАДИМИР МИНАЧ:

«То, что происходит сейчас в Советском Союзе,— это революция в революции...»



...На этот раз Владимир Минач приехал в Москву для участия в международной встрече деятелей науки и культуры «За безъядерный мир, за выживание человечества». Минач не только известный прозаик, но и крупный общественный деятель. Член ЦК Коммунистической партии Словакии, депутат Словацкого национального собрания, он является также заместителем председателя Союза словацких писателей. Он побывал в редакции нашего журнала, на страницах которого еще в 60-е годы впервые на русском языке увидела свет его знаменитая трилогия «Поколение». Владимир Минач согласился ответить на несколько наших вопросов. В беседе принял участие советский критик и литературовед Юрий Васильевич Богданов. Его размышления о творчестве Владимира Минача и интервью с писателем предлагаем вашему вниманию.

Владимир Минач принадлежит к поколению писателей, чья юность пришлась на годы второй мировой войны. Он был участником антифашистского Словацкого национального восстания 1944 года, которое стало решающей вехой его личной и творческой биографии: «Все, что случилось потом и через что мы прошли, берет свое начало в Восстании».

Творческую эволюцию писателя трудно представить без учета все более уточняющихся воззрений Минача на гуманистическую природу современной литературы, на ее роль и место в социалистическом обществе. К этой центральной проблеме — отношений искусства и действительности — Минач постоянно обращался и обращается в многочисленных статьях и эссе, составляющих как бы второе измерение его таланта, его творческой индивидуальности.

В публицистических книгах Минача 1960—1980-х годов — «Парадоксы вокруг искусства» (1965), «Раздувая родные очаги» (1970), «Собрание споров Й. М. Гурбана» (1974), «Соотношения» (1976) и др.— в полной мере реализуется его склонность к прямой постановке общественно значимых проблем, к историко-философскому осмыслению движения жизни и перемен в сознании людей.

Разбирая тот или иной аспект, Минач далек от чистого теоретизирования. («Чистые теоретики у нас встречаются редко,— шутит писатель,— это одно из немногих преимуществ малого народа».) Во всяком случае за собственными рассуждениями Минача всегда чувствуются опыт и темперамент крупного художника, личная убежденность и заинтересованность в открытом и честном обсуждении самых сложных, а подчас и болезненных вопросов. Это «авторское» начало преломляется в статьях прежде всего через морально-нравственные категории. От этической в широком смысле позиции художника, от развитости его чувства ответственности перед современником, перед человеком в решающей степени, по Миначу, зависит и характер его общественно-литературной активности, эстетической ценности его произведений. «Социалистическое искусство,— считает Минач,— призвано охранять и защищать целостность человека и целостность великой культуры». «Искусство ие может обойтись без великих нравственных целей...»

«Может быть, я глупый мечтатель,— писал Минач в 1965 году,— но не хотел бы я жить без мечты о целостности человека. Возможно, в этом содержится еще старое представление о гуманизме, представление, идущее от прошлого века: пусть так. И несомненно, эта мечта недостижима: тем лучше для искусства. Поиски, мера осуществления этой мечты и есть — для меня — мерило степени развития цивилизации и ее искусства. ...Неизбежно должна наступить эпоха, которая попытается восстановить разъятого человека, победить разъятость. Не сомневаюсь, что это будет эпоха социализма. Не сомневаюсь, хотя многое заставляет сомневаться: не сомневаюсь, ибо иного пути у цивилизации нет... Мы не можем сейчас знать все о том, каким будет облик социализма, но знаю: это зависит от нас.

Так вот, социалистическое искусство должно бы работать на то, чтобы этот облик был создан по образу и подобию человека всестороннего, мудрого и свободного: словом, оно должно участвовать в создании условий для возрождения целостности человека. Вот задача и — да! — вот служение: служение человеку, братству людей». Эта и другие темы были затронуты и в нашей нынешней беседе с Владимиром Миначем.

Вопрос. Москва в эти дни стала всепланетным форумом деятелей науки и культуры, горячо обсуждающих глобальную проблему «выживания человечества» перед лицом ядерной угрозы. Помнится, еще в начале 60-х годов вы испытывали возрастающую тревогу за всеобщее будущее: «В каком соотношении находится прогресс техники и простое человеческое счастье? Для чего все это, если пропорционально человеческим радостям возрастает и риск уничтожения цивилизации?» Так вы спрашивали себя в то уже далекое время. Сейчас над этими вопросами бьются миллионы. Но найдены ли удовлетворительные ответы?

Ответ. Со времени последней войны на нашей планете изменилось столь многое и с такой быстротой, что с трудом находишь слова, которыми можно обозначить эти перемены. Там, где наука действительно затрагивает будущее человечества, всегда открываются новые, неведомые прежде горизонты: там всегда возникают совершенно новые проблемы.

Мы знаем, что проблемы не решаются сами собой, а нерешенные проблемы обостряются день ото дня и растут в геометрической прогрессии: мы заблудились в них.

Человечество оказалось в роли ученика чародея — оно словно испугалось своей растущей мощи, словно забыло волшебное слово, которое восстановило бы правильные или по крайней мере терпимые отношения в мире.

Но человечество ничего не забывало — такого слова просто нет, никогда не было и никогда не будет. И каждая проблема требует нового решения, конкретного и исторического. Вернуться к прежним, «устоявшимся» взаимоотношениям не удастся — все всегда приходится начинать заново.

Вопрос. У вас на родине заслуженная репутация полемиста, убежденного противника застойных явлений в обществе, литературе. Нам известно, что вы с искренней симпатией относитесь к тому, что у нас принято называть сейчас «новым мышлением». Как вы думаете, общий сдвиг, происходящий на наших глазах, радикальные изменения в самосознании социализма — это следствие наших общих с вами достижений или упущений, ошибок? А может быть, он продиктован возросшей ответственностью социализма за судьбы всего человечества?

Ответ. То, что происходит сейчас в Советском Союзе,— это революция в революции, имеющая всемирно-историческое значение и сравнимая, в масштабах планеты и всего человечества, лишь с Великой Октябрьской социалистической революцией и с победой советского народа над фашизмом. Это попытка совершить исторический перелом не только в постановке вопросов, но и в ответе на них, это непреклонное стремление постичь правду эпохи наперекор всем ловушкам и опасностям современности, а также трусам и маловерам.

В те дни, когда я читал материалы XXVII съезда, я был счастлив, потому что вновь подтвердилось, что революция не потеряет себя даже на самых тяжких и крутых путях, в ней самой заключено достаточно силы, чтобы вернуться к своей прекрасной и человечной сущности, снова и снова принимаясь за строительство самих основ человеческого существования — мира и свободы.

Вопрос. В недавнем интервью словацкому еженедельнику «Нове слово» вы говорили: «Новые общественные цели подталкивают слово к новым горизонтам...

Такой сдвиг произошел где-то в последние десять лет в лучших произведениях советской литературы. Может быть, и без них там дело дошло бы до больших общественных перемен: но все это было бы немного иначе». Не могли бы вы пояснить эту

очень важную для нас мысль? И кстати, не видите ли вы признаков подобного сдвига в литературе Чехословакии?

Ответ. Изменения, происшедшие в советской литературе последних лет, носят тектонический характер. Из различных тенденций, разрозненных явлений, из чьих-то выкриков, наконец,— из всего этого постепенно формировалось новое чувство ответственности, новая, здоровая воинственность по отношению к действительности.

Очевидно, один из источников этого сдвига — глубинные процессы в самом советском обществе. Но мне представляется, что здесь есть также другая сторона, связанная не с движением вперед, но скорее с возвращением к истокам, с преемственностью. Советская литература словно бы вернулась к нравственной смелости русской классической литературы, и можно сказать в положительном смысле слова, что вся советская литература как бы стала более русской.

Мы же, к сожалению, на этот раз не слишком торопимся «обрусеть» — нам все еще хватает хлопот и по-словацки.

Вопрос. У нас недавно состоялись съезды многих творческих союзов. Они проходили в обстановке острых дискуссий, в духе критики и самокритики, что все мы ощутили не только как дань, но и как знамение времени. В этом году, как известно, проводят свои съезды писатели Чехословакии. Назрела ли у вас необходимость «большого разговора» о жизни и месте литературы в обществе? О новом качестве художественного и действенности публицистического слова? О взаимоотношениях сегодняшних творцов и сегодняшних читателей?

Ответ. Разумеется, и у нас давно назрела необходимость «большого разговора» — прежде всего о месте писателя и литературы в обществе и в истории, иными словами — о главном смысле нашего существования. Нет недостатка и в «интеллектуальных силах», которые могли бы принять участие в этом дружеском разговоре. Но затевать его стоит лишь в том случае, если общество действительно ощущает потребность в обновленном революционном мышлении и порождаемой именно таким мышлением литературе. В этом случае свою причастность к тому, что происходит в Советском Союзе, мы должны будем продемонстрировать не только употреблением новых и модных слов, но искренним, реальным стремлением радикально изменить морально-политический облик всего нашего общества.

Вопрос. По нашим представлениям, литература Чехословакии добилась в 70—80-е годы немалых успехов. Книги чешских и словацких писателей активно переводятся на русский язык, некоторые из них получили самый широкий отклик у наших читателей, в советской критике. В качестве примера я бы назвал «Тысячелетнюю пчелу» П. Ярош или трилогию В. Шикулы «Мастера», которые публиковались в «Иностранной литературе». В них по-новому, в оригинальной художественной форме воплотилась мысль об основополагающей, «базисной» роли в национальном историческом процессе миллионов простых словацких тружеников — пахарей и пастухов, лесорубов и плотогонов, каменщиков и рудокопов, то есть как раз то, о чем вы размышляли в своей эссеистской книге «Раздувая родные очаги...»: «С точки зрения расхожей историографии мы были объектом истории, а не ее субъектом; пространством, на котором творилась история... Другие могли возводить соборы и королевские палаццо; нам же снова и снова приходилось заново отстраивать для себя жилье... Никогда мы не одерживали побед, никого не порабощали, ничего не приобрели: мы пробились к свободе через длинную цепь поражений... Я знаю, что наш вклад в историю мира скромен. Но если однажды историю цивилизации будут мерить по справедливости, что означает — по вложенному труду, нам нечего бояться: мы свое отработали с лихвой». Этот ваш призыв программным эхом отозвался в литературе 70—80-х годов, вызвав к жизни такое яркое художественное явление, каким стала на наших глазах проза национально-исторического самосознания. Как вы сегодня ее оцениваете?

Ответ. Сегодня вновь речь идет об обогащении миссии литературы; советская проза за последние двадцать лет сыграла выдающуюся роль в подготовке общественных сдвигов. Если с этой точки зрения взглянуть на нашу прозу, то о ней такого не скажешь. Винцент Шикула, Ладислав Баллек, Петер Ярош — талантливые писатели, они подняли словацкий роман на достойный, можно сказать — европейский уровень, но их книги напрямую не соотносятся с современной социально-политической действительностью. Это высокохудожественные произведения, но недостает в них взрыв-

ного гражданского заряда. Они остаются в русле привычного, обыденного мышления. Если исходить из моего понимания социалистического реализма, им не хватает действенности. Но это — беда всей нашей литературы.

Я совсем не хочу сказать, что она у нас слабая или плохая. Напротив, в 70—80-е годы литература пополнилась талантливой молодежью, особенно много интересных прозаиков — Йозеф Пушкаш, Иван Гудец, Андрей Ферко и другие... Они знают, чего хотят, и хорошо это реализуют. И все же неудовлетворенность у меня остается. Литература часто лишь отражает жизнь и мало, слишком робко вмешивается в нее. А того, что у вас называют застойными явлениями, у нас хватает.

Внешне, если смотреть на нас со стороны, все вроде бы благополучно. Человек у нас сыт, обут, одет, имеет дачу, машину и прочее. Другое дело, что это часто благополучие чисто потребительское, не говоря уже о приписках, коррупции, протекционизме. Отношения товарищества вытесняются принципом «ты — мне, я — тебе». А ведь было же сказано: «Не хлебом единым»...

Изъяны нашего общества происходят, разумеется, не из материального достатка, а из многих и разных моральных недостатков. Они возникли вследствие неправильного общественного воспитания, например потому что мы привыкли только в порядке исключения, как бы обмолвясь, говорить правду.

Вот что прежде всего предстоит осознать литературе. Ее девизом должна стать правда, и только правда, а знаменем — подлинные цели общественного прогресса. В противном случае она обречена топтаться на месте.

Вопрос. Мы знаем о вашем глубоком интересе к национальной истории. Вы у себя на родине давно руководите деятельностью такой авторитетной культурно-просветительской организации, как Матица Словацкая, которая, в частности, много делает для налаживания связей с земляками, оказавшимися за рубежом. Ведь по масштабам экономической эмиграции в конце XIX века и в период буржуазной республики Словакию сравнивали с Ирландией. В связи с опытом этой вашей деятельности как вы видите сегодня проблему патриотического воспитания, место традиции в нашей суетной и беспокойной жизни вообще?

Ответ. Это хороший вопрос, тут нам есть чем гордиться, Матица Словацкая — одна из старейших культурных организаций, в будущем году в расцвете сил отметит свой 125-й юбилей.

Что касается традиций, то в любые времена, даже несущиеся вперед спринтерскими темпами, традиции необходимы и незаменимы. Ведь и поступательное движение мы осознаем лишь на фоне чего-то устойчивого. Любое ускорение было бы бессмысленным, если бы не имело прочных корней в культурных традициях, более того — если бы оно не создавало их заново в новых условиях. Без культурных традиций не может быть и патриотизма — лишь пустая болтовня и националистическое кликушество.

Нам представляется, что для понимания собственного прошлого мы сделали в последние годы много и на высоком уровне. Но судить об этом могут лишь наши правомочные наследники.

Ю. БОГДАНОВ

◆

Возвращаясь к напечатанному

ГРЭМ ГРИН В РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА И НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА «СИЛУ И СЛАВУ»

В просторном кабинете главного редактора было необычно тесно, хотя о приеме стало известно лишь в последний момент. Все понимали, что представляется редкая возможность встретиться с одним из крупнейших писателей века, при жизни ставшим классиком. Какими бы ни были соображения у тех, кто присуждает Нобелевскую премию, обошедших Грина признанием, у нас в стране они вряд ли найдут единомышленников.

В свои восемьдесят два года Грин по-прежнему очень высок и голубоглаз, как и двадцать лет тому назад, когда он в последний раз был в редакции. Он так же скромен и деликатен в общении, по-английски избегает категорических интонаций, начиная с вежливых «боюсь», «мне кажется», порой соглашается — «наверное, вы правы»,— просто чтобы не спорить, «не тянуть на себя», но становится ершист и не склонен обходить «трудные вопросы», если задеты его убеждения. И, слушая его, веришь, что с той же английской вежливостью и внутренней независимостью он держится с папой римским и главой государства, приходским священником или крестьянином где-нибудь в заброшенном уголке земли — с кем только не сводила его судьба на путях отнюдь не кабинетной жизни.

Беседа проходила за день до открытия форума «За безъядерный мир, за выживание человечества». «Люди разучились откликаться на страдания своих ближних. Казалось бы, их объединяет сегодня одна идея — желание выжить. Но выжить они хотят поодиночке...— говорил Грин в дни форума.— Я думаю, что мы стоим на пороге больших перемен...»

— Вы спрашиваете, почему я приехал на форум? Многие об этом спрашивают. Меня пригласили — вот и приехал!.. Дело не в том, что меня так уж пугает сегодняшняя обстановка в мире. Да я и не специалист в области ядерных вооружений. Не знаю, какой я смогу внести вклад... Но должен сказать, что Горбачев меня восхищает!

— За последние четыре года в журнале увидели свет ваши произведения самых разных жанров,— говорит главный редактор Н. Т. Федоренко, ведущий прием,— повесть «Доктор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой», памфлет «J'Accuse. Теневая сторона Ниццы», документальная проза «Мое знакомство с генералом», киноповесть «Десятый» и, наконец, роман «Сила и слава». Насколько нам известно, вы хотели, чтобы этот роман вышел на русском языке.

— Да, очень хотел, спасибо. А теперь скажите мне по секрету: вы его сильно сократили? Мне говорили, что в русском переводе текст почти на четверть разрастается. К тому же, как мне кажется, в одной из моих книг, не помню сейчас в какой, было опущено предложение только из-за того, что там упоминался Троцкий. Просто сравнение: мой герой, входя в дом, слышит, как за ним захлопнулась дверь, и ему становится не по себе, как Троцкому, когда тот в первый раз вошел в дом в Мексике. А в «Силе и славе» вы много купюр сделали?

— Роман «Сила и слава» опубликован полностью, без каких-либо сокращений и купюр. Времена меняются. В 1973 году Советский Союз подписал международную Женевскую конвенцию по охране авторских прав, и мы соблюдаем все ее положения. Если иногда и возникает необходимость в сокращенном журнальном варианте, то мы непременно согласовываем текст

с автором. Но ваш роман опубликовали полностью. «Силой и славой», как вы видите, мы открыли год, рассчитывая на успех, и, кажется, не обманулись в своих ожиданиях. Прошло почти полвека с тех пор, как вы этот роман написали. Что вы сейчас о нем думаете?

— Я считаю, да, я утверждаю, что «Сила и слава» была первой книгой «теологии освобождения!» [1].

Грин сказал это с вызовом, помолчал, словно ожидая возражений или удивленных вопросов (а удивиться было чему: очень уж неожиданной могла показаться эта трактовка после того, что Грин писал раньше о тех непосредственных жизненных наблюдениях и первых замыслах, из которых вырастал роман. Не только мексиканские впечатления 30-х годов, но и предвоенная Европа, нависшая угроза фашистской агрессии, породили ту страстную жажду духовной опоры, нравственной и культурной традиции, подлинной веры — не благочестия и набожности,— которая могла бы противостоять вседозволенности и разгулу насилия: «Мексика — это состояние умов», «чем может завершиться такое положение дел в мире, кроме войны?»,— писал он в книге «Дорогами беззакония» (1939). «Исследованием веры» назвал Грин позже «Силу и славу». Каков же ход мысли писателя, увидевшего сейчас в своем ребенке — как часто называет Грин собственные книги, прожившие долгую, самостоятельную, уже не зависимую от автора жизнь,— родоначальника литературы, развивающей идеи «теологии освобождения»? Какие жизненные явления, по мнению Грина, заставляют по-новому осмыслить образную структуру романа?) Но так случилось, что вопросов не последовало, видимо, все приготовились слушать, и Грин продолжал:

— Я надеюсь, что вы переведете на русский и моего «Монсеньора Кихота», там снова возникает идея, которая родилась когда-то в «Силе и славе». Это диалог между друзьями — коммунистом, мэром Тобосо, и приходским священником. Почти весь роман составляют их беседы во время путешествия по Испании. Они все больше понимают друг друга, привязываются друг к другу. Ну, а потом на их долю выпадают испытания, дружба проходит проверку.

— Вчера в интервью на аэродроме вы говорили о необходимости сотрудничества между католиками и коммунистами...

— У нас много общего. Если вспомнить фигуры некоторых крупных католических деятелей, историю католицизма, то мы обнаружим неосознанную близость, найдем своего рода эквиваленты,— мы совершали те же ошибки, что и вы, у нас были до известной степени те же идеалы. Например, такая фигура, как папа Александр VI [2], да и другие деятели... Можно, по-моему, проводить параллели, говорить об определенном соответствии... А сейчас в Центральной Америке существует непосредственное сотрудничество коммунистов и католиков, они борются вместе, как во Франции во время войны,— коммунисты и католики там были главными силами Сопротивления. Мой большой друг Томас Борхе — министр здравоохранения и образования Никарагуа. Он абсолютный марксист, и он работает рука об руку с иезуитами. Не думаю, что эти тесные связи — временные.

Я видел, как недостойно вела себя католическая церковь в Латинской Америке в прошлом. Но в Чили, например, было не так, там сотрудничество имеет уже долгую традицию. Я был в Чили при Альенде, был гостем Альенде, католики тогда поддерживали правительство. А сейчас они выступают против Пиночета.

— Кого из латиноамериканских писателей вы любите и знаете?

— Я ведь по-испански не говорю, читаю только в переводе на английский. Люблю Хорхе Луиса Борхеса, его поэзию. Восхищаюсь Габриэлем Гарсиа Маркесом, он мой друг. А вот Варгас Льоса — я не одобряю его политической позиции, писатель он, может быть, и очень хороший, но некоторые его высказывания мне не нравятся.

Вы, наверное, печатаете никарагуанских писателей? Со многими из них я знаком: с Серхио Рамиресом, Эрнесто Карденалем. Читал по-английски и документальную книгу Омара Кабесаса о партизанах в горах, которую вы опубликовали, хорошая книга, по-моему.

Что я думаю о теперешней литературе США? Я слишком мало ее знаю, чтобы судить... Мне понравился в свое время один из романов Сола Беллоу, действие происходит в Африке, «Хендерсон, повелитель дождя», так, по-моему, он называется. Беллоу, кажется, никогда не был в Африке, а я там прожил много лет и могу сказать, что книга эта очень достоверная. Меньше я люблю его чикагские романы, как-то не совпадали мои представления с его сюжетами. Я не поклонник Джона Апдайка, хотя у него есть известная свежесть изображения. Но он оставляет меня довольно равнодушным. Курт Воннегут? Да, по-моему, хороший писатель. Доктороу? Я читал только одну-единственную его книгу, она не очень меня захватила. Но я боюсь быть несправедливым, надо бы еще почитать... Некоторые пьесы Артура Миллера, по-моему, превосходны.

— А что вы скажете о европейских писателях?

— Знаете, я ведь принадлежу к старшему поколению, мои привязанности во многом этим объясняются. Люблю книги Франсуа Мориака, восхищаюсь творчеством Альбера Камю. Что же до теперешних французских писателей, новых поколений, то я

[1] Об обновленческих католических течениях в рамках «теологии освобождения», возникших на почве борьбы народных масс против диктаторских режимов — совместных действий верующих и неверующих — в ряде стран Латинской Америки см. А. Овьедо, С. Мамонтов. Теология освобождения: новая ересь? «Проблемы мира и социализма», 1986, № 3; см. также Г. Грин. Вместе с ранами не залечивайте память. «Проблемы мира и социализма», 1987, № 1. *(Здесь и далее — прим. Т. Ланиной.)*

[2] Родриго Борджиа, папа Александр VI (1492—1503); в романе «Монсеньор Кихот» Кихот сравнивает его с Троцким.

просто плохо их знаю. Хотя я живу во Франции, читаю я все-таки в переводе на английский. Следить за выходом в свет переводов... Впрочем, наверное, просто лень моя тому причиной. Так что я отстал.

Я рад, что вы опубликовали Уильяма Тревора и Шона О'Фаолейна, это прекрасные писатели, и к тому же оба они — мои добрые знакомые. У нас, в Англии, интересные прозаики-женщины, Мюриэл Спарк, например. Ее романы переведены? А Берил Бейнбридж?

— Берил Бейнбридж пока на русском языке не появлялась.

— Советую вам обратить на нее внимание, особенно на ее роман «Экскурсия с бутылочной фабрики». Жестокость? Не думаю, это гротеск. Замечательный писатель, на мой взгляд, Ивлин Во. Мой близкий друг в течение многих лет. Сейчас его уже нет в живых. Мы с ним много спорили по вопросам веры. Наши позиции были противоположны, но мы очень любили друг друга. Это про нас, про наше поколение Ивлин Во сказал: «эти одержимые». В политике он был консерватор, а я всегда был левый, он был очень правоверный католик, а я — еретик, католик-еретик...

Как я отношусь к Айрис Мердок? Пробовал читать, но уж очень она академична. У нее ведь муж профессор, да и сама она профессор. Мне показалось, что она живет в каком-то другом мире, не в том, где живу я.

— В течение многих лет вы повторяли: «Я не католический писатель, я писатель, которому случилось быть католиком», причем каждый раз теми же самыми словами. Как бы вы сейчас раскрыли эту вашу формулу?

— Почему я не католический писатель? Так, например, я вопреки энциклике считаю, что можно регулировать рождаемость. Иногда я совершенно не согласен с Римской курией. Так было и когда «Силу и славу» осудила Священная канцелярия. Спустя много лет я встретился с папой — папой был тогда уже Павел VI,— он стал вспоминать, какие мои романы ему понравились. Упомянул «Стамбульский экспресс», а потом назвал «Силу и славу». «Ваше Святейшество, как же это может быть,— спросил я,— ведь этот роман внесен в список книг, запрещенных для верующих?» — «Кто же запретил роман?» — «Кардинал Писсарро».— «О, кардинал Писсарро!» — протянул папа. Павел VI сказал мне тогда слова, которые потом не раз сбывались: «Мистер Грин, возможно, и в будущем найдутся такие католики, у которых ваши произведения будут вызывать возмущение. Не думайте об этом».

(В истории запрещения Ватиканом «Силы и славы», которую Грин любит рассказывать, стóит упомянуть любопытные детали, приводившиеся им самим. В то время как роман приобретал после войны все большую популярность в Европе — во французском переводе он вышел в 1948 году с предисловием признанного мэтра Франсуа Мориака,— некоторые французские епископы со своей стороны «дважды доносили в Рим». А когда в середине 50-х годов архиепископ Вестминстерский зачитал писателю решение Священной канцелярии, Грин «отказался переделывать роман — под казуистическим предлогом, что авторским правом обладает издательство», и давал добро на многочисленные переиздания.

Иронически цитировал Грин некоторые формулировки этого документа: «Роман был запрещен потому, что он „парадоксален" и „имеет дело с исключительными обстоятельствами"»

Поистине Писсарро, возглавлявший тогда Священную канцелярию, разглядел ересь в самой поэтике, самом художественном мышлении писателя. Испытывая персонаж в экстремальной ситуации, вывертывая наизнанку общепринятые представления, сталкивая несовместимые идеи, писатель не дает мысли застыть в догму («вера, но не вероучение»), «исследует», но не иллюстрирует. В экстремальной ситуации «недостойный» грешный священник оказался способным пожертвовать жизнью, выполняя высокий долг милосердия. Но только в этих исключительных условиях начинает он осознавать и «недостойность» своей прошлой — благополучной и безгрешной — жизни, где благочестие прикрывало чувство собственного превосходства и равнодушие к страданиям ближних. А в противостоянии двух характеров — сострадающего и карающего (образ лейтенанта строится не менее парадоксально: кару, гибель несет «идеалист», «действующий из лучших побуждений» и даже «чем-то напоминающий богослова»)—сам писатель через полвека увидел зарождение новой ереси, обновленческой идеи: церковь должна помогать голодным и обездоленным в их борьбе против сильных мира сего.

«Пропаганда занимается тем, что привлекает симпатии к определенному лагерю: тому, который автор считает правым. Но задача романиста состоит в том, чтобы воплощаться в каждом человеческом существе, виновном так же, как невинном». Парадокс же, еретическое сомнение в устоявшихся представлениях у Грина является двигателем «яростной и дерзкой индивидуальной мысли» (слова Грина о его любимом писателе Мигеле де Унамуно). Не случайно уже совсем недавно, в сентябре этого года, когда разговор зашел о некоторых христианских догматах, Грин в конце концов сказал: «Об этом можно говорить долго. Но дело в том, что я вообще не люблю никаких догм.»)

— Случалось ли вам быть в Китае, что вы думаете об этой стране? — спрашивает главный редактор, синолог по специальности.

— Я был там всего один раз, туристом, в период «расцвета ста цветов», в конце 50-х годов. Я летел через Москву, из Москвы — в Пекин с пересадкой в Улан-Баторе, всего сорок восемь часов! Когда я вернулся из Китая в Москву на один-два дня перед возвращением в Лондон — первое, что я почувствовал, была радость, что я снова в Европе. Я остановился в отеле «Метрополь». Это был однокомнатный номер, занавес отделял кровать, тяжелые бордовые портьеры на окнах — милая обстановка XIX века. Был час ночи, когда я вошел в номер, на столике стоял графинчик с водкой и горячий кофе. В час ночи! Я почувство-

вал себя дома... И еще я почувствовал облегчение — все это было так непохоже на Нью-Йорк!

— Вам совсем не понравился этот «континент»? Ничем не привлек вас? — возвращается к своему вопросу Н. Т. Федоренко.

— Нет, так нельзя сказать... Мне было очень интересно... Природа великолепная... Но угнетали толпы людей, повсюду бесконечные очереди. Из Чунцина в Гонконг я плыл пароходом, и пока мы плыли по реке, с палубы опять были видны очереди, очереди. Конечно, эти впечатления относятся к определенному периоду, я уверен, сейчас там лучше обстоят дела. Во всяком случае, я не почувствовал себя там дома. Как потом, в номере «Метрополя».

— А что вы скажете о нашей стране, как вы здесь у нас себя чувствуете? — спрашивает заместитель главного редактора О. С. Васильев.

— Боюсь, я должен сказать о том, что было время, когда я запрещал печатать свои произведения в вашей стране, перестал к вам ездить, одним словом, поссорился с вами. Я скажу вам откровенно, как было дело. После суда над Синявским и Даниэлем, когда они были сосланы, я обратился с просьбой перевести гонорар, деньги с моего московского счета, их женам. Этого не было сделано, и тогда я решил больше не разрешать публиковать мои книги.

— Но ведь вы лишили миллионы людей возможности читать ваши книги, радоваться им, думать над ними!

— Да, да, но я ведь говорю откровенно, как было дело. Я не разрешал печатать свои книги почти двадцать лет (точнее, шестнадцать лет.— **Т. Л.**). Сейчас же — сейчас, я думаю, время примирения, время форума, диалога. И должен сказать, что я ощущаю большие перемены у вас в стране — вся атмосфера изменилась. Разумеется, я не говорю о людях — и раньше все, с кем я встречался, были гостеприимны, добры ко мне... Я помню Суркова, помню Чаковского ..

— Вы, наверное, убедились в том, как хорошо знают ваши книги у нас, их читают, может быть, больше, чем в какой-либо другой стране, включая даже Великобританию.

— Думаю, что вашим соперником становится Испания, а также Латинская Америка. «Сила и слава» была запрещена в Испании при Франко: Франко счел роман антикатолическим. После этого я перестал там издаваться. В испанском переводе мои книги сначала стали появляться в Латинской Америке, теперь их очень широко издают и читают в Испании. Так что и здесь с раздорами покончено.

— Вы несколько раз бывали в Советском Союзе, у вас здесь много друзей, не хотелось бы вам написать о нашей стране? Может быть, новый роман?

— Я не настолько знаю вашу страну, чтобы писать о ней. В Никарагуа я был уже четыре раза (пятый раз Грин посетил Никарагуа в этом году.— **Т. Л.**) и все-таки еще недостаточно ее знаю. Вот как было, например, с «Тихим американцем». Я не собирался писать роман о Вьетнаме, я приехал туда во время войны с Францией к моему другу, бывшему там нашим консулом. Я влюбился во Вьетнам с первого взгляда и приезжал туда в течение пяти лет каждую зиму. Приезжал просто потому, что полюбил эту страну. Только после третьей зимы возник замысел будущей книги, стал вырисовываться характер главного персонажа. Я должен был приезжать туда еще и еще, чтобы больше знать. Когда тебе восемьдесят два, вряд ли стоит браться за освоение новой страны.

Сейчас я работаю над коротким романом, начал его десять лет назад, бросил, лет через пять снова к нему вернулся и снова бросил. Небольшой роман, по объему как «Доктор Фишер». Вы его печатали? Не очень как-то я доволен своим «Доктором Фишером». Так вот, действие в романе, к которому я все время возвращаюсь, происходит в Англии, а завершается в Панаме. Никак не могу с ним справиться...

В Панаме я был несколько раз, Омар Торрихос стал мне другом. Я уверен, что его убили, что авиационная катастрофа не была просто несчастным случаем. Я почувствовал, что должен написать о Торрихосе,— так появились воспоминания «Мое знакомство с генералом». Кажется, не очень мне удалась эта книга, не выдержан жанр, да и мой друг Чучу все время словно оттесняет Торрихоса со сцены, а ведь по замыслу это воспоминания именно о Торрихосе.

— Из двадцати пяти ваших романов на русском языке было опубликовано восемь — около одной трети. Какие романы вы хотели бы увидеть на страницах нашего журнала? Сейчас наш читатель знакомится с вашими произведениями 40-х годов: по воле случая или таинственному совпадению почти одновременно в США была обнаружена неопубликованная повесть «Десятый», а у нас нашли казалось пропавший перевод покойной Н. А. Волжиной «Силы и славы».

— В конце войны я оставил государственную службу и, поскольку боялся, что не сумею прокормить семью и придется жить в долгах, как до войны, подписал двухлетний контракт с американской компанией «Метро-Голдвин-Майер». Я должен был поставлять идеи для будущих фильмов, замыслы сценариев. Обладателем авторского права становилась компания. Когда в 83-м году была обнаружена рукопись «Десятого», я думал, что речь идет о двух страничках! Я совершенно забыл эту повесть.

«Сила и слава» — одна из моих самых любимых книг. Если, скажем, выбирать из всех моих романов три, я бы еще назвал «Почетного консула» (переведен на русский.— **Т. Л.**) и «Монсеньора Кихота». Мои русские друзья считают, что надо перевести и «Конец любовной связи», в этом романе совсем нет политики, и он всегда нравился женщинам.

«Монсеньор Кихот», как мне кажется, тесно связан с нашим временем. По роману сделан фильм, я сам принимал участие в работе над сценарием, так что фильм близок к тексту, верен духу книги. Актеры, по-моему, прекрасно играют, в роли Кихота — Алек Гиннес. Все это не значит, конечно, что фильм всем понравится,— тем,

кому было скучно читать роман, и фильм покажется скучным.

Пожалуй, я бы хотел, чтобы вы напечатали «Монсеньора Кихота».

* * *

Выступление Грина на заключительном заседании форума, его теперь уже всем известная идея (можно даже, наверное, сказать миссия, которую по своей воле писатель взял на себя) созревала со своими приливами и отливами в течение последних десятилетий. Еще в середине 60-х годов Грин писал о своих беседах с Фиделем Кастро: «Я настаивал, что католицизм и коммунизм могут не только холодно сосуществовать, но и сотрудничать» в странах Латинской Америки, «где контрасты богатства и нищеты чреваты революционными взрывами» и «где, может быть, за исключением Бразилии, католичество — исконная религия крестьян». А «черный доктор» Мажио, персонаж «Комедиантов» (1966), писал в своем завещании: «Коммунизм, друг мой,— это нечто большее, чем марксизм, так же как католицизм — нечто большее, чем Римская курия. В мире помимо politique существует и mystique. Мы гуманисты... Католики и коммунисты повинны в тяжких преступлениях, но они по крайней мере не стояли в стороне, подобно приверженцам социального статус-кво, не оставались равнодушными. Пусть руки у меня будут омыты кровью, а не водой, как у Пилата»... Чем не основа для словесного турнира, взаимных упреков и растущей привязанности героев романа «Монсеньор Кихот», увидевшего свет недавно, в 1982 году, где действие происходит уже в Европе, в Испании, а идея впервые отрывается от латиноамериканской почвы.

Точку отсчета в зарождении этой идеи Грин теперь видит в романе «Сила и слава»: «Первая книга «теологии освобождения»,— коротко сказал он во время приема в журнале; а раньше, в сентябре прошлого года, когда рукопись «Силы и славы» только готовили к печати, мне удалось при встрече расспросить писателя о романе чуть подробнее.

— Вам не раз приходилось сталкиваться с тем, что читатели запутываются в многоголосье ваших романов, что порой они отождествляют вас, автора, с персонажем. Не кажется ли вам, что при чтении «Силы и славы», где симпатии автора очевидны, может возникнуть подобного рода аберрация: священник — alter ego писателя, воплощение его позиции?

— Но это совершенно не так. Иногда я и на стороне лейтенанта. Особенно тогда, когда лейтенант говорит о положении пеонов, о бедных.

— Например, когда он осуждает священника за то, что тот сидит за одним столом с помещиком, убившим пеона? А вот Энтони Бёрджесс, ваш соотечественник и тоже католик, писал об этом романе: «Прогресс человечества — вот оно, дьявольское искушение, и не так уж важно, какая идеология за этим стоит». Спасения души не найти на дорогах борьбы за новый порядок вещей.

— Смысл моего романа прямо противоположный. Церковь должна сделать преимущественный выбор в пользу бедных[3], должна защищать их, помогать им улучшить жизнь, а это — основа «теологии освобождения». Сейчас многие верующие и священнослужители в Латинской Америке сидят в тюрьмах, сражаются, не щадя своей жизни, так же как и коммунисты. Особенно широко, на мой взгляд, «теология освобождения» стала распространяться в католических кругах Латинской Америки после убийства архиепископа Сальвадора Арнульфо Ромеро. Зверское убийство во время мессы...

Конечно, в те предвоенные годы, когда я писал роман, никто не мог себе представить, что в католицизме возникнет такое течение. И я, разумеется, в том числе...

— Еще одно художественное предвидение? По-вашему, «Сила и слава» подготавливала для этих идей почву?

— Да, я думаю, так можно сказать. Течение это неоднородно, в нем различают несколько типов. Некоторые богословы, например, отрицают право на насилие, в любых условиях. Но как же иначе никарагуанцы могут защищаться от контрас? Ведь это контрас порождают насилие!

Но дело, собственно, не в богословии, я не богослов, я католик-агностик и вообще отношусь с недоверием к слишком большим обобщениям. Ведь я не философ, а писатель. Философ мыслит абстрактными идеями, а у писателя персонаж рождается где-то в подсознании.

— Возвращаясь к лейтенанту, карающему за бесправие и нищету крестьян во имя их же прекрасного будущего. Его программа — «испепелить весь мир: сначала Церковь, потом иностранцев, потом политиков». А это—анархистское «прямое действие», «бесовская» вседозволенность. Расстрел заложников... Не кажется ли вам, что такой вот лейтенант мог бы стать теперешним террористом?

— По правде говоря, я не думал об этом. Может быть, вы и правы.

— Ваш роман-притча и сейчас, по-моему, звучит как предостережение. Нетерпимость к чужой вере в ядерный век! «Чужие идеи мне не страшны»,— заявляет лейтенант, однако разрешает читать лишь «правильные» книги, остальные — запрещены. Священник, в свою очередь, просит купить для деревни что-нибудь такое, «от чего не будет вреда людям, только не книги». Любопытно, как ваши герои-антагонисты иногда

---

[3] Член ЦК колумбийской компартии А. Овьедо пишет: «Провозглашенный обновленцами выбор в пользу бедных, по мнению главных теоретиков теологии освобождения, не противоречит общехристианскому принципу любви к ближнему без каких-либо социальных различий, но при этом поясняется, что «любовь к угнетенным» выражается участием в их освободительной борьбе, а «любовь к угнетателям» — в изменении мира таким образом, чтобы они не могли эксплуатировать ближних и тем самым вновь обрели «человеческий облик». Такая постановка вопроса приводит в ярость клерикальную реакцию и вашингтонскую администрацию...» («Проблемы мира и социализма», 1987, № 2, с. 42).

сближаются, например, в этом их страхе перед книгой.

— Да, это очень важно. В Никарагуа сейчас проводят кампанию против неграмотности. Но что читать? В деревнях книг мало, а то и вовсе нет, читать нечего, и вот мой знакомый, английский священник, организовал передвижную библиотеку, книги возят по деревням. По-моему, очень хорошее дело.

— Если вспомнить давний голливудский фильм «Бог умер», который вы назвали «благочестивым»...

— Только в отрицательном смысле. Фильм этот искажал мою книгу.

— Какая сложная судьба у «Силы и славы»! Можно сравнить разве что с романом «Суть дела»

— Я не люблю этот роман. Я, видимо, как-то... перетяжелил его

— А я помню, как много лет назад, в Лондоне, вы говорили мне о том, что главный герой «Сути дела», Скоби, подменил сострадание жалостью, а жалость — оборотная сторона гордыни — и ложь «во спасение» привели к трагическому концу. Поэт У. Х. Оден писал, что жалость — пародия на любовь и сострадание — как объект анализа переходит у вас из книги в книгу, так же как у Бальзака — жадность, а у Стендаля — честолюбие.

— Я думаю, что Уистан Оден очень тонко уловил то, что я хотел сказать. Очень близко подошел..[4]

— В «Силе и славе», при всей полифонии, по-моему, сострадание, милосердие — высшая нравственная ценность. Поэтому меня удивило, что в одном из интервью вы отвергаете милосердие.

— Я никогда ничего плохого не говорил и не мог сказать о милосердии. Это совершенно невозможно! А интервью — знаете, как это бывает...

— После таких слов и продолжать страшно! Хотелось бы только проверить некоторые мексиканские реалии, достаточно прозрачно зашифрованные в романе: место действия «Силы и славы» — штат Табаско, время — 1934 или 1935 год, когда губернатор штата Гарридо Каннабаль и президент Кальес еще не были высланы из страны. Так?

— Да, правильно. Сам я был в Мексике несколько позже, зимой 1937-го — весной 1938 годов, когда президентом был уже Карденас. Как личность, Карденас, конечно, привлекательнее Кальеса. Ну, а штат Табаско, когда я там был, оставался таким же заброшенным, с разрушенными церквами, каким его оставил Гарридо Каннабаль. Кроме того, большие города, вообще места, где пролегали туристские маршруты,— там ведь многое делалось напоказ, в том числе и богослужения, знаете, как это бывает. Сюда же туристы не добирались. Мысли мальчика о трагической гибели Панчо Вильи и Сапаты? Это уже мысли Луиса, персонажа, а не автора, у персонажа свой круг вопросов, свое развитие.

Ездил я в Мексику от английского католического еженедельника «Тэблет», тогда достаточно консервативного. Сейчас там уже другие люди, и позиции «Тэблет» иные: он поддерживает инициативы Горбачева, выступает в защиту Никарагуа.

Запись бесед и комментарий
Т. ЛАНИНОЙ

---

[4] «Никто не может устроить счастье другого человека»,— в отчаянии думает трагический герой «Сути дела» Скоби, пытаясь за своих ближних решать жизненные коллизии. Но никто и не вправе определять за других их судьбы — ни в любви, ни в политике; так, на мой взгляд, ниточка к «совращенному жалостью» Скоби тянется и от лейтенанта, пытавшегося насильно осчастливить мексиканских пеонов, уж во всяком случае не к смиреннейшему монсеньору Кихоту, как считают некоторые советские литературоведы. Но если трактовать художественное произведение может по своему усмотрению каждый читатель, то переводчик не вправе переводить «pity» то как «жалость», то как «сострадание», запутывая мысль автора, как случилось, например, в переводе «Доктора Фишера».

◆

Возвращаясь к напечатанному

Е. КНИПОВИЧ

ЧЕСТНО, ГОРЬКО, ЧЕЛОВЕЧНО...

О романе Д. Веллерсхофа «Победителю достанется все»

22 января 1987 года Дитер Веллерсхоф выступил в университете Дюссельдорфа с докладом на семинаре, посвященном дискуссии о его романе «Победителю достанется все»[1]. К сожалению, со стенограммой всей дискуссии я ознакомиться не смогла, но вступительную речь автора прочла и лишний раз убедилась в том, что Веллерсхоф не только художник, но и литературный критик, а также в том, что при двойном подданстве художник всегда бывает более проницательным и последовательным, чем критик. Мне приходилось бывать в Дюссельдорфе, утонувшей в зелени парков родине Генриха Гейне. Я знавала тамошних филологов и думаю, что на дискуссии не мог не встать вопрос о том, не только «для чего» (об этом говорил во вступительной речи автор), но и «почему», в силу какой внутренней необходимости совершается тот или иной поворот в «драматургии» произведения, где искать «чертово копыто», которое торчит во всех перипетиях судьбы героя — удачливого неудачника, нерасчетливого завоевателя, принявшего как чужую, но непреложную догму законы, царящие в обществе западногерманского «вольштанда»[2] 70—80-х годов.

Роман начинается смертью героя, загнанного в убогую гостиницу. Роман кончается через год после этой смерти рассказом равнодушного пухлощекого доктора о том, каково было состояние сердца героя после вскрытия. И в сознании слушателя (кто он, этот «я»,— случайный собеседник или автор книги?..) остается образ — разорванное сердце, кровавый моллюск, плавающий во мраке.

Кровь и тьма как итог прожитой жизни. Но в романе Веллерсхофа в отличие от книг его сверстников, Бёлля и Вальзера, Андерша и Ленца, нет ни самой войны, ни памяти о ней, хотя автор потерял в войну отца и мать, нет и фашизма, нет даже имени Гитлера. Есть лишь мимолетная тень в сознании героя: он, мальчик, прячется на чердаке, а где-то внизу — глухое ворчание подступивших к дому американских танков.

Да, в романе Веллерсхофа нет войны, нет фашизма, есть одна лишь картина «вольштанда», где без нажима показана война всех против всех и каждого. Но скрытая во мраке кровь, самый мрак, ставший некоей сущностью, присутствуют в книге как земной вариант тех «черных дыр» в небесном своде, откуда идет незримое и неуловимое излучение, разъедающее и разрывающее личные и общественные взаимоотношения «вольштанда». О «черных дырах» в небе жадно читает в книгах по астрономии маленький сын героя, недоношенное дитя, рожденное, в сущности, ценой убийства другого ребенка во чреве матери — женщины, с которой герой поспешил развязать-

[1] Опубликован в «ИЛ», 1986, № 6 — 8.

[2] Wohlstand *(нем.)*— процветание, благосостояние.

КНИПОВИЧ ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВНА

Советский литературовед и переводчик, лауреат премии имени Н. А. Добролюбова АН СССР. Автор книг «Генрих Гейне» (1931), «В защиту жизни» (1958), «Разгром» и «Молодая гвардия» А. Фадеева» (1964), «Сила правды» (1965), «Художник и история» (1968), «Мужество выбора» (1975), «За 20 лет» (1978), «Жизнь и память» (1982), «Об Александре Блоке. Воспоминания. Дневники. Комментарии» (1987).

ся ради престижного брака с дочерью хозяина-миллионера. Как тут не вспомнить Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала», клад, который помог герою добыть Басаврюк, клад, оплаченный кровью ребенка?! «Вечера накануне Ивана Купала» Веллерсхоф, конечно, не знал. А вот «Вишневый сад» он мог и знать. Не случайно же такая чеховская ассоциация возникает у русского читателя, когда, чтобы дать место выгодным новостройкам, идет под топор великолепный парк виллы Патберга, тестя героя книги.

О том, что Веллерсхоф хорошо и творчески знаком с романами Бальзака, уже упоминала неоднократно и зарубежная, и наша критика. И это справедливо. Но есть и другое. Мне всегда казалось, что опыт двух замечательных художников, Томаса и Генриха Маннов, никак не отразился в творчестве лучших писателей ФРГ, но я — не исследователь творчества Веллерсхофа, а всего лишь читатель немногих его произведений — почувствовала, что он знал и «Серьезную жизнь», и «Большое дело», и более того, что есть какой-то отзвук «Будденброков» в истории крушения рода Патбергов и у последнего в роде, Кристофа,— в романе Веллерсхофа общая функция с маленьким Ганно Будденброком. При всем внешнем и всестороннем несходстве оба они как бы подводят черту под историей «репрезентативной» для страны и времени семьи. Да, патрицианский род Будденброков мог угаснуть в традициях XIX века: красиво, торжественно, печально. Так умер Ганно Будденброк. Кристоф — чуткое дитя атомного века, века необратимых опасностей и великих изменений — прикипел сердцем и душой к проблеме «черных дыр». И в романе они существуют как бы в двойном обличии. Это и зло истории, непреодоленное прошлое в трех немецких его ипостасях (о которых в свое время говорила и Анна Зегерс), слежавшееся, потерявшее привычную форму, но оттого не ставшее менее радиоактивным. Второе обличие этого зла уже «космическое», потому что сейчас зло социальное обрело способность открыть дорогу злу стихийному, хаосу, гибели человечества, вообще всего живого. Холод и мрак, возможность вторжения которых лишь подозревали наиболее «космически чуткие» художники, приобрели реальный облик и научное наименование «ядерной зимы». И потеряли метафорическую отвлеченность написанные семьдесят с лишним лет тому назад, в феврале 1914 года, строки блоковского «Голоса из хора»:

О, если б знали вы, друзья,
Холод и мрак грядущих дней!
...И век последний, ужасней всех,
Увидим и вы и я.
Все небо скроет гнусный грех,
На всех устах застынет смех,
Тоска небытия.
Весны, дитя, ты будешь ждать —
Весна обманет.
Ты будешь солнце на небо звать —
Солнце не встанет.

В умных своих воспоминаниях о Блоке Всеволод Рождественский приводит мнение самого Блока об этих стихах: «Очень неприятные стихи, я не знаю, зачем я их написал. Лучше бы эти слова были не сказаны, но я должен был их сказать. Трудное надо преодолеть, а за ним будет яркий день».

Сейчас, когда мрак и холод почти при дверях и однажды солнце может не встать, по зову совести подымают голос художники разных стран, поколений, взглядов: Макс Фриш, Валентин Катаев, Леонид Леонов. О том, что обрывок этого мрака, не теряя своих смертоносных свойств, может сквозь открытое окно залететь в частную жизнь, свидетельствует в своем «О» Андрей Вознесенский. Подозреваю, что без темы «черных дыр» не будет понятна и та картина «вольштанда», которая нарисована в романе, а также и судьба главного героя. Известно, что перипетии его судьбы повторяют реальные события жизни брата самого Веллерсхофа. Но из этого не следует, что Ульрих Фогтман — всего лишь снимок из семейного альбома. Весьма любопытное свидетельство о том, как родился или оформился в сознании художника этот образ, содержится в речи на дюссельдорфском семинаре, о которой я уже упоминала. Внешний (и внутренний) облик героя художник ощутил, вглядываясь в несколько фотографий самого краткосрочного чемпиона мира по шахматам — Роберта Фишера. «Готовность к борьбе и интеллигентность этого лица,— говорит Веллерсхоф,— сила воли, смесь холода и безумия — все это, увиденное мною, привело меня к выводу, что такой образчик времени надо выставить напоказ, на всеобщее обозрение». В определении свойств этого образчика Веллерсхоф увидел некий анахронизм. Я бы сказала, что его герой — это запоздалый грюндер, пережиток прошлого своего класса и времени его исторически закономерной активности. Активность эта становится скачкообразной и разорванной в разорванном мире «вольштанда» атомного века.

Когда герой потерял в войну отца и мать, тетка засунула сироту в дешевый интернат, похожий скорее на колонию для малолетних правонарушителей, чем на школу. Издевательства, унижения, голод—все это воспитывает в самолюбивом и одаренном мальчике жажду сквитаться, все это неизбежно рождает в нем убеждение, что единственная сила здесь — сила денег. Но убеждение это, говоря фигурально, остается в мозгу, а не проникает в кровеносную систему. Грюндер своего грюндерского времени обладал той интуицией, которая не только давала ему возможность риска, но и как бы предупреждала о приближении опасности. Ульрих в современном мире «вольштанда» все время как бы играет в поддавки с судьбой, идя на неоправданный, лишь головой, логикой рассчитанный риск, почти неминуемо ведущий к поражению. Разорванность его действий еще усугубляет то, что юридически главой состояния после смерти Патберга остается жена героя, Элизабет, что кроме того существует ее сестра Ютта и брат Рудольф, что Ульриху приходится идти в атаку, не имея свободы действий. Все это так. Но основная причина неудач и конечной гибели лежит глубже. Ульрих отстал от века. Претендуя на место сегодняшнего хозяина жизни, он остается психологически на уровне представлений и методов борьбы, унаследован-

ных (пусть в модернизированном оформлении) от героев Бальзака и Золя. Вот почему он и попадает в ловушку, расставленную новым современным захватчиком, хозяином транснационального масштаба, дельцом, так сказать, с американским штампом, поставщиком отравляющих веществ в страны «третьего мира», веществ, которые могут сойти за инсектициды, а могут найти и более широкое и развернутое применение. Корректнейший Оттер, истинный губитель грюндера-романтика, конечно, торгует не только ядом, но, как и ростовщик в «Скупом рыцаре» Пушкина, торгует *и* ядом — и в этом его отличие от Ульриха.

Веллерсхоф (и об этом он говорил во вступительной речи на семинаре) досконально разобрался с помощью умных экспертов во всех делах и просчетах своего героя. Однако с не меньшей точностью (хотя здесь уже без помощи эксперта) он оценил все его человеческие грехи по отношению к ближним и дальним. Но тщательно, как критик, анализируя «драматургию» романа, широко раскрывая его, так сказать, производственный чертеж, он в речи своей, как мне кажется, спрятал от присутствующих на обсуждении главное — те человеческие качества и возможности Фогтмана, которые не смогли осуществиться в разорванном мире «вольштанда». Конечно, его связь с Йованкой не была любовью, она без будущего. Но ведь недаром он до смертного часа хранит ее фотографию, потому что в образе женщины-хорватки у самого синего моря, синей-синей Адриатики, по которой скользят красные и рыжие паруса рыбачьих «трабакул», жило для героя нечто не подвластное деньгам и расчету — кусочек человечности.

Вот почему я оспариваю слова Веллерсхофа о том, что, оставив Йованку ради престижного брака с Элизабет, он променял нечто ложное на еще более ложное. Нет, в связи с Йованкой, связи без будущего и расчета, все же был неосуществленный и неосуществимый кусочек правды.

Почти спрятал Веллерсхоф в дюссельдорфской речи и еще одну важную тему. Кто же такой Кристоф, маленький сын героя? Почему с такой злой и как бы пародийной настойчивостью спешит он выломиться из того якобы упорядоченного мира, в котором обитают его родители?

Ложь этого мира Кристоф ощущает инстинктивно, дыханием, и он прав. Ведь на лжи основана и дружба его отца с Лотаром, бывшим женихом Элизабет. На деле Лотар ненавидит друга, а тот его презирает. На лжи основан корыстный брак сестры Элизабет — Ютты и ее мужа, толстого Андреаса, ложь лежит в основе того «мужского воспитания», которое пробует дать мальчику отец. Любопытно, что для того, чтобы выломиться из этого мира, Кристоф посягает на «святая святых» его, на право собственности. Он с расчетом на разоблачение ворует в крупном магазине самообслуживания ненужную ему мелочь, пару детских носочков, флакончик шампуня. Разоблаченный, он попадает после ареста в интернат. И если для его отца интернат стал первым шагом на пути к ощущению своей ущербности, психологии «визжащего щенка», определившей весь авантюризм его расчетов, то Кристоф в интернате (для ребят, очевидно по тем или иным причинам неудобных в семьях из разорванного мира) впервые нашел друзей, солидарность, пусть детские, но бескомпромиссные формы протеста. И если в основе всех отчаянных и рискованных попыток Ульриха войти в чуждый ему круг хозяев жизни лежит глубоко спрятанное от себя сознание своей чуждости и одиночества, того, что он «никто», то Кристоф в стихах, которые он пишет в интернате, открыто, как Одиссей в пещере Полифема, берет себе имя Никто. Кстати, под псевдонимом «Никто» издал первый сборник своих стихов «последний из царскосельских лебедей» Иннокентий Анненский. Кристоф пишет первое стихотворение, говорит Веллерсхоф в своей дюссельдорфской речи, на тему о том, что он в сущности зовется Никто, но тем самым он делает шаг к истинному обретению себя, отбрасывает лишь ложную, данную разорванным миром «идентификацию».

Я не хочу приписывать Веллерсхофу легковесного оптимизма, не хочу выражать надежду на то, что Кристоф так или иначе найдет путь к обретению человечности. Роман Веллерсхофа повествует лишь о многообразном искажении образа человеческого в разорванном мире «вольштанда», о нелюдях, хозяевах жизни, таких, как Оттер, о подлости мелких и средних дельцов-обывателей, о тех, кто, как Ульрих и Элизабет, могли бы быть людьми, но не стали ими. Выводы пусть делает читатель. Для автора будущее непредсказуемо. Он знает одно: все происходящее сейчас лишь прелюдия — и об этой прелюдии он сказал честно, горько, человечно...

◆

Наши гости

Бенгт Берг и Карин Лаут

Швеция

Редакцию журнала «Иностранная литература» посетили гости из Швеции: поэт Бенгт Берг и поэтесса Карин Лаут.

Член Гётеборгского отделения Союза шведских писателей, Бенгт Берг — автор двенадцати книг, в основном поэтических сборников, хотя в числе его книг есть и прозаические.

Основная тема и стихов и прозы Берга — красота родного края, провинции Вермланд, обновляющая душу человека, дарящая ему радость и силы жить. Но это не просто описания природы, это, скорее, лирико-философские раздумья о взаимоотношениях природы и человека, об их единении, о месте человека в ней.

У лета четыре страны света:
север с бело-голубыми горными снегами;
зима, затаившаяся в горах.
Запад, куда опускается солнце:
красный шар,
над вершинами елей повисший, летним
жарким огнем поджигающий воду.
Восток, где обычно кукует кукушка,
когда весна превращается в лето;
восточная кукушка печали утоляет.
И юг — там дорога, ведущая прямо
в зеленое сердце
лета. И мы с тобой на дороге. Давай
остановимся хоть на мгновенье[1].

Есть у Бенгта Берга и юмористические стихи, и короткие, всего в несколько строк, размышления о жизни и смерти.

Смерть — всего лишь дом,
где кров находит каждый,
каждый...

«Я — лесной человек»,— смеется Бенгт Берг. Действительно, городок, где он живет, затерялся в лесных просторах. Лес для поэта — не просто природное богатство. Это край, населенный живыми существами: деревьями, птицами, цветами, с которыми человек может и должен общаться, которых должен оберегать. Сам Берг — активный участник движения за охрану природы. Он председатель группы по охране природы у себя в Турсбю — небольшом городке на севере Вермланда. Тему защиты природы он поднимает в своих театральных ревю, радио- и телевизионных программах, в лекциях, с которыми выступает в школах. Кстати, со школьниками поэта связывают не только лекции. Во многих шведских школах существуют поэтические мастерские и кружки для ребят. В некоторых из них Берг ведет уроки поэтического мастерства.

Бенгт Берг — человек очень образованный, интересный собеседник. Он окончил три шведских университета, где изучал историю мирового искусства, английский, французский, немецкий языки и литературу Англии, Америки, Франции и Германии, а также языки и литературу Скандинавских стран. Помимо писательской деятельности Бенгт Берг занимается еще и переводами. Он переводит на шведский язык произведения скандинавских писателей и поэтов. Кроме того, активно занимается и журналистикой. С 1973-го до начала 1986 года он был главным редактором литературно-художественного журнала «Ралларрус», издаваемого одноименным издательством. «Ролларна» — так называли в Швеции рабочих, строивших железные дороги. «Ралларрус» переводится на русский язык как «железнодорожная роза» или «роза железнодорожника». Это простой полевой цветок, очень похожий на наш иван-чай. Его яркие красно-фиолетовые факелы горят и в лесах, и в долинах рек, и на пустырях, но особенно много их вдоль железнодорожных насыпей. Вероятно, поэтому и назвали цветок «железнодорожной розой», цветком рабочих. Это название определяет демократическую направленность и содержание журнала, рассчитанного на широкую читательскую аудиторию: рабочих, крестьян, трудовую интеллигенцию, студентов, школьников старших классов. Журнал пользовался популярностью в Швеции, в частности в Вермланде и Гётеборге. Его тираж колебался от 2000 до 6000 экземпляров — цифра большая для такой маленькой страны, как Швеция. В начале 1986 года издание журнала было приостановлено по экономическим причинам, однако в ближайшее время планируется возобновить его выпуск.

Поэтесса из Гётеборга Карин Лаут родилась в Германии в 1933 году, а в 1947-м четырнадцатилетняя девочка, пережившая ужас второй мировой войны, в числе других беженцев попала в Швецию. О страшном военном времени Карин рассказывает в романе «Вечный огонь». Как поэтесса она дебютировала в 1967 году в антологии «Друг поэзии». С тех пор ее стихи неоднократно издавались во многих антологиях и сборниках, в 1971 году вышел первый самостоятельный поэтический сборник Ка-

[1] Здесь и далее стихи даны в переводе И. Новицкой.

рин Лаут «Глаза леса», а в 1978-м — еще один, «Превращения», с иллюстрациями самой поэтессы. «В этом сборнике — вся моя жизнь»,— говорит Карин. Действительно, здесь вся ее жизнь: любовь, работа, материнство, обеспокоенность судьбами мира, горячее желание защитить человечество от третьей мировой войны. У Карин Лаут много политических стихов — о мире, о войне, о свободе, о необходимости борьбы за справедливость. Вероятно, суровые воспоминания детства, воспитание, вообще вся трудовая, очень активная и самоотверженная жизнь поэтессы определили демократическую и остросоциальную направленность ее творчества.

ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ

Танец смерти в братских могилах
по всей земле
голубые обручи наших шагов
    опоясали эти могилы
а мы притворяемся что ничего не
случилось
    закрываем глаза
закрываем глаза на несправедливость
    не хотим видеть
не хотим видеть
танец смерти

В МИРЕ

Кошка играет с мышкой
    обреченность
нужда свирепствует в мире
    обреченность
солдаты играют с ружьями
    обреченность
кошка съедает мышку

Карин Лаут страстно любит этот мир, эту жизнь, эту землю и щедро делится своей любовью с читателем. Все великое начинается с малого, считает она, великое добро и великое зло. Сначала просто сломанная ветка, растоптанный цветок, вырезанные на коре дерева инициалы, замученная кошка, пренебрежение к природе... Потом жестокость и равнодушие к человеку и человечеству. И в конце концов — бесчеловечность.

ПОД ДУБОМ

Лепесток играет с ветром
облачко скользит по небу
ласточка спешит в гнездо
мальчик в ствол вонзает ножик
чтобы просто посмотреть
красная ли кровь у дуба

Любовь — суть творчества поэтессы, главное чувство в ее жизни. Эта любовь многогранна и щедра, не всегда, может быть, счастлива, но всегда бескорыстна. И одно из великих ее проявлений — единство.

В ВЕЧНОСТИ

Ты и я
две скрепленных любовью
частицы вселенной
две частицы природы
растений
    животных
вот этой подстреленной птицы
    ты и я
две песчинки единой пустыни
единого мира
где одно — отраженье другого
в вечности
и во вселенной

* * *

Высокая скала
разящая стрела
распустившаяся роза
и ревущая гроза
парус по морю гонимый
неба свод необозримый
от жестокого удара
загоревшаяся кровь
закатившееся солнце
приоткрытое оконце
скачущее веретенце
эта вечная любовь

Поэтесса остро, трагически переживает взаимное непонимание, разобщенность людей, оторванность их друг от друга. Разлука, одиночество причиняют Карин страдания, порой делают жизнь невыносимой. Что может быть ужаснее пустоты, заброшенности, сознания своей ненужности? Отсюда драматизм и печаль многих ее стихов.

ОДНА

Печаль и беспокойство преследуют меня
                в ночи сон раздражает
и слепой букашкой
ползу я по мосту висящему во тьме
по сцене жизни
жалкой этой сцене
за рампой ночных огней
    одна

Долгое время она работала медицинской сестрой в психиатрическом отделении Гётеборгской больницы, где лежат те, кто нуждается в длительном лечении: люди с ампутированными конечностями, паралитики, страдающие тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. У таких больных, как правило, поражена психика. Чтобы работать с ними, нужно огромное терпение и большое сострадание. Карин Лаут наделена этими качествами в высшей степени. Ей очень подходит высокое звание — сестра милосердия.

УСПОКОЙСЯ

Как белая голубка с подбитым крылом,
полная беспокойства,
мечется парализованная женщина
на койке,
день за днем,
год за годом,
крича
не в беспамятстве, не сгоряча:
    Помогите, помогите же мне,
    голубушка,
    дай умереть.
И всегда ей один ответ:
успокойся, поешь, мой свет.

Карин Лаут очень добра, общительна. Материнская любовь не только к своим детям, но к людям вообще определяет, пожалуй, ее отношение к жизни. Она всегда заботится о ком-то, кого-то опекает, кому-то помогает. Ее заботу постоянно ощущали, кстати, все члены шведской делегации, в составе которой она приехала в Советский Союз, и те, кто работал с этой делегацией.

Имя Карин Лаут включено в Каталог шведских писателей. Она член писательского центра «Запад» в Гётеборге и Общества писателей Вермланда в Карлстаде. Поэтесса занимается активной журналистской и просветительской деятельностью. Пишет статьи по вопросам культуры для периодической печати и является руководителем тематических курсов «Писательская мастерская: поэзия и проза» в Гражданской школе Гётеборга.

Бенгт Берг и Карин Лаут — разные люди и непохожие друг на друга писатели. Но есть в них качества, которые их роднят: гражданственность творчества, желание сделать жизнь лучше, осмысленнее.

ИРИНА НОВИЦКАЯ

Демирташ Джейхун

Турция

Мы познакомились ровно двадцать лет назад. На обеде, который в честь советских коллег давал Союз турецких литераторов в стамбульском ресторане с русской кухней и французским названием «Режанс». Название это, очевидно, ласкало слух хозяина заведения и его персонала: почти все они принадлежали некогда к русской аристократии. Узнав, что мы из России, официантка посочувствовала: «Ешьте, ешьте, в России ведь голодно!»

Я перевел ее слова на турецкий, и на губах наших гостеприимных хозяев заиграли улыбки: она представляла себе бывшую родину такой, какой покинула ее, а многие турецкие писатели знали Россию нынешнюю. Нам же стало как-то грустно: русская речь в устах официантки звучала с турецким акцентом, к тому же у нас на родине в ее возрасте давно уходят на пенсию.

Много воды утекло с того дня в Босфоре. Нет, вероятно, в живых многих из персонала ресторана «Режанс». Под напором политических коллизий, личных амбиций и финансовых трудностей давно распался Союз турецких литераторов. Когда в августе прошлого года грузовое судно «Капитан Мезенцев», на котором я плавал в составе команды, пришвартовалось в стамбульском порту Хайдарпаша, я позвонил Демирташу Джейхуну, и мы с болью перечислили имена общих друзей, с которыми можем встретиться ныне только на страницах их книг. Среди них и тогдашний председатель Союза, драматург и рассказчик Халдун Танер, романисты Орхан Кемаль и Кемаль Тахир, поэт Метин Эльоглу, их произведения известны советскому читателю, они сами бывали в редакции нашего журнала.

За минувшие десятилетия не раз встречались мы и с Демирташем Джейхуном в Стамбуле и в Москве. Архитектор по образованию и по основной профессии — в Турции нелегко прокормиться литературным трудом,— он служил генеральным директором архитектурной палаты Стамбула, консультантом муниципалитетов Анкары и Измита, директором-распорядителем газеты «Политика», советником различных коммерческих фирм и ассоциаций. За эти годы Демирташ Джейхун, автор двух десятков книг, романист, рассказчик, эссеист, публицист, социолог, литературный критик, стал одним из ведущих писателей страны. Его произведения, отмеченные новаторской для турецкой литературы глубиной психологического анализа, своеобразием языка, принесли ему три национальные премии, в том числе почетнейшую — премию Общества турецкого языка. Вновь созданный Синдикат писателей Турции избрал его одним из своих сопредседателей. В этом качестве Демирташ Джейхун представлял Турцию в Ассоциации писателей Азии и Африки.

Ни литературные премии, ни признание читателей, ни общественные должности и миссии, налагая на писателя обширный круг обязанностей и высокую ответственность, ни на лиру не увеличили, однако, его литературных заработков и возможности издания своих произведений. Напротив, навлекли на него неприятности и преследования. Когда после военного переворота 1980 года были запрещены все политические партии и профсоюзы, в том числе и Синдикат писателей Турции, Демирташ Джейхун провел три месяца в стамбульской военной тюрьме. Книги его были конфискованы, в течение шести лет он был лишен возможности выезжать за пределы Турции.

Демирташ Джейхун родился в южном турецком городе Адана, который сыграл в истории турецкой литературы роль, в чем-то схожую с той, которую в русской литературе первой четверти века играла наша Одесса. Окруженный оливковыми рощами, хлопковыми плантациями, этот город рабочих тракторосборочного завода, батраков и поденщиков, десятками тысяч стекающихся сюда на время уборки урожая, по-южному страстный, с оригинальным юмором и только ему присущим говором, родил плеяду выдающихся литературных талантов, среди которых были такие ныне всемирно известные прозаики, как Орхан Кемаль и Кемаль Яшар. В отличие от старших товарищей по перу, посвятивших свое творчество «маленькому человеку» города или же патриархальной деревне, разрушаемой индустриализацией, Демирташ Джейхун сделал предметом своего художественного исследования внутренний мир турецкого интеллигента, его подчас маргинальную личность, барахтающуюся между традиционной патриархальностью нравов и «успехами» европеизации, сложные перипетии его судьбы в кризисной ситуации последних десятилетий турецкой политической жизни. О своих собственных злоключениях писатель распространяться, однако, не любит, а если и говорит, то с присущим адану юмором.

В предыдущие десятилетия турецкая литература сумела завоевать себе достойное место среди развитых литератур мира, что нашло отражение и на страницах нашего журнала. Однако за последние семь лет в нем появился лишь один роман — «Спор» Самима Коджагёза, да и тот вышел в Турции в 1976 году (см. «Иностранную литературу» № 3—4, 1986).

— Быть может, причиной тому недостаточная информированность редакции?

Демирташ Джейхун с этим не согласен. В последние семь лет, считает наш гость, литературный процесс в Турции был серьезно заторможен, и причины этому следует искать вне литературы.

После путча 1980 года в стране был установлен военный режим, и, как все авторитарные режимы, он первым делом повел борьбу с гласностью. Закрывались газеты, конфисковывались книги и журналы, за публикации десятилетней давности привлека-

лись к суду публицисты, писатели, как это случилось и с нашим гостем. Первый удар диктаторские режимы обычно обрушивают на совесть и мозг нации, то есть на интеллигенцию. Десятки профессоров, писателей, журналистов были брошены в тюрьмы, многие вынуждены эмигрировать. Писателей обвиняли во всех несчастьях страны. По генеральской логике выходило: не будь литераторов, которые правдиво отражали охвативший Турцию социально-политический кризис, разгул терроризма, поощряемый антинациональными силами внутри и вне страны, не было бы ни терроризма, ни самого кризиса. Судебные расправы над писателями всегда служат признаком наступления реакции, но Турция, пожалуй, побила рекорд — шесть с лишним лет продолжался судебный процесс над единственной профессиональной организацией литераторов — Синдикатом писателей. Такая обстановка, естественно, не способствовала созданию серьезных художественных произведений, ни тем более их публикации. Рынок заполнила бульварщина, порнография, клерикальщина.

В последние два года в Турции заметна «либерализация». Ее признаком может служить хотя бы оправдательный приговор по делу Синдиката писателей. На первом после легализации конгрессе Синдиката Демирташ Джейхун был снова избран одним из двух его сопредседателей.

— Я получил возможность,— говорит писатель,— принять почетное приглашение на московский форум деятелей мировой культуры «За безъядерный мир, за выживание человечества». А основатель Синдиката Азиз Несин — выступить с заявлением о своей решимости привлечь к суду по обвинению в клевете нынешнего президента Турции генерала Эврена, как только он уйдет в отставку: в одном из своих выступлений тот позволил себе назвать всемирно известного сатирика «предателем родины».

Появились в последние годы и новые серьезные произведения, и новые имена. Наш гость называет среди них романиста Орхана Памука, новеллиста Неджати Гюнгёра, молодых поэтов — братьев Неше и Мехмеда Яшин. Последние живут в северной части Кипра, в раннем детстве стали свидетелями братоубийственной войны, спровоцированной иностранными державами, и ярко поведали об этом в своих стихах, одинаково популярных как в Турции, так и в Греции.

Что до эмиграции, считает Демирташ Джейхун, то ей не удалось создать произведений, которые стали бы популярными среди турецких читателей. Турецкая культура потеряла за границей многих своих художников. Измученный долголетним заключением, уехал в Париж и умер там романист и известный далеко за пределами Турции кинорежиссер Йылмаз Гюней. Скончался в Голландии драматург и театральный режиссер Васыф Онгёрен. Книги, созданные писателями, живущими в Западной Германии, с точки зрения формы скорее продолжают традиции немецкой литературы и, по мнению Д. Джейхуна, своим содержанием оказались в значительной мере чуждыми широкой читающей публике в Турции. Среди многих причин относительного равнодушия к их книгам Демирташ Джейхун называет и оскорбленную национальную гордость.

В годы так называемого «экономического чуда», когда в ФРГ хлынули сотни тысяч турок, в головах читателей под влиянием западной, да и турецкой буржуазной пропаганды сложился образ Западной Германии как рая. Уехавшие на заработки в массе принадлежали к низшим слоям турецкого общества и в культурном и в социальном отношении. Подавляющее большинство выросло в условиях средневековой патриархальности, в глухой турецкой провинции, зачастую едва владело грамотой. Естественно, что качество и уровень европейской жизни на первых порах могли показаться им сказочными. Но кончился экономический бум, началась безработица. К туркам стали относиться как к людям второго сорта: по приехавшим судили обо всей нации. И этот отрицательный образ использовался шовинистическими кругами западногерманского общества для раскола рабочего класса. «Рай» вдруг обернулся «адом» — и широкий читатель в Турции потерял интерес к книгам, правдиво рассказывающим о жизни турок в ФРГ. Не имела успеха в Турции даже книга Гюнтера Вальрафа «На самом дне», посвященная этой теме и произведшая сенсацию в Западной Европе (см. «Иностранную литературу» № 8—9, 1986).

В Западной Германии появились писатели, принадлежащие ко второму поколению турецких эмигрантов, то есть родившиеся и выросшие в ФРГ. Многие из них пишут по-немецки, и немцы говорят, что их книги добавили немецкой литературе новую краску. Быть может, те из них, которые пишут по-турецки, добавят новые краски и турецкой литературе. Но это дело будущего, считает Демирташ Джейхун.

Однако и он сам не ушел от темы «турки на Западе». По словам писателя, он работает сейчас над рассказами, в которых многие примелькавшиеся стороны турецкой жизни намерен показать как бы глазами молодых турок, выросших в Западной Германии. Их судьбы начинены трагедиями, как бомбы взрывчаткой: они ощущают себя турками в ФРГ, а в Турции — немцами. И значит, лишены духовной родины, где бы ни жили.

— Наше время чревато переменами,— говорит в заключение беседы Демирташ Джейхун.— Питаю надежду, что отношения между вашей и нашей странами будут развиваться в лучшую сторону. Мы — соседи, но, к сожалению, пока что мало знаем друг друга. С этого года Турция начнет получать советский природный газ. Недавно прошла турецкая торгово-промышленная выставка в Москве. Надо полагать, вслед за развитием экономических связей расширится и культурный обмен. Коммерческая ассоциация, в которой я состою советником, ежегодно проводит в Стамбуле книжные ярмарки. Наряду с другими зарубежными писателями на ней побывали в качестве гостей Евгений Евтушенко и Расул Гамзатов. Хотелось бы, чтобы наши встречи стали более частыми, в том числе и на журнальных и книжных страницах.

РАДИЙ ФИШ

Робер Андре

Франция

Робер Андре — известный прозаик, литературовед, президент Международной ассоциации литературной критики (МАЛК) — частый гость на страницах «Иностранной литературы». Читатели журнала знают его повести «Взгляд египтянки» (1977, № 1), «Дитя-зеркало» (1978, № 10), статьи о деятельности МАЛК, о творчестве Стендаля (1984, № 2 и № 10). В 1985 году Робер Андре приезжал в Советский Союз на очередной коллоквиум МАЛК, проводившийся в ту осень в Алма-Ате. Его тема — «Взаимопонимание народов и их культура. Ответственность литературы и критики за будущее человечества» — близка теме международного форума «За безъядерный мир, за выживание человечества», в дни которого писатель снова посетил нашу страну.

— Трудно было оставить многочисленные дела в Париже, я сейчас очень занят,— говорит Робер Андре,— но не приехать я не мог, советский форум — весьма значительный этап в борьбе за мир, за будущее планеты. Об этом говорили его участники — представители самых разных профессий, областей знания — врачи, архитекторы, бизнесмены, писатели, художники, актеры Большое впечатление на меня произвели явные перемены в жизни СССР — складывается новый образ мышления в социальном и культурном аспектах. О трудностях и преодолении их говорят здесь честно, без прикрас. Доказательством этого служит и выступление Михаила Горбачева перед участниками форума. Я перечитал его речь и отметил в ней яркие признаки философской направленности мысли — четкую структуру, стремление весомо обосновать свою позицию, строгий подбор аргументов, лаконизм. Особенно важна, по-моему, идея обмена культурной информацией, поиска творческих контактов между людьми.

Правда, следует признать,— разводит руками Робер Андре,— что не все приехали в Москву с самыми позитивными намерениями. Без предвзятых суждений, без дискуссий на форуме дело не обошлось. Но в том-то и заключается ценность личных контактов (мне кажется, их ничто не может заменить!) — они помогают избавиться от неверных представлений. И я, как писатель и критик, хочу напомнить: прежде всего мы, литераторы, должны воспитывать в людях чувство взаимного доверия, любовь к культуре других народов. Иначе никакое разоружение, пусть даже частичное, невозможно. Эти процессы параллельны.

— Какие особенности литературной жизни Франции, на ваш взгляд, интересны? Точнее, конкретнее — что сегодня могло бы заинтересовать советского читателя?

— Боюсь, что несколько разочарую вас,— улыбается Робер Андре.— Океан выпускаемой французскими издателями литературы поистине безбрежен, прочесть всё невозможно. Но некоторые произведения, заслуживающие внимания, я назову. Вышел, например, роман Луи Арагона «В защиту бесконечности», не печатавшийся при жизни автора. Появились книги крупных прозаиков — «мифотворца» Мишеля Турнье, одного из видных представителей школы «новой критики» Филиппа Соллерса. Примечательные «Зори Нового Света» Ива Берже, «Вюртембергский салон» Паскаля Киньяра, «Пария во славе» Доминика Фернандеза. Безусловно самобытна молодая писательница Даниэль Сальнав, на выход в свет ее «Призрачной жизни» откликнулись рецензиями крупнейшие литературные журналы Парижа. Моя коллега, известный критик Марта Робер, опубликовала сборник эссе «Вавилонский колодец» — очередной том ее солидного цикла «Книги для чтения». К сожалению, ничего не скажу о дебютантах года — новых имен слишком много, да и трудно судить об авторе по первому сочинению.

— А что вы скажете о себе самом? Оставляет ли ваша деятельность в МАЛК время для работы над прозой? Два года назад вы начали писать роман о выходце из мелкобуржуазной среды конца XIX — начала XX века, условно озаглавленный «Жизнь»...

— Роман закончен и в марте этого года вышел в издательстве «Грассе». На обложке стоит другое, броское название — «Чудесное лето» («A la belle saison»). Оно не случайно — так называется крупный магазин, с расширением деятельности которого связана судьба главного героя, человека скромного происхождения, постепенно поднимающегося по социальной лестнице. В раннем детстве он потерял мать, воспитывался в крестьянской семье. Потом разразилась первая мировая война... Можно определить жанр «Чудесного лета» как социальный роман, ведь в нем рассматриваются определенные процессы, происходившие во французском обществе первой трети XX века. Но это — не сухая хроника роста крупных торговых центров, в книге есть и любовная линия. Не претендуя ни на какие сравнения, я, однако, счел бы возможным провести аналогию с «Будденброками».

— Мы знаем, что из классиков любимейший ваш прозаик — Стендаль, о нем вы написали немало. Случалось ли в последнее время вновь обращаться к его творчеству?

— Стендаль близок мне, и я по-прежнему с удовольствием работаю над статьями, посвященными его прозе. Недавно я завершил серьезную работу — подготовку научного издания «Итальянских хроник». Пришлось, в частности, пересмотреть и изучить множество старинных рукописей, осуществить детальную сверку использованных писателем материалов с его собственным текстом. Издание получилось, по-моему, добротным. Хороша и иконография — на страницах книги много редких иллюстраций.

— Последний вопрос к председателю МАЛК: каковы достижения и планы ассоциации критиков?

— Недавно в Марселе прошел коллоквиум, посвященный отражению проблем поэтического творчества в литературной критике. А следующая международная встреча — на тему «Тенденции современного романа» — состоится в Братиславе. Актив МАЛК уже приступил к ее подготовке.

И. ИСТРАТОВА

Среди книг

Издано в СССР

МУДРОСТЬ КОНКРЕТНОГО

«В краю белых лилий». Древнетамильская поэзия. Вступительная статья И. Серебрякова. Перевод, составление, комментарии А. Ибрагимова. Москва, «Художественная литература», 1986.

Нужно вчитаться в книгу для того, чтобы понять, насколько значительно ее название. Этому, впрочем, способствует вступительная статья: читатель довольно быстро начинает ориентироваться среди тинеев (так называются жанрово-символические обозначения в древнетамильской поэзии). «Край белых лилий» наряду с краем цветов куринджи, жасминовым краем, равнинным и пустынным краем обозначает не просто местность и не только пейзаж: символический подзаголовок обусловлен определенной душевной настроенностью и проблематикой. «Край белых лилий» вызывает в читательском воображении берег моря, приметы рыбацкого быта, приближающийся вечер, томление влюбленных в разлуке. Каждому из жанров-символов присущи свои пространственно-временные отношения. Поражает почти кинематографическая игра планов: пустынный край открывает необозримую перспективу, жасминовый край уводит вдаль, равнинный край уподобляется среднему плану, край цветов куринджи дает почти физическое чувство счастья, край белых лилий запечатлевает интимную проникновенность.

Жанр-символ наделяет короткое стихотворение монументальностью, так что его уже неловко назвать миниатюрой. Жанром-символом тонко оттеняется характернейшая черта древнетамильской поэзии: совершенное совпадение слова и предмета.

Так в художественной ткани стиха реализуется существеннейшее различие между древнетамильской поэзией и поэзией санскритской традиции, говоря условно, от Калидасы до Рабиндраната Тагора. Санскритская традиция словно размывает очертания отдельного предмета, чтобы предмет слился с неисчерпаемой цельностью бытия. Древнетамильская поэзия, напротив, сгущает бытие, сосредоточивает его в предмете, очерчивая его с предельной четкостью. Отсюда роль детали, на которую обращает внимание автор вступительной статьи. Читателя вдруг завораживают валуны в ночном лесу, почти неотличимые «от тигрят». Восхищает «в белизне жасминовых цветов — багряный свет». Невольно заражаешься предвкушением сладостной близости в сочетании с неодолимой далью: «Для меня он как мед с недоступной горы». Вкус к предметности, естественно, приводит к тому, что поэт обретает бессмертие в прозвище, основанном на его стихе: Аниляду Мундриляр («тот, кто написал о дворе, где играют белки»), Витта Кудирейар («тот, кто отпустил на волю скакуна»), Кальпору Сиру Нурейар («тот, кто написал о пене, расползающейся по скале»).

От одного стихотворения к другому живописуются горести и радости человеческой души заодно с «трудами и днями» народа. Осязаемая предметность сплошь и рядом придает стихотворению деловитую точность очерка или сюжетную напряженность новеллы, лишь усугубляя его лиризм. Характерно в этом смысле стихотворение Калладанара «Девушка — подруге». В стихотворении каждый занят своим делом. Хищный оскал акульих зубов напоминает о неизбежных опасностях, сопутствующих в море даже опытному рыбаку. Приводятся приметы нехитрой сельской экономики: соль добывается для того, чтобы обменять ее «на рис и другие товары». Вдруг эпический перечень повседневных занятий разражается концовкой, чья наивная авантюрность вызывает в памяти «Декамерон», а неодолимая страстность перекликается с «Песнью песней»: «Нет моей мочи бороться с любовным недугом». И все это на протяжении восьми строк, предваренных и овеянных белыми лилиями в символическом подзаголовке!

Отчетливый и весомый в подзаголовке короткого стихотворения жанр-символ развертывается в поэму. Такова «Жасминовая песнь», где в каждой строке присутствует жасмин как символ стойкости и постоянства в любви даже тогда, когда он прямо не упомянут. Жасмин вселяет в стих благоухание и особую трепетную нежность. «Жасминовой песни» не уступает «Песнь о холодном ветре», где искусные вариации деталей видоизменяют сходный сюжет, поднимаясь на уровень драматических событий. «Песнь о великом городе» сливает историю и природу в могучем образе реки Кавера. Картины процветания и запустения чередуются, знаменуя ход исторического свершения. На монументальном фоне поэмы особенно выделяются два кратких лирических отступления. Они прославляют любовь как истинный смысл человеческой жизни. История и природа торжествуют в любви и ради любви. Живописная конкретность являет и увековечивает философскую мудрость. Любовь не замыкается в камерном уединении, она охватывает вселенную:

Душой очерствелый — живет для себя одного,
А полный любовью — для мира всего.

Это афоризм из «Тирукурала», собрания афоризмов, которое возникло в VI или VII веке и приобрело широкую известность. «Во всей мировой литературе едва ли можно отыскать собрание афоризмов, равное этому по высокой мудрости»,— писал о «Тирукурале» Альберт Швейцер. В каждом афоризме выступает мудрость как совершенное единство интеллектуального и нравственного, причем нравственное неотделимо от социального. Прославляя добродетель во всех сферах человеческой жизни, «Тирукурал» клеймит «жестокость царей».

Весь этот сложный, многогранный, причудливый мир открывается читателю в переводах А. Ибрагимова. Переводчику пришлось преодолевать отдаленность не только в пространстве, но и во времени: поэтическим произведениям, представленным в книге, тысяча с лишним лет. Переводчик выступает и как составитель сборника, и как автор солидного комментария. Пожалуй, наиболее серьезной проблемой в переводах А. Ибрагимова остается сочетание необычной, смело воссозданной образности с общей установкой на привычный, апробированный стих. Однако чтение книги увлекает настолько, что забываешь о критических претензиях и пожеланиях, а именно это свидетельство удавшегося перевода.

В. МИКУШЕВИЧ

САТУРНАЛИИ ЭНГУСА УИЛСОНА

Энгус Уилсон. Рассказы. Москва. «Художественная литература», 1985.

Несколько лет назад участники II Переводческого объединения под руководством М. Ф. Лорие (Л. Беспалова, В. Голышев, М. Кан, Е. Суриц и другие), мастера художественного перевода, решили, объединив свои усилия, сделать сборник рассказов Энгуса Уилсона, писателя, у нас известного лишь по литературоведческой книге «Мир Чарльза Диккенса», хотя в ту пору он был автором семи романов и нескольких сборников рассказов. И вот в 1983 году небольшой сборник рассказов появился в книжном приложении журнала «Иностранная литература», а в 1985-м издательство «Художественная литература» выпустило том его рассказов.

«Один из крупнейших прозаиков современной Англии, признанный знаток творчества Диккенса, автор монографии о нем, переведенной на русский язык, Уилсон поражает глубоким знанием произведений Достоевского»,— пишет в предисловии Г. Анджапаридзе, которому довелось слушать в Лондоне лекцию писателя, посвященную литературным кумирам Уилсона. Думаю, отношение Уилсона к двум вершинам английской и русской культуры не исчерпывается глубоким знанием, это — глубокая привязанность и осознанная, не раз декларируемая им преемственность реалистических традиций великих романистов XIX века, прежде всего Диккенса, а также Остин, Троллопа, Мередита, Золя, Толстого, Достоевского, Тургенева.

«Социальный анализ,— писал Уилсон в книге «Дикий сад», своем литературном и гражданском манифесте,— присущ бо́льшей части рассказов моих первых двух сборников. И потому за мной установилась репутация «социального сатирика» — но это лишь один аспект моего творчества... Я высмеиваю в своих рассказах фальшь тех, кто кичится невинностью и неведением. Я не скрываю своего неприятия иллюзий и обольщений в политике. Я разоблачаю не столько фальшивое, сколько не отвечающие времени ценности. В чем сила моих рассказов? В том, верно, что в душе я сочувствую своим героям, их загубленным талантам, разбитым надеждам, несбывшимся мечтам». Прощание с викторианской эпохой, с нелепыми, фальшивыми особенностями уклада — такова основная тема и ранних романов «Цикута и после», «Средний возраст миссис Эллиот», «Англосаксонские позы», тема, подсказанная как историческим моментом, так и личной судьбой писателя.

Писатель еще в детские годы столкнулся с одновременно трагическим и фарсовым несоответствием знатных людей и джентльменов, полагающих себя «солью земли английской», с их истинной ролью чванливых и жалких «чудаков». Отец Энгуса, промотавший наследство, не мог обеспечить своих многочисленных домочадцев, и потому Уилсоны постоянно скитались по пансионам и дешевым гостиницам. Смена социальных ролей унизительна своей неотвратимостью. «Взгляните, вот портрет — и вот другой — застучал голос за кадром, и на глаза навернулись слезы»,— пишет Уилсон о своем герое Морисе, прототипом которого послужил его собственный отец. («Что едят бегемоты?»)

Рассказы «Сестра-патронесса» и «То ли карта набекрень» словно принадлежат перу разных авторов: тонкая, холодная, изысканная резьба психологического рисунка одного рассказа, повествующего о поездке двух сестер, и смачная, бесшабашная, гро-

тесная стихия другого, герой которого — «нечто среднее между Джоном Китсом и кретином», в тугих джинсах — ускакал из родного гнилого Саутгемптона в столицу, «чтобы узнать, для чего мы здесь и что такое Правда». Задача художника в «Сестре-патронессе» на первый взгляд скромная и локальная: в нравственном поединке сестер (одна — богатая, красивая, умная; другая — понурая, нескладеха, терпеливо тянет домашнюю лямку, покорно любит своих детей) выявить истинную природу абстрактных категорий Добра и Зла. Клер нехитрой демагогией внушает детям Мэри, что их жертва укладу родительского дома никому не нужна, они бунтуют, смеются над материнской любовью и глупостью, а та, чувствуя себя в неоплатном долгу перед Клер, так и не распознав низкой тактики сестры, готова погасить все ее счета: «Ни двадцать лет счастливого брака, ни материнство, ни вдовство не отучили ее робко обожать Клер, неуклюже преклоняться перед ее тонкостью и обаянием».

Уилсон напоминает, что для него немыслимо утверждение без отрицания, что Зло не только угрожает человеку извне, оно искушает душу. «Я постоянно помню о дихотомии двух Зол: об аде, коим является наше утратившее все связи общество, и об аде, в котором пребывает изодранная, невротическая личность, обреченная на диалог с собой». Дихотомия, двойственность — основной творческий принцип Уилсона, не только определяющий отношение к объекту; писатель стремится выявить эту двойственность как в герое, так и в самой действительности, и потому «аду современного общества» он противопоставляет «ад души», Англии уходящей — Англию хиппи и террористов. В рассказе «То ли карта набекрень» показано, что антиномичные социальные прослойки — элита и плебеи — по сути одной, никчемной, обреченной на вырождение природы. Кенни вместе с Шарагой (так прозывает себя группка парней и девушек во главе с Хагетом) вваливаются среди ночи в дом мисс Тёрнбул-Хендерсон, в аристократическом районе. На оставленные матерью деньги она держит литературный салон и несмотря на то, что «насквозь буржуазна», не прочь закрутить роман со звездой нового искусства Хагетом, а заодно и познакомить его с «буржуазным» поэтом и влиятельным критиком Флитом. После сатурналий, устроенных Хагетом, во время которых присутствующие лихо орудовали бутылками со спиртным, как именами св. Хуана де ла Круса и Драйдена, понятиями гуманизма, истины, веры, у Кенни наступает тяжкое, тупое похмелье: «Все было объято тишиной, когда он согнулся под кустом сирени. Когда он поднял голову, небо показалось ему огромным; месяц озарял бескрайние пространства. Вдали загудел поезд, и чувство одиночества стало почти нестерпимым. На глаза навернулись слезы. В дурмане он отчаянно пытался удержать важные мысли, услышанные от Хагета. Он двинулся через Хэмстед-Хит, чтобы на ходу дойти до самой сути». В этом рассказе, написанном в середине 50-х годов, писатель разоблачает суть тотального нигилизма левацких «правдоискателей» — явления, которое в ту пору лишь зарождалось, а к концу 60-х — середине 70-х годов стало одной из опаснейших болезней капиталистического общества; спустя почти три десятилетия Уилсон вернется к этой теме в романе «Удивить мир». Послевоенный западный мир столкнулся с двумя крайними формами недемократического развития общества: терроризмом и авторитаризмом. И Уилсон, продолжая свифтовскую традицию, создает роман-антиутопию, политическую сатиру «Старики в зоопарке», в котором рассматривает четыре модели политического управления, на поверку оказывающиеся аналогами одной, авторитарной модели.

В книгах Уилсона постоянно присутствуют фарсовое и драматическое начало, смешное и горестное, они населены удивительно английскими персонажами — один его роман ведь так и называется «Англосаксонские позы»,— чрезвычайно эксцентричными и достоверными. Карнавальное буйство красок и эпизодов, смех и слезы, странные, даже дикие превращения и бесхитростные истории — все подчинено единому ритму и глубокой убежденности: фальшь человеческих отношений и амбиций враждебна естественному течению жизни, и потому цивилизация ложных ценностей «додумывается» до ядерных установок, потому ее новые пророки прокламируют совсем не новые идеи. «Если нужно ликвидировать миллионы человек,— полагает Редж, один из членов Шараги в рассказе «То ли карта набекрень»,— какая важность?»

В 1980 году, будучи уже писателем с мировым именем, почетным профессором нескольких университетов, Уилсон сказал интервьюеру журнала «Лиснер» в связи с выходом в свет романа «Удивить мир»: «Я верю во всеобъемлющую власть воображения, вижу распад и разруху окружающего мира и страстно жажду порядка, добиться которого можно лишь практическими мерами». Но каковы эти практические меры? Для себя Уилсон видит их в одном: писать правду о своем современнике, не обольщаясь и не презирая его, а жанр, тональность, тему подсказывает сам материал...

Благодаря энтузиазму и мастерству участников II Переводческого объединения острые, точные, безжалостные, парадоксальные рассказы Энгуса Уилсона стали достоянием нашей культуры. Может, не за горами тот день, когда мы прочитаем по-русски и его романы?

АЛЛА НИКОЛАЕВСКАЯ

СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ

Сюзанна Пру. Воскресные визиты. Романы и повесть. Перевод с французского. Составитель Ю. Уваров. Предисловие Н. Ржевской. Москва, «Радуга», 1986.

Открывая читателю новое, доселе незнакомое имя, составитель неизбежно оказывается перед выбором, особенно сложным, если дело касается автора, у себя в стране известного, и надо из множества произведений отобрать три-четыре наиболее для него

характерных. Сборник Сюзанны Пру не назовешь «представительным»: он показывает лишь одну сторону творчества писательницы — ее близость той литературной традиции, которую критики связывают с именем Франсуа Мориака. Лучше всех об этой близости сказала, пожалуй, сама Пру. В книге «Мориак и молодая девушка» (1982) она вспоминает, какое потрясение вызвали у нее, четырнадцатилетней, его книги. «Так начался мой роман с Мориаком — с разрывами, охлаждениями и новыми вспышками любви,— который длится по сей день». Свидетельства охлаждений — «кафкианский» «Город у моря» (1970), сюрреальная головоломка «Злобные птицы» (1972), романтический детектив «Поляна нарциссов» (1982) и прочие — в сборник не попали. Он составлен из произведений, написанных в 1973—1979 годах — в период особенно жаркой вспышки любви.

Все они рассказывают о жизни, которой уже нет. Подобно старшему собрату, Пру охотно обращается к прошлому, чтобы черпать из него материал для искусства. Она пишет о среде, из которой вышла сама,— провинциальной буржуазии; привязывая действие романов к знакомой сызмальства обстановке, бережно воссоздает облик и атмосферу страны своего детства. Однако ностальгическая печаль не туманит ее взгляда — по-«мориаковски» остро, трезвого и беспощадного.

Из четырех произведений три — «Терраса Бернардини» (1972, премия Ренодо), «Зеркала Эдме» (1976) и «Воскресные визиты» (1979) — построены на сходном повествовательном приеме. В них присутствует безымянная рассказчица, либо вспоминающая события, свидетельницей и участницей которых она была, либо воссоздающая их на основе «показаний» окружающих, но используется этот прием по-разному. В «Террасе Бернардини» конструкции откровенно обнажены: повествовательница возводит художественное здание у нас на глазах, дополняя факты предположениями, мешая действительность с городскими преданиями и собственными домыслами, перебирая версии в поисках наиболее достоверной, которая, однако, не обязательно окажется единственно верной. Жизнь героини известна ей только в общих чертах, о мотивах и побуждениях она может лишь догадываться. Эта-то «предположительность», дающая возможность домыслить и художественно организовать чужую жизнь, и влечет рассказчицу. «Я как будто листаю старый альбом, где фотографии располагаются в беспорядке и почти все без подписей. Я сортирую, фантазирую, воссоздаю. И образы выплывают из глубины времени, начинают оживать». За отправную точку повествования берется настоящее, намеренно тусклое и невыразительное: на террасе богатого дома сидят старухи в черном и, разговаривая ни о чем, пьют чай. Их жизнь — в прошлом. Грузная и безобразная госпожа Бернардини была когда-то прелестной девушкой, мечтавшей вырваться из убогой, мещанской среды. Пытаясь разгадать героиню, «открыть, как открывают шкатулку, и прочесть хранимую в ней исповедь», рассказчица тщательно, по крупицам собирает ее образ. Любила ли Лора красавца Поля Бернардини? Или ее больше волновало «королевство», нежели «принц» — наследник самой богатой в городе семьи? Была ли она романтична и невинна — или холодна и расчетлива? Хотя писательница склоняется ко второй версии, она готова признать, что и первая имеет право на существование. А может быть, истинны обе... Но что бы ни таила в душе юная Лора, душа госпожи Бернардини, отравленная долгими годами несчастного супружества, лжи, ненависти, фарисейства, корыстолюбия, давно стала «клубком змей». Правда, дремлющих, однако не истративших яда. Столь же темна душа ее компаньонки Терезы — бывшей любовницы Поля, сумевшей добиться расположения его жены. На чем держится эта странная дружба? Может быть, она и впрямь скреплена общим преступлением — убийством Поля? Повествовательница пытается расследовать это давнее дело, но как добраться до правды, если улик нет — одни только робкие слухи. И все же ей удается найти доказательства. Она застигает двух дам в момент, когда они, дрожа от жестокого наслаждения, приканчивают крольчиху, укусившую Лору. И сомнений не остается: вот так же они убили и Поля, постылого мужа и любовника, жалкого похотливого кролика, раздражавшего их своими мелкими «укусами».

Роман «Терраса Бернардини» соединяет в себе два художественных метода: формальные приемы новейшей литературы используются для создания реалистического произведения, мозаичность композиции которого не только не мешает художественной целостности, но, напротив, «работает» на нее. Роман «Зеркала Эдме» уже целиком выдержан в реалистическом ключе. Рассказчица, бывшая в «Террасе Бернардини» не столько образом, сколько формообразующим средством, здесь наделена индивидуальностью, а ее интерес к героине определяется не творческим любопытством, но личной привязанностью, восхищением и завистью робкой невзрачной девочки к дерзкой красавице подруге. Повествовательница строго соблюдает хронологическую последовательность, хотя все события известны ей наперед: ведь действие происходит в воспоминаниях. Она ведет рассказ неторопливо, с традиционной обстоятельностью исследуя образ Эдме, вписывая историю ее жизни в большую историю. Вот перед нами лицеистка, которая тайком бегает на свидания, мечтает стать роковой женщиной, восхищается знаменитой отцеубийцей Виолеттой Нозьер и азартно разыгрывает сцены отравления, ареста, суда... Вот студентка, проповедующая идею «расы господ», восторженно встречает немцев и вместе с ними напропалую веселится, не смущаясь осуждением окружающих, не замечая страданий отца не огорчаясь его самоубийством... Вот, уже в 60-х, дважды разведенная, она яростно рвется в то самое общество, которым прежде так надменно пренебрегала. Давно излечившись от завистливой любви к подруге, рассказчица судит ее беспристрастно и строго. И хотя большая часть

жизни Эдме известна ей понаслышке, она отказывается от предположительности, от всяких «кажется» и «может быть», свойственных стилистике предыдущего романа. Там повествование строилось на домысле; здесь — на логическом развитии черт и свойств, заложенных в характере девочки и в полной мере проявившихся у взрослой женщины. Основа личности Эдме — нерассуждающий, стихийный эгоизм — остается неизменной, определяя все ее поступки. И кара, которую она несет в финале, расплачиваясь одиночеством, отверженностью, презрением единственного сына, безусловно заслуженна. Однако ни малейшей назидательности в этом финале нет: ведь общество наказывает Эдме не столько за действительные грехи и пороки, сколько за нежелание соблюдать «правила игры» и прятать концы в воду. На взгляд Пру, фарисейки, сплотившиеся, чтобы не пустить «грешницу» в свой избранный круг, еще отвратительней. Хотя в романе они намеренно лишены индивидуальных примет, безлики и анонимны, мы без труда можем домыслить их по другим произведениям писательницы. Эти добропорядочные дамы — быть может, те самые, которые уныло пьют чай на террасе Бернардини,— превыше всего ценят благопристойность, но в душе у каждой таится «клубок змей» И чем тверже они убеждены в непреложности своих ценностей, чем крепче держатся за свои предрассудки, тем вернее из хранительниц становятся разрушительницами.

Героиня «Воскресных визитов» — безупречная мать семейства, категоричная и непреклонная в своей католической добродетели,— принадлежит к тому же типу, что «фарисейка» Мориака, которая калечит души и судьбы близких, не сознавая того, не сомневаясь, что живет как должно. Из пятерых детей Аделины лишь старший добился успеха, но какой же безнадежной скукой пронизано его благопристойно-буржуазное преуспеяние: удачная карьера, женитьба по расчету, худосочные дети... Что же до остальных, то их существование лишено даже такого жалкого подобия радости. Подчиненное строгой системе условностей, оно течет уныло и однообразно — причем они, кажется, и не подозревают, что возможна иная жизнь, полнокровная и насыщенная. Даже бунтовщица Роз, отвергающая косную матушкину мораль, не стыдящаяся своего «позора» — внебрачного ребенка,— и та не может найти никакой альтернативы буржуазному образу жизни... Рассказывая историю этой семьи, Пру избегает сопоставлений дня нынешнего с минувшим; она словно перевоплощается в благовоспитанную девочку, которая приходила каждое воскресенье к тете Аделине и, невыносимо скучая, играла с кузинами и кузенами в обязательный крокет. Только в самом начале и в самом конце писательница отмечает временную дистанцию, перекидывая мостик из прошлого в настоящее: «Почему же так случилось, что эти бесконечно долгие послеобеденные часы... оставили в моем сердце ощущение счастья?.. Может быть, достигнув зрелых лет, я обращаюсь в мыслях своих к дому и саду тети Аделины, словно к некоему строительному материалу, которым в те далекие годы я не умела воспользоваться...»

Строительный материал трех романов Сюзанны Пру — ушедшая жизнь с ее радостями и горестями, кратким цветением и стойкими предрассудками, ежедневной скукой и редкими праздниками, неумелыми порывами к свободе и унылым смирением, с ее жадностью, завистью, подлостью, ничтожеством; жизнь, зримый образ которой остался лишь на старых фотографиях. «Люди и места, изображенные на них, столь далеки от нас теперь, что кажется, будто они никогда и не существовали». Старые фотографии переходят из романа в роман, становясь своеобразным лейтмотивом этого «мориаковского» цикла. Они влекут к себе рассказчицу «Террасы Бернардини», жаждущую разгадать загадку прошлого; забавляют двух лицеисток, разглядывающих старый альбом — «воспоминания чьей-то умершей юности»; вызывают ностальгическую печаль у постаревшей девочки, когда-то так скучавшей во время обязательных воскресных визитов к нелюбимой тетке. Сюзанна Пру стремится воскресить эти застывшие мгновения прошлого — не потому, что они были прекрасны, а потому, что они просто были. Потому что ей жаль своих персонажей — злобных и убогих, забывших или не знавших никогда, что у них есть душа, жаль их погибшей юности и ненужной старости. Потому что она любит людей и не хочет, чтобы их жизнь проходила впустую — так, словно они «никогда не существовали». Ее рассказ о безвозвратно и бесследно ушедшем прошлом, несостоявшихся и духовно мертвых обращен к настоящему, в подтексте его звучит тихое, но настойчивое предупреждение: ведь и мы в свой черед предстанем перед судом будущего. И когда некто, еще неведомый, откроет пропахший пылью старый альбом — сможет ли он найти в своем настоящем живые следы нашего существования?..

Е. ЗЛОБИНА

Издано за рубежом

НА ПУТИ К ВЕРШИНЕ

Molnár Géza. Doktor Klauss különös élete. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979. Az elpazarolt birodalom. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986.

Геза Молнар. Странная жизнь доктора Клауса. 1979. Растраченное королевство. 1986.

Неожиданно умирает от инфаркта Миклош Ведреш, умирает, так и не закончив дела всей своей жизни — книги о докторе Клаусе. По-

чему же роман остался незавершенным? На этот вопрос мучительно ищет ответа профессор Ференц Бона, решивший написать монографию о творчестве своего покойного друга и серьезно изучающий его рукописи. Быть может, потому, что Ведрешу, как и многим талантливым людям, не хватало дисциплины духа, умения сосредоточиться на главном? Недаром в минуты острого недовольства собой Ведрешу казалось, что он зря растратил талант — «королевство, дарованное свыше»: ведь писатель, говоря правду, может, как всемогущий король, в чем-то изменить действительность. Особенно если он, как Ведреш, был депутатом парламента, заместителем председателя Союза писателей, лауреатом премии Кошута. Книги Ведреша не залеживались на книжных полках и легко пересекали границы. Есть среди них произведения, написанные верой и кровью, в них боль, глубокие раздумья над судьбами Родины, сложная диалектика человеческих характеров — словом, все, отличающее настоящую литературу. Но законченного романа о человеке, которому он был обязан жизнью, профессоре Дёзё Клаусе, Ведреш так и не создал.

Геза Молнар строит широкую панораму венгерской жизни на протяжении нескольких десятилетий, свободно переносит действие из Венгрии в Советский Союз, Алжир, Францию, где стажируются Миклош Ведреш и Ференц Бона. Различные временные пласты перекрещиваются, сопрягаются по ассоциативному признаку; картина объемна, хотя и фрагментарна, и эта фрагментарность вполне оправданна: ведь перед нами не роман, а отрывки из него. Хаотичный, мучительный внутренний монолог Ведреша, напряженно ищущего новую творческую манеру, перебивается исповедью Дёзё Клауса, рассказывающего невыдуманную историю своей жизни, а она в свою очередь — воспоминаниями Ференца Боны. В ткань сюжета органически вплетаются политические события, ожесточенные диспуты, размышления героев о путях современной культуры, и в первую очередь венгерской литературы, о горькой участи ее классиков. Далекий от хронологической последовательности, роман документально точен и все время обращается к истории, зримо и тайно сотрясающей судьбы Венгрии и судьбы отдельных людей. Внимание автора приковано к сложным конфликтным ситуациям в общественной и личной жизни героев, напряженным нравственным исканиям, тайным духовным драмам незаурядных личностей, в трудной жизни которых бушевали бури и несчастья века.

По отдельным фактам из жизни еврея Дёзё Клауса восстанавливается «летопись» фашизма в годы хортистского режима: издевательства и гонения, которым подвергались тысячи ни в чем не повинных людей — начиная с «белой ленты», привилегии крещеного еврея, до «желтой звезды» на спине — «удобной» мишени для эсэсовцев и, наконец, гитлеровского концлагеря.

Глубже и пристальнее вглядываясь в прошлое, писатель вновь и вновь старается ответить на вопрос, волнующий его многие годы: как смог фашизм подчинить себе миллионы людей? В романах «Одичавшие годы» (1964) и «Ночи становятся короче» (1970) в центре внимания Молнара — фигуры хортистских офицеров, ставших палачами из-за рабской покорности и приспособленчества, и молчаливых соучастников их преступлений — тех, чья личность погибла, растворилась в нравственном и физическом «плену у мертвецов». Им противостоят парни и девушки с рабочей окраины Пешта, вступившие, как некогда сам Молнар, в ряды коммунистического подполья. Антагонизм двух наций в пределах одной, венгров, для которых поражение в войне стало победой над фашизмом, достигает здесь большой социальной остроты.

Заново осмысляя себя и время в романе «Растраченное королевство», Молнар исследует психологию одной из многочисленных жертв фашизма — Дёзё Клауса. В лихую годину этот умный, незаурядный юноша пытается «быть как все», то есть, подчиняясь инстинкту самосохранения, безропотно сносит голод, побои и издевательства и даже пытается «как и все» найти что-то «героическое» в собственном смирении. Незаметно для себя самого он превращается в «ручного» ягненка, который, дрожа от страха, послушно идет на бойню». Много лет спустя доктор Клаус не может найти оправдания своему малодушию, тому параличу воли, который сковал три тысячи узников их концлагеря, покорно подчинявшихся сорока вооруженным эсэсовцам. Почему же не нашлось горстки непокорных, попытавшихся обезоружить малочисленный конвой? Разве не было среди них — болгар, чехов, сербов, хорватов — смелых сердец, честных душ, ярких индивидуальностей?

Нет, Молнар отнюдь не идеализирует своего героя, беззащитного перед лицом фашизма. Духовно воскресает, выпрямляется во весь рост Клаус значительно позже, вступив в компартию и по-новому осознав коренные нравственные проблемы.

В годы культа личности, став жертвой подло сфабрикованного против него обвинения, с минуты на минуту ожидая ареста, доктор Клаус проявляет редкое мужество, гражданскую смелость и силу характера, помогая выдержать испытание тем надломленным, подчас искренне заблуждающимся людям, для которых кризис в политической жизни стал вместе с тем кризисом личным и духовным.

На долгие годы, удовольствовавшись более чем скромной должностью врача маленькой захудалой больницы, он всецело отдает себя больным, тихо и незаметно жертвуя ради них своей карьерой. Борясь за людей, нередко уже потерявших человеческий облик из-за туберкулеза и алкоголизма, он выглядит в глазах начальства эдаким неуживчивым, «странным» человеком, «возмутителем спокойствия», а одно время даже «врачом-предателем»: ведь всем назло доктор Клаус упрямо выискивает ошибки в методике лечения туберкулеза, требует новшеств и преобразований. На склоне дней, став ученым с мировым именем, профессор Клаус с честью выдерживает испытание славой и остается скромным, незаметным тружеником, совершенно равнодушным к мирским благам, роскоши и «престижу».

«Магнитофонные ленты» Дёзё Клауса — самые сильные страницы романа. Многие из них невозможно читать спокойно: таким острым драматизмом дышат они. В их числе — сцены жестоких беззаконий Ракоши и его клики, стремящейся во что бы то ни стало «вырядить социализм в парадный костюм», трагедии людей, чья искренняя (поначалу) вера в непогрешимость руководства привела к большим и маленьким уступкам и соглашениям со своею собственной совестью, а затем — оцепенению ума и деградации личности.

Читатель понимает Миклоша Ведреша, все существо которого противится страданиям доктора Клауса, самоуничтожению, в прямом и переносном смысле слова, таких людей, как министр Марш Зёльд, который, узнав, что в строжайшей тайне готовится абсурдное в своей нелепости «Дело Зёльда и его сообщников», не решается открыто выступить против сектантского, догматического курса Ракоши. Оставаясь его послушным «винтиком», боясь новых жертв и репрессий, он предпочитает самоубийство. «Дело Клауса» приобретает для Ведреша особый драматизм еще и потому, что тогда и он был несчастен, в трудную минуту его бросила ради преуспевающего режиссера возлюбленная, актриса Вали Лейтаи. Не выдержав потрясения, Ведреш оказался в больнице у доктора Клауса, и трудно сказать, как бы сложилась его дальнейшая судьба, если бы не Клаус, не только вылечивший его от болезни, но и помогший Ведрешу вновь обрести себя.

Работая над романом, Ведреш испытывает боль не только душевную, но и физическую — сердечные приступы, которые приведут потом к инфаркту. Ему хочется отдохнуть, съездить за границу, где переводятся многие его книги, погреться в лучах славы, словом, почив на лаврах, описывать людей, быть может и менее ярких, чем Клаус, но куда более удачливых — тех, чья судьба вызывает в душе читателей воодушевление и радость. А главное — работать с меньшей самоотдачей, не пытаясь достичь тех высот, которые требует от него образ доктора Клауса, чувство долга перед ним.

Многогранный, противоречивый, как и его книги, образ Миклоша Ведреша довольно типичен для литературной среды. Автор изображает его в движении как человека, в котором вмещаются качества самые разнообразные. Это умный, незаурядный писатель, острым взглядом художника видящий, болезненно ощущающий теневые стороны жизни и вместе с тем человек, не равнодушный к мирским благам, почестям и богатству. Женитьба на горячо любимой им Вали Лейтаи — кинозвезде с мировым именем,— боязнь вторично ее потерять заставляют его охотно принимать все новые и новые предложения, в том числе и заказы на заведомо «проходные вещи»: переезд на роскошную квартиру в самом фешенебельном районе Будапешта — на знаменитом холме Роз — требует больших денег. И, торгуясь с собственной совестью, Миклош пытается убедить себя, будто бы его «целительный воздух» необходим для творчества; критика относится к нему восторженно, и вскоре он закончит наконец «роман века» — историю доктора Клауса.

Идя по легкому, давно проторенному пути, Ведреш тем не менее остается художником и человеком, верящим в преобразующую силу правды. Невзирая на лица, на недовольство Вали он смело выступает в парламенте и в печати против некоторых перегибов в культурной политике. Выступление Ведреша как на грех, использует западная пресса и вскоре, сводя личные счеты, его отстраняют от должности главного редактора Миклош тщетно успокаивает себя тем, что это всего лишь «почетная ссылка», а отнюдь не конец его карьеры: он остается депутатом, одним из руководителей Союза писателей, однако страх за свое положение, обида за журнал, оказавшийся в руках бездарного конъюнктурщика, не покидают его, вызывая новые приступы болезни. Воспроизводя сложную внутреннюю жизнь Миклоша Ведреша со всеми ее кризисами и творческими муками, Молнар пытается постичь глубины человеческой души, решать проблемы, еще довольно новые для венгерской прозы: специфика литературного труда, взаимосвязь действительности и воображения, личности художника и его героя.

Ведреш — писатель талантливый, способный, казалось бы, отразить все трагедии и радости мира, в то же время пытающийся совместить свой талант с «деловитостью» и ведущий бесконечную тяжбу с собственной совестью, которая упрямо напоминает ему, что, разменяваясь по пустякам, он рано или поздно потеряет свое «королевство». Его страшит участь парижской приятельницы, скульптора Маргарет Ларбо, в юности создавшей одну мало-мальски значительную скульптуру и много лет подряд копирующей ее в маленьких салонных статуэтках, сделанных «на заказ». Миклош опять (в который уж раз!) хватается за спасительную нить Ариадны — магнитофонные пленки доктора Клауса, но ему не удается наполнить роман эпическим дыханием, правдиво и сурово рассказать о мытарствах Дёзё и, главное, воспроизвести неслышную «внутреннюю речь» своего героя — молчаливое самоуглубление человека, мучительно раскапывающего свое прошлое и видящего его уже иным, умудренным взглядом.

«Растраченное королевство» — роман горький и смелый, пожалуй даже беспощадный. И вместе с тем наполненный верой в добро и человека, уверенностью в прогрессивном движении истории.

Е. УМНЯКОВА

О СТАНОВЛЕНИИ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В преддверии 70-летия Октября появились две книги, представляющие — каждая по-своему — вклад в зарубежную руссистику. Они очень разные, эти книги, и по материалу и по манере. Их объединяет то, что они написаны со знанием советской литературы и с любовью к ней, с пониманием ее мирового значения.

Jean Pérus. Esthétique et politique Paris. Editions du Centre national de la recherche scientifique. 1986.

Жан Перюс. Эстетика и политика. В поисках социалистической эстетики. Размышления над становлением советской литературы (1917—1934). 1986.

Автор «Эстетики и политики» Жан Перюс принадлежит к старшему поколению французских славистов. Под его редакцией вышло Собрание сочинений А. М. Горького на французском языке, ему также принадлежит книга «Ромен Роллан и Максим Горький» и ряд статей, в том числе и опубликованных на русском языке на страницах «Иностранной литературы».

Автор считает, что, приступая к изучению советской литературы, надо иметь четкое представление о различиях в терминологии. Иной раз «француз и русский, употребляя одно и то же слово, говорят о разных вещах: это вызывает недоразумения — вплоть до наших дней». Так «реализм» или «художественный метод» имеют на французском и русском языках очень неодинаковый смысл или оттенки смысла. И французское слово «популизм» совершенно не равнозначно русскому слову «народность». Оно заключает в себе содержание столь весомое, что не поддается точному переводу на другие языки: дело в том, что в русской литературе проблема народа еще задолго до 1917 года заняла место более значительное, чем в литературе любой другой страны. Через специфику языка Перюс подходит к специфике литературных произведений, которые на нем создаются. На протяжении всего исследования он терпеливо объясняет французским читателям, в каком смысле, в каких контекстах употребляется или употреблялся в Советском Союзе тот или иной термин. К книге приложен краткий терминологический словарь, включающий и те выражения, которые были в ходу полвека или более назад, а потом постепенно вышли из употребления, как выветрилось и само понятие, которое за ними стояло (например — «социальный заказ», или «Левый фронт искусств», или, скажем, «призыв ударников в литературу»).

Конечно, вопросы словарного порядка имеют для исследователя лишь вторичное значение. Главная задача — раскрыть своеобразие и силу советской литературы, проявившуюся уже на начальных этапах.

Казалось бы, самый выигрышный способ решить эту задачу — представить конкретный разбор лучших книг ранней советской поэзии и прозы, но ученый идет менее простым путем. О самой этой литературе Перюс говорит по преимуществу суммарно, обобщенно, его больше интересует то противоборство взглядов, которым сопровождалось ее возникновение, интересует даже не столько эстетика, вопросы стилей и жанров, сколько место литературы в советском обществе, ее роль в жизни и развитии страны. Именно тут видит он то новое и небывалое, что особенно заслуживает внимания.

Оригинальность русской классической литературы в отличие от западноевропейской, напоминает Перюс, проявлялась прежде всего в отсутствии кастовости, элитарности. Величайшие русские писатели прошлого столетия «хотели служить народу и истине» и нередко драматически ощущали свою оторванность от народных масс. «Революция дала русской литературе шанс, какого у нее никогда не было... Впервые стала исчезать пропасть, отделявшая литературу от народа...» Те литераторы, которые после 1917 года покинули страну (и в отличие от Алексея Толстого не вернулись), не смогли воспользоваться этим «шансом». Но развертывавшаяся культурная революция, рост грамотности, подъем сознания масс — все это привело к появлению новых читателей и новой формации литераторов, приобщившихся к жизненной практике в боях за Советскую власть или в редакциях газет: Перюс ссылается на Фурманова, Фадеева, Бабеля, Леонова, Катаева, Платонова, Сейфуллину — сам этот перечень имен внушителен.

Но развитие советской литературы, говорит Перюс, отнюдь не было «линейным», то есть бесконфликтным. На ее пути не раз вставали экстремисты и упростители, пытавшиеся — иногда даже с лучшими намерениями — то перечеркнуть классическое наследие во имя стерильно чистой «пролетарской литературы», то вовсе упразднить художественное творчество во имя «литературы факта». Перюс подробно разбирает позиции Пролеткульта, ЛЕФа, РАППа и в каждом случае обоснованно демонстрирует как левацкие эксцессы заканчивались провалами (Думается все же, что в главе «Футуризм и революция» автор недооценил революционное значение Маяковского, который с самого начала был на много голов выше своего литературного окружения.)

Проблема литературного наследия занимает центральное место на тех страницах монографии, которые посвящены взглядам В. И. Ленина на литературу. И в самом деле, «битва за наследие» имела серьезный политический смысл. В первые годы Советской власти иные влиятельные деятели склонны были видеть в классической литературе, классическом искусстве нечто чуждое и подозрительное. А Ленин видел в них большую духовную силу, способную поднять демократическое сознание масс. Ленинская концепция критического освоения классиков ориентировала строителей нового общества на то, чтобы разобраться в ценностях, унаследованных от прошлого сберечь их — во имя социалистического будущего. Если Плеханов, а за ним и Троцкий видели в Толстом лишь барина-аристократа, пишет Перюс, то Ленин считал, что «до этого графа подлинного мужика в литературе не было»... («Ленин о литературе и искусстве». М., 1967, с. 644). Дореволюционные работы Ленина о Толстом, о Герцене органически вписывались в программу культурной революции.

О ленинской теории отражения Перюс говорит несколько бегло, но не забывает подчеркнуть здесь момент активности творческого сознания, способного создать «вторую натуру, более чуткую и доступную, чем первая, и способную в некотором роде заставить читателей осмыслить

революционное содержание действительности». Именно в этом значение советов Ленина литераторам и журналистам быть внимательными к «росткам нового» в общественной жизни, поддерживать их.

Говоря о событиях литературной жизни СССР начала 30-х годов — ликвидации РАППа, создании единого Союза писателей СССР, I Всесоюзном съезде писателей,— Перюс характеризует реальный процесс консолидации творческих сил интеллигенции. Для членов вновь созданного Союза «быть советским писателем... значило содействовать развитию литературы, которая выражает собой революцию и одушевляет ее».

В литературной и общественной жизни СССР I съезд писателей явился событием в некотором роде праздничным, но это ни в коей мере не означало, что он прошел в атмосфере благодушия. Перюс детально анализирует стенографический отчет и находит в нем отражение многих разногласий по конкретным вопросам. Он не умалчивает об острой критике, которую вызвал со стороны делегатов съезда доклад Бухарина о поэзии и особенно доклад Радека о международной литературе, упрощенно трактовавшего некоторые весьма сложные явления. (С Радеком горячо спорил, в частности, гость съезда Жан-Ришар Блок.) Перюс не считает во всем бесспорным и доклад Горького, в частности его предложение о коллективных формах писательского труда.

Размышляя об основном методе советской литературы, Перюс полемически замечает: «Вопреки стократным утверждениям западной советологии, социалистический реализм вовсе не был изобретен единым махом в 1932 году»,— и сам этот термин, и то его толкование, которое дано в Уставе СП, возникли в результате долгих предсъездовских дискуссий, устных и печатных. По существу же «он имеет такую же давность, как первые произведения социалистической литературы, в той мере как она выражала средствами искусства суть зарождавшегося социалистического общества». Исследователю ясно, что нельзя замкнуть громадное многообразие художественных явлений в рамки какой-либо жесткой дефиниции; для него само собой разумеется, что социалистический реализм требует от художника верности жизненной правде; он с уверенностью говорит о коренных принципах литературы социалистического реализма, партийности, народности, современности, гуманизме.

При этом Перюс вовсе не хочет закрывать глаза на противоречия советского литературного процесса — не только до, но и после I съезда писателей. Он не умалчивает о трагических последствиях культа личности Сталина для советской литературы, осуждает нападки Жданова на Зощенко и Ахматову. И конечно, отдает себе отчет в том, что в Советском Союзе, как и в любой другой стране, создаются произведения очень неодинакового художественного уровня.

Главным, решающим для оценки советской литературы в книге Ж. Перюса является то, что она создала новый тип отношений между писателями и народом, писателями и политикой. Глубокая плодотворность этих отношений доказана, в частности, говорит он, практикой советской литературы о Великой Отечественной войне.

Советская литература, в ее лучших образцах, «способствует нравственному и духовному прогрессу народа: в основе ее уроков лежит доверие к человеку. Она чутко реагирует на внутренние изменения социальной ткани и представляет богатый комплекс живых размышлений, в котором наши советологи могли бы почерпнуть правдивые познания о Советском Союзе в его настоящем бытии».

Советская литература показывает также, говорит Жан Перюс в заключение, «что развитие социализма приводит ее не к упадку (как говорили гошисты вчера и уверяют технократы сегодня), а напротив, к обогащению и растущему многообразию, притом без отрыва от реальности и без абстрактных вымыслов».

Ralf Schröder. Roman der Seele, Roman der Geschichte. Zur ästhetischen Selbstfindung von Tynjanow, Ehrenburg, Bulgakow, Aitmatow, Trifonow, Okudshawa. Leipzig. Verlag Philipp Reclam jun., 1986.

Ральф Шрёдер. Роман души, роман истории. 1986.

Имя Ральфа Шрёдера хорошо известно в ГДР любителям советской литературы. На протяжении многих лет он работает в издательстве «Фольк унд вельт», его специальность — советская проза. Под его редакцией вышли в ГДР многотомные собрания сочинений И. Эренбурга, Ч. Айтматова, Ю. Трифонова, В. Тендрякова и другие издания. Многие из них содержат послесловия Р. Шрёдера, которые, как правило, носят серьезный исследовательский характер. Часть этих послесловий, расширенных и доработанных, лежит в основе сборника статей, который теперь вышел массовым тиражом.

Сборник носит подзаголовок «Об эстетическом самонахождении Тынянова, Эренбурга, Булгакова, Айтматова, Трифонова, Окуджавы». Автор стремится показать путь художественных поисков этих писателей (их «роман души») и в то же время раскрыть осмысление в их творчестве судеб России — затем Советского Союза — в давнем и недавнем прошлом («роман истории»).

Знание советской литературы не сводится у Шрёдера к одной лишь книжной эрудиции, которая сама по себе солидна. Он много раз бывал в СССР, лично знаком, или был знаком, с видными советскими литераторами; он оперирует текстами, не столь хорошо известными и у нас, — личными свидетельствами Е. С. Булгаковой, статьями Айтматова о Шекспире и Достоевском, материалами бесед с Айтматовым, Трифоновым и Окуджавой. Его содержательное интервью с Трифоновым печаталось в наших журналах «Вопросы литературы» и «Советская литература».

Отбор писателей, подвергающихся здесь анализу, ни в коей мере не случаен — он

понятен и оправдан. Р. Шрёдер пишет о советских прозаиках, получивших (иногда с запозданием) поистине всемирную известность, о художниках сложных, вызывающих споры и вместе с тем бесспорно значительных, сыгравших новаторскую роль в развитии советской литературы. Об этих писателях, о которых в западной критике идут иногда и кривотолки, Шрёдер с уверенностью и знанием дела говорит как о мастерах социалистической литературы.

Не менее важен еще один резон, определяющий выбор исследуемых прозаиков: Шрёдер их любит, он чувствует духовное родство с этими мастерами, он судит о них страстно и пристрастно, не избегая спорных и парадоксальных суждений. Р. Шрёдер знает, конечно, все, что писали о его любимых романистах советские критики, нередко ссылается на их работы, но его книга отмечена самостоятельностью критической мысли — это сказывается в самой ее структуре.

В современной советской прозе Шрёдер выделяет для анализа прежде всего ту линию, которая отмечена развитием притчевых, фантастических, гротескных форм. Он всецело принимает тезис Тынянова об отталкивании, даже пародировании как законном проявлении литературной преемственности. Новый, необычный социальный опыт рождал уже в первые пореволюционные годы книги, непохожие на классику. Истоки современной условной, иронической или фантастической русской прозы Шрёдер видит в таких произведениях, как роман Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников...», положительно оцененный Лениным, или в повести Тынянова «Поручик Киже». Другое направление советской прозы, тоже очень важное,— «полифонический роман самосознания», произведение, в основе которого не столько события, сколько идеи, их взаимодействие и столкновение. Здесь бесспорный и величественный прообраз — «Жизнь Клима Самгина» М. Горького. К этому же типу прозы Р. Шрёдер относит и «Люди, годы, жизнь» И. Эренбурга, и повести Ю. Трифонова.

Шрёдер неизменно рассматривает конкретные художественные явления в контексте русской, отчасти — мировой литературы. В его книге широко представлен мир идей Горького, Достоевского, а также Гёте (понятно, что по ходу анализа «Мастера и Маргариты» вспоминаются и Мефистофель — Воланд, и Вальпургиева ночь). Говоря о писателях современных, исследователь иногда отыскивает неожиданные черты преемственности: в трифоновских мещанах из «Обмена» проглядывают черты «Рвача» из раннего романа Эренбурга, в спорах героев «Прощай, Гульсары!» Айтматова оживают разногласия Нагульнова и Разметнова из «Поднятой целины»; айтматовский символический образ «манкурта» уходит корнями не только в среднеазиатские легенды, но и в «антиутопии двадцатых годов», такие, как «Ускомчел» Эренбурга и даже «Мы» Замятина,— а «Путешествие дилетантов» Окуджавы сюжетно, отчасти полемически перекликается с повестью Айтматова «Джамиля». Каждая из этих аналогий, разумеется, может быть оспорена, но такие аналогии, вместе взятые, напоминают, что советская литература разных времен, при всем ее необозримом многообразии, представляет единство. Это единство очевидно и в случаях совсем парадоксальных — например, когда Шрёдер, говоря о добрых чувствах, одушевляющих героев «Свидания с Бонапартом» Окуджавы, вспоминает слова бабелевского Гедали об «Интернационале добрых людей»...

Писатели, о которых говорит Шрёдер,— в большинстве своем люди нелегкой судьбы и трагического мировосприятия. Они как художники с обостренной, подчас болезненной чуткостью реагируют на зло, несправедливость, ложь. И своей практикой опровергают — теперь уже в глазах всего мира — вздорные представления, будто социалистическая литература проникнута духом самодовольства и славословия. Именно бескомпромиссная правдивость этих писателей, принимающая подчас весьма неканонические художественные формы, завоевала им непреходящий моральный и творческий авторитет.

Шрёдер анализирует особенности мировоззрения каждого из рассматриваемых мастеров, стараясь ничего не упрощать. О Булгакове: «Он признавал величие революции, хотя ему не был понятен особый, обусловленный национальной историей, послереволюционный путь. Тем более поразительно и значительно художественное достижение Булгакова в «Мастере и Маргарите»... И дальше исследователь говорит о том, что автор этого романа, «не владея компасом марксизма», тем не менее создал произведение, созвучное общественной атмосфере, создавшейся в СССР после XX съезда КПСС. Попутно приводится и суждение добросовестного западного критика о писателе: «Его интерпретация Христа вполне согласуется с атеистическим миропониманием, свойственным коммунизму».

Разбирая «Белый пароход» Чингиза Айтматова, Шрёдер касается вопроса, вызвавшего на первых порах разноречия и у нас и в ГДР. Был ли трагический конец повести действительно необходим? Найти иную, примирительную и успокаивающую концовку — значило бы, по свидетельству самого Айтматова, «амнистировать зло» — а он хотел завершить повесть в духе непримиримости ко злу и его носителям, Орозкулу и ему подобным. Как показывает Шрёдер, «Белый пароход» — и еще раньше «Прощай, Гульсары!» — знамение нового этапа в творчестве художника: приметы национального быта и фольклора интегрируются теперь в повествовании, ставящем проблемы общечеловеческого, глобального масштаба. Айтматов стал писателем подлинно мировым и подтвердил это своим романом «И дольше века длится день...», а теперь и «Плахой».

В размышлениях о творчестве Трифонова Шрёдер исходит из признаний самого писателя: «Я знаю: история присутствует в каждом сегодняшнем дне, в каждой человеческой судьбе. Она залегает широкими, невидимыми, а иногда и довольно отчетливо видимыми пластами во всем том, что формирует современность... Для меня самое важное — показывать жизнь человека, простого, обычного, сегодняшнего человека, со всеми перипетиями его сложной жизни, потому что жизнь совсем простого человека,

которую я хорошо знаю, всегда очень сложна». В этой же беседе со Шрёдером Трифонов сказал: «Я давно уже хотел написать книгу, которая состояла бы из отдельных произведений: новелл, коротких романов, эссе и т. д. Но это должен быть не сборник, а единое целое. Скорее всего роман. У меня было даже обозначение для такого рода книги: «пунктир». Пунктирная линия жива, пульсирует, она живее, чем сплошная линия» [1]. На этой основе критик и строит свой анализ, убедительно подтверждающий, что произведения Трифонова разных жанров, посвященные истории или современности, надлежит рассматривать как части единого целого.

Шрёдер пристально разбирает исторические романы Булата Окуджавы. Под оболочкой иронической прозы они заключают в себе серьезные раздумья писателя над ходом русской и мировой истории. Попутно Шрёдер сопоставляет Окуджаву и Трифонова. «Оба писателя, сыновья трагически погибших старых большевиков, пытаются проникнуть в исторический генезис, диалектику и перспективу нынешней жизни, их собственной истории. Окуджава исходит при этом из неисчерпаемого колодца прошлого, а Трифонов преимущественно — из явлений сегодняшних будней, которые он исследует посредством исторической ретроспекции». По мысли Шрёдера, у обоих романистов тяготение к истории порождается желанием разобраться в сути экстремистских и волюнтаристских искажений, стоявших на пути революции, и тем самым укрепить доверие к подлинно революционным ценностям. В сознании обоих история нерасторжимо связана с современностью — в этой связи Шрёдер считает вероятным переход Окуджавы от «Свидания с Бонапартом» к автобиографической прозе. Появившиеся недавно рассказы Окуджавы подтверждают это предположение.

Романы, о которых исследователь ведет речь, чаще всего подчеркнуто нетрадиционны. О достоинствах этих произведений, об их новаторской ценности сказано много верного, но значит ли это, что сегодня следует поставить крест на традиционном социальном романе или повести?

Послушаем Шрёдера: «Ситуация человека и мира уже давно не поддается охвату в линейно-событийном романе. Поэтому большая литература нашего столетия повернулась либо к роману сознания, либо к эпическим притчам в гротескной, сказочной или мифической форме». Пожалуй, это сказано слишком категорически. Мы находим в современном романе много примеров смешанной формы: элемент притчи или стихия размышлений не исключает событийности, а опирается на нее. В литературе последнего десятилетия — и не только советской — почетное место занял четырехтомный цикл Федора Абрамова, а также романы и повести Д. Гранина, В. Быкова, В. Распутина, В. Астафьева — достаточно одного упоминания о них, чтобы жесткая дилемма, предложенная Шрёдером, основательно пошатнулась.

Советская литература за семьдесят лет своего развития, и особенно за последние годы, накопила много способов говорить о мире и человеке с острой нравственной тревогой и разнообразно по стилю и манере. В сущности, это и доказывает Ральф Шрёдер своей книгой, написанной с большим знанием нашей литературы и искренней привязанностью к ней.

Т. МОТЫЛЕВА

[1] «Вопросы литературы», 1982, № 5, с. 67, 75.

ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Erwin Strittmatter. Grüner Juni. Eine Nachtigall-Geschichte. Berlin/Leipzig, Aufbau-Verlag, 1985.

Эрвин Штриттматтер. Зеленый июнь. Из соловьиных историй. 1985.

В июне 1945 года возвращается в родную Тюрингию Эсау Матт, уже знакомый читателям по роману Эрвина Штриттматтера «Лавка». Ему предстоит начать жизнь с нуля. Еще до войны он расстался с женой, с ней живут и двое его сыновей, хотя они «присуждены» после развода Матту. У него нет профессии, и он готов на любую работу, надеясь со временем взять детей у жены, ведущей довольно свободный образ жизни.

После долгих мытарств Матт находит работу в большом запущенном фруктовом саду в усадьбе широко образованного, тоскующего по общению с «интеллектуальными людьми» учителя Хёлера. Разглядев в Эсау Матте думающего человека, он охотно берет его к себе в помощники. Так Матт впервые за долгое время обретает покой и ведет относительно безбедное существование.

Большая часть повести «Зеленый июнь» посвящена жизни Матта у Хёлеров, в этом поистине «райском саду», где он трудится на земле, делает привычную с детства работу, но успевает читать и книги, которые дает ему Хёлер, много размышляет, беседует с хозяином и втайне продолжает мечтать о том, чтобы стать писателем.

Писать Матт начал давно, ему даже удалось кое-что опубликовать. Из-за этой его страсти он прослыл чудаком у односельчан и вызывал раздражение у жены, пока они жили вместе. Красивая, избалованная женщина не могла терпеть человека, который ради «писательства» готов был оставаться нищим до конца дней своих. «У тебя руки писаки»,— твердил ему в юности отец, а сам Матт говорил о себе: «С детства во мне было два человека — один работал, пытался жить обычной жизнью, другой пользовался каждой возможностью уйти от действительности в свой, особый мир».

Повесть «Зеленый июнь» объединяет множество самостоятельных историй. Это и воспоминания Эсау Матта о предвоенном времени, о людях, с которыми свела его судьба, о бывших друзьях, о детстве и юности, и его рассказы о войне, которая еще крепко держит его мысли и чувства. Подружившись с юной дочерью Хёлера Ханной, он рассказывает ей и ее подругам о греческом острове, на который его привели военные дороги. В этой очень поэтичной новел-

ле отразились действительность и легенда, в ней — и суровая правда войны, и... литературные исследования о Гомере. Такой же вставной новеллой выглядит история пребывания Матта во время войны в Карелии.

...Неожиданно Матт получает письмо от матери, которая долго разыскивала его. Она вернулась в родные места и зовет сына домой. И он понимает, что надо уезжать, как ни трудно ему расстаться с «райским садом», с Хёлерами, с Ханной, к которой у него нежное и чистое чувство. Младшего сына жена ему отдает, старшего тайком увозит (правда, через год, сойдясь с новым любовником, она отсылает к отцу и старшего, тот стал помехой ее личному благоденствию). С грустью прощается с Маттом Ханна, горячо полюбившая его. Как потом он узнает из письма Хёлера, в разлуке девушка заболевает нервным расстройством. И сам он переживает душевный кризис, очевидно не считая себя вправе откликнуться на просьбу Хёлера и навестить Ханну.

Только через 37 лет Эсау Матт приезжает в Гроттенштадт, где он пережил трудное, но по-своему счастливое время. Он навещает Ханну, но видит расплывшуюся, малоподвижную женщину, в которой ничего не осталось от прежней милой девушки. Она знает, что Матт стал писателем, но книги его вряд ли читала, хотя и дарила подругам. Всю жизнь она работала поварихой, теперь стала вахтером, идеалы юности утрачены без следа, и предмет ее гордости — брат, директор крупного ресторана, в котором один раз был «сам» Черчилль...

Повесть «Зеленый июнь» написана от первого лица, и в главном герое легко угадываются черты автора — много биографических совпадений, много общего в высказываниях и взглядах. Штриттматтер использует и свой излюбленный прием: повествование ведет то молодой, неопытный человек, то мы слышим голос мудрого, зрелого писателя, хорошо понимающего и знающего людей. Мы как бы читаем историю первого послевоенного года глазами человека 80-х годов, видим целое поколение молодежи, покалеченной войной и фашизмом, которая, по словам Эсау Матта, боится «дожить до третьей мировой войны». Со свойственной Штриттматтеру мягкой иронией очень лирично, ярко и сдержанно рисует писатель картину недалекого прошлого Германии.

Подзаголовок повести «Из соловьиных историй» говорит о том, что писатель относит ее тематически к циклу автобиографических рассказов «Синий соловей», но можно считать, что повесть «Зеленый июнь» продолжает традиции всей прозы Эрвина Штриттматтера — одного из самых талантливых немецкоязычных писателей.

Л. ХАРЛАП

◆

Из месяца в месяц

Австрия

ПРЕМИЯ БЮХНЕРА — ЭРИХУ ФРИДУ

Крупнейшая литературная премия ФРГ — премия имени Георга Бюхнера — присуждена в этом году известному австрийскому поэту Эриху Фриду.

Эриху Фриду — 66 лет. Он родился в Вене, в 1938 году эмигрировал в Лондон, где живет и по сей день. Около четырех десятилетий Э. Фрид проработал комментатором на радиостанции Би-би-си, а также сотрудничал с целым рядом газет и журналов. Его книги, как правило, выдерживали многочисленные переиздания. Наибольшей популярностью, отмечает австрийская газета «Фольксштимме», пользуются его поэтические сборники «Вопросы времени», «Сто стихотворений без родины», «Стихи о любви». «Образцом политической лирики», по мнению критиков, стал цикл вьетнамских стихов «...и Вьетнам и...» (1966). Советскому читателю творчество Эриха Фрида знакомо по сборнику «Из современной австрийской поэзии» (1975), альманаху «Весь свет» (1976, 1981), а также по отдельным публикациям в «Иностранной литературе» (1972, № 1; 1986, № 6; 1987, № 10).

«Для поэзии Эриха Фрида, — подчеркивает в своем решении жюри Немецкой академии языка и литературы, — характерны особый лаконизм, выразительность, а сделанные им переводы Шекспира свидетельствуют о поистине удивительном владении словом. Эту премию мы присуждаем не только Фриду-поэту, но и Фриду-гражданину, всю жизнь проявлявшему политическое мужество и бескомпромиссность».

Алжир

ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД ПАЛЕСТИНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В алжирской столице состоялся Объединительный съезд Всеобщей федерации палестинских писателей и журналистов. Арабская пресса опубликовала многочисленные отклики на это событие.

Журнал «Аль-Джадид» посвятил съезду статью, написанную главным редактором журнала, палестинским поэтом Салемом Джубраном. «Созыв этого съезда, — говорится в ней, — стал настоящим праздником для палестинцев, потому что восстановление единства федерации палестинских писателей и журналистов — дело важное само по себе. И кроме того, победа над раздробленностью в этой важной области — яркое доказательство того, что восстановление полного единства рядов Организации освобождения Палестины возможно и необходимо».

Автор статьи обращался с призывом к палестинским художникам слова: «Братья, писатели и поэты Палестины, разбросанные по востоку и западу арабской земли и лишенные самого элементарного человеческого права — права жить на своей родине, пусть ваше слово всегда будет сигналом горна, зовущим к национальному единству, пусть стоит оно на страже ценностей палестинской культуры в борьбе за национальную независимость».

Бельгия

«ВАВИЛОНСКАЯ ПРЕМИЯ» — ПОЛИГЛОТУ ИЗ БРЮГГЕ

Когда тонкому знатоку и ценителю немецкого языка, австрийскому критику Карлу Краусу, представили одного ученого словами: «Господин профессор владеет пятью языками», Краус лишь усмехнулся: «Что же это за языки, которые позволяют собою владеть одному человеку!»

Можно вообразить, как покачал бы головой венский критик, если бы ему представили фламандца Йохана Вандервалле, двадцатишестилетнего архитектора из Брюгге. Западногерманский еженедельник «Штерн» сообщает, что международное жюри присудило бельгийскому полиглоту специальную «Вавилонскую премию» — за владение двадцатью двумя языками. Живыми языками, замечает «Штерн», так как знание девяти мертвых языков, которые также изучил Вандервалле, жюри проверить не удалось. В лингвистическом багаже Вандервалле были такие экзотические языки, как древнеосманский, орхонтурецкий и чагатайский. Как сообщает «Шпигель», особый интерес вызывают у И. Вандервалле языки тюркской семьи, которые, по мнению фламандца, превосходят все языки мира красотой своей логики: «Человек интеллигентный рано или поздно будет очарован магией тюркских языков».

Лауреат «Вавилонской премии», пишет «Штерн», все же отстает от своего идеала — итальянского полиглота XIX века Джузеппе Меццофанти. По достоверным свидетельствам (не названным «Штерном»), знаменитый кардинал Меццофанти в совершенстве владел тридцатью девятью языками. Говоря на остальных сорока языках, которые он знал не так блестяще, Меццофанти «иногда допускал грамматические ошибки». Еще большую известность, иронизирует «Штерн», принесла Меццофанти его «здоровая» оценка творчества Гёте. Кардинал увидел в немецком гении всего лишь «болезненного поэта».

Болгария

«БОЛГАРСКАЯ КЛАССИКА» ПАНТЕЛЕЯ ЗАРЕВА

В софийском издательстве «Наука и искусство» увидел свет второй, заключительный, том «Болгарской классики» академика Пантелея Зарева — известного болгарского литературоведа, историка литературы (первый том вышел в прошлом году). Автор значительных трудов, таких как «Теория литературы», «Болгарская народная психология и литература», Зарев в предисловии к своей новой работе отметил, что чувствовал необходимость написания подобной книги, которая обобщила бы достижения болгарской классической литературы. Естественно, перед автором стояла сложная задача — определить, кого же причислить к классикам болгарской литературы. Он поместил в книге двадцать семь эссе крупнейших писателей Болгарии. Рецензент газеты «Литературен фронт» Е. Каранфилов отмечает определенную смелость П. Зарева в подборе имен — ведь еще недалеко то время, когда некоторым из них вовсе не находилось места на литературном Олимпе — например, поэтам Теодору Траянову и Николаю Лилиеву, отрицалась литературная значимость книг Захария Стоянова. Обосновывая свой выбор, автор в предисловии пишет, что будет вести разговор не просто о литературной классике, но о тех произведениях, которые являются определенными вехами на пути развития болгарской литературы. Особенно проникновенно П. Зарев рассказал о жизни и творчестве писателей, с которыми судьба подарила ему встречи: это Никола Вапцаров, Георгий Караславов, Димитр Талев, Эмилиан Станев. Е. Каранфилов также отмечает очерки, посвященные поэтам Христо Смиренскому и Гео Милеву, представившие непростой путь этих художников в демократическую литературу.

Венгрия

СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ КАШШАКА

Один из номеров журнала «Уй тюкёр» почти целиком посвящен выдающемуся деятелю венгерской культуры XX века, поэту и художнику Лайошу Кашшаку (1887—1967). Опубликована подборка его стихотворений разных лет, репродукции живописных работ, в критических статьях дана разносторонняя оценка его творческого пути и вклада в мировую культуру. Имя Л. Кашшака на его родине ставят в один ряд с именами таких новаторов искусства, как В. Маяковский, П. Элюар, И. Бехер, П. Неруда, Н. Хикмет. Именно Кишшаку принадлежат первые попытки найти в авангардистском течении художественную форму, адекватную пролетарскому сознанию. Благодаря энергии и таланту «отца венгерского авангарда» модернизм в Венгрии не остался на уровне «модного» течения в искусстве, а оформился в направление, которое оказало мощное влияние на развитие венгерской литературы и изобразительного искусства.

Лайош Тихани. Портрет «отца венгерского авангарда» Лайоша Кашшака (1918 г.).

(Журнал «Уй тюкёр»)

Возрождение интереса к Кашшаку-художнику началось с 60-х годов, но не на родине писателя, а за рубежом, с сожалением констатирует автор обзорной статьи — критик Отто Майор. В то время в Париже были организованы выставки его работ, часть из них и по сей день находится за пределами Венгрии. Тогда же состоялось и открытие Кашшака-поэта на его родине. Начали издавать и переиздавать произведения Кашшака, и процесс этот продолжается и по сей день. Полный текст, возможно, самого главного произведения писателя, автобиографического романа «Жизнь одного человека», был опубликован в ВНР лишь в 1983 году.

К столетнему юбилею Кашшака были осуществлены новые издания его стихов и прозы, среди них том стихотворений, иллюстрированный репродукциями картин автора, полное собрание писем, сборник критических статей. В Национальной галерее открыта юбилейная выставка, где широко освещаются все периоды и стороны творчества Кашшака-художника. Широко представлены и его «динамические конструкции», «пространственные формы на плоскости», коллажи, рекламы, плакаты, театральные декорации, книжная графика. Многие работы вернулись на родину из-за границы после длительных и настойчивых поисков. Особое внимание уделено на выставке деятельности Кашшака—издателя журналов «Тетт» («Действие») и «Ма» («Сегодня»), в свое время публиковавших представителей революционного авангарда разных стран.

ГДР

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ НА НЕМЕЦКОМ

Издательство «Фольк унд вельт» приступило к выпуску многотомного собрания сочинений замечательного советского писателя Андрея Платонова. Первый том собрания объединил семь ранних рассказов Платонова, занимающих важное место в его наследии. Достаточно назвать такие произведения, как «Епифанские шлюзы», «Ямская слобода», «Сокровенный человек», «Происхождение мастера».

«Творчество Платонова, его влияние на развитие всей советской литературы, — пишет газета, — по достоинству оценены лишь в последние десятилетия. Сегодня его герои — энтузиасты, правдоискатели и философы из русской глубинки, все те, кого сам Платонов любовно именовал «мастерами», стали нам ближе и понятнее. С волнением и симпатией мы наблюдаем за тем, как, пробужденные революцией, они постепенно приходят к осознанию «историчности» своей судьбы и берутся за нелегкое дело созидания «нового мира».

Характеры, созданные Платоновым, неоднозначны, порой противоречивы, подчеркивает «Нойес Дойчланд», черты комические и трагические, реальные и фантастические слиты в них воедино. Пути героев Платонова, определяемые их прошлым, очень разные. «Но есть в этих людях одно общее качество, которое в не меньшей степени было присуще и самому автору, — отмечает газета. — Все они стремятся трезво соотнести мечту и действительность и находят в себе мужество и силу признать свои ошибки, отказаться от ложных упований, что позволяет им в конце концов выбраться на верную дорогу».

Египет

«ДНИ» ТАХА ХУСЕЙНА НА ЯЗЫКАХ МИРА

В связи с приближающимся столетием со дня рождения классика современной арабской литературы писателя и литературоведа Таха Хусейна (1889—1973) в арабских странах и за их пределами растет количество исследований, посвященных его творческой и научной деятельности, появляется все больше переводов его произведений на различные языки.

Особое внимание исследователей и переводчиков привлекает знаменитая автобиографическая трилогия Т. Хусейна «Дни». Первая часть трилогии, в которой описывается детство слепого египетского мальчика в маленьком городке на берегу Нила (Т. Хусейн потерял зрение, когда ему было четыре года), была опубликована впервые в старейшем египетском журнале «Аль-Хиляль» зимой 1926—1927 годов. В 1929 году она вышла отдельной книгой. Вторая часть, где Т. Хусейн рассказывает о своей учебе в мусульманском университете «Аль-Азхар», вышла в 1939 году, а третья, повествующая о занятиях слепого студента сначала в Каирском университете, а затем в Сорбонне на фоне событий, связанных с первой мировой войной и египетской революцией 1919 года, была опубликована только в 1967 году.

Сразу же после выхода в свет первая часть «Дней» привлекла внимание в разных частях света. В 1932 году появляется перевод ее на английский язык, годом позже в тогдашней подмандатной Палестине она переводится на иврит. В первой половине тридцатых годов выходят также переводы на французский, немецкий и китайский языки. На русском первая часть «Дней» была впервые опубликована в 1934 году в переводе известного ученого-востоковеда академика И. Ю. Крачковского.

В настоящее время как первая, так и вторая части «Дней» переведены почти на все основные языки мира (на русском языке вторая часть трилогии вышла в 1958 году).

Третьей части трилогии, мало чем уступающей по своим художественным достоинствам двум первым, повезло меньше: до последнего времени был известен только ее перевод на испанский язык. Однако и здесь намечаются сдвиги: как сообщил журнал палестинских писателей «Аль-Катиб», недавно в Софии вышел полный перевод всех трех частей «Дней» на болгарский язык. Книгу перевела востоковед Янка Павлова, известная своими исследованиями в области арабской литературы и ислама. Ей же принадлежит большая вступительная статья, предпосланная книге.

Индия

КОНФЕРЕНЦИЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРДУ

На прошедшей в Дели в рамках АППИ (Ассоциации прогрессивных писателей Индии) конференции литераторов, пишущих на урду, наряду с литературными проблемами нашла свое отражение проблема сохранения и развития языка урду, которая в последние годы все чаще включается в комплекс проблем общинных меньшинств. Газета «Хиндустан таймс» приводит слова председателя оргкомитета конференции, бывшего посла Индии в СССР И. К. Гуджрада, который сказал на открытии конференции: «Проблема урду и хинди не должна рассматриваться в противопоставлении одного языка другому». Отдавая должное значению языка хинди в национальной жизни страны, он отметил, что в свою очередь «урду как язык большого региона страны и один из разговорных языков делийцев должен занять подобающее ему место».

Выступавшие на конференции подчеркнули, что в связи с обострением межобщинных разногласий необходимо повышение роли писателей Индии в борьбе против коммунализма и обскурантизма.

В конференции участвовали все видные писатели и поэты урду: Сардар Джафри, Х. А. Аббас, Маджрух Султанпури, Исмат Чугтаи, К. У. Хайдар, Гулам Раббаи Табан, К. С. Дуггал и другие, а также представители Пакистана, ФРГ, Франции, СССР.

Газета «Пэтриот» особо выделила выступление известного писателя из Пакистана Абида Хасана Манто, который своим приездом в Дели бросил вызов запрету Исламабада участвовать в этой конференции. Он сказал: «Борьба за мир, против неоколониализма является общим делом народов Индии и Пакистана. Перед писателями этих стран стоит важная задача — разъяснять своим народам, что обстановка враждебности между ними создается внешними империалистическими силами и теми, кто поддерживает эти силы внутри обеих стран».

Италия

АРЧИМБОЛЬДО: ИСТОКИ И ОТГОЛОСКИ

Большой интерес общественности и художественной критики вызвала состоявшаяся

Арчимбольдо. Автопортрет.
(Журнал «Панорама»)

в венецианском Палаццо Грасси первая ретроспективная выставка работ Джузеппе Арчимбольди (1527—1593), известного также под именем Арчимбольдо, пишет журнал «Панорама».

Значительная часть жизни художника прошла за пределами родной Ломбардии. Служа в 1562—1588 гг. при дворах Габсбургов в Вене и Праге, он делал копии известных картин, театральные декорации и маскарадные костюмы, оформлял празднества и карнавальные шествия. Создатель фресок и гобелена для собора в г. Монца, эскизов витража для Миланского собора, в историю искусства Арчимбольдо вошел прежде всего как живописец-маньерист, автор оригинальнейших портретов - натюрмортов — гротескных человеческих фигур, составленных из плодов, растений, элементов ландшафта, всевозможных предметов.

Арчимбольдо. Осень.
(Журнал «Панорама»)

В подготовке выставки приняли участие видные специалисты по истории культуры, призванные всесторонне осветить эпоху, в которую творил Арчимбольдо, выявить истоки его фантазий (материалы этих изысканий вошли в специальный каталог). «Картины Арчимбольдо, чья деятельность совпала по времени с последним расцветом натурфилософии, отмечены влиянием натурфилософских представлений о параллелизме микро- и макрокосмоса, о соответствиях элементов Вселенной — планет, растений, животных, частей человеческого тела»,— напоминает в журнале «Панорама» Омар Калабрезе. «Воображение Арчимбольдо-портретиста стимулировали использовавшиеся в карнавальных новогодних шествиях гротескные фигуры и огромные сооружения из бутафорских яств — наивное «колдовство» простонародья, мечтавшего о сытой жизни в наступающем году»,— отмечает в «Туттолибри» Клаудио Савонуцци.

Специалисты полагают, что фантазии Арчимбольдо могли быть навеяны ломбардской пейзажной традицией, фламандскими и немецкими натюрмортами, «Карикатурами» Леонардо да Винчи. Помимо 13 картин и 165 рисунков Арчимбольдо, а также 14 сделанных им копий на выставке экспонировались и произведения художников, влияние которых он мог испытать (в том числе полотна Леонардо, Дюрера, Пармиджанино). Как видно из названия выставки — «Эффект Арчимбольдо. Трансформация лица в XVI и XX веках»,— ее устроители хотели продемонстрировать разнообразие тенденций гротескного изображения человеческого лица. Были выставлены работы французских графиков Ж. Калло (XVI в.), О. Редона и Ж. Гранвиля (XIX в.), картины представителей различных направлений авангардистской живописи XX века (у сюрреалистов ориентация на Арчимбольдо была сознательной) — П. Пикассо, С. Дали, К. Малевича, Дж. Де Кирико, Р. Магритта, Мана Рэя, Э. Уорхола, Р. Лихтенстайна.

РОМАН ОБ ИТАЛЬЯНЦАХ В РОССИИ

Новый роман известного литератора, активного деятеля ИКП Марио Спинеллы «Письмо из Купянска», вышедший в издательстве «Мондадори», повествует об участи итальянцев, мобилизованных в годы второй мировой войны на «русский фронт» и проделавших путь от Падуанской равнины до маленького городка на Украине, откуда месяцы спустя, после разгрома фашистских войск под Сталинградом и контрнаступления советских войск, начнется их беспорядочное трагическое отступление.

Неодинаковы социальное положение, жизненный опыт, политические взгляды этих людей, среди которых есть и фанатичные приверженцы фашистской идеологии, и пассивные исполнители, пишет газета «Унита». По-разному зарождается и зреет в них понимание того, что они участвуют в несправедливой, захватнической войне, крепнет и чувство уважения и симпатии к защищающим свою землю советским людям. «Отсутствие среди многочисленных героев книги «протагонистов» и «статистов», какого-то одного доминирующего мотива сближает книгу, разбитую на множество мелких главок, с «романом-хроникой», — считает рецензент газеты «Стампа» Клаудио Марабини. Но центральный герой в книге все-таки есть. Это сержант Тримбали, коммунист-интеллектуал, преподававший до войны в Гейдельбергском университете и призванный в армию в качестве переводчика — замкнутый, романтичный и в то же время способный к решительным действиям (антифашистская пропаганда, помощь русским партизанам).

Образ Тримбали во многом автобиографичен, однако это — лишь одна из нескольких авторских ипостасей, предстающих перед читателем на страницах романа, отмечает критик Джан Карло Ферретти в газете «Унита». Так, Повествователь — первоначально всеведущий демиург, ловко манипулирующий многочисленными нитями повествования, — затем, потеряв уверенность в собственной объективности, сам оказывается участником живописуемых им событий, а Тримбали, который вначале был одним из героев, продолжает рассказ от первого лица. Окончательное отождествление авторских ликов (еще один из них обозначен инициалами автора— М. С.) совершается в финале.

«Письмо из Купянска», — заключает К. Марабини, — принадлежит к числу лучших произведений итальянских писателей о войне. Пронизывающий его дух гражданственности, проникновенность авторской интонации ставят этот роман в один ряд с книгами Примо Леви, Марио Ригони Стерна, Марио Тобино».

Недавно книга М. Спинеллы получила премию Виареджо — одну из самых престижных в Италии литературных премий.

Кения

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ АФРИКАНСКОГО ФИЛИАЛА

21-я годовщина основания издательства «Хайнеман Кения» совпала с другим знаменательным событием — получением этим издательством финансовой самостоятельности. Переговоры о предоставлении контрольного пакета акций издательства кенийцам велись восемь лет и в конце концов увенчались успехом. В соответствии с подписанными соглашениями «Хайнеман Кения» становится первой из дочерних фирм транснациональной издательской корпорации «Хайнеман», получивших возможность самостоятельно решать свои финансовые дела и проводить собственную издательскую политику. Одновременно «Хайнеман Кения» становится единственным распространителем книг корпорации в Восточной Африке.

Как заявил директор издательства Генри Чакава, «Хайнеман Кения» выпускает в настоящее время около 60 книг в год, что составляет половину книжной продукции, издаваемой в Кении. 90% ее приходится на книги, написанные кенийскими авторами.

Китай

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ПУШКИНА

По свидетельству журнала «Шицзе вэньсюэ» («Мировая литература»), Пушкин давно стал в Китае одним из самых любимых зарубежных авторов. Первые переводы произведений великого русского поэта появились в Китае в 1903 году. Однако и долгое время спустя переводились лишь отдельные его стихотворения, публикации были редкими и обычно приурочивались к юбилею поэта.

С 1949 года, продолжает обозреватель журнала, началась систематическая работа по переводу Пушкина на китайский язык. В 50-х годах в Китае были изданы все основные произведения, которые с тех пор пользуются в стране неизменным читательским спросом.

1987 год, год 150-летия со дня смерти поэта, китайское издательство «Народная литература» отмечает выпуском последнего, седьмого, тома собрания сочинений Пушкина. В это собрание входят стихи, поэмы, драматические произведения, проза. В последнем томе публикуются критические статьи, письма, заметки. Многое из включенного в собрание сочинений публикуется в Китае впервые. «Пушкин, — подчеркивает журнал «Шицзе вэньсюэ», — это великий поэт, просветитель, мыслитель. Его произведения давно перешагнули все государственные и языковые границы. Для китайских ценителей поэзии произведения Пушкина и особенно его стихи стали одним из образцов высокой художественности и красоты».

Куба

ИНТЕРВЬЮ С МИГЕЛЕМ БАРНЕТОМ

Газета «Гранма» опубликовала интервью с известным кубинским писателем и этнографом Мигелем Барнетом, которое он дал в связи с выходом в свет его нового романа «Подлинная история жизни Хулиана Месы» в испанском издательстве «Альфагуара».

Это произведение, по единодушному мнению испанской и кубинской критики, явилось значительным событием в литературной жизни Кубы. Мигель Барнет (см. о нем «ИЛ», 1983, № 6 и 1984, № 9) снискал широкую популярность как поэт (за книгу «Святое семейство» он был удостоен премии «Каса де лас Американас» в 1967 году), как романист, публицист и собиратель фольклора. Его произведения переведены на многие языки.

«В 1966 году, — рассказывает М. Барнет в интервью корреспонденту газеты, — появился мой роман «Биография невольника», который сейчас переведен на 18 языков, выдержал 40 изданий. Он положил начало моей многолетней работе над созданием тетралогии, включившей еще три документальных в своей основе романа — «Песня Ракель» (1969), «Галисиец» (1983) и «Подлинная история жизни Хулиана Месы». Эти три книги объединены затронутыми в них этническими проблемами».

«Новый роман «Подлинная история жизни Хулиана Месы», замысел которого возник в 1982 году, — продолжает М. Барнет, — посвящен наболевшей социальной проблеме Латинской Америки — судьбам кубинских, а также других эмигрантов из стран Карибского региона, живущих ныне в США. Эта книга, касающаяся этнического аспекта эмиграции, завершает тетралогию. Она была написана в Нью-Йорке на основе моих наблюдений за жизнью двенадцати стариков-эмигрантов на чужбине. Сердцевину сюжета составила история мулата-кубинца Хулиана Месы, попавшего на Кубе времен Батисты в тенета расовой дискриминации и нищеты и эмигрировавшего в поисках счастливой доли в США. Там он, как и большинство его соотечественников, не смог адаптироваться к чуждому образу жизни и был обречен на голод, бесправие и тоску по родине».

М. Барнет рассказал также, что собирается написать книгу автобиографического характера, навеянную памятью сердца. «Мне хочется написать об истории моей семьи и о себе как представителе поколения кубинцев, воспитанных в мелкобуржуазной среде, где были устойчивы религиозные традиции и насаждалась вера в существование необъяснимых, сверхъестественных чудес... Однако единственным неподдельным чудом, которое я встретил на своем жизненном пути, явилась преобразившая мою маленькую страну революция 1959 года. И можно сказать, именно благодаря ей состоялось мое рождение как писателя».

Нигерия

НИЙИ ОСУНДАРЕ — ЛАУРЕАТ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ СОДРУЖЕСТВА

Нигерийский поэт Нийи Осундаре стал лауреатом литературной премии Содружества в области поэзии за 1986 год, поделив ее с индийцем Викрамом Сетхом (ежегодная премия авиакомпании «Бритиш эруэйз» составляет шесть тысяч фунтов стерлингов). Международное жюри, сформированное при Институте содружества наций (Лондон), отдало предпочтение этим поэтам, рассмотрев поэтические произведения около пятисот участников конкурса — представителей разных стран мира, пишущих стихи на английском языке.

Н. Осундаре, преподаватель английского языка Ибаданского университета, известен в Нигерии как поэт, автор четырех сборников стихов, и литературный критик — ведущий еженедельной поэтической странички в одной из нигерийских газет. Премии был удостоен его последний сборник — «Око Земли» (Ибадан, «Хайнеман эдьюкейшнл букс»), посвященный проблемам духовных исканий африканского интеллигента.

США

ИСТОРИЯ И ВЫМЫСЕЛ

Новый роман Гора Видала, как и его предыдущие произведения — «Бэрр», «Линкольн», «1876», — посвящен историческому прошлому Соединенных Штатов Америки. В «Империи» Видал остается верен своей манере: вымышленные факты соседствуют с конкретными событиями золотого века республики, которая при Т. Рузвельте начала заявлять о своих притязаниях на роль сверхдержавы, вымышленные персонажи соседствуют с реальными историческими лицами. Такими, к примеру, как король желтой прессы Уильям Рэндольф Херст, который заявляет Рузвельту: «Подлинная история — это в конце концов самая настоящая выдумка». Как замечает рецензент журнала «Ньюсуик» Дэвид Гейтс, это довольно эксцентричная оценка и самой попытки парадоксалиста и сатирика Видала «реанимировать американское прошлое». Несмотря на большой объем — почти пятьсот страниц! — роман, по отзыву рецензента, безусловно, «хорошее чтение для массового читателя, хотя повествование развивается беспорядочно, — впрочем, как и сама история».

В центре книги — жизнеописание Кэролайн Сэнфорд. Она помолвлена с сыном госсекретаря при Рузвельте, Джона Хэя. Сводный брат Кэролайн, Блейз, которого опекает Херст, отсуживает у нее наследство, но она за гроши покупает захиревшую газетенку и делает ее достойной конкурентной продукции Херста. Жених Кэролайн погибает; после неудачного романа с конгрессменом, от которого она ждет ребенка, Кэролайн выходит замуж за своего кузена, адвоката Джона Сэнфорда. Среди действующих лиц — друзья Джона Хэя, писатели Генри Джеймс и Генри Адамс. «Их появление на страницах романа, — пишет Д. Гейтс, — сообщает ему некий метахудожественный характер, ибо роман, чьими персонажами они являются, служит скрытым комментарием к их собственным произведениям». Кэролайн — зеркальное отражение женских образов, созданных Джеймсом: она, в отличие от своих «антиподов», воспитана на европейской культуре, одержима «американскими идеалами». Генри Адамсу, напоминает критик, принадлежит роман «Демократия», героиня которого, Лайтфут Ли, как и Кэролайн, честолюбива и добивается влияния в определенных политических кругах. За ней тоже ухаживает кузен-адвокат. Но если миссис Ли отвергает его, поскольку он не гнушается никакими средствами в достижении своих целей, то Кэролайн не волнует «нравственная сторона» дела.

Гор Видал достоверен в исторических деталях, описывает немало важных событий, но в конечном счете «Империя», по мнению Д. Гейтса, — экстравагантный бурлеск, в котором история — предмет игры: «Может, кто и будет разочарован, скажет: подлинному роману нужны подлинные страсти. Но читатели все равно согласятся, что повествование Видала развлекательно, и даже весьма».

Того

ПРОБЛЕМЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА

«Тоголезские писатели печатают свои книги в европейских издательствах или в их африканских филиалах», — констатирует журнал «Африкэн бук паблишинг рекорд», посвятивший одну из своих статей проблемам издательского дела в Того. Цены на бумагу и типографское оборудование, ввозимые из Европы, довольно высоки, и зачастую издательства не могут окупить затраты на подготовку книги, что делает издание художественных произведений довольно рискованным предприятием. Так, государственная издательская фирма «Эдитого» отказалась от публикации художественной литературы и ограничилась выпуском периодики, политической литературы и учебников — той печатной продукции, реализация которой гарантирована.

Одним из факторов, тормозящих спрос на художественную литературу в Того, является многоязычие. Массовый читатель недостаточно хорошо знает французский — государственный язык страны, а читательская аудитория литератур на местных языках довольно ограничена.

И все же в Того есть и читательская аудитория, и художественная литература. Старейшиной писательского цеха в Того по праву считается Феликс Кушоро, который издал первый роман в 1929 году, а в 60-е годы получил широкую известность и благодаря своим повестям, «печатавшимся с продолжением» в центральной прессе, отмечает обозреватель журнала. К числу наиболее известных современных авторов относятся И. Э. Догбе, С. А. Зинсу и В. Я. Аладжи. Последний стал одним из инициаторов создания в столице Того г. Ломе нового издательства «Хахо» («Для всех»), призванного осуществлять публикацию художественных произведений и научных трудов тоголезских авторов. В число выпущенных и готовящихся к изданию в «Хахо» книг входит «История Того», написанная Э. К. Паку на языке эве (первое в стране издание), роман Ж. М. Бениссана «Водоворот», социологическое исследование К. М. Куакуви, посвященное анализу европейских представлений об Африке, собрание фольклора «Сказки и мифы Того».

Изданные книги расходятся тиражами от двух до четырех тысяч экземпляров — цифры для трехмиллионного Того обнадеживающие, пишет «Африкэн бук паблишинг рекорд». Есть и надежда, что с совершенствованием книготорговой сети в Того и расширением книжной торговли с соседними странами — Камеруном, Сенегалом и Берегом Слоновой Кости — тиражи удастся существенно повысить.

Тунис

«АРАБСКАЯ КУЛЬТУРА ТУНИСА»

Как сообщает журнал «ИБЛА», тунисское издательство «Ад-Дар ат-тунисийя ли-н-нашр» опубликовало книгу виднейшего египетского критика и публициста Гали Шукри «Арабская культура Туниса». «Восточные арабы, как известно, — пишет автор рецензии в журнале, — незнакомы с Тунисом, так как он не является производителем нефти, и они зачастую открывают для себя эту страну лишь после того, как побывают в Париже». Через Париж познакомился с Тунисом и Гали Шукри, живший некоторое время во Франции.

В первой части своей работы Г. Шукри дает общий очерк культурной жизни Туниса, сообщая о количестве издающихся там книг, публичных библиотеках, политике в области культуры, истоках тунисской цивилизации, культурном наследии. Во второй части исследуется эпоха тунисского Возрождения (вторая половина XIX — начало XX века) в сравнении с Возрождением в Египте. В ней рассказывается о выдающихся тунисских просветителях и реформаторах, таких как Бен Дияф, Хайреддин, Тахир Хаддад, Т. Бен Ашур.

В заключительной части книги рассматриваются культурные проблемы Туниса после обретения им независимости.

Турция

НОВЫЕ ЭКРАНИЗАЦИИ

Успех турецкого кино последних десятилетий неразрывно связан с достижениями турецкой реалистической прозы. Достаточно сказать, что видный турецкий кинематографист Йылмаз Гюней, скончавшийся два года назад в Париже, известен в Турции прежде всего как прозаик, он — автор шести романов, лауреат премии имени Орхана Кемаля.

Один из педагогов Гюнея, режиссер Атыф Илмаз, после фильма «Ее зовут Васфие», получившего несколько международных премий, поставил картину «Ах, Белинда!» по сценарию молодого, но уже завоевавшего признание писателя Барыша Пирхасана. «Главная тема фильма,— пишет стамбульский журнал «Нокта»,—

Актриса Мюжде Ар в фильме «Ах, Белинда!».

(Журнал «Нокта»)

положение женщины в современном турецком обществе». Сейчас Атыф Илмаз работает над экранизацией романа известного прозаика Решада Нури Гюнтекина (1889—1956), чьи книги переведены на многие языки (его роман «Птичка певчая» издавался на русском языке трижды).

Финляндия

В ВОЛШЕБНОМ МИРЕ ТУВЕ ЯНССОН

Издательство «Шильдтс» выпустило книгу Тордис Эрьясетер «Встречи с Туве Янссон». Это небольшое исследование жизни и творчества шведской писательницы Туве Янссон, которая сама же и оформляет свои повести-сказки. Оно написано ясно и занимательно, отмечает Суви Ахола, рецензент газеты «Хельсингин саномат». Что принесло Туве Янссон известность? Конечно, ее знаменитые мумитролли! А как появились на свет муми-тролли? Ответ на этот вопрос автор книги пытается найти в биографии Туве Янссон. Кстати, исследователь рисунков писательницы Туве Холландер в свое время обратила внимание читателей на то, что образы муми-троллей менялись с течением времени.

В книге подробно рассказывается о студии родителей Туве (отец ее был скульптором, мать — художницей), где прошло ее детство. Немало места отведено общей панораме жизни страны в 20-е годы нынешнего столетия. Такой историко-литературный подход к теме, считает рецензент, позволяет узнать о многом, особенно юному читателю. И хотя книга не предназначена специально для детей, она вполне для них подходит.

Ревность маленькой Туве к своему новорожденному брату, ее интерес к всевозможным таинственным происшествиям, трудности школьной жизни — все это позднее нашло воплощение в истории муми-троллей, замечает С. Ахола. Из домашнего обихода и быта семьи

в книгу попали и некоторые предметы: изразцовая печь в доме, стеклянный шарик в саду, ящик виски, который нашли в море...

Наиболее интересны, по мнению рецензента, те главы книги, где рассказывается о жизни Туве Янссон с художницей Туулики Пиэтиля на одном из скалистых островов Финского залива. Здесь на страницы «Встреч...» словно врывается морской ветер, истории о том, как Туве боялась темноты, о ее дружбе с морскими птицами написаны так же волшебно, как мемуары папы муми-тролля, считает С. Ахола.

Вместе с тем книга Т. Эрьясетер достаточно непритязательна, заключает рецензент. Это всего лишь эскиз к биографии писательницы, дополняющий ее собственные мемуары, которые она назвала «Дочь скульптора».

Туве Янссон в окружении своих героев. Рисунок автора.

(Газета «Хельсингин саномат»)

Франция

«КРОВЬ С ВОДИЦЕЙ»

Действие нового романа популярной французской писательницы Франсуазы Саган «Кровь с водицей», как и предыдущей ее книги «Уставший от войны» (см. «ИЛ», 1986, № 9), происходит во времена фашистской оккупации. Литературный обозреватель парижской газеты «Монд» Бертран Пуаро-Дельпеш, посвятивший роману большую критическую статью, ставит его в один ряд с другими, тематически близкими ему произведениями последних лет. «Военная тема,— пишет Б. Пуаро-Дельпеш,— вновь, после тридцати лет непонятного молчания, возникает на страницах французских романов, авторы которых родились уже после войны или пережили ее в детстве».

«Пример Саган в этом смысле показателен,— отмечает обозреватель.— Когда в 1954 году вышел в свет ее первый роман, еще не прошло и десятка лет со времен Сопротивления, еще не завершился суд над нацистскими преступниками, зато уже разразились новые войны в колониях». Однако «светских героев» Саган меньше всего заботили эти события, они «наблюдали, как тают льдинки в стакане воды»...

Герой последнего романа, Константин фон Мекк, кинорежиссер, работающий в фашистской Германии, приезжает на съемки в оккупированную Францию. Вначале, рассказывает Б. Пуаро-Дельпеш, он пытается лихорадочной деятельностью заглушить мучительную тоску, затем брезгливо отворачивается от политики, войны, крови и грязи. В Экс на берегу моря фон Мекк начинает снимать фильм по «Пармской обители». Однако высокое искусство не спасает героя от страшной реальности, от времени, неумолимо делящего людей на палачей и жертв, героев и предателей. Бывшая жена Константина, Ванда Блессек, готовит побег известного физика-атомщика к союзникам, секретарь режиссера, цыган Романо, взрывает поезд и попадает в руки гестапо. И Константин убивает Романо, чтобы избавить его от пыток, а затем пускает и себе пулю в лоб.

«Можно ли считать последние романы Саган началом принципиально нового периода в ее творчестве?» — задается вопросом Б. Пуаро-Дельпеш. Он полагает, что выносить такое суждение преждевременно.

«ВСПОМИНАТЬ И ЖИТЬ»

«Юрий Трифонов (1925—1981) — одно из крупнейших имен в истории русской литературы второй половины XX века. Роман «Время и место», оконченный в декабре 1980 года и опубликованный после смерти автора, в полной мере выражает свойственную ему беспощадность писательского анализа и верность высокой нравственной позиции»—так предваряет журнал «Кензен литтерер» статью известного критика-русиста Кристиана Муза, откликнувшегося на выход книги в свет во французском переводе (издательство «Галлимар»).

Цитируя «простую и обжигающую» мысль Трифонова: «Вспоминать и жить— это цельно, слитно, не уничтожаемо одно без другого», — К. Муз дает емкую, сжатую до нескольких печатных строк оценку творчества прозаика: «Время и место» — роман о всеобъемлющей памяти. Памяти и мучительной жизни общества и людей. Трифонов не делает никаких уступок

времени и обществу, от которых никогда себя не отделял, считая, что его главная задача — докопаться до правды и рассказать ее. Без идеологически направленного комментария. Просто рассказать. Призвав на помощь все свое искусство. И какое искусство!»

Называя лучшие, по его мнению, главы романа — «Пляжи тридцатых годов», «Конец зимы...», «Переулок за Белорусским вокзалом», «Время и место», — критик подчеркивает адекватность отображения Трифоновым-художником большой исторической правды, мощь его «запутанного, но филигранного сюжетосложения», а также пристальное внимание к точной бытовой детализации, скупой и ясный язык его прозы.

Важнейшее достоинство писателя очевидно, отмечает К. Муз,— в написанных им книгах «он показывает нам «свое место и время», о которых «не боится говорить, не боится их неумолимых примет».

Отдавая дань этому человеческому и творческому подвигу Юрия Трифонова, французский критик заключает статью «знаменательными, итоговыми», на его взгляд, словами романа «Время и место»: «... Москва окружает нас, как лес. Мы пересекли его. Все остальное не имеет значения».

ФРГ

ПРОЗА И ПИСЬМА ПАСТЕРНАКА

В Западной Германии опубликованы новые переводы автобиографической прозы и переписки Бориса Пастернака, сообщает еженедельник «Цайт». Полностью, без сокращений выпустило издательство «С. Фишер» автобиографическую повесть Пастернака «Охранная грамота» (1931). «Наряду с реальностью, воссозданной в прозе, читатель откроет для себя еще одну реальность — внутреннюю, поэтическую, философскую», — отмечает рецензент Ф. Ингольд, подчеркивая огромную значимость этого «виртуозного описания поэтического самосознания» для читателя, стремящегося проникнуть «во вселенную творчества Пастернака».

«Определяющим для поэтики Пастернака, посвятившего свою жизнь «познанию истины», является вера в то, что творения высокой поэзии вовсе не подчинены реальности, а сопричастны ей, — пишет Ф. Ингольд. — По мысли Пастернака, художник как избранник муз во взаимодействии с бытием создает нечто большее, чем само бытие».

Впервые на немецком языке в издательстве «Инзель» опубликованы письма до-

Ольга Фрейденберг. Редкий снимок.

(Еженедельник «Цайт»)

чери М. И. Цветаевой — Ариадны Эфрон к Пастернаку. Рецензент отмечает, что в этих письмах поэту из ссылки 1948—1957 годов нет ни слова жалобы на всесилие каждодневного зла — но одна лишь боль разлуки с упорным творческим трудом. Ариадна Эфрон пытается не пасть духом, устоять ради Пастернака, «живя его жизнью и светом». Поэт же принимает на себя мученичество творчества для того, чтобы созданная в этих муках красота облегчала страдания, которые несет людям действительность. В сборник включены и двенадцать ответов Пастернака Ариадне Эфрон.

Также впервые познакомились немецкие читатели с перепиской Пастернака и его двоюродной сестры Ольги Фрейденберг 1910—1954 годов (книгу выпустило издательство «С. Фишер»). Ф. Ингольд подчеркивает, что эти письма представляют интерес не только для биографов, ибо в переписке ведется напряженный, полный драма-

Борис Пастернак. Редкий снимок.

(Еженедельник «Цайт»)

тизма диалог о проблемах поэзии и поэтики, философии и искусства, истории и мифологии и — вновь и вновь — о взаимосвязях творчества и действительности, литературы и жизни.

«ГОЛУБЬ»

Новую повесть Патрика Зюскинда «Голубь» издательство «Диогенес» выпустило сразу 100-тысячным тиражом, и она разошлась за несколько дней.

Это рассказ всего об одном дне из жизни ничем не примечательного охранника банка Жонатана Ноэля. Ему за пятьдесят, жизнь его предельно однообразна, но он надеется «прожить без событий» до конца своих дней. Целыми днями Ноэль стоит на мраморной ступеньке у входа в банк. Он подсчитал, что «до пенсии должен будет простоять так 1075 часов».

Жизнь этого «человека-машины», как называет его автор, может показаться пугающе скучной. Однако у его «страха перед событиями» есть своя предыстория. Мальчиком, во время войны, Жонатан пережил тяжелое потрясение: он лишился родителей, их отправили в концентрационный лагерь. От этой травмы он не смог оправиться и десятки лет спустя. С трудом наладив свою жизнь, Ноэль старается ничего в ней не менять. У него надежное место, крыша над головой, он каждый день в одно и то же время идет на службу одним и тем же путем.

И вот однажды летним утром незначительное событие выбивает его жизнь из накатанной колеи. Проснувшись, Жонатан обнаруживает в коридоре на полу случайно залетевшего к нему голубя. Голубь спокойно смотрит на него, и этот взгляд приводит Ноэля в странное смятение. Может быть — потому, что за окном гремит гроза, а с грозой у него связано воспоминание об исчезновении родителей. В состоянии, близком к паническому, Ноэль отправляется на работу, и там все у него идет вкривь и вкось. Вечером он уже близок к мысли о самоубийстве. Новая гроза отрезвляет его. Он возвращается домой — голубь исчез. Жизнь продолжается.

Эта небольшая книга, написанная в жанре классической повести, читается как «притча о страхе перед жизнью», отмечает журнал «Шпигель». Рецензент еженедельника «Цайт» Беньямин Хенрихс называет повесть Зюскинда «безупречно сконструированной, блестяще написанной», но упрекает автора в том, что он «слишком объясняет своего героя, не оставляя никакой загадки». «Книга полна напряжения, но лишена тайны»,— считает он.

Между тем сразу же после выхода «Голубь» оказался на одном из первых мест в списке бестселлеров.

Ряд зарубежных издательств уже приступает к выпуску переводных изданий книги.

Швейцария

«ПЕТУШОК НА БАШНЕ»

«Заглавие новой книги Адольфа Мушга сулит идиллию, — пишет в еженедельнике «Вельтвохе» критик Клара Обермюллер, — ведь башенный флюгер в виде петушка — примета романтических старинных замков. Однако эти рассказы далеки от идиллии и от романтического уюта. Если в них и есть романтика, то она оборачивается здесь больше своей страшной стороной».

У книги известного швейцарского писателя, выпущенной издательством «Зуркамп», есть подзаголовок: «Любовные истории». Рецензент газеты «Франкфуртер альгемайне» Юрген Якобс напоминает, что под таким названием Адольф Мушг еще в 1974 году опубликовал сборник рассказов. Действительно, у обеих книг есть нечто общее: они не повествуют о «блаженстве любви», в них нет «счастливых концов».

Вот, например, история робкой, потаенной любви женщины к рано умершему почтовому служащему — история чувства, наложившего отпечаток на всю жизнь несчастной героини. Или миниатюра о старой эмигрантке-австриячке, живущей теперь в Новой Зеландии. Хотя выяснилось, что адресатом ее любовных писем юных лет был ее собственный отец, душа женщины свободна от горечи и ненависти. «А все-таки я любила» — вот в чем находит она утешение.

Последний рассказ — история семьи, близкой к распаду. Мушг не доводит ситуацию до катастрофы, в финале появляется надежда на примирение супругов. «Чувствуется, — пишет рецензент «Франкфуртер альгемайне», — что при всем своем скепсисе Мушг не утратил веры в живительную силу любви. Рассказы Мушга, — продолжает критик, — богаты тонкими нюансами, что вообще характерно для работ этого писателя. — Он не все договаривает до конца. Ему ведомо, что скромность добродетельна, и он знает, что мотивы человеческих поступков не всегда можно объяснить».

Швеция

Известный шведский режиссер Ингмар Бергман поставил на сцене стокгольмского театра «Драматен» трагедию У. Шекспира «Гамлет». «Я давно мечтал об этой постановке, но только сейчас нашел исполнителя главной роли», — сказал режиссер в интервью газете «Афтонбладет». Роль принца датского исполняет молодой актер Петер Стурмаре.
На снимке: сцена из спектакля.

(Газета «Афтонбладет»)

ЮАР

В ЗАЩИТУ МАНДЕЛЫ

В парижском издательстве «Галлимар» вышла книга «В защиту Нельсона Манделы», посвященная борьбе южноафриканского народа против апартеида и расовой дискриминации. В нее вошли поэмы, очерки и пьесы известных писателей и драматургов: Ж. Амаду, М. Дюра, Н. Гордимер, С. Зонтаг, М. Тлили, М. Бланшона, Х. Гойтисоло, Х. Мюллера. Французский еженедельник «Кензен литтерер» оценивает выход этой книги как «беспрецедентное событие в истории литературы», отмечая «актуальность проблематики сборника и блестящий состав авторов».

Произведения, вошедшие в книгу, различны по жанрам, но объединены стремлением утвердить торжество принципов гуманизма и социальной справедливости на «черном континенте». «Существование апартеида в наши дни — трагическая нелепость. Народу ЮАР должны быть возвращены его законные права, борьба за это составляет смысл нашего труда», — подчеркивает один из составителей книги, Доминик Лекок. Именно по его инициативе в редакции «Кензен литтерер» в прошлом году была организована встреча видных деятелей культуры Франции, Англии, США, стран Африки и Латинской Америки, выступивших с требованием ликвидации режима Претории и немедленного освобождения Нельсона Манделы. Итогом встречи явилось учреждение Международного движения солидарности с южноафриканским народом. Тогда же родилась идея создания сборника «В защиту Нельсона Манделы». Книга вызвала широкий резонанс не только во Франции, но и в других странах. Деятельность Международного движения солидарности приветствовали и поддержали, в частности, лауреаты Нобелевской премии С. Беккет и В. Шойинка, англоязычный прозаик С. Радши, писательница ГДР Криста Вольф и многие другие.

◆

Уважаемые читатели!

Публикуя эту анкету, мы надеемся, что ответы на нее помогут нам сделать журнал более содержательным и интересным, более созвучным переменам, происходящим в духовной жизни нашего общества.

1. Какие произведения художественной прозы за 1986 и 1987 годы привлекли ваше внимание? Почему? Какие публикации не вызвали у вас интереса?

2. Какого вы мнения о наших поэтических публикациях? Стихи каких зарубежных поэтов хотели бы вы прочесть на страницах журнала?

3. Какие публикации в разделах публицистики и документальной прозы вы сочли наиболее (или наименее) удачными? Почему? Какого рода выступления по проблемам идеологии и культуры вы хотели бы видеть на страницах «ИЛ»?

4. Как часто читаете вы литературную критику? Что вас больше (или меньше) заинтересовало в критических публикациях последних двух лет? Чего недостает, с вашей точки зрения, этому разделу журнала?

5. Устраивают ли вас традиционные рубрики журнала и расположение материалов?

Редакция будет благодарна и за другие ваши замечания и пожелания.

В ответе просим указать ваш возраст, профессию, пол, образование, а также сообщить, не будете ли вы возражать, если мы используем ваши соображения в очередном обзоре читательской почты.

Редакция «ИЛ»

В следующем номере:

Повесть
Кристы Вольф (ГДР) «Авария»

Интервью
с американским физиком-атомщиком
Т. Тейлором

Писатели мира отвечают
на вопросы «Иностранной литературы»
(с послесловием Виталия Коротича)

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Т. П. ГРИГОРЬЕВА**, **Ю. В. ДАШКЕВИЧ**, **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ**, **Я. Н. ЗАСУРСКИЙ**, **Г. П. ЗЛОБИН**, **И. Ф. ЗОРИНА**, **Т. П. КАРПОВА**, **Е. Ф. КНИПОВИЧ**, **А. А. КОСОРУКОВ**, **Т. Л. МОТЫЛЕВА**, **П. В. ПАЛИЕВСКИЙ**, **В. С. ПЕРЕХВАТОВ**, **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ**, **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев**. Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

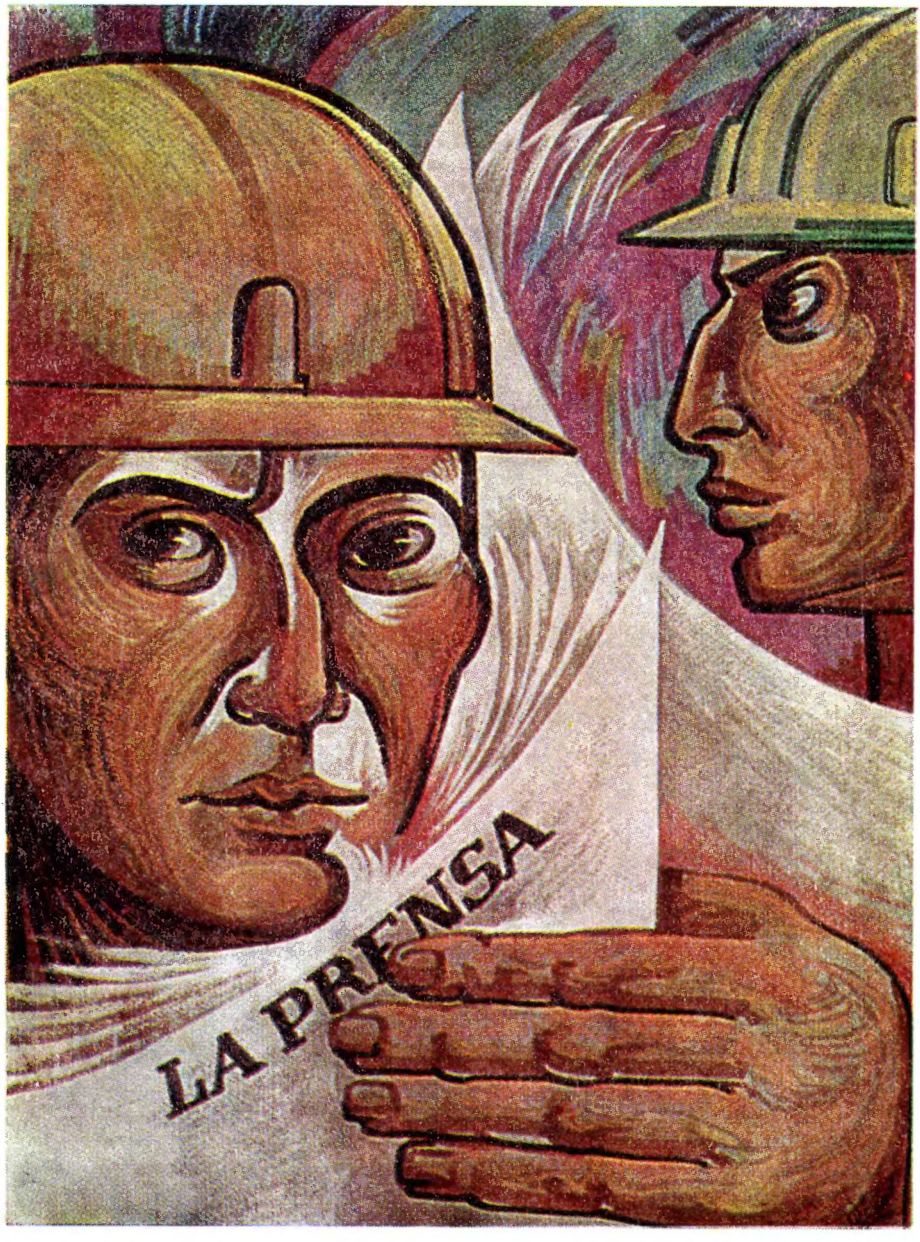
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 28.08.87. Подписано в печать 13.10.87. А 08642. Формат 70×108 1/16
Печать высокая 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч.-изд. л. 28,72.

Тираж 455 000 экз. (1-й завод: 1 — 405 000 экз.). Зак. 3165.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

О. Суарес «Сафра» (Куба).

Цена 1 руб. 80 коп. ИНДЕКС 70394